

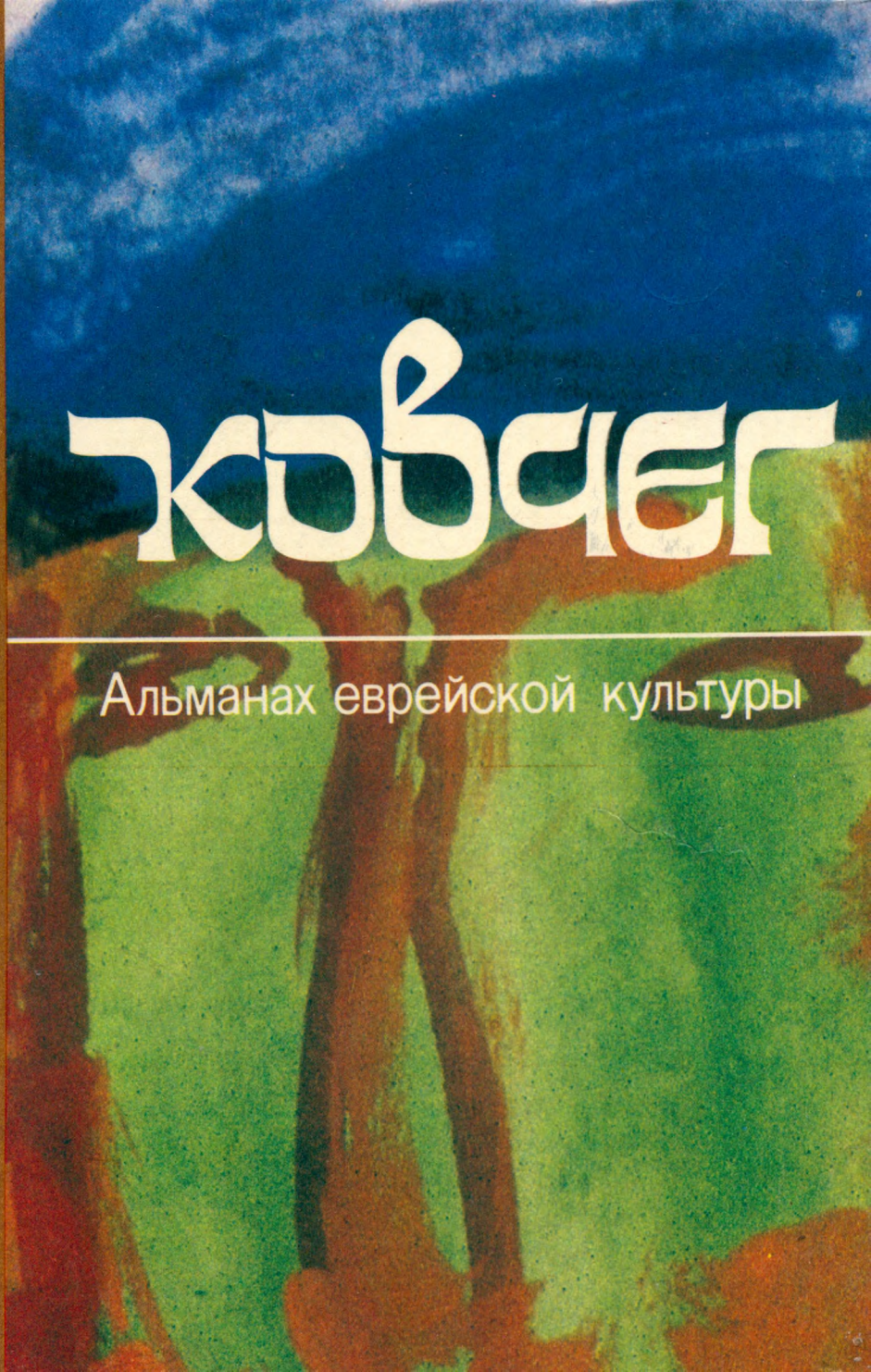
Ковчег

Альманах

Выпуск 2

Ковчег

Альманах еврейской культуры



"Khudozjestvennaya "Художественная
Literatura" литература"
Jewish Еврейская
Cultural культурная
Association ассоциация
Tarbut Тарбут

Moscow 1991 Москва 1991
Jerusalem 5752 Иерусалим 5752

THE ACK

Almanac of Jewish Culture

Book 2

Published
with the assistance of L. Pincus
Foundation

жовчер

Альманах еврейской культуры

Выпуск 2

Издается
при содействии фонда
им. Л.Пинкуса

ББК 84.5И
7077

85219/1

רסמ

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ:

Феликс Дектор (Иерусалим), Роман Спектор (Москва)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

Яков Басин, Владимир Глозман, Барух Гур, Вита Демихова, Эмануэлис Зингерис, Григорий Канович, Юлий Кошаровский, Ицхокас Мерас (сопредседатель, Израиль), Ицхак Орен-Надель, Леонид Ройтман, Бен-Цион Томер, Велел Чернин, Михаил Членов (сопредседатель, СССР), Виолетта Экштейн, Менахем Яглом

Художник
Д. Черногаев

В оформлении использована
картина Г. Ингера
«Шнеер-часовщик» (1979)

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

85219/1

К 4703020600-448 КБ-43-97-1991
028(01)-91

ISBN 5-280-02440-6

© Состав, оформление.
Издательство «Гарбут»,
1991 г. Издательство
«Художественная
литература», 1991 г.

СТИХИ И ПРОЗА

Владимир Соколов

ПАМЯТИ ДАВИДА ЛАНГЕ, ВРАЧА И ДРУГА

Чеховский интеллигент,
Русский более, чем русский,
Жил ты в мареве легенд,
Все выдерживал нагрузки.

Мы с тобою всю войну
Пережили как большие.
Дети, родину одну
Мы любили, не фальшивя.

Размышляли о любви.
Ложь во грех себе вменяли.
Гены разные в крови
Нас вполне объединяли.

Ты в Иванищах служил.
И, владимирский писатель,
Наш Сергей Никитин был
Самый лучший твой приятель.

И, готовый в смех и в плач
При игре на фортепьянах, —
«Додик — мой любимый врач!» —
Говорил поэт Фатьянов,

Не лечившийся нигде
И врачей не понимавший,
Но зато в любом труде
Толк ценивший, совесть знавший.

Будни сельского врача —
Смутным пятнышком в метели.
Стал похож ты на грача
(Прилетев, не улети...).

Для себя не жил почти
Ни во вторник, ни в субботу.
И скончался-то в пути.
По дороге на работу.

Но когда ты мне сказал
Через месяц после смерти,
Чтобы я не унывал —
Я заплакал на концерте.

...Просто песню пели струны,
Что герои вечно юны,
Что на фронт пришла весна,
Что солдатам не до сна...

Не затем, чтоб навязать
Грусть свою еще кому-то,
Я сейчас хочу сказать
(Пусть помедлят хоть минуту),

Что на равной на ноге
С нашим днем, в тревогах вечных
Жил такой Давид Ланге.
Лекарь, друг, поэт, сердечник.

...Я храню твою печаль
И глаза твои большие
Всею душой — сквозь эту даль,—
Не кривя и не фальшивя.

1986

Писатель и философ Амос Оз — дитя двух великих культур, обрученных по взаимному влечению, соединивших свои судьбы вопреки непониманию, оголтелому сопротивлению окружающих, вопреки «исторически сложившимся» предрассудкам.

От обоих родителей он унаследовал все лучшее, явив поразительный по новизне, глубине и оригинальности взгляд на историю, настоящее и будущее своего народа. Две культуры, израильская и русская, стояли у колыбели того явления, которое во всем читающем мире известно по двум коротким словам: Амос Оз. Они пронизали, простегнули его творчество.

Амос Оз родился в 1939 году в Иерусалиме, в семье выходцев из России, жил и работал в кибуце Хульда, служил в Армии Обороны Израиля, закончил два университета — в Иерусалиме и Оксфорде. Ныне — профессор литературы и философии в университете им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, живет в Араде. Книги его читают на 23-х языках в 28-ми странах мира. И лишь советский читатель только открывает для себя это имя.

Русская алия, опасность возникновения «русского гетто», болезненное «вживление» советских евреев в свой народ — и неспособность, а то и нежелание коренных израильтян понять и облегчить собратьям процесс вхождения в новое общество — предмет неупокоенных дискуссий в израильском обществе.

В одном из интервью Амос Оз говорит: более всего мне хочется, чтобы еврейский народ вернулся домой, чтобы все, наконец, были вместе. А по части устройства нашего общего дома — пусть делятся споры. Он понимает, что проживаемая ситуация далеко не идилична, при этом взгляд его на тревожащую всех проблему проистекает из неприятия большевизма, который для него не есть синоним антисоветизма.

«Поздняя любовь» — исповедь пожилого Шраги Унгера, который на закате жизни остается продуктом советской ментальности, предполагающей нетерпимость, фанатизм и деление всего мира на «черное» и «белое». Он не сумел изжить сей комплекс, несмотря на многие годы, проведенные в Израиле. Шрага, в сущности, типичный образ советского еврея, оказавшегося на своей исторической родине и с «честью» несущего звание «советского человека».

Психологически глубоко и точно, в гротесковой манере писатель говорит о чувстве «любви-ненависти» к своему бывшему отечеству, сохранившемся в перевозданности и перенесенном на иную почву. О чувстве, свойственном многим представителям советской алии, не пожелавшим, не сумевшим приспособиться, отчаянно сопротивляющимся новой культуре. Эти чувства не позволяют и никогда не позволят понять: то, что отвергает их в стране, — это цена демократии, которую стоит заплатить.

Нет, Амос Оз не боится опасности превращения Израиля в «мини-Россию» (а ведь многие его соотечественники боятся этого). Но, доводя ситуацию до крайности, до логического абсурда, показывает драму человека, разрываемого противоречиями, на всю жизнь застрявшего меж двух миров. Не полюбившего свой новый дом, зато преданно сохранившего разрывающее душу чувство любви-ненависти к своей бывшей покинутой Родине.

Юрий МАРЬЯМОВ

Амос Оз

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

I

Я должен еще кое-что рассказать. Время мое истекает. Весь вопрос в том, как это выразить. Только потому я и молчал до сих пор, что не находил подходящих слов. То есть, строго говоря, человек моей профессии совсем молчать не может: я ведь как-никак заслуженный лектор с большим стажем, разъезжаю с докладами и лекциями от рабочего совета — так сказать, работник культурного фронта, волей-неволей приходится постоянно говорить. Но должен признаться: есть нечто такое, что мне никак не удастся описать словами, — не так просто исторгнуть звук из бездн молчания... А ведь я заглянул в эти бездны...

Заранее предупреждаю: я старый, смешной и решительно никому не нужный лектор; то есть совершенно не нужный, лишний абсолютно со всех точек зрения. Присутствие мое лишь отравляет людям покой. Стоит мне появиться по каким-нибудь своим делам в отделе культуры или в управлении кибуцов, девушки-машинистки, завидев меня, кидаются к машинкам и принимаются что есть сил стучать по клавишам — только бы я не вздумал заговорить с ними. Вот так... Я и сам знаю, что я невыносим.

У меня нет никаких связей. Нет, нет, я не о женщинах. Слово «связи» обычно вызывает вполне определенные ассоциации, но никаких отношений с женщинами у меня не было со времен британского мандата. В данном случае я говорю о связях вообще — нет у меня никаких связей с миром. Когда ко мне обращаются, слова доносятся до ме-

ня как сквозь вату, и весьма сомневаюсь, прислушивается ли кто-нибудь к моим словам. Впрочем, не в моем характере много рассуждать...

Представьте себе одинокое судно, затерявшееся в морских просторах, с одним-единственным матросом на палубе. Вокруг ни души, даже чаек, полное безветрие, вода похожа на застывший студень. Вот то положение, в котором я нахожусь.

Впрочем, нет, прошу прощения, некоторые изменения все-таки происходят — судно ветшает и понемногу разваливается. Я скоро умру. Нет, нет, не волнуйтесь, я говорю это совершенно спокойно, смерть представляется мне событием случайным и второстепенным, хотя и вульгарным. Я не люблю дешевых эффектов.

Не оттого ли я равнодушен к смерти, что повидал беспредельные дали? Нет, пожалуй, это не равнодушие, а нечто вроде отстранения, будто некая завеса отделяет меня от всего, нечто такое, что трудно объяснить словами...

Слова скверны в основе своей. Но, с другой стороны, что мне остается — не могу же я выражать свои чувства воплями или саркастическим смехом, это противоречило бы моему характеру и темпераменту.

Нет, я полагаю, мне следует рассказать о себе более обстоятельно. Вот уже десять лет у меня повышенное давление. Два года назад мне сделали операцию, удалили из желудка опухоль, и до сих пор естественные отправления связаны для меня со страшными мучениями.

Я непрерывно толстею, хотя и курю целыми днями одну сигарету за другой, что тоже, в свою очередь, разрушает организм. В общем, я похож на того еврея из анекдота, который сидит себе и преспокойно курит в падающем самолете, — о чем волноваться, если этот самолет ему не принадлежит?

Иногда я вдруг ощущаю внутри своей черепной коробки какой-то шорох, будто шины чуть слышно шуршат по мокрому асфальту: ш-ш-ш... А снаружи тем временем выпадают мои седеющие волосы. Даже в теплые дни меня бьет дрожь. Короче говоря, я весь разваливаюсь, но не обращаю на это особого внимания, хотя полностью отдаю себе отчет в происходящем, — сознание мое пока что в порядке. На тот случай, если физические боли донимают меня слишком настойчиво, в моем распоряжении имеется набор разноцветных таблеток и пилюль, прописанных мне различными врачами от всевозможных заболеваний на протяжении многих лет. Я постоянно ношу в кармане

пиджака несколько пачек лекарств. Когда боль и недомогание мешают работать, я проглатываю две-три пилюли, не сверяясь с этикетками. А если чувствую, что это не помогло, принимаю еще. И потом, всегда есть возможность унять любые хвори несколькими рюмками коньяка.

Впрочем, алкоголь путает мысли, а я боюсь потерять нить своих рассуждений. Кроме того, неизбежный спутник подобного «лекарства» — опьянение, а я, в силу своего характера и темперамента, не испытываю в этом состоянии ничего, кроме раздражения.

Да, помимо всего прочего, у меня еще болят зубы. А может, не сами зубы, а десны. Во всяком случае, я стараюсь не подходить ни к кому слишком близко, поскольку знаю, что изо рта у меня дурно пахнет. Люди не в силах преодолеть своего отвращения ко мне. Я и сам себе омерзитель.

Однако пока я еще не вправе удалиться. Я еще должен кое-что рассказать.

У меня есть квартира в рабочем районе — комната, кухня, туалет, веранда и холл с большим окном во всю стену. Для моих потребностей вполне достаточно. Потолки, правда, слишком низкие, и стены пропускают сырость, — а может, наоборот: задерживают, не берусь судить, во всяком случае, даже в летние жаркие дни их углы украшены серыми разводами плесени. В центре комнаты плитки пола просели, приходится подсовывать дощечки под ножки стола, чтобы чай в чашке не являл собой наглядный пример наклонной плоскости. Постоянно засоряющийся унитаз от раза к разу превращается во все более ужасную проблему... Да что это, в самом деле, черт побери! Почему у меня всегда так получается? Собираюсь говорить о каких-то серьезных предметах, затронуть, например, вопрос национального освобождения — и вдруг оказывается, уже увяз в какой-то сточной канаве, обсуждаю недостатки канализации — извольте радоваться! Неудивительно, что все нормальные люди попросту брезгуют мною. А ведь однажды я едва не был избран в кнессет. Моя кандидатура выдвигалась во время первого учредительного собрания в тысяча девятьсот сорок девятом году. С тех пор прошло много лет...

А сейчас душными и влажными летними ночами я знакомлюсь со смертью.

Я не испытываю страха.

Отвращение ко всему на свете охватывает меня.

Вот смерть появляется на веранде — я вижу ее сквозь решетчатую дверь. Дверь устроена так, что ее можно открыть только изнутри, но эта дуреха толкает, и тянет ее, и дергает за ручку. Нет, сообразительностью она явно не может похвастать... Тем не менее ей удается каким-то образом совладать с дверью, вот она уже в комнате — небольшого росточка, жирная, потная, грязная, запыхавшаяся. От нее несет кислятиной. Я лежу с открытыми глазами и смотрю, как она приближается. Она грузно усаживается в изножье кровати и боязливо прикасается ко мне сквозь простыню, точно так же, кончиками пальцев, дотрагивается до меня старуха медсестра из поликлиники, прежде чем всадить шприц в мое тело. Медсестру зовут Хума Шпильберг. Я ведь забыл сказать, что дважды в неделю мне делают уколы.

Сейчас я перейду к другим вопросам, только два слова еще: странное ощущение возникает у меня, когда я курю. Я смотрю на свои пальцы, придерживающие сигарету, и чувствую, что они не имеют ко мне ровно никакого отношения, что это какие-то самостоятельные и совершенно чужие мне существа.

Впрочем, скоро я буду вне всего этого, вне всех этих частных. Вообще не знаю, зачем я так долго на них останавливаюсь, это совершенно никому не нужно. И не лучше ли было бы вместо того, чтобы заниматься собственной персоной, рассказать о людях выдающихся, о каком-нибудь поэте или национальном герое. Скажем, о нашем министре обороны, человеке молодом, энергичном, обаятельном. К сожалению, он так и не ответил на мои письма — я дважды писал ему, — и потому нам не суждено было встретиться. Так что, сколь это ни прискорбно, я вынужден рассказывать о себе, а не о нем.

Сейчас мне шестьдесят восемь лет, я одинок, никем не любим, да и сам никого не люблю. Мне дана последняя отсрочка, последняя возможность что-то сформулировать и рассказать. После чего, как говорится, я отойду в мир иной...

Да, меня зовут Шрага Унгер, как это я забыл представиться! Я старый лектор при рабочем совете, разъезжаю по субботам с лекциями из кибуца в кибуц. Иногда меня приглашают выступить в одном из рабочих советов на вечере отдыха; я участвую в семинарах, чтениях, симпозиумах, вечерах вопросов — ответов, веду занятия в кружках просвещения и на курсах усовершенствования, изредка

даже появляюсь на трибуне какой-нибудь рабочей конференции.

Русское еврейство — единственный мой предмет. Я из тех, кто помещан на чем-то одном. В кармане пиджака у меня полдюжины докладов — все на одну и ту же тему, ведь она трагична и неисчерпаема. Я лишь меняю время от времени название или ограничиваюсь каким-нибудь одним аспектом. «Предсмертный вопль языка идиш в Советском Союзе», «Заговор молчания — до каких пор?», «Наши братья в руках врага». И, наконец, «Отпусти народ мой». Я постоянно возвращаюсь к этому больному вопросу и упорно следую намеченным путем, вы увидите — я еще поймаю в паутину слов молчаливые просторы вселенной; галактики, беззвучно устремляющиеся к центру мироздания — а может, к его краям, не берусь судить, — вспыхнул у меня в ослепительном сиянии последнего хаоса, дабы выхватить из мрака фигуру русского еврея — эту безгласную и погрязшую в неведении и невежестве частицу нашего народа...

Долгие годы во всех моих скитаниях меня сопровождала пожилая певица от Гистадрута Люба Кагановски. Мы всегда выступали вместе, я и она, во всех уголках страны. Она оглашала документы, я читал лекции, она пела, я подводил итоги.

Но потом голос у Любы пропал, и ей нашли, если я не ошибаюсь, какую-то должность в рабочем совете.

С тех пор я путешествую один.

Представьте себе запах пустынного шоссе в каком-нибудь захолустье — Галилее, Бейт-Шеане или Негеве. Тоскливо и одиноко. Пыльный пикап везет тебя куда-то. Рядом шофер — рослый крестьянин или усталый культурник. Далекие огни в ночных полях, далекие и чужие даже для самих себя. Свет случайного фонаря на мгновение пререзает темный воздух, и словно в ответ слышится низкое завывание ветра. Иногда дорогу перебегают какая-нибудь ночная тварь, цепенеет, пойманная светом фар, и тотчас исчезает из глаз. Визжат тормоза, тебя швыряет вперед, головой в стекло.

Потом ветер стихает, и запахи тоже исчезают. Внезапно тебя охватывает страх — что, если сейчас шофер набросится и задушит?.. Или вдруг разверзнется земля впереди... Или звезда упадет на голову, если угодно... Что-то нарастает в груди, какая-то слепая жаркая волна подымается и заливают душу, ты вдруг с нетерпением ждешь откровения, озарения, которое вот-вот осенит тебя, ты поч-

ти касаешься, почти ощущаешь его, оно готово пронзить тебя — одно-единственное ослепительное слово, вобравшее в себя решительно все, — ведь не может быть, не может быть, чтобы ты как родился, так и умер, ничего не поняв, не дождавшись никакого объяснения, не удостоившись хотя бы одного-единственного мгновения, единственной вспышки... Чтобы вот так совсем никогда ничего не случилось и всю жизнь ты оставался в пустоте наедине с самим собой, со своим одиночеством и бессмысленным ожиданием. Нет, что-то должно быть, какой-то свет, что-то... Что-то есть.

Постепенно ты успокаиваешься, расслабляешься, чувство, только что такое острое, исчезает, и вот ты уже куришь в темноте сигарету и начинаешь ерзать — хочется почесаться или чихнуть, — уже не жажда прозрения, а боль в желудке терзает тебя. И миг, в который все могло открыться, упущен безвозвратно...

К тому же возле тебя сидит шофер, здоровенный детина, чужой и мрачный. Он и лекции-то твоей не слышал — подошла его очередь ехать, вот он и едет, погруженный в свои собственные мысли, везет тебя неизвестно куда... Тебе не о чем с ним разговаривать. Предложи ему сигарету и поднеси спичку.

Мотор своим ревом терзает тишину печальных полей, ты начинаешь задремывать от усталости, и вдруг почему-то Явниэль, мимо которого вы проезжаете, звучит для тебя Новозыбковом. Почему — неизвестно. Какая тут связь? Никакой, абсолютно никакой...

Кстати, однажды, несколько лет тому назад, я подумал: почему бы мне самому не научиться водить машину? Как хорошо — прочел лекцию, распрощался со слушателями и председателем и кати себе домой или в следующий по списку кибуц. Ни от кого не зависишь, никому не в тягость. Замечательная идея. Я даже купил правила дорожного движения и принялся добросовестно, по два-три часа в день, изучать их.

Но вскоре я понял, что это абсолютно безнадежная затея: не с моим характером и темпераментом водить машину.

II

Оказывается, в моей жизни еще может нечто происходить. Новость состоит в том, что они собираются избавиться от меня. Как вам это нравится? Похоже, что в этом

замешаны некоторые ответственные товарищи из культурного центра. Не исключено, что они получили соответствующие указания сверху. Чему тут удивляться — я не удивляюсь, я прекрасно знаю, что вражеские агенты у нас проникли всюду.

Шрага, дорогой, пойми, все эти поездки уже не для тебя. Ну разве с твоим здоровьем таскаться по ночам из кибуца в кибуц? Пора, пора тебе немного отдохнуть. В конце концов, можно же подыскать какую-нибудь другую должность — в исполнительном комитете или в отделе культуры...

Будем говорить откровенно, Шрага, — нынешняя молодежь ко многому относится скептически. Нам теперь сложно находить с ними общий язык. Что делать — не приемлют они наших взглядов и убеждений. Понимаешь, Шрага, милый, этот пафос, которым проникнуты твои выступления... Да, я понимаю, отлично понимаю — их не устраивает моя позиция, не нравятся нападки на большевиков. Ты, говорят, дорогой товарищ Унгер, экстремист, а это нынче не в моде. К современному юноше нужен иной подход. И потом, это постоянное напряжение тебе уже не по силам. Давай-ка подобра-поздорову передадим эстафету в руки нового поколения, а сами передохнем немного. Вредно в нашем возрасте так переутомляться.

Найдется для тебя спокойное местечко здесь, в этом здании. С твоим опытом и знаниями ты еще можешь принести много пользы.

Почему бы тебе, к примеру, не заняться переводами или редактурой, будешь готовить материалы для печати, — ты ведь такой грамотный человек, прекрасный стилист, сам Шленский неоднократно хвалил твои переводы с русского. Ты же видишь, дорогой Шрага, у нас и в мыслях нет умалять твои достоинства, ты один из самых ценных наших работников. Никто не собирается избавляться от тебя, Боже упаси! Но что поделаешь, таков уж закон природы — все течет, все изменяется, пришла пора и нам уступить свое место более молодым, ничто в этом мире не вечно... И главное, ты обязан подумать о своем здоровье. Что делать, никто из нас не молодеет с годами... И, помимо всего прочего, ты же знаешь, Шрага, какие сейчас скверные времена, какие настроения.

Молодежь теперь совсем не та. Если кто-то еще и может оказать на нее влияние, так это люди энергичные и хладнокровные. В общем, мы надеемся, ты не откажешь-

ся обдумать наше предложение и дашь через несколько дней ответ... Нет, разумеется, это не к спеху, если хочешь, через несколько недель...

Такие-то дела, господа.

Думать мне не о чем. Я не собираюсь размышлять ни одной минуты. Это мой долг — до конца оставаться на своем посту. Перед лицом судьбы, ожидающей русское еврейство, я не имею права молчать. Я буду кричать о большевистской опасности, пока я жив. Никакие интриги, никакие козни им не помогут. Как все это мерзко... Подлость! Самая низкая подлость!..

Они, очевидно, полагают, что я сошел с ума. Может быть, они и правы. Да, когда я стою где-нибудь на берегу моря, смотрю на дюны или подымаю взгляд к ночному небу — о, тогда я чувствую! — да, они правы — что жалкие человеческие слова в сравнении с этими основами мироздания, безмолвными и вечными?.. Да, они правы — сознание мое бессильно, мысли путаются...

Однако погодите — я еще в состоянии рассуждать трезво.

Да, я допускаю, нечто сместилось в моих представлениях. Вполне возможно, процесс этот продолжает медленно, неуловимо развиваться, но что с того? Кому до этого дело? Как они сами изволили заметить, ничто в этом мире не стоит на месте, все движется, все изменяется. И позвольте, господа, задать только один вопрос — я спрашиваю без всякой задней мысли: разве подобное смещение восприятия так уж опасно само по себе? Нет, я думаю, что нет, — опасны ложь, внутренняя несвобода, а вовсе не эти тайные сомнения души.

Да, я смешной, никчемный человек, надоедливый, упрямый, а главное, никому не нужный, лишний со всех точек зрения. Пусть так. Но я никогда не лгал и не кривил душой. Во всякое время и во всяком месте не боялся называть вещи своими именами. Никому еще не удавалось заставить меня замолчать или отступить от истины. Таков уж я от природы, да будет это известно всем.

Однако это далеко не главное.

Русское советское еврейство — вот предмет, который должен нас волновать.

Ни за какие блага я не соглашусь оставить свою деятельность. Покуда держусь на ногах, буду ездить из кибуца в кибуц, ходить из дома в дом и открывать людям глаза на чудовищный замысел большевиков. Мне доподлинно известно, что они приняли тайное решение уничто-

жить наш народ. Но на этом они не остановятся, намерения их гораздо страшнее. Покончив с евреями, они разнесут в щепы весь мир. Тут не может быть ни малейших сомнений, у меня имеются доказательства, которые я не имею права обнародовать, но готов представить Моше Даяну лично. Никого не может ввести в заблуждение тот факт, что они не называют своих истинных целей. Указы, гонения, клевета, издевательства, судебные преследования и тому подобные методы террора — разве не точно так же начинал Гитлер?

А что мы, со своей стороны, предпринимаем в ответ на эти деяния, позвольте поинтересоваться?

Спим, господа. Почиваем сладким сном.

Мы безумцы, совершеннейшие безумцы! В то время как там, в припорошенном снежком Кремле, ночи напролет горит свет в окнах и аппаратчики в своих кабинетах, попивая чай, хладнокровно разрабатывают — на строго научной основе — план нашего поголовного уничтожения, а секретарши раскладывают по папкам готовые листы, чем же, позвольте спросить, заняты тем временем мы с вами здесь?

Играем в дипломатию и сочиняем протесты. Вот именно! Мы как будто умный и прозорливый народ, а ведь намерений Гитлера не раскусили. Не раскусили, господа!..

Сколько было предупреждений, сигналов, недвусмысленных знаков, и что же? Предпринимались дипломатические шаги, направлялись протесты. Но в душе все были уверены, что ничего не случится.

А сейчас, в эти дни, не происходит ли то же самое? Коммунисты всех оттенков — заграничные и наши собственные — буквально загипнотизировали нас. Позвольте, товарищи, задать наивный вопрос: что, Советы ограничатся закрытием нескольких синагог и газет на идиш? Медведь проглотит горсть орешков и спокойно уляжется спать? Нет, господа, не обольщайтесь, это только первые раскаты грома, гроза впереди. Не успокоятся они, пока не вынут из нас душу, уж поверьте мне. И конечно, не одних только русских евреев это коснется, и нам здесь, в Израиле, они готовят ту же участь. Не случайно их флот курсирует у нас под боком и вынюхивает, что тут делается. У них одно на уме — прихлопнуть нас всех разом. Увидите — в одно прекрасное утро мы проснемся и обнаружим, что наша песенка спета — западня захлопнулась и мы сидим как птички в клетке.

Я знаю, как это произойдет — внезапно и повсеместно: в Белоруссии, на Украине, в Тель-Авиве, в Харьковской области и в долине Изреельской, в азиатских республиках и в самой Москве — в соответствии с заранее разработанным планом. Они ведь большие специалисты в этой области — расправляться с целыми народами, опыт у них накоплен богатый, и органы планирования отличные. Уж кто-кто, а я-то знаком с их принципами. Сам был социалистом, пламенным революционером, всем сердцем преданным партии и народу. Неоднократно избирался в местные и центральные органы — в девятнадцатом году комиссар, председатель горсовета, в двадцать первом в Вязьме секретарь райкома. В этой Вязьме я однажды три часа просидел за бутылкой с самим Зиновьевым и припер-таки его к стенке — заставил отменить одно дурацкое распоряжение. Так что большевиков я, можно сказать, изучил как свои пять пальцев.

Да, товарищи, вы правы, я несколько отклонился от темы. Итак, я утверждаю: в тот же самый час, когда там, на просторах России, начнут уничтожение граждан еврейской национальности, здесь, у нас в Израиле, высадится их десант. Дело, конечно, не в израильско-арабском конфликте, это всего лишь предлог, арабов они ловко используют в своих интересах, не более того. Вы спрашиваете, какое оружие они собираются применить против нас? Любое! Ракеты. Самолеты. Возможно, даже атомную бомбу. Именно поэтому мы не имеем права медлить. Мы должны безотлагательно предпринять контрмеры. От наших действий зависит судьба всего мира, потому что, расправившись с нами, большевики двинутся дальше. Ничто не может их остановить, никакие соображения человечности и гуманности. В своей жажде мирового господства они без всякого колебания воспользуются самым страшным оружием — бактериологическим, химическим, газами, ядами — чем угодно. Во имя достижения своей цели они готовы взрывать галактики. О, в девятнадцатом году я присутствовал на их секретных совещаниях — кому, как не мне, знать, на что они способны!

А начнут, разумеется, с евреев. Начинают всегда с евреев. Может, вам покажется, что от волнения я несколько сгустил краски. Допустим. Но уверяю вас — в том, что я говорю, нет ни малейшего преувеличения. Интуиция не обманывает меня. Я знаю, что это так. Ничто на свете не заставит меня молчать перед лицом надвигающейся опасности.

Да, вы правы, я заканчиваю, осталось коснуться еще одного вопроса. Последнего.

Я хочу понять: откуда это всеобщее благодушие у нас в Израиле? Почему мы не принимаем никаких действенных мер? Небо и земля должны содрогнуться! Разве мы бессильны? Попрошу еще минуту терпения. Да, сейчас я перехожу к главному. Я следую своим тезисам. Если не придерживаться никакого порядка, то что это будет — хаос и дикость? Итак, я вас спрашиваю: что мы предпринимаем? Устраиваем митинги по субботам, «кэс аль-доми»¹ в пасхальную ночь,— прекрасно!— шлем протесты, осуществляем дипломатические шаги, вспоминаем права человека. А где наша служба безопасности, где разведка, почему они бездействуют? В конце концов, некоторые вещи мы умеем делать, это теперь известно всему миру. Наши тайные организации чего-нибудь да стоят. Все силы должны быть брошены в бой! Использовать все, вплоть до личных связей. Ради спасения человечества коммунизм нужно уничтожить. Искоренить, пока не поздно.

Как мне ни тяжело в этом признаться, но я вынужден заявить — они проникли и сюда. Внутренняя измена подтачивает нашу мощь. Наши учреждения кишат красными агентами. Нет, спасибо, не нужно сока, стакан чистой воды из-под крана. Благодарю вас. Если уж тайный советник Бен-Гуриона оказался переодетым большевиком, то о чем еще можно говорить? Да, они всюду. По ночам, никем не замеченные, они пересекают наши границы. Под прикрытием темноты опускаются на парашютах в горах Иудеи, в Негеве, над Мертвым морем. Где-то там, в Красноярском крае, их обучают вредительству и диверсиям, а потом они преспокойно разгуливают по улицам Тель-Авива, плодятся, множатся и разъедают наше общество изнутри. Русские разведчики и агенты КГБ проникают в наши центральные органы, в партии, в правительство, в Гистадрут. А мы удивляемся, что израильские подводные лодки исчезают в пучине моря без следа, словно некий фокусник прячет их в рукав. Секрет этого фокуса мне известен. Потому-то они и надумали избавиться от меня, что я путаю их карты. Заткнуть мне рот под предлогом

¹ «Кэс аль-доми» (немолчащее кресло).— В 1970 году было предложено оставлять за каждым праздничным столом во время седера один пустой стул — в знак символического присутствия советского еврейства, лишенного возможности праздновать Песах. (Примеч. перев.)

заботы о моем же здоровье — великолепный ход! Запереть меня в четырех стенах и заставить корпеть над какими-то переводами. Я вижу их насквозь и все их происки могу разгадать без труда!

Кстати, товарищи, я прошу, чтобы все это осталось между нами. И теперь еще не поздно остановить приближающуюся катастрофу. С чего начать? Прежде всего засылать наших людей туда, к ним. Плановмерно насаждать израильских агентов во все их органы — хозяйственные и партийные, вплоть до Верховного Совета, вплоть до Президиума.

Создать строго законспирированную сеть.

Именно так.

И тогда действовать! Искоренить и вытравить эту чуму! Да! Все средства хороши в борьбе с этими человеконенавистниками, с этой красной эпидемией! В минуту смертельной опасности не размышляют. Уничтожить убийц еврейского народа. В буквальном смысле уничтожить. Без всякой пощады! И главное, не позволить им опередить нас. Уверяю вас, это вполне осуществимо. Вспомним пример горстки героев-врачей, доблестных сынов нашего народа, отравивших стрихнином этого бешеного пса, этого убийцу миллионов — я имею в виду Сталина.

Главное — действовать стремительно. Время — решающий фактор.

Не сидеть сложа руки. Я со своей стороны делаю все, что в моих силах, — в письме товарищу Моше Даяну я изложил известные мне факты. Да, следует вернуться к этому вопросу. Если потребуется, я силой заставлю Даяна пересмотреть позицию, я уверен, что истина откроется его внутреннему взору. Я не намерен молчать и потому добьюсь своего.

Да, я знаю, в любой момент я могу умереть. Но пока мне дана некоторая отсрочка, и я обязан спешить, чтобы успеть рассказать то, что знаю. Как трудно подобрать нужные слова... А время бежит неудержимо... Не важно! Письмо, отправленное мною Моше Даяну, существует. Оно такая же реальность, как эта солнечная система, огненным потоком низвергающаяся в глубины туманностей. Те же неодолимые безмолвные силы, что управляют движением звезд, увлекают и мое письмо в незримые пределы мироздания. Листы желтеют, но что с того? Они принадлежат вечности, и ни единое слово не исчезнет...

Пока что я намерен разыскать Любу Кагановски. Не-

обходимо повидаться с ней, вполне возможно, что она, сама о том не подозревая, держит в руках некий ключик от тайны. Ведь именно она сопровождала меня в течение многих лет во всех моих скитаниях и своим пением оживляла мои доклады. Она должна многое помнить. Обязательно нужно поговорить с ней, не исключено, что она сумеет пролить свет на некоторые вещи. А тогда уже можно будет принять окончательное решение.

Опять, как это часто со мной случается, я в нерешительности. Все только что сказанное вызывает у меня усмешку — к чему эта страсть, это словесное извержение? Безграничные просторы вселенной погружены в безмолвие, и разве не ощущаю я уже давно дыхания вечности на своем лице?.. Лишь несколько произнесенных слов еще отделяют меня от нее. К тому же расстояние это с каждым днем сокращается — судно ветшает и рассыпается, и ничто не в силах помешать этому...

III

Страшно подумать, сколько дурных привычек накопилось у меня с годами! Весь уклад жизни ни к черту не годится...

Я сам себя ненавижу, вечно раздражаюсь, но не в силах ничего изменить...

Вот, например, на что я трачу день? Чуть ли не по пять часов провожу за чтением газет! Журналы, альманахи, ежемесячники, воззвания, даже какие-то циркуляры заполонили всю квартиру, грудями валяются везде, куда ни глянь,— на журнальном столике, на кухонном столе, возле раковины, в уборной, под кроватью, в постели. Полчища старых газет оккупировали мое жилище — для меня уже нет места в собственном доме!..

Разозлившись, я объявляю им войну, в одно прекрасное утро встаю,— полный решимости и энергии,— сгребаю весь этот бумажный хлам в кучу, складываю пачками, перевязываю бечевкой и, удовлетворенно вздохнув, принимаюсь ждать бойскаутов, которые ходят по домам и собирают макулатуру — то-то обрадуются, увидев, какое богатство их поджидает...

Но вот беда: бойскауты не появляются. Современный юноша ищет развлечений, веселого времяпрепровождения, и ему нет дела до старых газет...

Аккуратно сложенные кипы постепенно вновь рассыпаются, газеты и журналы расползаются по квартире, и

уже некуда ступить из-за них. А время идет. Кончается отпущенный мне срок... Что делать — я не в состоянии отказаться от газет, я обязан быть в курсе дела, каждый день приносит что-то новое: нарушение границ — события в мире — политические интриги — дискуссии. Позавчера в Брюсселе состоялся конгресс анархистов, большинством голосов избран секретариат... Все не то... Ничего, что могло бы дать алчущему уму пищу для размышлений... Хотя в наше время любой пустяк может иметь непредвиденные последствия — нужно только уметь почувствовать... Намеки, недомолвки... Берл Локер выступил на конференции активистов еврейской молодежи стран рассеяния, и я до полудня сижу у себя в комнате и записываю свои соображения по поводу его высказываний. Да, вы вправе спросить: кому они нужны — мои записи, какая от них польза? Берл Локер, наверно, уже успел позабыть свою речь. Совершенно верно — никакой, ни малейшей пользы, я сам прекрасно это знаю, и тем не менее продолжаю трудиться. Движение звезд тоже на первый взгляд бессмысленно, но ведь чему-то оно служит!.. Нет, ничто не напрасно в этом мире, и ничто не исчезает. Вообще, что значит — исчезнуть? Если вдуматься, это понятие нелепо — как может нечто сущее превратиться в ничто? Каким образом? Даже мельчайшая песчинка — разве может она подняться вдруг и покинуть вселенную? Никогда! Космос замкнут, и всякая вещь заключена в себе. Нет таких сил, которые смогли бы противостоять этому незыблемому закону. Я записал свою мысль словами, и она останется в них. Никуда не денешься, произошло нечто, что уже невозможно отменить.

С некоторых пор я понял — всякое событие значительно.

Помимо газет существует еще радио. За день я умудряюсь прослушать шесть, семь, восемь выпусков последних известий. Иногда происходят столь странные вещи, что отказываешься верить собственным ушам.

К примеру, сегодня утром дикторша объявила: по сведениям, поступившим из достоверных источников, Гамаль Абдель Насер в конце этого месяца направляется в Москву с целью добиться от русских поставок новейшего

современного оружия. Я настораживаюсь: затевается новая политическая интрига.

Но в полдень, когда дикторша с надменным голосом покинула студию и удалилась восвояси, другой диктор читает уже совершенно иное: сообщение, будто Насер собирается в Москву, до сих пор не получило подтверждения.

Под вечер эта новость почему-то переключивает в отдел экономики: делегацию, направляющуюся в Москву, возглавит военный министр Египта. Однако позвольте, военный министр — это вовсе не Насер!

И наконец, ночью все заканчивается вот чем: советская правительственная делегация прибыла в Каир. Выходит, все предыдущие сообщения были высосаны из пальца. А ведь в тот час, когда спесивая дикторша заканчивала свой раздел, красная делегация уже находилась на пути в Каир и пролетала над Черным морем.

Удивительно...

Я хочу, чтобы меня правильно поняли — вовсе не престиж меня волнует, какая разница в конце концов — Мухаммед отправился к Ивану или Иван к Мухаммеду! Не в этом дело — важен порядок вещей. Рассудок поражен нелепостью, мысли приходят в смятение. Безжалостные лезвия противоречия скрещиваются, будто смертоносные лучи, все опрокинуто, поток времени остановлен и отброшен, время движется вспять, время расщеплено на множество нервных волокон, причудливо переплетенных и скрученных в узлы — не существует более ни «рано», ни «поздно», ни начала, ни конца, ни направления, то, что утром выдавалось за истину, вечером оказывается досужим враньем — непреложные законы бытия поставлены под сомнение... И подумать только, весь этот поразительный опыт был бы безнадежно упущен, ограничься я одним или двумя выпусками последних известий. Услышанное и прочитанное наталкивает на размышления, которые в свою очередь приводят порой к внезапным открытиям.

Есть у меня обыкновение в те вечера, когда я свободен от поездок, до глубокой ночи, лежа в постели, читать и перечитывать записки основателей государства. Да, это были выдающиеся люди. Если бы мы следовали их идеалам, то уж, верно, сумели бы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Они предостерегали нас, но мы, как всегда, были глухи.

Накрывшись простыней и подложив под свою старую лысеющую голову три или четыре подушки, я лежу в молчании ночи и при свете старенького бра листаю одну книгу за другой. На потолке, в углах, колеблются неясные тени, словно надеются нащупать некое дно, куда им предстоит опуститься... Чтение действует на меня умиротворяюще — будто тихая нежная мелодия доносится издалека.

Вы знаете, конечно, что такое летняя ночь в Тель-Авиве — вездесущее море проникает сквозь покоробившиеся деревянные жалюзи и охватывает тебя в твоём углу теплым влажным дыханием. Смерть — потная и запыхавшаяся — появляется в комнате, усаживается в изножье кровати. В какое-то мгновение ты видишь ее совершенно отчетливо. А потом — шуршание шин по темному асфальту там, снаружи. Станный крик где-то вдалеке. Звонok телефона в чужой квартире. Звуки накапливаются в ночи, нависают мрачной угрозой.

И вдруг — пространства зовут тебя... Серые пустынные равнины... В величайшем спокойствии зовут: «Шрага... Послушай...»

Да. Я здесь. Я слушаю.

Послушай-ка...

И тишина...

Крик, замирающий вдали, тревожный телефонный звонок после полуночи — разве они способны изменить что-то? Может, у кого-то убежала жена, или секретные службы выследили и убили предателя, или просто человека посетило во сне озарение — ведь в эти влажные душевные беспокойные ночи Тель-Авив стоит нараспашку...

С веранды напротив доносится смех — там всю ночь играют в карты, грызут фисташки, хрустят солеными палочками, болтают по-польски, шутят и подтрунивают друг над другом. Хотелось бы мне знать: что так радует этих людей?

Разве можно столь неосмотрительно пользоваться словами — болтать и шутить? Невероятно!

Однажды я не выдержал, в три часа ночи в сильнейшем волнении встал с постели, оделся, закурил и совсем уже было вышел на террасу, чтобы отругать их, припугнуть, заставить замолчать, — пусть знают, что недопустимо так легкомысленно обращаться со словами! — но остановился в нерешительности. Разве мне удастся объяснить

им?.. Не могу же я кричать, это не в моем характере, я уже говорил — крик и смех не соответствуют моему темпераменту... Итак, раздосадованный, я вернулся в комнату, разделся и залез обратно под простыню. Потом пришлось снова встать, поскольку я забыл на краю пепельницы горящий окурок.

Какой вздор!

Да, я ведь начал говорить о море. Оно лежит тут рядом, в темноте, за несколько кварталов отсюда и насыщает воздух испарениями. Следовало бы поинтересоваться — мои веселые соседи, догадываются ли они о намерениях моря? Каждая волна дышит ненавистью — прислушайтесь, прислушайтесь к его гулу!.. Чувствуете, какая затаенная злоба в этом рокоте?

Внезапно где-то в глубине вспыхивает черный, удивительно нежный свет. Это мерцание ночи. Я умею его узнавать. Месяц пронизывает толщу вод серебряными лучами, нащупывает источник света, и вот — вмиг вздымаются бездны и округляются в немом томлении, тончайшие арки выгибаются в упругой тишине, и в невысказанном терпении смыкаются своды... Жуткий, непостижимый процесс... Дрожь пробегает по телу...

Меня не обманет безмятежная гладь, я знаю, что кроется за легким всплеском, что означает шлейф за набегавшей волной — это лишь слабое отражение того, что происходит в глубине, там все клюкочет от злобы и только ждет своего часа... Горе тому, кто посмеет заглянуть туда...

Свирепа как смерть эта связь — между лодкой, погруженной в пучины моря, и гневом вод в его просторах...

Я имею в виду нашу пропавшую подводную лодку. Мы не смеем забывать о ней. Огни потушены, моторы смолкли, а она все движется куда-то, увлекаемая той силой, которую нам не дано познать... Разве что в сновидениях... Или в предсмертный час... Матросы давно арестованы и переправлены в самый дальний, самый тайный большевистский лагерь где-нибудь у Байконура, за карагандинскими лесами... А подводная лодка «Дакар» без света, без экипажа, с рассыпающимися переборками носится с места на место по воле течений и приливов... Уж не думаете ли вы, что приливы — это какая-то самостоятельная бесконтрольная сила? Движение Луны управляет ими. Но что такое Луна с ее ничтожной крошечной орбитой в сравнении с безмерными глубинами космоса? Разве не вовлечена она в общее неодолимое вращение — Земля

и Солнце, звезды, метеоры и галактики — все это кружит, и кружит, и устремляется куда-то... Куда? Какие силы раскрутили и вращают переплетение бесчисленных орбит? Мертвая зыбь колышет бездны черных пространств...

Нелегко видеть все это отсюда, из Тель-Авива. Но в некоторые ночи мне удавалось заглянуть туда, в эти пределы... Два или три раза...

До чего же тяжело подняться утром! Именно не проснуться, а подняться. Проснуться как раз не составляет труда, сон мой слаб и неглубок. Я все слышу. Вот молочник пересекает улицу на велосипеде. От разведенной соседки выходит любовник и принимается заводить машину. Я не сплю, я просто не в силах встать. Сон и явь мешаются, на мгновение я снова с открытыми глазами погружаюсь в забытие, губы бормочут: встать, встать, но я продолжаю лежать, и начинается что-то вроде галлюцинаций, мерещатся обрывки забытых картин, возвращается то, что давным-давно кануло в небытие... Была у меня кошка, я звал ее русским словом — Красавица, она любила играть шнурками от обуви, а я ласкал и гладил ее... Красавица моя умерла еще тогда, когда Голда Меирсон была нашим послом в Советской России. И вот вдруг мне почему-то кажется, что она опять забралась ко мне в постель, расположилась, как обычно, у меня на животе и безмятежно мурлычет...

И тут начинается самое ужасное.

Мне самому трудно поверить в это, но это так: внезапно в моем теле пробуждается плотская страсть — бесстыдная, наглая и жестокая. Много лет уже я не гляжу на женщин и не думаю о них, женщина вообще не существует для меня, даже когда я захожу на минутку в отдел культуры или секретариат кибуцов, девушки-машинистки кидаются от меня врассыпную...

Но что говорить!.. Разве можно вступить в спор с этой дьявольской силой? Это наваждение-желание вдруг охватывает меня всего, в жестокой муке скручивает тело и порождает безумные фантазии — унизительно и дико. В совершенном отчаянии я вдруг вижу великолепные, словно изваянные, бедра, обнаженное плечо, нежные, обольстительные округлости... Я весь горю и изнемогаю в томлении. Потом — какое-то медленное движение, потом движение лихорадочное, и все заканчивается в иступлении... Сознание загнано в тупик. Какие постыдные препятствия воздвигнуты на пути к цели! Все смешалось в диком хаосе...

се, время и расстояние утратили свой образ. Вдруг становится ясно, что физическая близость между мужчиной и женщиной в принципе невозможна, не подготовлена технически. Физиология опровергнута. Бесовский шабаш, глумление над порядком, заведенным самой природой. Нет сил вынести... Обидно и унижительно... И до чего смешно — я сам, доведись мне наблюдать эту сцену со стороны, расхохотался бы — какая гнусная нелепость... До чего омерзительно и безнадежно мое положение — никакими словами невозможно выразить. Тоска...

Иногда все происходит иначе — какая-то благодатная сила заставляет вождление отступить. Покой нисходит на меня.

Я лежу на кровати с открытыми глазами и бесцельно блуждаю затуманенным взглядом по низкому потолку. Горечь и печаль в душе... Моя комната — фотография Берла Кацнельсона на стене напротив, карта поселений Израиля, два железных стула, старые газеты... На постели, в ногах, раскрытый журнал — обложкой вверх... Окурки. Домашние туфли. На полу, в полутьме, в дикой, неестественной позе, распростерт труп. Это мои брюки. Под столом корзина для бумаг. И опять окурки...

Я закрываю глаза.

Да, я нуждаюсь в женской близости, и пусть это будет кто угодно — любая женщина на свете.

Ведь я так мало прошу — ни ласки, ни поцелуя, ни прикосновения губ, ничего, что могло бы хоть как-то задеть или обидеть, пусть просто подойдет и разглядит ворот моей рубашки и, может быть, нечаянно коснется затылка — так, что даже сама не почувствует этого. Или машинально снимет с моего подбородка приставший волос, невзначай, за разговором, подойдет и между прочим снимет этот зацепившийся волос. А может, какая-нибудь девушка вдруг прижмется на секунду к лацкану пиджака щекой — шутя, будто сегодня праздник... Ведь это пустяк, честное слово... Вот что я подумал: как уважается естественное право каждого человека дышать и выражать свое мнение, так же должно быть утверждено законом право коснуться кого-то кончиками пальцев. Или чтобы до тебя кто-нибудь дотронулся. Даже за такой развалиной, как я, должно оно сохраняться. Ведь это ужасно и жестоко — оставить человека на годы и годы одного, без всякой надежды... Ну, пусть бы хоть по ошибке кто-то при-

близился, заглянул в глаза. Что в этом плохого? Я презираю себя.

Вокруг сколько угодно женщин — телефонистка в управлении, соседка-разведенка, та же Люба Кагановски, уборщица внизу, секретарша в объединении трудящихся матерей, жена лавочника, но я всегда позорно трушу, даже сесть в автобусе рядом с женщиной не решаюсь.

Жалкий попрошайка! Старый бездомный пес...

Потом, как обычно, незаметно для себя самого, я вдруг начинаю обобщать. Какие жуткие расстояния разделяют людей, какая пропасть лежит между мужчиной и женщиной, и не только между мужчиной и женщиной, даже между друзьями и единомышленниками не существует взаимопонимания, каждый бредет по жизни в одиночку, не зная цели, погруженный в темноту, отделенный галактическими расстояниями от ему подобных... Тяжелый жребий...

Без пяти семь выходит из своей квартиры соседка. Час назад от нее вышел любовник и ужасно кашлял. Сама она теперь насвистывает какую-то банальную мелодию. Вот хлопнула дверь. Я встаю с постели, натягиваю брюки, одной рукой застегиваю пуговицы, а другой тороплюсь включить приемник — семь часов, последние известия.

IV

Истекает отсрочка, что была мне дана. Я чувствую: там, во внешнем мире, тоже что-то содрогается в тревоге. Будто звук боевых барабанов сопровождает слова диктора. Все, что так долго накапливалось и прилаживалось, оттачивалось и совершенствовалось, напряглось теперь до предела и грозит вот-вот взорваться в неистовом безумии — силы стран Варшавского пакта стягиваются к подножью Карпат на большие летние маневры; в Берлине пропали секретные документы; распространяются упорные слухи о намерении большевиков запустить в космос новую, невиданных размеров, ракету.

Каково, я спрашиваю, слышать все это, если ты к тому же чувствуешь нюансы и знаешь подоплеку событий? Само время истончается и вот-вот оборвется...

Знойный ветер, налетевший на Тель-Авив с востока, с гор, внезапно охвачен сомнением, замер в недоумении,

прошуршал сухим олеандром вниз, во дворе, и все — нет его, исчез. Это была агония. Последняя судорога...

Я иду бриться. Ничто не должно отвлекать меня от этого занятия, потому что морщинистую кожу очень легко порезать. Непостижимо — сколько бы я ни старался проветривать, избавиться от плесени все равно невозможно. Даже мыло размягчается в этой сырости. Полотенце никогда не просыхает и сохраняет тяжелый запах моего тела.

Из ванной я шлепаю босиком на кухню и ставлю чайник. На столе, разумеется, не убрано — газеты, крошки бисквита, остатки вчерашнего чая в грязном стакане, крышка от варенья запропастилась куда-то, и какая-то глупая муха решила покончить с собой именно в этом варенье.

Солнце уже поднялось достаточно высоко и режет усталые глаза. «Уважаемое светило, нечего тебе тут делать», — говорю я и направляюсь к окну закрыть жалюзи — как будто наступил вечер. Жалюзи отвратительно скрипят, у меня даже мурашки по спине пробегают.

Бутерброд с маргарином, варенье, кефир, размягший от жары помидор, стакан чаю. Может быть, потом еще стакан чаю. Иногда, закончив трапезу, я складываю посуду в раковину, но чаще ленюсь это сделать и все остается на столе. Кран отрывисто капает, я злюсь, пытаюсь закрутить его — аж пальцы белеют, — но разве мне с ним справиться! Он стоит на своем и продолжает капать.

Сигарета. А где спички? Что за наказание, почему они вечно исчезают?

Восемь. Тель-Авив плавится от жары. Еще немного, и сами здания, словно марево, растворятся в воздухе. Пока не было на этом месте города, песчаные холмы тянулись до самого берега. Пустыня смыкалась с морем. Но вот явились мы и втиснулись между двумя стихиями. Со свойственным нам легкомыслием сунули голову в пасть зверю. Теперь эта пасть норовит захлопнуться, особенно отчетливо это ощущаешь в такие вот дни. Пустыня и море сомкнутся, а мы будем погребены под водами и песками. Горячий воздух струится, весь город колеблется, словно мираж. Деревья, что насажены по краям тротуаров, приподнялись, отделились от почвы и повисли, подхваченные зноем. Вообще, разве это город? Картонная де-

корация! Потемкинская деревня, сооруженная зачем-то в пустыне на морском берегу. Когда-нибудь зимой разыграется буря, и тяжелый русский снег засыплет все эти дома и деревья, сотрет с лица земли то, что зовется Тель-Авивом, и не останется ничего, кроме беспредельной белизны... Все растворится в ней...

Сердце сжимается в мучительном предчувствии. До чего же мы уязвимы! Так хрупок каждый из нас...

Я знаю, что они придут! Как кроты, выползут из-под земли, ястребами упадут с ясного неба!..

Море лежит у подножья города и угрожающе рокочет...

Дыхание пустыни на наших лицах...

Ненависть солнца...

Я погибаю от жары. Пот льет с меня градом. Снять бы рубашку, но нет сил шевельнуть рукой. Я толстый человек и, к ужасу моему, все продолжаю полнеть. И такой ничемный, никому абсолютно не нужный, лишний со всех точек зрения...

А, наконец-то, сквозь прорезь в двери падает газета. Нужно нагнуться за ней. С газетой в руках я тащусь в комнату, тяжело усаживаюсь и включаю приемник. Этот злодей так медленно разогревается, что большую часть восьмичасовых известий я по его милости упускаю. Прогноз погоды: в горах сухо, в приморской полосе значительная влажность. Да, я это чувствую... А что толку, спрашивается, что я все чувствую, и все знаю, и никогда не ошибаюсь? Что толку!..

Да, вот так — живет себе человек, живет, неизвестно зачем, а потом в один прекрасный день скончается, и нет его, и ничего...

Снаружи несет паленым — город уже обугливается на солнце. А может, это мои неутомные соседи опять жарят печенку.

Кто же это может прийти ко мне, да еще в такую рань? А, это электрик, снимает показания счетчика. Товарищ электрик, не торопись, подари мне минутку твоего времени, знаешь, я должен объяснить тебе кое-что, ты ведь никогда не слышал такого имени — Зиновьев, верно?..

Ладно, посмотрим, что пишут в газете... Сирия подала жалобу У Тану... На вершине Ольга, обвал, двое жителей засыпаны... Иегуда Готхельф клеймит лицемерие буржуазной прессы...

Ольга... Я вспоминаю Ольгу... Какие расстояния... Печальный лес в низине, мерцание сумерек. Оля. Ольга Борисовна. Тележный переулочек. Какой унылый вид... Солнце садится, розовые пятна заката на сером снегу... След полозьев... Запах теста... Ржание лошадей... Ее лицо в платке. Слезы... Низкий грудной смех сквозь слезы... Двор весь завален чем-то, какими-то ящиками. Холмы, одетые заснеженными лесами... Мороз, вкус ветра... Ее голос, каждое слово, как поцелуй... Сердце бьется, трепещет, словно птичка... Ольга!.. Ноги утонули в громадных мужских сапогах... Она смеется и показывает белые маленькие остренькие зубы. Веснушки на щеках точно живые... Ее рука — ногти поломаны от тяжелой работы... Однорукий ее брат, Осип, не желал звать меня Шрагой и, усмехаясь, говорил: Сергей Моисеевич... Вот они вместе у меня в комнате, в моем подвале. Осип в углу сосредоточенно тянет какую-то заунывную песню, а Оля красит стены и вдруг молча треплет меня за вихор, губы ее раздвинуты... А вот она в зеленой шали стоит и чистит картошку, и безуспешно пытается разжечь печку — «сыры едрова, чтоб ты пропал!» — и смеется...

Ее смерть...

Мои скитания...

Долгое одинокое угасание...

Я тоже хочу, как правительство Сирии, подать куда-нибудь жалобу. Сегодня все раздражает меня даже сильнее, чем обычно. Ведь это, в конце концов, невыносимо — пол в комнате просел, вражеские агенты плетут интриги и пытаются заставить меня замолчать, известка на стенах желтеет и осыпается, волосы выпадают... Напишу еще раз Моше Даяну, но на сей раз буду умней — подкараулю его на улице и вручу письмо в собственные руки. Заташу куда-нибудь в подворотню и заставлю прислушаться к моим словам — буду говорить, буду кричать, но найду путь к его сердцу: выслушай меня, товарищ Даян, выслушай же наконец!.. Кстати, этот Иегуда Готхельф — до чего же небрежно и поверхностно он пишет о буржуазной прессе, многие аспекты вообще не затронул. Придется сесть и набросать свои замечания.

Одиннадцать. Небо и земля пылают в огне. Тель-Авив еле дышит. Море расположилось внизу и сияет ненавистью. Что-то накатывается, какое-то томление, но тут же пропадает само по себе. Ни на что нет сил...

Вот что я вам скажу: между температурой и влажностью воздуха существует жестокая извращенная связь.

О, уже двенадцать. Последние известия. В Иерусалиме политические дебаты на высшем уровне. Андрей Громыко снова бесчинствовал в ООН и публично оскорблял израильский народ. Мне нехорошо, в желудке опять какая-то тяжесть... Где мои таблетки? На веранде валяется труп птицы. Большой черный кот спрыгивает откуда-то сверху, обнюхивает мертвую птичку, легонько дотрагивается до нее лапой, но потом с отвращением отворачивается и неторопливо удаляется в заросли олеандра во дворе. Жирный такой, противный котиче. Во мне вдруг пробуждается ненависть к нему.

Чтоб ты пропал!..

В четверть второго я выхожу из дому. На углу квартала есть филиал молочного комбината «Тнува», там я обычно обедаю. По дороге я задерживаюсь в вестибюле и проверяю почтовый ящик, который, конечно, пуст. Не успеваешь переступить порог столовой, как на тебя набрасываются полчища мух. За едой я пробегаю глазами заголовки «Маарива», а «Ха-Арец» использую в качестве веера — обмахиваюсь им и отгоняю мух. Затем я пью чай и просматриваю «Ха-Арец», обмахиваясь «Мааривом». Обе газеты в равной степени повергают меня в уныние — какая непостижимая, печальная слепота! Если бы я не избегал ненужного пафоса, я бы даже сказал — трагическая слепота!

После обеда я тащусь домой и принимаю холодный душ. Опять это никогда не просыхающее полотенце и гнусный запах собственного тела... А ведь когда-то я был молодым, честное слово!.. И каким энтузиазмом горел, какая буйная радость кипела в сердце! Не на российских просторах, а в моей груди бушевала революция!..

Как давно — и как далеко! — все это было...

Без четверти четыре за мной заедет машина из рабочего совета, сегодня я еду в кибуц Тель-Йосеф. А, вот он, шофер, уже свистит под окном. В чем дело, товарищ шофер, что ты так свистишь, неужели ты полагаешь, что я способен скакать по ступеням, как олень?

И — бесконечные часы в раскаленной кабине, в бензиновом чаду.

Желтые, выжженные солнцем поля по сторонам шоссе...

Нельзя более откладывать. Сегодня же я обязан воспользоваться предоставленной мне отсрочкой. Быть может, это моя последняя возможность, кто знает... Вечером я буду стоять перед жителями Тель-Йосефа и вот этими старыми кулаками стану бить в их сердца, как в набат,— они должны понять, всполошиться — пока не поздно!— катастрофа надвигается!.. Нет, я ничего не забыл, я действую согласно намеченному плану, в строгом порядке. Я знаю, силы мои уходят, но пикап, который везет меня, пока что достаточно крепок. Колеса крутятся и скользят, скользят по размякшему асфальту...

И Земля скользит по орбите, и Солнце вращается, устремляясь к туманностям, и вся галактика увлекается в глубины космоса — незыблемые законы управляют движением звезд и движением пикапа. Правда, большевики намерены вмешаться в это вечное течение, нарушить и взорвать существующий порядок вещей. Не думайте, что у них не хватит сил. О, я-то их знаю!.. И уж я их не оставлю, своими слабыми расшатанными зубами вцеплюсь им в глотку!..

Извините, меня зовут.

V

Вкус этой печали давно знаком тебе: чужой и усталый, ты являешься под вечер в старый кибуц. Запах сена, безмятежное стрекотание дождевальных вертушек, шум воды в брызгалках. Мужчины в майках сидят в шезлонгах и читают «Давар», стайка ребятишек окружает тебя, детский смех, прикосновение ласкового вечернего ветерка... Твое одиночество...

Поджарый немолодой культурник встретит тебя, сияя от радости, угостит холодным соком и проводит в душ — сполоснуться, смыть с себя дорожную пыль. Потом он сунет тебе в руки кибуцный бюллетень, а его жена подаст кофе с пирожными. А ты, столько изъездивший и повидавший на своем веку, вдруг смутишься, придешь в замешательство и огорчишься, что заставляешь хлопотать. Начнешь заикаться и лепетать слова благодарности, уверять: не стоит, честное слово, не стоит, спасибо, большое спасибо.

Жена или дети хозяина поинтересуются твоей семьей.

Ты станешь выкручиваться, оправдываться перед ними, как будто тебя обвинили в чем-то ужасном, и

губы твои вдруг растянутся в странной неживой улыбке.

Потом в комнату зайдет сосед. Он знает кого-то в отделе культуры. Усядется и присоединится к вялой беседе, станет восхищаться тобой — ему, конечно, известно твое имя, только он не помнит откуда. Ты угощаешь всех собравшихся своими сигаретами. Разговор переходит на политику, тотчас затрагиваются все мировые проблемы. Предлагают чай. Ты ограничиваешься несколькими пустейшими замечаниями, поскольку не желаешь раньше времени раскрывать свои карты — не для этого ты сюда приехал.

Сегодня вечером в кибуце проводится какое-то спортивное соревнование. Тебе спешат сообщить об этом заранее, чтобы ты не был неприятно поражен тем фактом, что молодежь не почтила твою лекцию своим присутствием. Молодежь интересуется баскетболом, а не проблемами антисемитизма в стране победившего социализма. Антисемитизм не мешает им крепко спать по ночам.

Я не расстраиваюсь — в конце концов, я приехал говорить не с ними. Я рассчитываю на моих ровесников, с ним я обращаюсь. Я знаю, что современный юноша живет в ином ритме — бегаёт, танцует, занимается спортом. Да разве не мы сами к этому призывали — вырастить в стране новое поколение, поколение мужественное и неприхотливое? Будто хотели раз и навсегда избавиться от какой-то червоточки в собственной душе. Так что теперь, я считаю, у нас нет ни малейшего права кривиться при виде этого нового типа — еврейского мужика.

После ужина тебя оставят одного — отдохнуть. Усадят в шезлонг на маленькой терраске, окруженной декоративными деревцами. Совершенно верно, ты должен отдохнуть и подготовиться к лекции, и, кроме того, у хозяев тоже есть дела.

И так, без мыслей, усталый, ты будешь сидеть и смотреть, как угасает день. Немое зарево пожара пылает на западе. Шепот ветра в темных вершинах. В голове бродит какое-то стихотворение Лермонтова или навязчиво крутится строчка Маяковского, прицепилась и не отпускает, словно зубами впилась.

Скользят и растворяются, стираются и исчезают все грани, все разделительные линии во внешнем мире. Хлопья темноты творятся вокруг, тяжело дышат, вороча-

ются, медленно уплотняются. Тени угрюмо раскачиваются из стороны в сторону — нет им покоя и нет согласия между ними и между твердыми телами.

Легкие звуки возникают и тотчас отодвигаются в темноту, будто ощупывают поверхность тишины удивительно нежными пальцами и, охваченные трепетной любовью, замирают — боятся сделать тишине больно.

Потом начнут вспыхивать огни в квадратах маленьких окон, в просвете между занавесками мелькнет смеющееся женское лицо. Низкий рокот мотора возникнет где-то в стороне...

Чужая жизнь...

Глухое мычание коровы достигнет твоих ушей, и тут внезапно какая-то плотина прорвется в груди — безмерная грусть охватит все твое существо, душа начнет корчиться в тоске, словно наделенная плотью.

Безмолвие погружающихся в темноту лугов действует угнетающе, тяжесть и слепота наваливаются на тебя, ты зажмуриваешься изо всех сил, но и с закрытыми глазами продолжаешь видеть их — только еще более мрачными. И будто не в Тель-Йосефе ты сидишь, а совсем в другом месте, далеко-далеко отсюда, и не лето сейчас вовсе, не сумрак теплой южной ночи опускается на тебя, а густой тяжелый снег. Беззвучно падают и падают черные снежинки: Шрага, тебя ждут... Прислушайся. Пора идти. Да, уже сейчас.

Куда? Зачем? Нет сил...

За темными лесами, за бескрайними просторами тайги, за равнинами тундры, у границы вечного льда...

Иди. Тебя ждут. Да, именно теперь. Твое время уходит... Вставай и иди, Шрага. Иди.

Но позвольте, разве я способен идти?..

И какая-то неуверенность в сердце: а вдруг это обман? Я не двигаюсь. Ведь так уже было однажды — меня обманули, втянули в страшную ложь и похитили молодость. Теперь я не поддамся. Я не двигаюсь. Можно подумать, что у меня есть силы куда-то идти!..

Проглотить таблетку — вот все, на что я теперь способен. Ну, еще закурить сигарету. Заткнуть уши и съежиться в безмолвии...

В четверть десятого за мной приходят и провожают в столовую. Я окидываю взглядом слушателей: одиннадцать старичков с запавшими ртами дремлют на стульях.

Шесть старушек и культурник. Пепельницы разбросаны по столам, еще не успевшим просохнуть после раствора дезинфекции. Спицы безостановочно пляшут в руках старух, а со стены на меня смотрит, сурово сжав губы, в великолепии формы царской армии времен русско-японской войны, Йосеф Трумпельдор. Культурник представляет меня, а все собравшиеся тепло приветствуют докладчика. Зал освещен желтым, словно помятым, электрическим светом. Я встаю. В ту же секунду одна из спиц со звоном падает на пол. Пробыл твой час. Говори перед сынами Израиля, и да внемлют тебе. Я осторожно начинаю. Несколько общих фраз — вступление. Вкратце разъясняю различие между стихийным антисемитизмом в России и государственным. Правительственный аппарат умело и продуманно, с холодным расчетом, разжигает ненависть к евреям. Антисемитизм масс контролируется и направляется точно так же, как работа какого-нибудь гигантского промышленного комплекса. Эта грязная кампания не просто отражает взгляды самого правительства, она — неизбежное условие их существования, ибо в то мгновение, когда контрреволюция — истинная или воображаемая — исчезнет, прекратит свою деятельность, в тот же миг испустит дух и сам режим. Это азы диалектики. Евреи — то пугало, тот носитель контрреволюции, которым стращают простой народ. Пока что я только обозначил теоретическую сторону вопроса. Теперь посмотрим, как эта идея претворяется в действие. Специально обученные люди — может быть, какой-нибудь тайный филиал Совинформбюро или коллектив секретного института внутренней идей — сидят всю ночь, крепким чаем разгоняют сон и сочиняют подрывную деятельность, которой якобы занимаются еврейские элементы, выдумывают агентов, которых отродясь не бывало. Я с их методами знаком, знаком по своему личному опыту. Еще в девятнадцатом году изучил эту систему изнутри. Во всех этих институтах на широких крепких задах сидят девушки-машинистки и добросовестно размножают всякую пакость и нечистоты: материалы о евреях-спекулянтах, о хитрых евреях-контрабандистах с тайными заграничными связями, о евреях-антисоветчиках, о происках мирового Джойнта и международного сионизма. Заговор и коварство в каждой захудалой синагоге, за каждой занавеской. И вся эта стряпня ежедневно преподносится трудящемуся с помощью средств массовой информации. И все ради того, чтобы нагнать страху на простой народ. Я позволю себе, товари-

щи, с вашего разрешения, несколько отклониться от темы, чтобы затем взглянуть на нее с новой позиции. Мне хочется напомнить вам слова греческого ученого Архимеда, который говорил: дайте мне только точку опоры, и я шутя опрокину мир. Кажется, до сих пор между специалистами существуют разногласия — насколько правомерно подобное утверждение. Зато ни малейших сомнений нет в том, что во всех поколениях, всегда и повсюду ненависть к евреям служила точкой опоры для любых тиранов, которых дьявол, как видно, подзуживает взять да и перевернуть земной шар.

В этом вся суть дела. И большевики в свой черед используют ненависть к евреям как ту силу, которая позволит им захватить мировое господство и распространить свою власть на всю солнечную систему, но даже, если им это, не дай Бог, удастся, они не остановятся и будут неистовствовать, пока не перевернут вверх тормашками весь космос и не превратят вечное движение в дикий хаос.

К чему я это говорю? Народ Израиля должен наконец подняться и сплотиться, создать некое тайное мировое правительство, которое будет действовать в условиях глубочайшей конспирации — да, именно так, как это рисуется воображению наших ненавистников. Мы должны стать такой силой, перед которой сникнут и в ужасе оцепенеют наши враги. Мы обязаны отстаивать себя.

Я не считаю нужным в данный момент развивать эту тему. Я люблю порядок и поэтому следую намеченному плану. Продолжим рассмотрение нашего основного вопроса — ненависти к евреям, но теперь в несколько ином аспекте.

Вам, конечно, знаком антисемитизм старого типа, злобный звериный антисемитизм, столь распространенный в России. Явление, я бы даже сказал, в своем роде колоритное и, разумеется, для нас весьма неприятное.

Я хочу, товарищи, чтобы вы попытались на минутку представить себе Россию, эту страну богатырей, просторы, которым нет конца и края, все эти горы, леса, степи, печальные реки, пустыни вечных снегов. Ничего удивительного, что тоска и отчаяние гложут душу русского человека, ужас пространства сводит с ума. Бескрайняя ширь и безмерное горе.

Из поколения в поколение православная душа не находит себе покоя, разрываясь между смирением и дикой злобой. Когда российский холод терзает человека своими

ледяными когтями, рассудок помрачается и отказывается служить. Невежественный русский крестьянин способен на такую жестокость, какой мы с вами и представить себе не можем. Например, в один прекрасный день какой-нибудь Василий вдруг встанет и ни с того ни с сего зарежет свою родную мать. Вы спросите, какая ему, этому Василию, корысть убивать старуху мать? А дело вот в чем. Отец Василия задумал жениться на молодой — приглянулась ему, допустим, соседская дочка, но старуха жена, как назло, никак не желает помирать. Жалко Василию до слез несчастного отца, мочи нет видеть, как тот страдает и убивается, как глушит себя водкой. И вот, чтобы помочь отцовскому горю, берет Василий нож и бросается на мать. Поймите, товарищи, из сострадания он это сделал, не мог он больше глядеть, как мучается родной отец, душа разрывалась в груди от жалости. Но через месяц, на свадьбе отца с той самой соседской красоткой, пьет Вася чарку за чаркой, наливаясь тоской, а потом вдруг встает и разбивает пустую бутылку об голову своего родителя. И молодую тащит утопить в реке. Потому что вспомнил он теперь несчастную мать.

И так ему ее жалко, что рыдает он день и ночь горючими слезами. Двадцать дней и двадцать ночей не спит, убивается, душу свою рвет на куски.

Уверяю вас, товарищи, во всем мире нет другой такой страны, где бы слезы текли в таком обилии. Все в России плачут. Аннушка плачет, потому что Ваня ее не любит, и снова плачет Аннушка, вдруг узнав, что Ваня ее полюбил. Плачут поэты и агрономы. День за днем рыдает рабочий класс. Заливаются слезами студенты. Космонавты в ракетах исходят слезами от межзвездного одиночества. Даже тайная полиция втихомолку смахивает слезу. Пытает несчастных, казнит безвинных, а как замучает кого до смерти, сама жалеет. Утирает слезу и признает ошибку свою!

Меня самого в двадцать третьем году арестовали в Смоленске в связи с тем, что один немецкий еврей по фамилии Мунгарт основал в Вене какую-то меньшевистскую фракцию. «Нам известно, товарищ Унгер,— сказал мне следователь,— что ты родной брат мерзавца». — «Я, товарищ следователь,— сказал я,— всегда был единственным сыном у моих несчастных родителей, и, кроме того, моя фамилия Унгер, а не Мунгарт, к тому же, как известно, в девятнадцатом году в «Красной звезде» была напечатана моя статья, в которой я резко критикую и осуждаю

меньшевиков». — «Ты, товарищ Унгер,— говорит следователь,— не хочешь говорить правду, боишься ты взглянуть правде в глаза. Придется применить к тебе особые меры, раз ты отказываешься помогать следствию».

Короче, я стою на своем, а он на своем. Кончилось тем, что не выдержал он и стакан кипятка, что стоял у него на столе, выплеснул мне в лицо. Слезы брызнули у меня из глаз, но потом, товарищи, я увидел, что и следователь мой, не таясь, льет слезы. И вот мы сидим и плачем, как два родных брата, но тут он вспоминает, что я вовсе не его брат, а того меньшевика из Вены, и следствие продолжается. Опять он твердит свое, а я свое.

Вот так...

Вы только представьте себе, товарищи, ужас этой тоски и меланхолии. Плачет, плачет русский человек, везде и всегда плачет. От горя и отчаяния плачут бандиты на карторме. От собственной дикости плачут.

Великий и удивительный народ!

Подумать только — сколько дикости и сколько отчаяния вместили в себя российские просторы. Год за годом — голод, болезни, холод, грязь, вши, пьянство, нормы труда и профсоюзные собрания... И везде, везде вы встретите то же непостижимое смешение звериной жестокости и слезной жалости, жестокость уступает место жалости, и жалость вдруг оборачивается еще худшей жестокостью. Это неизбежно, как смена времен года, как паводок в могучих российских реках. Везде, на всех широтах одно и то же — от Карпат до Урала и от Урала до Владивостока. То же во все царствования, во все эпохи, в любой отрезок времени — возьмите вы Крымскую войну или Красную гвардию, конницу Буденного на рысях или заброшенную деревушку на самом краю света — везде та же покорность судьбе и смирение и та же слепая ярость и звериная кровожадность.

Однако, товарищи, главное, что нас с вами волнует в таинственной русской душе, это их лютая, ничем не объяснимая ненависть к евреям.

Представьте себе, пожалуйста, такую картину: идет себе некий Митя под вечерок — пьяненький, веселенький, добрый, распевает свою любимую песню и вдруг — взгляд его падает на освещенное окно. Смотрит он и видит: какие-то нелепые фигуры раскачиваются непонятно зачем, без всякой уважительной причины, взад-

вперед. Эдакие мерзкие никудышные создания, черные и плюгавые, раскачиваются и завывают, гнусно так завывают. Митя останавливается и уже не поет. Непонятно... Кто это позволил, почему допускают, чтобы они тут завывали и раскачивались? Что им тут — ихняя Палестина? Стена Плача им тут?! Что же это получается — невозможно русскому человеку пройти по Москве, по родной своей столице, чтобы не наткнуться на этих спекулянтов проклятых! Будто бы не молоком матери-России они вскормлены!.. И вот вскипает в Митиной душе обида и горечь. И вот, товарищи, уже не в силах наш Дмитрий больше молчать, наклоняется он, поднимает камень поувесистей, оглядывается зачем-то на всякий случай по сторонам и швыряет камень туда, в окно. А потом убегает в страхе и радости, от которых сердце колотится в груди. И тотчас великая печаль охватывает его...

Именно так.

Я, товарищи, давно уже понял — они преследуют евреев, травят, сживают со света, но вместе с тем и жалеют. Обижают и сами мучаются, гонят и терзаются, мечтают уничтожить весь израильский народ, чтобы потом казниться своей жестокостью.

Почему, например, проложили шоссе в Бабьем Яре? Зачем уничтожили еврейских поэтов? Почему все время стараются стереть нас с лица земли? От страха, единственно от страха. Потому что боятся, как бы не вскипела великая жалость народная и не смыла в горячем слепом порыве не разбираясь и евсекцию, и Центральный Комитет, и диалектический материализм заодно. Короче говоря, революция там, как видно, висит на волоске — евреи им ее устроили, и евреи с ней и покончат.

Такой великий и несчастный народ. Растерзают, растопчут нас, а назавтра проснутся в глубочайшем раскаянии и с жадной милосердия в сердцах. Такая тоска, такая тоска терзает их денно и нощно, разрывается душа на части, и кровавые слезы текут из глаз.

К сожалению, товарищи, наши политики весьма далеки от понимания этих проблем.

Остается только удивляться этой печальной слепоте.

Даже товарищ Моше Даян — молодой, энергичный, умный человек, не лишенный в иные моменты изобретательности и хитрости, даже он, когда заходит речь о России, мыслит лишь понятиями геостратегии. Наш долг открыть ему глаза на Россию. В первую очередь ему. Опасность день ото дня растет.

И время, господа, не стоит на месте. Время бежит, бежит неудержимо...

Трудно проникнуть в эти темные и мрачные глубины, постигнуть нелепую смесь жалости и жестокости, взаимосвязь еврейского ума и русской души. Помнится, много лет назад мне попала странная поэма русского символиста Вячеслава Иванова. Он писал про белых медведей, которые мечтают жить под пальмами в пустыне, среди раскаленных, гонимых ветром песков. Несбыточность этого желания доводит бедных мишек до такого дикого отчаяния, до такой трагической меланхолии, что слюна начинает течь у них из пасти.

В общем, товарищи, я сказал и еще раз повторяю: мы должны быть готовы к самому худшему. Против слепой и безжалостной стихии смешно бороться методами дипломатии. Мы должны вооружиться ненавистью и хитростью, должны научиться перегрызать врагу горло. Не оттаивать перед применением любого оружия — химического, электрического и вообще никому доселе не известного. Пока не поздно, господа, пока еще не поздно!

Я, товарищи, закончил. Прощу задавать вопросы.

VI

Дверь открыл какой-то господин, по виду иностранец, в костюме и при галстуке. Пропуская меня вперед, он весь съежился и вжался в стенку. В комнате, на диване, окруженная подушками и подушечками, лежала Люба. Не двигаясь с места, она протянула мне кончики пальцев и тихо проговорила:

— Это ты, Шрага... Если бы я встретила тебя на улице, наверно, не узнала бы... Подумать только, как много лет мы не виделись!.. Садись, Шрага. Уго сейчас придет и приготовит нам чай.

Господин иностранец торопливо задал четыре коротеньких вопроса:

— Молоко? Лимон? Сахар? Сахарин?

Люба поморщилась:

— Прощу тебя, Уго, не говори так много. Вместо того чтобы болтать без толку, постарайся лучше запомнить то, что я тебе скажу: Шраге положишь сахар и лимон, мне — как обычно, и ни в коем случае не клади себе ни

крошки сахару, ты слышишь, Уго? Ну, иди уже, пожалуйста. Что ты стоишь и смотришь на нас? Уставился как теленок... Подожди. Подожди минутку, я тебя прошу. Почему ты бежишь? Прежде всего вас следует познакомить: Шрага, это Уго, мой новый супруг. Как видишь... Профессор-графолог из Бухареста. А это, Уго, Шрага Унгер, один из пионеров движения, человек духа. Послушайте, друзья, мне кажется, кто-нибудь из вас мог бы наконец закрыть дверь. Садись, Шрага. Садись, хватит метаться по комнате. Садись и не смотри на меня так, ты прекрасно знаешь, что здесь, в этом ужасном климате, ни одна женщина не может выглядеть хорошо. Что делать — ты тоже не стал красивей за эти годы, так что нечему удивляться. Шрага, ведь я просила тебя сесть! Сядь в конце концов...

Я опустил в кресло и обвел комнату взглядом: кругом цветы. Цветы в горшочках, в вазах и даже на картинах, что развешены по стенам. Так что Люба осталась прежней Любой, ничуть не изменилась. И это очень хорошо, что не изменилась, я очень рад, что Люба не изменилась,— большинство изменений, как правило, к худшему.

Господин иностранец вернулся в комнату, принес чай и принялся настойчиво предлагать бисквиты. Его напуганный вид и навязчивая предупредительность начали раздражать меня. Противный тип. Эти реденькие рыжие усики, отчего-то мокрые... Мерзость. Отвратительный человечек.

— Уго, ты можешь извиниться и выйти на веранду полить цветы,— сказала Люба.— Я хочу поговорить со Шрагой тет-а-тет. Мы так давно не виделись... Постой, Уго, вентилятор. Зачем же ты выключаешь? Разве я просила выключить? Я сказала: подвинь. Да не сюда, Уго! Куда ты двигаешь? Я же сказала — в сторону.

Уго подвинул вентилятор, извинился и вышел. Только теперь я заметил домашние туфли на ногах господина иностранца. Какое нелепое сочетание — коричневый костюм, галстук в крапинку и шлепанцы...

— Да, Шрага,— вздохнула Люба.— Это мой муж. Опять муж... Как видишь... Я знаю, что ты думаешь. Да, ты прав... Сколько раз я зарекалась: хватит, больше никаких замужеств, никаких разводов, ничего! Но я не могу быть одна, Шрага, не могу! Я не настолько сильна, чтобы оставаться одной... И почему ты берешься решать за дру-

гих? Кто тебе дал такое право? Ты слишком высокомерен, Шрага! В конце концов, кто ты такой, чтобы судить меня? Господь Бог? Ты вообще ничего не понимаешь! Перестань важничать и задира́ть нос. Лучше погляди на себя, на кого ты сам похож! Так что нечего указывать на других!.. Нет, нет, кури, пожалуйста, можешь курить сколько угодно. Какая разница — все равно весь воздух давно отравлен...

Подумать только — после стольких лет я опять сижу и разговариваю с Любой... Да, я волнуюсь, смешно было бы это отрицать. Я давно свыкся со своим одиночеством, и мне даже странно, что женщина может так откровенно со мной разговаривать и вдобавок еще отсылает своего мужа ради этого разговора. Да и вообще, как тут можно оставаться спокойным — ведь это Люба, та самая Люба, Любочка... Такая же высокая, стройная... Чуть-чуть подкрашена, те же русые волосы. И главное, тот же быстрый пронзительный взгляд.

Ее руки, пальцы... Звук ее голоса — сколько лет я его не слышал... Я хотел сказать ей что-нибудь, но не мог найти слов.

— Люба, ты красавица,— сказал я наконец по-русски.— Ты нисколько не изменилась, честное слово, и так же волнуешь, как прежде. Ты просто не знаешь, до чего ты мила, прелестная Люба...

Она вскинула глаза и посмотрела на меня так, словно я только сию минуту появился в комнате.

— Шрага, зачем ты говоришь глупости? К чему это лицемерие? Я прекрасно знаю, как я выгляжу, так что ты попусту растрачиваешь комплименты. Мы оба состарились — и я, и ты. Это Тель-Авив угробил нас. И не только нас, разумеется. Он медленно убивает всех. Чему ты удивляешься? Тебе кажется странным, что я так говорю? А разве ты сам не видишь этого? Скажи мне, пожалуйста, что мы тут едим? Сплошной яд — фрукты, овощи, все отравлено. А что пьем? Когда ты открываешь кран, что оттуда льется? Нет, ты ответь, я хочу, чтобы ты ответил. В чем дело, почему ты молчишь, ведь я тебя спрашиваю, скажи!

— Холодная вода.

— Ах, вот как!— Глаза ее засверкали.— Ты так думаешь? Так вот, чтобы ты знал,— никакой воды давно нет в Тель-Авиве! С водой покончено, то, что мы пьем,— это

один сплошной раствор, везде химия! Чтобы убить микробов, они вливают в источники тонны всякой гадости, всякой отравы. Нет, подожди, я еще не закончила. А чем мы дышим? Ты ведь близок к правительству, Шрага, ты там важный человек — переводишь для них, выступаешь, так вот, скажи мне, пожалуйста, что вы сделали с воздухом? Вообще с природой? Почему вы уничтожаете все живое?

— Люба, — попытался я остановить ее. — Люба, мне кажется, что ты не права в данном случае. Можно подумать, что тебе не хватает воздуха. Вот мы с тобой сидим, беседуем и прекрасно себе дышим, полной грудью вдыхаем воздух земли Израильской. И я, признаюсь, совершенно не понимаю твоего раздражения.

— Карбон-диоксид, — зловеще прошептала она. — Карбон-диоксид. Грязь, газы, кислоты, газолин, мазут, копоть, гарь. День и ночь в этом Тель-Авиве дым и смрад. Посмотри, Шрага, посмотри на несчастные деревья — неужели ты не видишь, как они умирают? Во всем городе, в садах, в аллеях агонизируют тысячи деревьев — кипарисы, фикусы, камелии, сикоморы. О, Шрага, если бы деревья умели кричать, весь город сотрясался бы от их воплей, но они умирают молча — без единого вздоха, без единого упрека. Они только смотрят на нас, взывают к нам своим печальным видом — всюду та же картина — в скверах, на площадях, в парках, на улицах. Гибнут, даже не имея возможности пожаловаться. Тонны черной сажи вокруг. Всяческая химия и отравы в нашей пище, воде, в наших легких, в крови. Даже грудных младенцев не щадят, травят ядами.

Пожалуйста, взгляни хотя бы на пианино, ты видишь — даже клавиши почернели. Можешь подняться и выйти на минутку на веранду, Уго покажет тебе, как увядают и желтеют нежные беззащитные растения. Сколько бы я ни ухаживала за ними, они все равно погибают. Запах смерти и тления вокруг... Я так рада, Шрага, что ты догадался зайти — столько лет мы с тобой повсюду разъезжали вместе, наверно, нет такого поселения, где бы мы не выступали. Даже странно, что с тех пор мы ни разу не виделись. Ты забыл меня... Нет, Шрага, я не упрекаю, я ведь тоже почти никогда не вспоминала о тебе, просто сейчас, когда я тебя вижу, мне так грустно... Ты уйдешь и опять меня забудешь... Согласись — это очень печально... Ах, Шрага, я чувствую, что ты не здоров, и так много куришь, разве можно столько курить?..

Господин иностранец опять робко, бочком протиснулся в дверь и приблизился с легким поклоном. На этот раз он предложил приторно сладкое желтое варенье и получил разрешение остаться в комнате. Воспользовавшись нашим молчанием, он отпустил несколько неодобрительных замечаний в адрес правительства.

Из разговора я понял, что Люба уже одиннадцать лет сидит в каком-то комитете по охране окружающей среды при совете трудящихся женщин.

Неудивительно, что она успела глубоко вникнуть в данную проблему.

Я подумал, что, объединив наши усилия, мы могли бы, пожалуй, кое-чего добиться. Главное, поддержать друг друга. Я, например, могу подписаться под петицией, которую Люба собирает в ближайшее время направить правительству. Действительно, почему бы не подписаться? Зачем отказывать человеку в таком пустяке? Не исключено, что Люба потом тоже сумеет сделать что-нибудь для меня — через какого-нибудь Сашку свяжется с Муликом, которому ничего не стоит устроить мне свидание с Моше Даяном — пусть великий человек уделит мне час своего времени, о большем я не прошу. У Любы наверняка сохранились многочисленные связи. Я помню, в свое время сам Бен-Гурион не отказывался послушать ее пение...

Я стал развивать свою мысль и, увлекшись, прочел Любе и господину иностранцу целую лекцию. Указал на большевистскую опасность, разъяснил намерения этих бандитов, задыхающихся от ненависти к израильскому народу, напомнил о ракетах, запускаемых в межзвездное пространство, и о том, что большевики, ни минуты не колеблясь, принесут в жертву своим захватническим планам всю Галактику. Короче говоря, выложил все, что накопилось на сердце. Я понял, что мои слова чрезвычайно взволновали Любиного мужа. Он дважды перебивал меня, чтобы высказать свое мнение о современной молодежи.

Люба одергивала его.

Потом я вдруг замолчал и обвел комнату взглядом.

Черный рояль, грузный и мрачный, на нем безделушки и статуэточки.

Какая насмешка...

Какое одиночество...

Она... Он... Я...

«— Люба! — захотелось мне воскликнуть. — Господин Уго! Давайте будем друзьями, братьями! Начнем жить

по-новому, создадим такую маленькую коммуну, поселимся вместе, под одной крышей, будем питаться из одного котла, делить по-братски кусок хлеба, вместе будем выполнять всю домашнюю работу, по очереди мыть и убирать, по очереди выносить мусорное ведро, каждый сможет поделиться с остальными своими мыслями, и никто никогда не перебьет товарища, не уйдет, не выслушав брата. Организуем здесь свой маленький кибуц. Я перевезу сюда все мои вырезки, списки, документы, письма русских евреев, чтобы вы тоже смогли познакомиться с ними, Люба будет играть нам, Уго тоже пусть как-нибудь участвует, ведь и у него, наверно, есть что-то, какая-нибудь своя страсть...

И ведь, в конце концов, не может это ужасное лето продолжаться вечно. Наступит осень, спасительная прохлада, с моря подует ветер, разгонит духоту и зной, принесет тучи. Тогда, долгими зимними вечерами, мы будем сидеть здесь, разведем огонь в камине и будем сидеть и беседовать. Пусть чайник ворчит на плите, мы будем пить чай и до позднего часа, до самой полуночи, слушать шум дождя за окном. Нужно плотно задвинуть шторы, чтобы не видеть бесконечных потоков воды на стеклах и не вздрагивать от порывов ветра. Будем глядеть на полыхание огня в печурке и укрепимся против печали... Мы будем братьями, и никому из нас не придет в голову помыкать Уго или пренебрегать им. Я раскаиваюсь, поверьте мне, я раскаиваюсь в своих дурных мыслях, как я мог презирать его или говорить, что он мне противен!.. Почему, с какой стати? Прости меня, Уго, прости, пожалуйста, я вижу следы тайной печали на твоём лице, я стремлюсь понять тебя! Что с того, что нас волнуют разные вещи? Мы откроем друг другу свои сердца, протянем руку помощи, будем любить и оберегать сестру и брата. Кто сказал, что это невозможно? Какая глупость! Нужно только не бояться слов, давайте попытаемся — заключим тоску, печаль и страх в слова, и тогда они перестанут быть страшными. Слова помогут нам сблизиться, коснуться друг друга...

Почему мы избегаем друг друга? Почему человек годами должен оставаться один? Кто это придумал, зачем? Одиночество ужасно и унижительно!..

Отчего же хотя бы не попробовать?..»

Я действительно начал говорить что-то в этом духе, но добился, кажется, только того, что напугал и Любу, и Уго.

Какая дурацкая история...

И какое отношение имеют эти разговоры к т е м глубинам? В сравнении с тихими просторами, с бездной молчания все это не более чем недоразумение. Нелепо и смехотворно...

Люба сказала:

— А птицы, Шрага, птицы! Ведь это ужасно — умирают птицы! Еще год-два — и во всем Тель-Авиве не останется ни одной. Иной раз под вечер я стою у окна и смотрю, как они, несчастные, пытаются взмыть ввысь. У них нет сил... Наверно, они хотят бежать из этого ужасного города и не могут. Да и какой смысл бежать, когда яд уже у тебя в крови! Вот так я стою и смотрю, как они порхают беспомощно от одной засохшей вершины к другой, и страшная тоска, Шрага, наваливается на меня, я не в состоянии вынести ее, она изгрызла мне душу, мне жалко невинных пташек, но еще больше мне жалко нас самих. Ах, если бы я могла плакать! Какое одиночество, какое страшное одиночество!.. Знаешь, Шрага, у меня такое чувство, будто мой собственный ребенок умирает у меня на глазах...

Ведь ты помнишь, Шрага, конечно же ты помнишь!— наш Тель-Авив, каким он был тридцать лет назад — маленький уютный городок, весь залитый солнцем, запах моря проникал в каждую комнату, даже во сне я его чувствовала... Синее бездонное небо, зеленые берега Яркона. А эти крошечные деревца, которые мы сажали возле новых домов, такая нежная зелень... Золотые дюны и караваны верблюдов, степенно вышагивающие под вечер по берегу, тихий звон колокольчиков... Масса птиц! Солнце еще не успевало взойти, а они уже принимались щебетать... Рабочие-строители проходят по улице с песней — загорелые полуголые парни, сильные и веселые, толкают тяжелые тачки по деревянному настилу и поют такие замечательные песни... Потом — первые аллеи... Ребятишки выходили поливать деревца из своих леек... Куда же это все подевалось, Шрага?! Почему небо и море теперь не синие, а серые? Почему сохнут деревья, почему везде сажа и дым, почему во всем городе грязь, пыль, запах гари? А этот непрерывный шум, эти ужасные песни, толпы народа на улицах — день и ночь!.. Зачем все это? Кто это устроил? Скажи, Шрага, ответь что-нибудь, прошу тебя, не молчи! Бензин, смрад, ядовитые газы, сточные воды... А ты, Уго, помолчи, пожалуйста! Будешь говорить о своем Бухаресте. Но ты, Шрага, ведь ты не хуже меня помнишь все, что здесь было — нашу

любовь, наши идеи, ночные споры... Ты помнишь наших ребят — какие замечательные парни были эти халуцим! Красавцы... Помнишь, как они промышляли для себя маслины? Боже, наш Тель-Авив!.. Маленькие улочки, песчаные переулки, белые домики с черепичными крышами, огородики с капустой, цветы, птицы. Субботние вечера в синагоге...

А море, Шрага? Ну, объясни, какое безумие овладело нами, почему все уничтожено? Нет больше Тель-Авива... Растоптали, изгадили... Весь Израиль изгадили... Наши мечты, идеи, наши песни!.. Ничего нет, Шрага... И нам самим, видимо, ничего больше не остается, как умереть... Все кончено... Шрага, ты помнишь, какими ослепительно белыми были эти дюны? Небо, ветер... Странно, что ты не смеешься. Почему ты не смеешься? Смейся, Шрага, смейся надо мной! Все смеются... Даже сам Бен-Гурион... Знаешь, я часто встречала его раньше, почти каждую пятницу, он стоял у своих ворот на улице Керен-Каемер, и стоило мне заговорить, как он начинал смеяться. Так что ты тоже можешь смеяться. Меня это не трогает. Абсолютно.

Люба замолчала, и тогда решился заговорить Уго:

— Каждый день какая-нибудь новая сенсация. Просто не хочется уже покупать газету. Каждый день величественные победы: Суэцкий канал, инфляция, эмбарго, победы и достижения. Сплошное вранье! Невозможно разобраться, чему верить, а чему нет. Сплошные сенсации. Я даже перестал слушать радио Каира. Все обман. Это я, так сказать, со своей стороны хочу кое-что добавить к Любыным словам. Поскольку она не упомянула некоторые аспекты... Но это, разумеется, никак не противоречит ее замечаниям...

— Ах, Уго, честное слово, ты бы лучше молчал! Только вчера приехали в страну и уже позволяют себе рассуждать обо всем на свете. Поверь мне, Шрага, там, у себя в Бухаресте, он молчал как рыба, а здесь уже, пожалуйста, извольте радоваться — у него появилось собственное мнение! Которое он, кстати сказать, никак не может изложить до конца. Продолжай, пожалуйста, прошу тебя, выскажись, наконец, раз и навсегда и замолчи!

Уго промямлил:

— Да нет, это уже не относится... Это не то...

— Нет, это именно то! — сказала Люба.

Тогда Уго встал и зажег свет. Действительно, день за окном угас. Я увидел, что Люба сидит, закрыв глаза. Сер-

дце у меня защемило. Отчаяние охватило душу, безысходное отчаяние — каждый о своем и каждый только для себя... И каждый в одиночку...

Чудовищные расстояния, непреодолимые расстояния разделяют людей. Черные бездны, галактические провалы... Нет, все-таки выслушайте меня! Выслушайте! Пойми, товарищ Уго, и ты, Люба, тоже — давайте прямо сейчас, все втроем, явемся к Моше Даяну и заставим его принять нас! Я полагаю, ему самому не повредит, если кто-то наконец откроет ему глаза на происходящие события. Моше Даян должен предпринять что-то, причем немедленно. Собрать все силы, привести в действие все рычаги. Одним ударом поразить врага! Как можно скорее. Сейчас! Нынешней ночью! Ведь время не ждет!.. Время уходит... Уходит!..

Итак, говорить больше не о чем.

Я поднялся и распрощался с Любой и ее супругом. Господин иностранец догнал меня на лестнице — оказывается, я забыл у них свои сигареты. Бедняга тяжело дышал, но улыбался. Потом, когда я уже спустился вниз, мы еще раз помахали друг другу на прощание.

К чему обманывать самого себя — да, я возлагал на этот визит определенные надежды. Прежде всего мне стоило немалого труда раздобыть Любин адрес, но и получив его я долго колебался — идти или не стоит, и все-таки, как видите, решился и пошел.

На что я рассчитывал?

Да разве можно это объяснить словами!

И вот теперь я одиноко бреду по улице Бен-Иегуда. Уже вечер. До чего беспокойно и скверно у меня на душе! Город светится огнями, жизнь бурлит. Вечер омерзительно влажен. Море тяжело ворчит, ворочается рядом и насыщает своими испарениями воздух.

Беспечно обнявшись, прогуливаются парни и девушки, машины скользят вдоль тротуара, пошлая музыка несетя из динамиков — во всем городе нету такого уголка, где бы можно было укрыться от нее. Коротышка полицейский пристроился в кафе за крайним столиком и, нацепив очки, внимательно просматривает журнал. Будто надеется найти там нечто, адресованное лично ему. Мальчишка-подросток уставился на ноги девушки, что проходит мимо, и девушка тоже вдруг опускает глаза, заинтересовавшись собственными коленками. Другой мальчишка

пристает ко мне, чтобы я купил у него вечернюю газету. Почему бы и не купить? И вот я иду дальше уже с газетой в руках.

Витрины возвращают улице ее собственное отражение, в небе над городом раскинулся бледный оранжевый ореол. Одиноким самолет рокошет где-то там, наверху, будто и его терзает печаль, и он ропщет на свою судьбу. Огоньки вспыхивают и гаснут на крыльях. Кто знает, что на сердце у пилота?.. Неужели он не ведает страха? Многие километры разделяют нас, и мы словно не существуем друг для друга — ни он для меня, ни я для него...

Громадные расстояния... Что-то как будто дышит сдавленно в темноте. Город живет своей обычной жизнью... Но если вы называете это покоем, то я вынужден заметить: покой этот настолько ненадежен и хрупок, что жутко становится.

На углу улиц Бен-Иегуда и Арлозоров я сказал самому себе:

— Слишком поздно. Все потеряно.

И ведь в самом деле слишком поздно...

VII

В течение многих лет я собираю материалы по некоторым интересующим меня вопросам: евреи России, политика, советская технология, исследования Солнечной системы, мировой коммунизм, происки и интриги Кремля. Кроме того, у меня имеется несколько десятков частных писем из России, прибывших различными путями.

Я не претендую на роль серьезного ученого, можете назвать меня дилетантом, но тем не менее я имею право сказать: к своим выводам я пришел путем тщательного отбора и исследования материала. Я проделал большой и сложный путь, прежде чем обрел внутреннюю ясность и убежденность.

На первый взгляд можно отметить некоторое логическое противоречие между тем, что я намерен осуществить, и тем, что я говорю. Однако противоречие это мнимое, как и большинство подобных противоречий. Подобно тому как планеты движутся по эллиптическим орбитам, наша мысль в своем развитии постоянно стремится закруглиться и замкнуться. И если я повторяю от раза к разу одни и те же выражения, как, например, «пределы пространства», то только исключительно в целях нагляд-

ности. Я вынужден прибегать к языковым шаблонам, чтобы зримо выразить глубину моего отчаяния.

Не так давно я изучал историю танковых сражений Израиля. Прочел всю книгу — от корки до корки, страницу за страницей, главу за главой, ничего не пропустив, ни карт, ни фотографий, ни даже индекса. Не могу сказать, что я вполне разобрался в стратегии и тактике танковых боев, но подобное чтение всегда наталкивает меня на размышления, которые, в свою очередь, приводят к внезапным откровениям.

Помнится, была в этой книге фотография: наши танки идут в бой, объятые клубами пыли. И вот какая картина встала вдруг перед моими глазами: неисчислимое множество еврейских танков со скрежетом и ревом движется в наступление, но не сейчас, а совсем в другое время, лет эдак тридцать назад, и не где-нибудь тут, в Нижней Галилее или пустыне Паран, а там, в просторах Польши. Рокошующая лавина металла течет вдоль темных польских лесов, сметая на своем пути любые преграды — линии обороны, мрачные крепости, хитроумные укрепления. Сотни еврейских танков переползают через траншеи и уничтожают нацистов. Огненный шквал катится по славянской земле, и нет силы, способной противостоять ему. Шквал еврейского гнева. Не видно ни лесов, ни полей — все смешалось в огне и дыме. Вперед, вперед!

Не стану отрицать, эти фантазии приятно волнуют меня, сердце начинает биться сильнее, и в душе разгорается пламя давно угасших страстей. Сознайтесь, ведь и вы не прочь вместе со мной предаться сладким мечтаниям. Представьте себе — сотни быстрых еврейских танков упрямо пересекают всю Польшу с запада на восток, грохочут орудия, рвутся залпы, и разрывы складываются в огненные письмена — смерть убийцам! Смерть мучителям! На рассвете внезапным ударом выбиваем мы гитлеровцев из предместий Варшавы. В панике удирают разбитые немецкие дивизии, оставляя дом за домом, улицу за улицей. Изумленная Варшава не может понять, что творится, и робко выглядывает из-за закрытых ставень.

И вот мы у стен осажденного гетто. Последние его защитники, измученные и израненные, сжимая в слабеющих руках остатки жалкого оружия, пытаются бежать, вжаться в щели, скрыться в канализационных люках. Беспредельная усталость на их лицах, отчаяние в широко раскрытых глазах.

И вдруг — все замирает. Время остановилось. Дейст-

вие переносятся в другой мир, в иное измерение. С криком и слезами бросаются евреи гетто навстречу освободителям, в безумной радости падают в объятия танкистов, дрожащими руками ощупывают танки, наши танки, еврейские танки. Небеса разверзлись, и ярость всех убитых, всех замученных, всех униженных низвергается на землю. Трепещите, изверги! Настал час мести! В ужасе бегут гестаповцы, но поздно, слишком поздно — гусеницы танков настигают их, давят, растирают в пыль. Залпы орудий дробят на куски вражеские клинки.

И может ли человеческое сердце вместить все это?

Нет, не утолена еще жажда мщениия.

С молниеносной быстротой разворачиваются мои танки и в реве моторов и скрежете гусениц движутся дальше на восток. Машина за машиной, колонна за колонной — никто не уйдет от ответа, ни один убийца, мародер, насильник, ни литовец, ни поляк, ни украинец! На бешеной скорости бесконечным потоком несутся еврейские танки, не оглядываясь на сожженные города, не подсчитывая поверженных врагов. На восток! Изодраны в ключья снежные поля, будто исполосованные бичом возмездия. Враги Израиля бегут, надеются укрыться в спасительной чаще лесов, но не уйдут, не уйдут от расплаты! Ах, как они удирают — будто сам дьявол гонится за ними! Вдоль всех дорог стоят тысячи евреев. Рыдания душат их, запекшиеся губы искусаны до крови, они протягивают руки навстречу танкам, и наши парни, высунувшись из башен, машут в ответ. И если бы не каски, надвинутые на глаза, мы бы увидели сейчас слезы на их лицах. Я чувствую, как сотрясается земля. Я вижу, как бескрайние снежные просторы смиряются под железом. Словно вода в половодье, разливается еврейский гнев. Красная Армия разбита, остатки разрозненных дивизий плутают в болотах в поисках убежища. Леса объаты заревом пожарищ, в огне российские снега. Народы охвачены ужасом. Рушатся и падают церкви, сдаются ненавистные города — Вильнюс, Каунас, Белосток. Вся Россия повержена в прах. Хрипя от гнева, в дикой ярости несутся наши танки, стирая в пыль города и страны. Я чувствую, как жаркие слезы закипают у меня в груди, и на языке моих предков шепчу: амен, амен!

Я вижу низкое серое небо. Бескрайние снежные равнины. Все дальше и дальше ползут танки — позади Минск,

Смоленск. Дрожит и стонет русская земля. Красная Армия терпит одно поражение за другим. Верховный Совет спешно эвакуируется на восток, за Урал. И на всех великих просторах под сгнившими деревянными крестами в бессильной ярости скрежещут зубами многие поколения наших мучителей и убийц. А те, что еще живы, разбегаются в животном страхе, с визгом и воплями. Стальным клинком врезается еврейская ярость в мягкую белую снежную плоть. Киев, Харьков, Приднепровье, Ростов — все повержено, все сметено с лица земли. Мсть! Мсть!

Кишинев. Посмотрите-ка, как вчерашние наши притеснители — такие сильные и рослые — поднимают руки и сдаются. Раблепные улыбки на их лицах. Процессия православных священников, нагруженная тяжелыми темными крестами, с протяжным пением выползает из темноты церкви. А мое русское еврейство молча наблюдает это шествие.

Я вижу Моше Даяна в запыленной боевой одежде, стройного и сурового. Грозный и непреклонный, принимает он капитуляцию из рук кишиневского генерал-губернатора.

Звонят, звонят колокола всех церквей. Конские табуны в степях встают на дыбы. Катится по земле лавина еврейского гнева. Дальше, дальше!.. Сердце у меня в груди рвется на части, рыдания подступают к горлу...

Спустя мгновение я очнулся от грез, еще раз взглянул на ту же самую фотографию и усмехнулся.

Обыкновенные танки. Тяжелые, грубые машины. Если на кого они и способны наводить ужас, так только на арабов...

И что за нелепость — пытаться найти утешение в фантазиях!..

Какое ребячество...

Я сел и сочинил пространное письмо соседке. Пришлось посвятить этому все утро, поскольку подыскать нужные выражения оказалось весьма не просто. Я писал, зачеркивал, вписывал новые фразы, пока, наконец, не добился полной ясности изложения. Я просил ее разрешения вызвать водопроводчика. Дело в том, что стена, разделяющая наши квартиры, буквально насквозь промокла. Я полагаю, это объясняется тем, что проложенная в ней водопроводная труба проржавела и дала течь, отсюда эта

постоянная сырость. По-видимому, разрушительный процесс продолжается уже много лет, но, к сожалению, это никого не волнует. Однако если мы и в дальнейшем не предпримем никаких действий, стена окончательно сгниет и рассыплется. Не нужно объяснять, какие серьезные последствия это может иметь для всего нашего дома в целом. Следует теперь же, не откладывая, проверить состояние трубы и, в случае необходимости, заменить ее на новую. Не исключено, что для этого придется разобрать указанную стену, а затем, по окончании ремонта, вновь восстановить. Все денежные расходы я готов взять на себя, так что пусть она не волнуется на этот счет, я обращаюсь к ней единственно для того, чтобы получить ее согласие. Прошу извинить меня за то, что вынужден обратиться и побеспокоить, но, к сожалению, не вижу иного выхода. Разумеется, я мог бы без всякого письма позвонить в соседнюю квартиру и обо всем договориться лично. В крайнем случае, я мог положить свое послание в конверт и подсунуть под дверь. Однако я предпочел наклеить марку и отправить письмо по почте. По почте же пришел ответ. Соседка писала, что в ближайшие недели собирается перебраться отсюда в район Борохова, поэтому, как ей кажется, самым благоразумным для меня будет дождаться новых жильцов и с ними уже обсудить все вопросы, касающиеся ремонта.

Итак, уместно спросить: чего я добился, вступив в переписку? Ровным счетом ничего...

Если не считать нового приступа тоски... В самом деле, мне очень жаль, что она уезжает отсюда. Я буду вспоминать ее с добрым чувством. И того, кто прежде был ее мужем, тоже. Однажды в пятьдесят девятом году со мной случился обморок в подъезде. Очевидно, сказалось переутомление. Ее муж, оказавшись рядом, поднял меня и помог взобраться наверх. Он хотел уложить меня в постель, но тут вышла она и сказала: «Я думаю, Исахар, ему лучше полежать у нас». Тогда он завел меня в свою квартиру и осторожно уложил на диван. Даже положил мне на лоб мокрое полотенце. А она приготовила кофе. Когда я окончательно пришел в себя, то, разумеется, весьма смутился и не знал, как выразить им свою благодарность. Как это часто со мной бывает, я наговорил слишком много и явно привел их обоих в замешательство. Правда, несмотря на это, прощаясь, муж не преминул сказать: «Заходите к нам, господин Унгер, заходите просто так — ведь можно посидеть, выпить кофе, поболтать по-соседски, не правда

ли?» А она добавила: «Не переживайте, такое может случиться с каждым. Соседи должны помогать друг другу». Я еще раз поблагодарил. «Не за что, совершенно не за что. В самом деле, заходите». Некоторое время я действительно подумывал, не зайти ли к ним как-нибудь вечером, но все не решался. А потом за стенкой начались скандалы, ссоры и крик. Спустя несколько месяцев они порешили развестись, чтобы каждый мог жить дальше, как ему вздумается. Разумеется, при таких обстоятельствах я не мог уже думать ни о каких визитах. Не в моих правилах ходить в гости к одинокой женщине. К тому же вскоре стал появляться любовник, и вечера ее были заняты. А теперь вот она переезжает в район Борохова, и мы вообще не увидимся больше. Кончено... У меня такое чувство, будто я что-то прозевал. Странно... Какая-то бессмыслица все это...

Помимо своего послания к соседке, я составил и запечатал конфиденциальное письмо Уго. «Дорогой Уго,— написал я ему,— я знаю, что ты одинок, ничто не ускользнуло от моих глаз. Не подумай, что я собираюсь утешать тебя,— слова утешения мне неизвестны, и ничего нового я тебе тоже не сообщу. Я только хочу сказать, что ты ошибаешься — не так уж ты одинок в этом мире. Во-первых, я считаю тебя отныне своим другом — разумеется, если ты не против, а во-вторых — во-вторых, попытайся представить себе летнюю ночь в Тель-Авиве. Даже не обязательно летнюю, любую ночь. Признайся, видел ли ты еще где-нибудь в мире город, в котором столько людей одновременно, постоянно, из ночи в ночь, видели бы такие жуткие сны? Ты сам можешь убедиться, что существует точная, математически обоснованная связь между количеством жителей и степенью кошмара. Страшная связь... Попробуй, Уго, как-нибудь, когда все спят, выйти на веранду — только прошу тебя, закутайся получше, чтобы не простудиться от ночной сырости. Сквозь открытые окна спален донесутся до тебя странные звуки. Прислушайся и ты услышишь, как весь этот громадный еврейский город кричит и стонет во сне. Никто, ни один его житель, не спит спокойно, всех мучают кошмары. Ужас пережитого и новые мрачные предчувствия терзают нас. Страх надвигается и уплотняется, наваливается темной громадой в духоте ночи. Каждый из нас понимает, что нынешний наш временный хрупкий покой — это только короткая пе-

редышка между двумя сражениями. Просто всем нам дана некоторая отсрочка. Отсрочка, но не более. Ведь не может же еврейский народ, в самом деле, взять да и выйти вдруг из игры. В наивном детском простодушии полагали мы, что перехитрим всех и устроим тут себе маленькую уютную страну, тихий уголок наподобие какой-нибудь Болгарии или Новой Зеландии. Подумай, Уго, реально ли это, чтобы евреи сидели себе здесь в тишине и покое лет эдак тысячу, пахали землю, продавали и покупали лошадей, а под вечер, после дневных трудов, потягивали пиво в пивной и отплясывали с крестьянскими девушками? А потом шли спать и видели здоровые сны? Можно ли представить себе Израиль народом сонным, степенным, тугодумным, сытым и довольным? Не было ли это все страшной глупостью с самого начала? Уго, я обращаюсь к тебе, как к близкому другу. Открой глаза, посмотри, посмотри сам! Разве не от нас это все — все сумасшедшие идеи, все революции, все комплексы, все страхи, все отчаяние, весь гнев, весь энтузиазм и все страдания мира? И разве не на наши головы все это в конечном счете обрушивается?

Да, Уго, это так, я знаю, что это так. Так было, и так будет. Во всех прошлых веках и во всех грядущих никому не спастись от этого. Есть некая тайная непостижимая страсть в основе всех идей, дикое буйство в сердцах всех народов. Я не знаю, как его назвать, но я знаю, что оно направлено против нас, что оно не утихает ни на минуту, ни днем, ни ночью — подобно суховею из пустыни постоянно дует нам в лицо.

Ты не можешь не чувствовать его даже здесь, в Тель-Авиве, на веранде у моря.

Да, Уго, это страшно. Страшно и непостижимо.

И разве государство Израиль — это какая-то неприступная крепость? Заколдованный остров в пучине моря? Нет, Уго, смешно так думать. Смешно и наивно.

Пожалуйста, давай вместе поглядим на карту. Ты видишь эту узенькую полоску земли между морем и пустыней, этот жалкий пятачок, на котором мы умудрились расположить беленькие домики, апельсиновые сады, телеграфные столбы, шоссе, рекламные плакаты вдоль этих шоссе с какими-то новыми, никому не ведомыми названиями и именами, трубы, разветвления труб, огороды и несколько рощиц, луга, черепичные крыши, голубенькие автобусы, собак, которые все время лают, как сумасшедшие. Как все это ненадежно, хрупко, крошечно... И поче-

му, Уго, объясни мне, почему это все так дорого сердцу?.. Да, Уго, ничего не подделаешь, я люблю эти опаленные солнцем, обдуваемые ветром селения, эту нежную зелень, новые блочные кварталы... Может, ты думал, что они раздражают меня? Нет, Уго, нет, я счастлив быть причастным этому, я хочу надеяться, но мне страшно. Страшно... Иногда холодная дрожь пробегает у меня по спине — что будет? Что нас ждет? Что движется из тьмы, какие интриги плетут за нашей спиной?

И время, Уго, время уходит...

Знаешь, иногда я мечтаю: если бы у Израиля была какая-нибудь мощная ракета, какое-нибудь страшное оружие — еще не ведомое миру, чтобы Моше Даян мог встать и спокойно объявить нашим врагам: дамы и господа, мне кажется, вам не стоит утруждать себя, потому что, если кто-нибудь тронет нас пальцем, мы ответим кулаками. Отныне я никому не советую угрожать нам, потому что мы можем рассердиться и взорвать эту вселенную. Есть у нас такие интересные лучи, которые способны сдвинуть планету Юпитер с ее орбиты и обрушить на ваши головы — так что только клочки полетят по закоулочкам. Если хотите попробовать, извольте, пожалуйста.

Или есть еще другой выход: собрать весь еврейский народ, от малых детей до старцев, и всем вместе переселиться куда-нибудь в другое место. В какую-нибудь иную галактику. Там, в глубине космоса, вдали от наших врагов, построим свой Иерусалим небесный. И заживем мы там спокойно. Одни только вечные стихии будут нашими соседями — свет, вода, ветер, тишина...

Обретем долгожданный покой. Полный покой... Вечный...

А может, и любовь?»

Вот что я написал Уго. Да, Уго, а не Любе. Хотя она, конечно, тоже прочтет. Если только я решусь отправить это письмо...

Случилось несчастье, которого Тель-Авив, возможно, и не заметил: Хума Шпильберг, медсестра из больничной кассы, которая, как вы помните, два раза в неделю делала мне какие-то уколы, внезапно скончалась. Утром во вторник я, как обычно, пришел в поликлинику Заменгоф, и мне сказали, что Хумы больше нет. Нет больше Хумы... Как будто и не было никогда... Не представляю, кто же те-

перь будет делать мне уколы?.. Эта недоучка из Ирака — маленькая бледная девица? Разумеется, она не станет даже скрывать передо мной своего отвращения. Как будто я сам не знаю, что я стар и безобразно толст... А с Хумой я позволял себе иной раз отпустить какую-нибудь шуточку... Теперь уж мне придется молчать и все время помнить, что изо рта у меня скверно пахнет... До чего же я сам себе противен...

Советская эскадра в Порт-Саиде и Латакии. Об этом сообщают газеты. Обозреватель полагает, что это новая демонстрация силы. Психологическая атака против Израиля. Интересно узнать, что же думает по этому поводу Моше Даян. Как видно, ничего. Моше Даян смеется. Смеется во всю ширь фотографии на первой странице. В вечернем костюме, окруженный артистами, развлекается наш герой на балу. Знаешь, товарищ Даян, я бы посоветовал тебе отвлечься на минутку от веселой болтовни и обернуться назад. Будь так любезен, поверни голову и взгляни через плечо. Ну как, видишь? Они стоят там, за твоей спиной, длинной чередой стоят — поколение за поколением, миллионы евреев — и все почему-то, не в пример тебе, до жути серьезны. И все они, да будет тебе известно, смотрят сейчас на тебя. Весь мир, затаив дыхание, ждет твоего слова. А ты в это время позволяешь себе хлопнуть по плечу какого-то болвана и хохотать.

Я знаю, что я должен сделать. Я вхожу в зал и останавливаюсь у двери. Никому до меня нет дела. Я вижу тебя, хотя меня самого никто не замечает. Я посылаю тебе записку через билетера. Три строчки, от волнения не слишком разборчиво написанные. И вот ты, на которого обращены все взоры, получаешь эту записку. Разворачиваешь ее, пробегаешь глазами, потом читаешь вторично, и смех твой смолкает. Ты делаешься серьезен, рот твой упрямо сжимается. Изумленный ропот проносится по залу, но ты уже ни на что не обращаешь внимания. Решительный и суровый, ты покидаешь зал, в котором продолжает играть веселая музыка, выходишь в боковую дверь, сбегаешь по ступеням, уверенным пружинистым шагом подходишь к машине и садишься за руль. Пиджак и галстук летят на заднее сиденье, стремительно и плавно скользит твой автомобиль вдоль шумных улиц. Ты спокоен, дыхание твое размеренно, руки привычно поворачивают руль. Уличные фонари один за другим озаряют мужественное лицо, но ты не замечаешь этого мелькания света и тени, ты сосредоточен, мысль твоя работает быстро и упорно, ты трезво

и беспристрастно взвешиваешь все факторы, все возможности. Какие невидимые энергии бушуют сейчас в твоём мозгу! Какие стихии вступают в борьбу! Молнией вспыхивают догадки, скрещение концепций и противоречий, что-то рождается и тут же уничтожается. Но вот словно луч лазера пронзает бушующий водоворот мыслей, все сходится в одной точке и замирает.

Решение принято.

Я вижу твой рот, застывшие, точно изваянные в камне, линии. Тишина...

Сомнения отброшены.

Только так.

Итак, мы наконец подошли к самому главному пункту. Теперь все зависит от того, сумею ли я составить такую записку, которая заставит министра обороны действовать. Три строчки, в которые нужно вложить все. Весь пламень моей души. Клочок бумаги, который приведет Моше Даяна к порогу откровения.

Если я справлюсь с этой задачей, моя миссия будет выполнена. Тогда я имею право успокоиться, отдохнуть, сделаться чистым созерцателем, даже умереть, если угодно. Все, что от меня требуется,— написать три строки и переслать Даяну через билетера.

Но где взять такие слова? Где их найти?!

Опять я отброшен назад, к тому же самому исходному пункту: слова! Все упирается в слова...

Да существуют ли они вообще, эти слова?..

Я не в силах их отыскать... Я их не знаю. Я вынужден констатировать свое поражение... Ничего другого мне просто не остается. Я вынужден замолчать.

Что же теперь?

Я думаю, мне следует уступить им. Пойти на компромисс. В конце концов, это стариковское упрямство просто-напросто отвратительно. Есть некая незримая граница, некая черта, дальше которой не следует идти словам. Там начинается безмолвие бездн. Я вижу и ощущаю эту черту так, словно она материально существует. Может быть, они правы — человек, познавший эту грань, в самом деле безумец. Вполне возможно. Во всяком случае, я принял решение. Я должен умолкнуть. Завтра же утром иду в отдел культуры. Скажу, что я согласен. Не стану строить горестную мину, постараюсь выглядеть бодрым и веселым, войду и скажу: да, я согласен, согласен с ва-

ми — эти ночные поездки мне уже не по силам. Нужно ведь и отдохнуть когда-то. Ну, сколько, на самом деле, можно вот так мотаться из кибуца в кибуц?.. Пора, пора... Разве я сам не чувствую, что стиль моих выступлений не отвечает новым требованиям? Кому это нужно — непрерывное поношение большевиков? Не актуально и не модно. Все, баста! Пусть найдут мне какое-нибудь тихое местечко по собственному усмотрению. Пожалуйста, я готов работать стилистом. Пускай кто-нибудь другой носится как сумасшедший по пустынным шоссе и тратит субботний вечер на обзор международного положения. С сегодняшнего дня меня это не интересует и не касается. Я буду сидеть здесь и редактировать чужие переводы. Скромность и прилежание. Правда, у меня есть один каприз — я очень прошу, товарищи, подыскать для моего рабочего кабинета комнату где-нибудь на верхнем этаже, с видом на море. Это так приятно — иногда поднять голову от бумаг и бросить взгляд вдаль. Окно будет постоянно оставаться открытым, чтобы морской ветер мог обвевать меня... Я полагаю, товарищи, что моя просьба никому не покажется чрезмерной...

Но вот то, чего я им не скажу:

Я пойду и куплю себе сильный бинокль. Сидя в одиночестве в своем кабинете, я буду наблюдать за горизонтом. Вы ничего не будете про это знать, но я останусь на своем посту. Столько, сколько мне отпущено жить, я буду охранять вас. И когда оттуда, из сизой дымки, покажутся серые силуэты вражеских кораблей, я предупрежу. Я закричу, закричу во весь голос, изо всех сил, чего бы мне это ни стоило, даже если вместе с этим криком душа моя покинет тело... Как еще я могу выразить свою любовь к вам?..

Потому что только любовь заставляет меня...

Но здесь уже проходит та черта, грань, за которой — молчание.

Сиврита. Перевела Светлана ШЕНБРУНН

Вадим Гройсман

* * *

Высокость — как единый проездной,
Как воздух и таблетка валидола
Для тех, кто рос в развалинах Подола,
А в первый класс ходил по Прорезной.

И держишь то, что можешь потерять,
И видишь призрак общего удела.
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Украина, Иудея.

* * *

Переезды — древнюю мороку
Нам с тобой не страшно продолжать.
Нам расчистят санную дорогу,
Снимут шапки, выйдут провожать.

Много чести — старая телега
Вздрагнет, выезжая со двора...
Ближе к югу будет меньше снега,
Будет больше мира и добра.

Там забудем, двигаясь помалу,
Что казалось, будто на века
Хищной вьюгой, белыми полями
Нас дорога эта завлекла.

* * *

О Русская земле! Уже за шеломянемь еси!

«Слово о полку Игореве»

Мне говорят, что надо уезжать...

Иосиф Бродский

И документы все, и поцелуи все,
И все простили нас, и все нам помогли,
И только самолет на взлетной полосе
Не может оторвать колеса от земли.

О Русская земля, уже ты за холмом,
Огромным, как Эльбрус, и вязким, как сугроб.
Пускай остынет след — когда-нибудь пойдем,
Зачем пересеклись дыханье и потоп.

Уже ты за бугром, бездомная страна,
Хоть истины твои еще у нас в крови —
Что мир на всей земле страшнее, чем война,
Что милость и любовь позорнее «графы».

Я — трус и ренегат. Я — крыса с корабля.
С меня за неплатеж положена пеня.
О Русская земля, о Русская земля,
Как мать — свое дитя, выгалкивай меня.

Во имя красоты не думай о больном,
Крести его огнем, руби его сплеча.
О Русская земля! Уже ты за холмом.
Неужто все прошло, рыдая и крича?

* * *

Что ж, о грядущей жизни не радея,
Потратим кровь и смех, судьбу повеселим.
Лежит ночная мгла на холмах Иудеи,
Чужой галактикой блестит Ерусалим.

Далекие гудки и близкие цикады,—
Мне грустно и легко, что жизнь моя прошла,
Что тихая струна в руке ночной прохлады,
Что свет не радует и бездна не страшна.

Остался шорох дней и ветер темно-синий,
Остались мелочи, прозрачные давно,—
Посмотрим, что за мрак, что за огонь в низине
И кто заносит камень надо мной.

За грозовым холмом, за терпкими кустами,
На каждой улице за каменным углом,
Красивая, нелепая, пустая,
Шарманка времени играет о былом.

Симур Фригуд

БАБУШКА И ИНДУССКИЙ МОНАХ

Когда прошлым летом к нам в Рек-Лид приехал погостить Брахмачари, индусский монах, с которым я познакомился в Чикагском университете, меня беспокоило только одно — моя старая бабушка. В доме моих родителей на взморье всегда было весело и шумно. Здесь, на узкой полоске земли между Атлантическим океаном и другим океаном, поменьше, состоящим из болот и стариц и отделяющим остров от Лонг-Айленда, находили приют мои товарищи по колледжу. В гараже один из моих братьев вечно мастерил парусную шлюпку. Во дворе и в примыкающих песчаных дюнах младший брат вел бесконечную войну за выживание против полусотни соседских мальчишек; иногда ему помогала в борьбе немецкая овчарка Эрнст. В доме всегда вынашивались какие-то планы, будь то экспедиция на соседний остров или спуск на воду новой шлюпки. Жаркое солнце, соленый воздух, белые пляжи, болота и бухта на фоне прозрачного атлантического пейзажа — все это влекло сюда людей, и наш дом всегда был полон гостей. Джози, кухарка-чешка, никогда не знала наперед, кто будет завтракать. И всем этим беспокойным хозяйством управляли не столько мои родители, которые каждый день уезжали на работу в Нью-Йорк, сколько семидесятилетняя бабушка.

Набожная близорукая старушка, прожившая нелегкую жизнь, говорила в основном на идиш и большую часть дня проводила в молитвах. Соблюдая религиозные диетические установления и не доверяя Джози, бабушка сама готовила пищу в подвале и приносила ее к себе в комнату. Время от времени она совершала обходы по всему дому. Мы с братьями обычно принимали гостей в малень-

ком кабинете, уставленном книгами; здесь же хранились рыболовные сети, весла и снаряжение для ночевки. Огромное окно позволяло попасть сюда прямо со двора. Иногда, встав из-за стола вместе с гостями и вернувшись в эту комнату, мы заставляли там дюжину местных приятелей, которые уже успели поужинать и проникли сюда через окно: им не терпелось обсудить новый проект — ловлю крабов или шлюпочный поход с ночевкой.

Регулярные бабушкины обходы шли по заведенному порядку. В дверях кабинета показывалось ее старое доброе лицо, и она близоруко всматривалась сквозь очки, обычно темные, в того, кто сидел на ближайшем стуле. «Где Симор?» — спрашивала она. На этот вопрос был раз и навсегда установленный ответ. «Я здесь, бабушка», — отвечал сидевший ближе к ней, кто бы он ни был. Она присматривалась к говорившему, и ее глаза за темными стеклами казались неуверенными и незащитными; трудно сказать, от чего она защищалась — от резкого света? от правды? а может быть, от резкого света правды? «Который час?» — интересовалась бабушка. Ответ был всегда один: «Двенадцать, бабушка». «Хорошо», — кивала старушка. Удовлетворенная тем, что ее старший внук дома и что впереди еще целый день, она возвращалась к стряпне или к молитвам.

У нее почти не было друзей, не считая мистера Айзекса, местного талмудиста и учителя иврита, который недавно иммигрировал из Юго-Восточной Европы и каким-то образом связывал бабушку с ее прошлым. Айзекс бывал у нас довольно часто: он давал старушке духовные наставления, помогал найти нужное место в молитвеннике и разбирал тонкости кошерного питания. Она принимала наставления с благосклонностью римской патрицианки, вынужденной коротать свои дни в далекой варварской провинции и обращаться за советом к умному греческому рабу. Бабушка была благодарна мистеру Айзексу — и в то же время относилась к нему настороженно. Она иногда говорила мне, что, будучи родом из Юго-Восточной Европы, он наверняка тайно связан с хасидами, мистической еврейской сектой, которая зародилась в XVIII веке на Украине. Бабушка была против хасидизма, но мистер Айзекс все равно был ее отрадой. Мистик или нет, он по крайней мере знал Талмуд, чего нельзя было сказать о раввине местной синагоги: того заботило только одно — новый спортивный зал. Кроме того, бабушке нравилось, что мистер Айзекс не упускал случая зайти в на-

шу комнату и упрекнуть братьев, меня и тех наших приятелей, которые принадлежали к еврейской общине, в пренебрежении к ценностям наших отцов. Впрочем, его упреки не достигали цели.

Индуc быстро освоился в нашем доме, номинально возглавляемом бабушкой. Наверное, это не прошло бы так гладко тремя годами раньше, когда монах впервые приехал в США; он был тогда делегатом от Восточной Бенгалии на Международной религиозной конференции в рамках Чикагской выставки 1933 года. Но за годы учебы в Чикагском университете он успел приспособиться к американской жизни. Я познакомился с ним на прошлую Пасху, и мне пришло в голову, что его присутствие в нашем доме может украсить летние каникулы. Правда, его костюм внушал некоторые сомнения, но тут уж ничего нельзя было изменить.

Я до сих пор помню потрясающее впечатление от нашей первой встречи: росту в нем было едва ли больше полтора метров, на голове был намотан тюрбан, испещренный красными и желтыми письменами на санскрите. Что-то похожее висело у него на плечах. Из-под серой рубашки торчал шерстяной свитер и какое-то коричневое белье. Наряд индуcа довершался длинной белой юбкой; к счастью, ноги у него не были босыми: он носил синие теннисные туфли. Все вместе это представляло собой северный вариант индийской домотканой одежды — хаддара. Теннисные туфли он выбрал по религиозным соображениям: другая обувь была сделана из кожи. Шея индуcа была украшена ниткой с деревянными четками.

Понятно, что такой наряд вызовет немало вопросов, но мне казалось, что я с этим справлюсь. И потом, он был совсем неглупым, достаточно сговорчивым и как-то по-детски обаятельным. Я знал, что мои родители, преодолев первое неприятие, будут относиться к нему как к сыну. Индуc придерживался собственных правил питания, и я предупредил домашних, что он сам будет себе готовить. Что же касается братьев, я был уверен, что они будут в восторге. Будь хоть трижды монах — он мог строить лодки вместе с ними! Трудности я предвидел только со стороны бабушки. Раньше или позже, ей суждено было столкнуться с Брахмачари, и я чувствовал, что ее нужно к этому подготовить.

За несколько месяцев я попытался объяснить ей, что

летом к нам приедет один индусский раввин. Вам никогда не приходилось объяснять основные географические и исторические понятия старой женщине, которая судит о мире по первым пяти книгам Ветхого завета, по псалмам Давида и по смутным детским воспоминаниям о жизни еврейского местечка? Она готова была допустить, что Брахмачари принадлежит к еврейскому духовенству: мир ее детства был полон нищенствующих священников — бородатых стариков в сюртуках и меховых шапках, многие из которых, судя по бабушкиным намекам, были хасидами. Она верила, что Брахмачари, будучи моим другом, не был связан с этими оборванцами. Но... из какой, ты говоришь, он общины? Индия? Это, конечно, где-то в России. Или еще южнее?

— Немного южнее,— согласился я.— И, пожалуй, немного восточнее.

— Но не в Египте?— вздрогнула бабушка. В ее картине мира Египту принадлежало особое место: прошло несколько лет — или несколько столетий?— с тех пор, как Моисей вывел нас из этой проклятой страны. Бабушка не питала добрых чувств к египтянам, и каждую весну, на еврейскую Пасху, придумывала про них новые ужасные истории. Иногда мне казалось, что в глубине души бабушка чувствовала себя ближе ко временам Исхода, чем к местечку, где прошло ее детство.

— Ну конечно, не в Египте,— поспешно успокоил я бабушку.

Она сказала, что ей нужно посоветоваться с мистером Айзексом, а там видно будет.

Случилось так, что прошло два или три дня, прежде чем бабушка обнаружила присутствие Брахмачари в нашем доме. Это было приятное и суматошное время. Как я и предполагал, индус вошел в жизнь дома почти без осложнений. Правда, когда он явился к нам с железнодорожной станции, на моих родителей произвело удручающее впечатление обилие его багажа. Они с явной опаской ответили на его приветствие, переводя взгляды с тюрбана на юбку и на коричневую радостную физиономию. Со своей стороны, монах воспринял это как должное и постарался их успокоить.

— Меня зовут Маханан Брата Брахмачари,— представился он, одновременно кивая водителю такси, чтобы тот внес вещи на веранду.— Индусский нищенствующий мо-

нах из монастыря Шри Анган в Фаридпуре, Восточная Бенгалия. Ваш сын пригласил меня провести здесь лето.— О, Симур!— воскликнул он, разглядев меня в толпе, собравшейся вокруг такси.— Вот ты где. Рад тебя видеть. Будь добр, расплатись с этим человеком.— Он сложил ладони перед лицом и поклонился моим родителям в традиционном индусском приветствии; при этом его треугольные зубы сверкнули в улыбке почти неземным блеском. Он поздоровался с братьями, погладил овчарку и пробормотал что-то сочувственное в ответ на вымученные улыбки родителей. Они явно были озабочены тем, как объяснить друзьям по клубу присутствие в их доме этого странного маленького гостя в тюрбане.

Когда родители пришли в кабинет, Брахмачари уже устроился на диване: первым делом он снял теннисные туфли, уселся, поджав ноги, посреди дивана и стал наблюдать, как мы с братьями носим его багаж. Тут же вертелась Джози, озабоченная кулинарными проблемами: оказалось, что индус ест только овощи. Ни яиц, ни рыбы, ни мяса. «И даже яйца нельзя?— спросила мама.— А можно, Джози приготовит вам салат?» Индус согласился, что салат — это прекрасно, и озабоченные женщины поспешили на кухню. Было ясно, что ему не придется много заниматься стиркой.

Тем временем мы продолжали разбирать его багаж, который, помимо трех огромных металлических чемоданов, включал в себя ящик с философскими сочинениями и какое-то горшечное растение, заботливо упакованное в оберточную бумагу; он попросил развернуть горшок и поставить его у окна. Мой отец, садовод-любитель, заинтересовался этим довольно неприглядным кустарником: он немного напоминал фикусы, когда-то очень популярные в домах американцев среднего класса, но был карликовых размеров и весь покрыт мелкими темно-коричневыми орешками. Брахмачари пояснил, что это туласи — священное растение индусов (почему оно священное, я уже не помню). Этот куст вручил ему настоятель монастыря, когда он впервые покинул Индию, и с тех пор монах никогда с ним не расставался. Растение напоминало ему о доме.

Все больше людей собиралось у дверей кабинета, чтобы приветствовать индуса, но мы впустили только мистера Айзекса. Я надеялся, что талмудист станет посредником между бабушкой и монахом: их непосредственное знакомство представлялось мне неразумным. Остальных

наших друзей, требовавших, чтобы их немедленно впустили, я попросил потерпеть, пока монах не устроится в доме: после утомительной поездки из Чикаго ему нужен отдых, а потом мы все вместе пойдем на пляж: ведь на сегодня назначен спуск на воду новой лодки.

Тем временем мистер Айзекс уселся на диван вместе с Брахмачари. Скоро стало ясно, что индус и еврейский книжник ладили друг с другом: эти двое были так поглощены беседой, что не замечали суматохи во дворе, где мои братья с друзьями готовили к испытанию длинную изящную лодку, над которой они трудились несколько недель.

Мне показалось, что Брахмачари сравнивает два подхода к Богу и спасению — хасидский и собственный, усвоенный в индусском монастыре. Он сообщил мистеру Айзексу, что его монашеский орден поклоняется Господу Кришне. Это означает, в отличие от брахманского формализма, упор на музыку, танцы и экстатическое соединение с Богом. Как хасиды предпочитают псалмы Давидовы схоластике и начетничеству, так и члены его ордена следуют не столько ведическим писаниям, сколько «Бхагавад-Гите» — песне Господа Кришны во славу Свою. Коротче говоря, несмотря на различия в культурной традиции, одежде и языке, у Брахмачари и мистера Айзекса обнаружилось много общего. Подчеркивая превосходство поэта и музыканта перед законником, они отказывались от церковной ограниченности. Впрочем, мистер Айзекс посоветовал Брахмачари держать свои взгляды при себе и как можно дольше уклоняться от знакомства с бабушкой. Бог знает, как она отнесется к появлению в своем доме еще одного хасида, да еще в юбке. Лучше не рисковать.

Следуя совету мистера Айзекса, мы постарались не задерживаться в доме. Случай представился немедленно: шум во дворе усилился — лодка была готова к спуску. В окне появились решительные лица: мы должны были идти вместе с ними.

Через несколько минут, ко всеобщему ликованию, во двор вышел Брахмачари, одетый только в набедренную повязку, обмотанную куском яркой ткани (моя одежда была более заурядной: шорты и темные очки). Я хотел было представить моих друзей, но они были слишком увлечены последними приготовлениями. Уважение к Брахмачари проявилось лишь в том, что ему определили мес-

то на носу лодки, а может быть, это было своего рода испытание. Мы подняли лодку на плечи и понесли ее к океану, навстречу вскипающим бурунам. И вот Брахмачари уже устроился на носу — ладная коричневая фигурка в яркой набедренной повязке и с четками на шее; он сжимал в руках весло, и его зубы сверкали нетерпением. «Готово?» — спросил я. Он бодро кивнул. «Пошли!» И мы двинулись навстречу прибою.

Наша задача состояла в том, чтобы вывести лодку за первые три ряда бурунов, развернуть ее, не опрокинувшись, и примчаться обратно к берегу. Когда на нас обрушился первый вал, индус исчез. Спустя мгновение он вынырнул, рассекая воду блестящей головой. Мы были уже по шею в воде, когда налетел второй вал. И снова монах вынырнул, уверенно работая веслом. После третьей атаки океана он определенно стал капитаном. «Слушай, — обратился он ко мне с ослепительной улыбкой, когда я, обессиленный, переполз через планшир, — садись на корму». Он подал мне весло, и вот мы уже неслись к берегу, выполняя команды Брахмачари.

Мы проделывали это много раз, так что даже мой младший брат предложил вернуться домой.

Уже никто не относился к Брахмачари как к чужаку. Он настолько освоился, что, когда бабушка во время вечернего обхода заглянула в кабинет и справилась обо мне, Брахмачари ответил: «Сейчас шесть часов, бабушка. А Симур наверху». Разумеется, его предупреждали, как надо отвечать; может быть, он не так понял? Но, как мне потом сказали, бабушка не заметила ошибки и спокойно ушла к себе.

Эта идиллия могла бы длиться очень долго, если бы бабушка и Брахмачари не готовили себе пищу отдельно — бабушка на печке в подвале, а Брахмачари — на газовой горелке в пустующем гараже. Время от времени они сталкивались на лестнице с подносами в руках. Через несколько дней бабушка зашла ко мне в кабинет. Брахмачари ушел куда-то с мистером Айзексом, и я был один, что случалось нечасто. Бабушка сняла темные очки — что тоже случалось нечасто, — чтобы убедиться наверняка, что она разговаривает именно со мной. Она хотела знать, кто эта старая негритянка, которая поселилась в соседней комнате.

— Старая негритянка, бабушка? — Я не был уверен, что правильно ее понял: бабушка говорила на идиш.

Она повторила вопрос. Кто эта старая негритянка в платке, белой юбке, с бусами и почему она в последние дни завладела мистером Айзексом?

— Это не негритянка, бабушка. Это мужчина, индусский раввин, о котором я тебе говорил. Разве мистер Айзекс вас не познакомил?

— Кто, этот хасид?— хмыкнула бабушка и тут же спохватилась.— Постой, но ведь он негр. Ты сказал, что он индусский раввин. А разве бывают черные евреи?

Ответ на этот вопрос грозил вылиться в лекцию о скитаниях евреев после разрушения Первого храма и об их переселении в такие невероятные места, как Конго или Внешняя Монголия. Я решил ограничиться коротким ответом:

— Конечно, бывают. Евреи бывают всех цветов кожи. Вообще-то,— добавил я,— Брахмачари не негр, просто у него смуглая кожа. Бабушка, ты об этом не беспокойся. И можешь мне поверить, что он — мужчина.

Но она не успокоилась, бедняжка. Я не сразу понял, как сильно она встревожена. Прошло пятьдесят лет с тех пор, как бабушка приехала в Америку, и ее взгляды, которые, возможно, были вначале более гибкими, давно закоснели. Ее суждения о нашем доме в Рек-Лиде, о ее детях и внуках, об их друзьях находились в вопиющем противоречии с современным миром, миром культурного взаимообмена и ломки расовых барьеров. В то же время она уже не была напрямую связана с замкнутым миром европейского еврейства XIX века. Между своим детством и домом, где протекал остаток ее дней, она возвела экран, на котором все события преломлялись сквозь призму ветхозаветных преданий. В ее представлении каждый нееврей мог стать участником налета на караван, который шел бесконечным путем из Египта в Землю Обетованную, на караван, в котором бабушке была вверена одна из повозок. В мифическом бабушкином мире время было всегда библейским — днем и ночью, а пространство представляло собой бескрайнюю пустыню, которую она пересекала со своим народом. Может быть, вам показалось, что ее регулярные обходы, ее вопросы обо мне и о времени были назойливым чудачеством рассеянной старушки? А наши ответы показались вам злыми шутками? Конечно, здесь не обходилось без бабушкиной рассеянности и нашего бессердечия, но мне кажется, что, задавая свои вечные

вопросы, она хотела удостовериться в безопасности каравана, убедиться в том, что, несмотря на широко раскрытые двери и окна, на множество незнакомцев в доме,— в него не проникли чужаки, извечные враги ее племени.

Теперь я вспоминаю, что несколько дней после нашего разговора она выглядела более обеспокоенной и смятенной, чем обычно. Действительно, в ту неделю в доме было особенно многолюдно: планировался новый спуск лодки на воду. Бабушкины обходы стали еще более бдительными. К тому же было жарко, и бабушка недомогала. Я думаю, что она страдала от диабета, но никому об этом не говорила. Но до последней минуты я не подозревал, как далеко зашла ее бдительность: она следила за монахом и по ночам. Сделать это было несложно, потому что их комнаты выходили на общий балкон.

Тихая старушка крадется среди ночи вдоль балкона, заглядывает в щель балконной двери и видит там в лунном свете спящего индуса — эта сцена могла бы показаться комичной, если бы не результат, который так потряс ее старое мужественное сердце. Однажды рано утром — солнце еще не взошло и моя комната была залита особенным предрассветным сиянием — я проснулся от резкого толчка. Я повернулся, открыл глаза и увидел над собой бабушку. Босая, в ночной сорочке, она дрожала от возбуждения. «Он поднялся, он поднялся!» — почти кричала она.

Я подумал было, что ей взбрело в голову испечь среди ночи пирог.

— Кто поднялся?

— Этот дикарь! Этот дьявол, которого ты привел в дом!

Я встал с кровати и увидел, что рядом с бабушкой стоит мистер Айзекс; в полутьме он выглядел таким же сонным и растерянным, как и я. Видимо, она подняла его первым — слава Богу, как раз этой ночью он заночевал в нашем доме — и он успел лишь накинуть сюртук поверх ночной сорочки; он тоже был босиком, с растрепанной бородой, но не забыл надеть свою меховую шапку. «Дьяволы,— не успокаивалась бабушка,— дьяволы твои друзья!» Она принялась яростно трясти меня за плечо. В это время коридор наполнился громкими голосами: отец, мать, братья и Джози повыскакивали из своих спален. Наверное, они решили, что в доме грабители. Эрнст тоже проснулся в кабинете и стал грозно лаять. Я посмотрел на мистера Айзекса: «Какие еще дьяволы?» Он только недоуменно пожал плечами.

Вместо ответа бабушка потащила меня за руку. Откуда

у нее взялась такая сила? Потом она отпустила меня, развернулась и побежала вверх по лестнице. Мы с мистером Айзексом молча поспешили за ней, а вслед за нами — и остальные домашние.

— Индус поднялся,— сказал я.— Бог знает, что она имеет в виду.

Джози с овчаркой, которая вдруг перестала лаять, прикрывали наш тыл.

— Что она имеет в виду?— спросил я у мистера Айзекса, когда мы пересекли бабушкину спальню и вышли на балкон.

— Она застала его посреди молитвы,— пробормотал Айзекс.

— Молитвы?— переспросил я.— Ну и что?

Бабушка — маленькая сгорбленная фигурка в белой сорочке — яростно всматривалась в балконную дверь.

— Воры?— спросил, запыхавшись, подоспевший отец.

— Где они?

В руках он держал дробовик. Вскоре собралась вся семья: мама с сумочкой, братья с лодочными крючьями и с сетью, Джози с Эрнстом на поводке.

— Ну,— теребил я мистера Айзекса,— он молится, ну и что?

— Дело в том, как он это делает,— неуверенно ответил мистер Айзекс.— Это утренняя молитва, и его никто не должен видеть.— Мистер Айзекс дрожал, но я не понимал от чего: от холода или от страха.

— Ну, говорите же!— требовал я.— Что он делает?

Восточный край Лонг-Айленда расцветился мягкими алыми и багровыми лучами, предвещавшими скорый рассвет.

Я схватил мистера Айзекса и потащил его к балконной двери.

— Вот что напугало вашу бабушку,— истерично прохрипел он.— Индус поднимается в воздух.— Айзекс дрожал от ужаса.— Она увидела, как он молился в четырех футах над кроватью.

Поддерживая бабушку, которая издавала что-то нечленораздельное, мы напряженно всматривались в темноту. Брахмачари, в тюрбане и набедренной повязке, с четками на шее, был целиком погружен в молитву. Он сидел посреди кровати в традиционной позе йогов, поджав под себя ноги, с плотно закрытыми глазами и непроницаемой улыбкой. Вокруг него на покрывале были расставлены кружка для милостыни, тарелки, барабан и кувшин с во-

дой; рядом, на ночном столике, стоял кустик туласи, который покачивался и шелестел в утреннем ветерке. Наверное, я находился под впечатлением сказанного мистером Айзексом, но я отчетливо видел, как с первыми лучами солнца индус опустил плечи и коснулся кровати (впоследствии никто, включая самого Брахмачари, этого не подтвердил). В этот момент бабушка пошатнулась и снова закричала. Когда мы с мистером Айзексом подхватили ее, я понял, что она потеряла сознание.

Мы подняли бабушку и отнесли ее на кровать в соседнюю спальню. Когда через несколько часов монах спустился приготовить себе завтрак, это был уже совсем другой дом. Бабушку осмотрел доктор; он назначил ей абсолютный покой и пообещал зайти еще раз. Глубокий обморок сменился у бабушки неясным бредом. Доктор сказал, что она в сознании, но немного не в себе.

— Что тут у вас произошло?— подозрительно глядя на нас, спросил доктор.

— Что вы имеете в виду?— уточнил мистер Айзекс.— Она вам что-нибудь говорила?

Родители и братья настороженно переглянулись.

— Скажите,— неуверенно начал доктор,— нет ли в вашем доме чернокожих? С тюрбанами?— Видно было, что доктор боится оказаться в глупом положении.— Она вообразила, что кто-то в доме навлек на себя гнев Моисея. Она сказала, что когда евреи покидали Египет, какие-то темнокожие напали на караван, на тот край, где были старики и больные, и забросали их камнями. Она сказала, что Моисей был очень зол и велел евреям никогда больше не иметь дела с теми людьми. Скажу вам как врач,— голос доктора стал решительным,— если у вас в доме есть такой человек, немедленно от него избавьтесь.

Даже мои братья побледнели.

— Темнокожий?— переспросил отец.— Единственный, кто приходит мне на ум, это друг моего сына, индус. Но она не могла говорить о нем. Индию и Египет,— продолжал он уверенно,— разделяет океан. Тысячи миль. И потом, он очень культурный человек: в жизни ни в кого не бросит камня.

Несмотря на слова отца, я чувствовал на себе осуждающие взгляды. Доктор предполагал у бабушки нервный шок, но больше всего его беспокоили ее опухшие ноги. Это случалось с бабушкой и раньше: сахарный диабет, но

теперь к этому добавился паралич. Разумеется, временный. Надо держать ее в постели и давать успокоительные. А он скоро вернется.

— Всё ты и твои монахи,— мрачно прошептал один из моих братьев.

В руках у Брахмачари были мамина сумочка, сеть и крючья, которыми были вооружены мои братья.

— Это ваши вещи?— спросил он с вежливой улыбкой.— Я нашел их на балконе.

— Понятия не имею, как они там очутились,— ответила мать с каменным лицом. Ясно было, что она говорит за всех.

— Извините,— сказал мистер Айзекс; не притронувшись к яичнице, он встал из-за стола, взял монаха под руку, и вместе они вышли из дома. Позже я видел, как они жарили рис на газовой горелке в гараже: странная парочка — мистер Айзекс в сюртуке и меховой шапке, Брахмачари в красном тюрбане и свежей юбке — о чем-то увлеченно беседовала.

Когда на следующее утро пришел доктор, атмосфера в доме была по-прежнему напряженной. После обеда он снова забежал и оставил в бабушкиной комнате сиделку, наказав ей давать больной успокаивающие пилюли и массировать ноги. С нами он был немногословен: не входите к ней в комнату и не подпускайте к ней индуса, или кто он там. Об остальном позаботится сиделка.

Назавтра я с тревогой смотрел на доктора, выходящего из бабушкиной спальни. Казалось, он был встревожен еще больше, чем я. И действительно, когда родители остановили его у лестницы и потребовали объяснений, он был почти невменяем. «Все это у нее в голове»,— снова и снова бормотал доктор.

— В голове?— спросил отец.— Доктор, я хочу, чтобы вы нам это объяснили.

Врач, очевидно приведенный в чувство резкими интонациями моего отца, попытался объяснить. Он решил отменить успокоительные, хотя состояние оставляет желать лучшего. Несмотря на горячие компрессы и массаж, опухоли на ногах не проходили.

Создается впечатление, что она сама противится выздоровлению. Такие случаи бывают, сказал доктор. Пациенты просто не хотят выздоравливать. Он полагает, что

следует пригласить психиатра. Он может порекомендовать хорошего специалиста, своего двоюродного брата... Иначе больная может навсегда остаться в постели.

И в эту минуту, когда при упоминании о психиатре мать расплакалась, а лицо отца стало суровым, на кухне раздался громкий крик Джози: «Нет, нет, не входите!»

— Ну что ты, Джози,— услышал я голос брата.— Это ведь мы с мистером Айзексом.— Через мгновение появились мои братья и мистер Айзекс.

— Где вы были?— спросил я.— Доктор хочет привести психиатра.

— В гараже,— ответил младший брат.— Мистер Айзекс там ночевал.

— А еще есть кто в гараже?— Я пристально посмотрел на них: они явно что-то скрывали.

— Возможно,— ответил другой брат.— А тебе-то что?

Мистер Айзекс провел рукой по густой черной бороде.

— Психиатра? К этой почтенной даме?

— Да, к бабушке,— сквозь слезы подтвердила мать.— Они думают, что опухоль у нее в голове.— Отец, сам еле сдерживая слезы, пытался ее успокоить.

— Вот как, в голове?— Мне показалось, что в бороде талмудиста прячется усмешка.— Вполне возможно. Мне всегда казалось, что у нее что-то не в порядке с памятью. Но прежде чем звать психиатра, с позволения доктора,— сказал он, сухо поклонившись оскорбленному врачу,— я хотел бы пригласить моего коллегу.

Отец уставился на мистера Айзека.

— У вас есть коллега? Наверно, еще один хасид.

— Можно сказать и так,— невозмутимо согласился мистер Айзекс.— Один мой знакомый теолог.

В сопровождении моих братьев, которые, проходя мимо меня, выразительно подмигнули, он подошел к кухонной двери, открыл ее и сказал:

— Я хотел бы представить вам доктора Маханана Б.Брахмачари, моего коллегу из Калькуттского университета.

В холле появился Брахмачари; перед ним мои братья торжественно несли барабан, медные тарелки, кружку для милостыни и кувшин с водой.

Брахмачари был великолепен: он был обернут в накидку из прозрачной кисеи, его голову украшал праздничный тюрбан, а на лбу и на скулах желтой мастикой

были нанесены знаки его ордена. Ясно было, что он пришел по делу.

— Доброе утро,— сказал он, дружески улыбаясь.— Я пришел навестить вашу бабушку.

— Индус!— закричал доктор.— Убирайтесь вон!

Не меньше возмущалась и мать. Последней каплей была раскраска на лице Брахмачари — ведь это было прямое нарушение Моисеева предписания.

— Дьяволы!— кричала она.— Вот дьяволы, о которых говорила мама!

Отец вел себя более сдержанно.

— Что вы имеете в виду?— спросил он мистера Айзекса.— Вы сказали, что у нее плохо с памятью,— и что же?

Тут мистер Айзекс сделал торжествующий жест:

— Она путается в Библии. Мне больно говорить об этом,— обратился он к моим родителям,— но вы напрасно тратили деньги на уроки. Она плохая ученица. Худшая из всех моих учеников!

Я понял, что мистер Айзекс что-то задумал. Евреи, как и другие верующие, признающие Ветхий или Новый завет, делят Священное писание на отрывки для еженедельного чтения. В нашей семье шутили, что бабушка, запутавшись в библейском тексте и не зная, с какого места начинать чтение (а это, если верить мистеру Айзексу, случалось нередко), почти инстинктивно возвращалась к той части Писания, где описывалось бегство евреев из Египта. Поэтому иногда мистер Айзекс в шутку называл себя бабушкиным проводником в Землю Обетованную. Он все-таки надеялся когда-нибудь ее туда вывести. Для этого он должен был научить бабушку следовать библейскому тексту, а не собственному причудливому воображению. И вот его час настал.

— Например,— продолжал он, раскачиваясь из стороны в сторону,— она заявляет, что соплеменники нашего друга Брахмачари забросали нас камнями на пути из Египта. Это явный случай ошибочного познания или же... недостаточного внимания к тексту,— добавил он, почти переходя на монотонное пение.— Ведь наш друг доктор Брахмачари принадлежит к совсем другому племени. Взгляните на его тарелки и барабан! Похоже ли это на снаряжение разбойников, нападающих на караваны? Конечно же, нет!— сам ответил мистер Айзекс на свой вопрос.— Так в каком же месте Писания об этом сказано?

— В Евангелии от Иоанна?— предположила Джози.

— Не тот Завет,— Мистер Айзекс неодобрительно посмотрел на кухарку.

— Послушайте,— не выдержал доктор.— Это просто невыносимо! Кто здесь врач?

Но никто не обращал на него внимания. Все ждали, когда Айзекс перейдет к более благоприятному библейскому сюжету, где Брахмачари отводится совсем иная роль.

— Я имею в виду царя Соломона,— продолжил мистер Айзекс.— Соломона, сына Давидова, пляшущего царя. Мы дадим бабушке урок, в котором я попытаюсь ей напомнить, что царь Соломон расширял границы своей державы и брал себе жен со всего Востока. Почему не предположить, что Брахмачари — потомок Соломона от одной из его жен-индианок?

Мне стало не по себе от такого нелепого толкования.

— Но ты-то, Брахмачари, ты сам в это не веришь?— спросил я у монаха и как-никак выпускника университета.

— Какая разница, во что он верит?— вмешался один из братьев.— Ты же хочешь, чтобы бабушка поправилась? Уверяю тебя, мы всё рассчитали. Если от одного шока она оказалась в постели, то второй поставит ее на ноги... При условии, что она это вынесет,— добавил он хмуро.— А иначе у нас тут будут похороны.

— Разумеется,— мечтательно продолжал мистер Айзекс,— нельзя сбрасывать со счетов и этот роман с царицей Савской. Возможно, Брахмачари происходит от Соломона и эфиопской царицы... Нет, нет,— спохватился он,— это слишком близко от Египта. Лучше не рисковать.

Я был потрясен изворотливостью его рассуждений.

— Брахмачари,— снова обратился я к индусу,— ведь ты не сможешь с этим согласиться?

Монах посмотрел мне в глаза.

— Думаю, что смогу. Разумеется, в поэтическом смысле. Возможно, что мистер Айзекс, в своем усердии облагородить мое происхождение, несколько вольно обращается со своим Писанием. Но, поскольку сам Соломон был потомком царя Давида, автора Псалмов... такое происхождение меня устраивает.

— Устраивает? Но ведь все это сказки!

— И еще какие красивые!— подтвердил индус.— Тебе, видимо, невдомек, как много общего у Давида— пляшу-

щего царя евреев — и Господа Кришны — экстатического божества индусов, одним из последователей которого являюсь я. Им обоим поклоняются не догмами и обрядами, а радостью и песнями. Вам уже предлагали рассмотреть мое снаряжение — взгляните еще раз! — Он подошел к моему брату и энергично постучал в барабан. — Тарелки и барабан! Не это ли инструменты вашего царя Давида? Вы читали Псалмы? Мы должны убедить бабушку, что, принимая у себя в доме мистика, она не нарушила ни одну из заповедей. Как только она признает, что спасение проистекает не из религиозных догм, но поднимается из глубин человеческой души, что путь к нему лежит не через отвлеченные рассуждения, а через чувства, через сердечную склонность, — как только она это поймет, она обретет душевный покой. Она не будет больше думать о дьяволах и чудовищах. Она встанет и пойдет! Более того, — добавил он лукаво, — она встанет и запляшет!

Поклонившись моим родителям, Брахмачари сделал знак братьям и мистеру Айзексу, и они двинулись вверх по лестнице.

— Я запрещаю! — кричал доктор. — Сиделка, сиделка, замкните дверь!

Он пытался их остановить, но было слишком поздно.

Замерев, мы вслушивались в тишину. И вот, после звуков сдавленной речи и какой-то возни (я решил, что это сиделка пыталась не пустить их к бабушке), раздался бабушкин крик, более осмысленный и не такой пронзительный, как тогда, когда она увидела молящегося Брахмачари.

Отец покачал головой.

— Это из-за раскраски, — сказал он понимающе. — Я знал, что ей это не понравится, — обратился он к доктору, но тот оставил его объяснения без внимания.

После этого сверху раздался звук такой силы, по сравнению с которым бабушкин крик показался бы хныканьем ребенка среди бушующего океана. Но это был совсем иной звук, здесь слышалось что-то сладкое и радостное. Потом я понял, что это длилось довольно долго: звук становился все громче, и в нем слышался ветер: нет, не шум ветра, но его образ — образ ветра ясным предрассветным июньским утром. В этом звуке была морская зыбь и эхо раковины, хранящей послание моря. Словом, это был Брахмачари, пляшущий перед бабушкой, словно царь Давид, ударяя в тарелки.

Затем наступила полная тишина.

— Господи Иисусе,— перекрестилась кухарка.

Я оглянулся и увидел, что мои родители забились в угол, словно перепуганные дети. Они кивнули мне, и мы молча прошли мимо доктора и поднялись по лестнице. Рядом с закрытой дверью бабушкиной комнаты стояла сиделка с лицом таким же белым, как ее халат. Отец потянул за ручку, но дверь была заперта. Изнутри доносились неясные звуки. Наконец я разобрал, как мистер Айзекс читает по-древнееврейски: «Начальнику хора. Псалом Давида. Воспойте Господу новую песнь. Благословение Господне хранящим завет Его». Слышно было постукивание барабана.

Молча мы прошли через соседнюю комнату на балкон. Там, прикинув к окну, мы увидели бабушку — первый раз за несколько дней. Она вовсе не выглядела больной: она сидела на кровати, откинувшись на подушки, все в той же белой ночной сорочке, но ее волосы были аккуратно расчесаны, а щеки слегка поддурмянены. Бабушка казалась помолодевшей, а выражение ее лица было изумленным, но довольным. На другом конце кровати восседал Брахмачари, снова раздевшийся до тюрбана и набедренной повязки; длинными коричневыми пальцами он ударял по барабану и, раскачиваясь из стороны в сторону, напевал: «Харе Кришна. Слава Кришне».

Бабушка ошеломленно улыбалась, ее щеки порозовели. Я разглядел, что на покрывале перед индусом стоит его большая кружка, в которую он положил теперь уже ненужные тарелки, соединенные плетеной веревкой: эти тусклые и неприметные инструменты породили звук, который заглушил бабушкин крик. На ночном столике шелестел кусти́к туласи.

— Псалом Давида,— распевал мистер Айзекс; он расположился в углу комнаты с молитвенником в руках.— Аллилуйя. Воспойте Господу новую песнь. Благословение Господне хранящим завет Его.

— Кто я, бабушка?— спросил Брахмачари, на минуту перестав стучать в барабан.

Ее губы беззвучно шевелились.

— Царь Давид?— спросила она едва слышно.

— Аллилуйя,— пел Айзекс,— хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных.

— Это доктор Брахмачари,— сказал мой брат.— Это индусский хасид, бабушка, с которым мистер Айзекс хо-

чет тебя познакомить. Вставай же, поздоровайся с учителем.

Братья обхватили бабушку за плечи и поставили ее на ноги. Пока она стояла и неуверенно улыбалась, монах соскользнул с кровати и подошел к ней.

— Меня зовут Маханан Брата Брахмачари, — сказал он, сложив перед лицом ладони и поклонившись. — Я индусский монах из монастыря Шри Анган в Фаридпуре, Восточная Бенгалия. Ваши внуки пригласили меня погостить.

Наступило молчание. В соседней церкви колокол пробил полдень. Наконец бабушка заговорила.

— Здравствуйте, доктор Брахмачари, — сказала она по-английски. — Добро пожаловать!

— Аллилуйя, — снова запел мистер Айзекс, но бабушка его перебила.

— Аллилуйя! — закричала она, вырываясь из рук моих братьев. — Все дышащее да хвалит Господа.

Родители говорили потом, что она медленно приблизилась к индусу, но мне тогда казалось, что она бежит вприпрыжку. Когда внуки попытались подхватить ее, она лучезарно улыбнулась.

— Сейчас двенадцать часов, дети, — сказала она. — Где?..

Но прежде чем она успела закончить вопрос, я влетел в комнату и крепко обнял старушку.

С иврита. Перевел О. БАРИЦАЙ

Натан Зах

ЕЩЕ Я СКАЗАЛ НЕ ВСЕ

Еще я сказал не все,
еще мне есть что сказать.

Пока не поздно и публика не покинула зал,
каждый запомнит то, что запоминал,

когда остальные смолкли, исчерпав свою речь,
о чем-то проговорившись, что-то недосказав.

А я-то сказал не все.

* * *

Видя белую птицу в черной ночи,
понял я — скоро угаснут лучи
глаз моих в черной ночи.

Видя облачко величиной с пятерню,
понял я — чувство дождя, которое так ценю,
непересказанным внутри себя схороню.

Видел я — падает лист, вон сколько листьев упало.
Нет, я не жалеюсь. Просто времени мало.

С иврита. Перевел Геннадий БЕЗЗУБОВ

Леонид Ваксман

ДОРОГА, СКАЖЕМ, В РИМ...

Мы еще с тобой найдем дом
В звездной кутерьме, среди льдин...
Главное, малыш,— дыши ртом.
Главное, пацан,— вдыхай дым.

Мы еще идем след в след.
Половина лет ушла в шаг.
Половина зим ушла в бред,
в мат очередей. Твой ход. Шах!

Мы еще спешим на край ржи,
где над пропастью туман спит.
Пусть она не так ушла, жизнь,
главное, старик, не страх — стыд!

На траве дрова. В дому — стынь.
Что посеешь — все — пустой труд.
Добрые слова — что в них, сын?
Главное — когда они лгут.

Все, что за спиной,— завить в рог.
Все, что на пути,— не брать — жечь!
Главное, сынок,— мотай в срок.
Главное, дружок,— копи желчь!

Намотай на винт ремни жил,
Разорви тугой перехлест шлей.
Главное, отец,— ты жил, жил!
Главное — потом, а пока — пей!

Мы еще с тобой влачим груз
будничных забот, пустых драм.
Главное, земляк,— дави грусть!
Главное, чудак, не здесь — там!

Убери с лица носовой шелк,
мы еще с тобой споем, брат.
Главное, мон шер, ты шел, шел,
вышел в короли — а тебе — мат!

Половина слез ушла в соль.
Половина грез — в туман, в дым.
Главное, браток,— терпи боль,
ну а все пути приведут в Рим.

Людмила Улицкая

СЧАСТЛИВЫЕ

Каждое воскресенье Берта и Матиас отправлялись к сыну. Берта делала бутерброды, наливала в термос чай и аккуратно обвязывала бумажной веревкой веник. Брала на всякий случай банку и все это упаковывала в чиненную Матиасом сумку. Матиас подавал ей пальто, или плащ, или жакетку, и они шли на рынок покупать цветы. Потом у трамвайной остановки они долго ждали редкого трамвая.

С годами Матиас делался все приземистей и все более походил на шкаф красного дерева; его рыжая масть угадывалась по темно-розовому лицу и бурым веснушкам на руках. Берта, кажется, была когда-то одного с ним роста, но теперь она возвышалась над ним на полголовы. В отличие от мужа, с годами она становилась как-то менее некрасивой. Большие рыхлые усы, которые в молодости ее портили, хотя и сильно разрослись, но стали не так заметны на старом лице.

Они долго тряслись в трамвае, где было жарко или холодно, в зависимости от времени года, но всегда душно. Они окаменело сидели — им всегда уступали места. Впрочем, когда они поженились, им тоже уже уступали места.

Дорога, не оставляя места для сомнений, приводила их к кирпичной ограде, проводила под аркой и оставляла на опрятной грустной тропинке, по обе стороны которой среди зелени, или снега, или сырого нежного тумана их встречали старые знакомые: Исаак Бенционович Гальперин с ярко-синими глазками, закатно-малиновыми щеками и голубой лысиной, его жена Фаина Львовна, расчетливая женщина с крепко захлопнутым ртом и трясущимися руками, полковник инженерных войск Иван

Митрофанович Семерко, широкоплечий, как Илья Муромец, прекрасно играет на гитаре и поет и такой молодой, бедняга; потом со стершимися бабушкой и дедушкой Боренька Медников, два года два месяца, с лицом неопределенным и рассеянным; малосимпатичная семья Краф, рослые, неповоротливые, белотелые, объявившие о себе вычурно-стройными готическими буквами; необыкновенно приветливые старики Рабиновичи с рифмующимися именами — Хая Рафаиловна и Хаим Габриилович, всегда в обнимку, со светло-серыми волосами, одинаково поредевшими к старости, сухие, легкие, почти прозрачные, взлетевшие сюда в один день, оставив всех свидетелей этого чуда в недоумении...

За поворотом тропинка сужалась и приводила их прямо к сыну. Вовочка Леви, семь лет четыре месяца, встречал их уже много лет тому назад выбранной для этого случая улыбкой, раздвинувшей губы и обнажившей полоску квадратных, не доросших до взрослого размера зубов, среди которых темнело место только что выпавшего. Все остальные выражения его широкого милого лица, мстя за то, что не они были выбраны для представительства, незаметно ускользнули и улетучились, оставив эту раз и навсегда единственную улыбку из всего неисчислимого множества движений лица.

Берта доставала сверток с веником, развязывала узелок, складывала вчетверо газету, в которую он был завернут, а Матиас смахивал веником пыль или снег с незамысловато-зеленой скамеечки. Берта стелила сложенную газету и садилась. Они немного отдыхали, а потом прибирали этот дом — ловко, не торопясь, но быстро, как хорошие хозяева.

На маленьком прямоугольном столике Берта стелила бумажную салфетку, наливала в скользкие пластмассовые крышки чай, ставила стопочку сделанных один в один новеньких бутербродов. Это была их семейная еженедельная трапеза, которая за долгие годы превратилась в сердцевину всего этого обряда, начинающегося с заворачивания веника и оканчивающегося завинчиванием крышки пустого термоса.

Глубокое молчание, наполненное общими воспоминаниями, не нарушалось никаким случайным словом, — для слов были отведены другие часы и другие годы. Отслужив свою мессу, они уходили, оставляя после себя запах свежeweымытых полов и проветренных комнат.

Дома за обедом Матиас выпил воскресные полбутылки водки. Трижды налил он в большую серебряную рюм-

ку с грубым рисунком, пасхальную рюмку Бертиноного отца, трижды по-коровьи глубоко вздохнула Берта, не умеющая ответить ему иначе. Потом она отнесла посуду на кухню, особенным способом — с мылом и нашатырным спиртом — вымыла ее, вытерла старым чистым полотенцем, и они возлегли на высокую супружескую кровать.

— Ох ты, старый, — сказала шепотом Берта, закрывая маленькие глаза большими веками.

— Ничего, ничего, — пробормотал он, сильно и тяжело поворачивая к себе левой рукой отвернувшуюся жену.

Им снились обычные воскресные сны, послеобеденные сны, счастливейшие восемь лет, которые они прожили втроем, начиная с того нестерпимого, наполненного переломами дня, когда она, измученная дурными мыслями, пошла со своей разбухшей грудью и прочими неполадками к онкологу, не сказав об этом мужу. Старая врачиха, сестра ее подруги, долго ее теребила, жала на соски и, задав несколько бесстыдных медицинских вопросов, сказала ей:

— Берта, ты беременна, и срок большой.

Берта села на стул, не надев лифчика, и заплакала, сморщив старое лицо. Большие слезы быстро текли по морщинам вдоль щек, замедляясь на усах, и холодно капали на большую белую грудь с черными курносыми сосками.

Матиас посмотрел на нее с удивлением, когда она сказала ему об этом, — он знал давно, потому что первая его жена четырежды рожала ему девочек, но дым их тел давно уже рассеялся над бледными полями Польши. Ее молчание он понимал по-своему и — что тут говорить — никак не думал, что она сама об этом не знает.

— Мне сорок семь, а тебе скоро шестьдесят.

Он пожал плечами и ласково сказал:

— Значит, мы, старые дураки, на старости лет будем родителями.

Они долго не могли выбрать имя своему мальчику и звали его около двух месяцев «ингеле», (по-еврейски «мальчик»).

— Правильно было бы назвать его Исаак, — говорил Матиас.

— Нет, так теперь детей не называют. Пусть будет лучше Яков, в честь моего покойного отца.

— Его можно было бы назвать Иегуда, он рыжий.

— Глупости не говори. Ребенок и вправду очень красив, но не называть же его Соломоном.

Назвали его Владимиром. Он был Вовочкой — молчаливым, как Матиас, и кротким, как Берта.

Когда ему исполнилось пять лет, отец начал учить его тому, чему его самого обучали в этом возрасте. В три дня мальчик выучил корявые, похожие друг на друга, как муравьи, буквы, а еще через неделю начал читать книгу, которую всю жизнь, справа налево, читал его отец. Через месяц он легко читал и русские книги. Берта уходила на кухню и сокрушенно мыла посуду.

— О, какой мальчик! Какой мальчик!

Она восхищалась им и ужасалась тому, чем сквозило от мальчика — тоненькой холодной струйкой, которая отрывается зимой от заклеенной рамы и как иголкой касается голой разгоряченной руки.

Она мыла свою посуду, взбивала сливки, которые никогда не взбивались у соседок, пекла пирожные и делала паштеты. Она слегка помешалась на кулинарных рецептах и совсем забыла о бледной пшенной каше, расплывающейся по дну алюминиевых мисок, о жидких зеленых щах, которые варила из молодой жгучей крапивы, сорванной на задах разваливающегося двухэтажного дома, в котором жило сначала сорок восемь, а в конце войны восемьдесят вечно голодных, больных и грязных детей. Она забыла про голубые нежно-шершавые головы мальчиков, их голо торчащие беззащитные уши, тонкие ключицы и синие вены на шеях девочек. Ее любовь ко всем этим детям вообще острым лучом сошла теперь на Вовочке.

Каждый день своей жизни она наслаждалась близостью рыженького пухлого мальчика, часто трогала его руками, чтобы убедиться в том, что он у нее есть. Она купала его, он кричал, а она восхищенно смотрела на непропорционально большие ступни и сокровенный маленький конус.

Когда он подросток, она с таким же восхищением наблюдала за его долгими играми, похожими на настоящую и скучную работу — он часами плел из разноцветных полосок коврики, хитро соединяя их между собой. Матиас, варшавский портной парижской выучки, работал в закрытом ателье и приносил сыну лоскутки. Сам же и помогал ему резать их на ленточки...

Берта в глубине души стеснялась своей непомерно разросшейся любви, считала ее даже несколько греховной. Не склонная к самоанализу, она не приводила свои ощущения к тому порогу, когда надо их словесно определить, жила, внутренне этого избегая.

Матиас приходил с работы, обедал и садился на диван.

Вовочка пристраивался рядом, как пирожок, испеченный из остатков теста, рядом с большим рыжим пирогом. Они читали, разговаривали, а Берта суеверно уходила мыть свою сверкающую посуду.

Во сне она легко, как в соседнюю комнату, входила в прошлое, и легко двигалась в нем, счастливо дыша одним воздухом со своим сыном.

Муж ее Матиас, с усами сталинского покроя, молчаливо присутствовал, как главная деталь декорации. Сны эти походили на много раз виденный, наркотически обаятельный спектакль, который шел долго-долго и всегда кончался за четверть часа до того, как Берта на вытянутых руках вносила со двора Вовочку — бледного, со свежей царапиной на щеке, следом его утренних трудов над моделью самолета, пришедшей на смену хитроумно сплетенным коврикам. Ворот полосатой рубашки был расстегнут, и на шее, целиком открытой и удлинившейся из-за запрокинутой головы, не билась ни одна жилка.

Все произошло мгновенно и напоминало плохой плакат, — большой красно-синий мяч резко выкатился на середину дороги, за ним вылетел, как пущенный из рогатки, мальчик, раздався скрежет тормозов чуть ли не единственной проехавшей за все воскресное утро машины, мяч еще продолжал свое ленивое движение, успев пересечь дорогу перед грузовиком, а мальчик, раскинув руки, лежал на спине в последней неподвижности, внешне совершенно здоровый, со свежей, не выплеснувшейся ни на каплю кровью, не остановившей еще своего тока в кончиках пальцев, но уже необратимо мертвый.

Матиас стоял возле маленького настенного зеркала, с намыленными щеками и задранным подбородком и, отведя правую руку с тяжелым лезвием, примеривался к трудному месту на шее...

...В седьмом часу старики проснулись. Берта сунула худые серые ноги в меховые тапочки и пошла ставить чайник. Они сидели за круглым столом, покрытым жесткой, как фанера, скатертью. Посреди стола торжествовала вынутая из буфета вазочка с самодельными медовыми пряниками. За спиной Матиаса в углу стоял детский стульчик, на котором пятнадцатый год висела маленькая коричневая курточка, собственноручно перешитая им из собственного пиджака. Левое плечо, то, что к окну, сильно выгорело, но сейчас, при электрическом освещении, это было незаметно.

— Ну, что же, сдавай, — сказала Берта и потянулась за очками. Матиас тасовал.

Рахель Абельская

* * *

Чьи разговоры шипят в преисподней,
Что там в свердловских пивнушках болтают?
Эта страна для любви непригодна,
Ангелы с этой земли улетают.
Стало их пение хриплым и низким,
Арфы сыграли последнюю ноту.
Ангелы белые крылышки чистят,
В тяжелой печали готовясь к полету.

Ждет их за морем страна золотая,
Ласковый берег и пены полоска.
Ангелы плачут, от нас улетая,
Перья роняя на крыши Свердловска.
Трещины знаков на черном асфальте —
Эта земля не дотянет до лета...
Ангелы, ангелы, не улетайте
Из обиталища грязи и света!

На площадях, где бранятся вороны,
Небо над Городом Мертвых алеет,
Как он злословит и пьет обреченно
И об ушедших ничуть не жалеет.
Не улетайте, ведь солнце исчезнет,
Песен умолкнут небесные звуки.
Белое перышко кружится в бездне,
В каменной бездне разлуки.

Эдуард Шульман

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

I

Мой прадед, по имени Мендель, умер за два года до моего рождения. А я его помню. Но прежде я научу вас произносить имя.

Не нужно говорить «Мендель», дважды упирая на «е» и смягчая «л». Как раз наоборот: «л» твердое, а вместо «е» — «э». И не два «э», а одно. «Мэндл» — вот так.

Я помню, что прадед мой Мендель, сухонький и резвый, лежит на широкой кровати и как-то вроде барахтается. Но самое яркое, что хранит память, — стена. Отчетливо вижу зеленые обои, разрисованные какими-то лепестками, похожими на крылья бабочки.

— Но ты не можешь этого помнить! — кричат родственники. — Это мы тебе рассказали!

Они забыли, когда родились прадед и прабабка, не знают даже отчества прадеда...

Почему я должен верить, что он умер за два года до меня? А может, когда мне исполнилось два года?

И вот зелень стены прочно несусь я с собой. А лица прадеда — нет. И голубых глаз его — нет. Стена была ярче, чем глаза прадеда.

«Младший сын — бедный сын» — это про него. В местечке Старина он не то арендовал, не то сам имел скот и вместе с женой, прабабкой моей Ципой, о которой речь впереди, доил коров, торговал молоком, сбивал масло...

Но он был гуляка — Мендель-молочник, и дела его со временем пошатнулись. Старшие братья бросили помогать, и он переехал в город Славск, где и прожил до смер-

ти. А вернее — пролежал на той широкой кровати, которую я и помню.

Лежа читал газеты, Талмуд и сочинения Карла Маркса, рассуждал о политике и Боге, целиком доверив и хозяйство, и дом, и детей (их было одиннадцать человек) жене своей Ципе.

Я бы мог написать, как он гулял. И, конечно, написал бы, будь прадед единственный пьющий человек в нашем роде. Но поберегу эти истории для деда моего Исаака, — ведь с ним-то они и приключились. И с Менделем тоже. Отчасти.

Прабабка моя Ципа была красивая и крепкого сложения, что случается не всегда. Ибо сила и крепость — свойства мужские и портят женщину. А ее не портили.

Бабушка Лея, единственная из детей Ципы живущая по сей день, говорит, что «мама» была такая сильная, что если бы не война — никогда бы не умерла.

Сейчас ей было бы более ста лет. А скончалась она восьмидесяти с лишним. В гетто.

Ее не убили в акцию семнадцатого июля, и не зарезали ночью двадцатого августа, и не вывезли в лагерь осенью, и не расстреляли зимой в местечке Дарьина Гора.

Моя прабабка не была среди тех людей, которых загнали в холодную конюшню, приказали раздеться и заставляли молодых совокупляться, как животных. Ее не волокли на крышу, чтобы выстрелами согнать вниз.

Она мирно умерла, окруженная детьми, внуками и правнуками, которые еще на что-то надеялись и были способны искренне горевать, воспринимая ее смерть как самую большую и горькую утрату. И когда Ципы не стало, они решили, что самое страшное уже позади... Прабабка умерла даже не от голода, а от болезни, именуемой «лишай».

Я помню толстую, ворчливо-веселую старуху, которая часто плевала в таз, выгаликивая его ногой из-под кровати.

Недавно Роза Наумовна Брук (Николаева), родная внучка Ципы и моя двоюродная тетка (я потом расскажу вам, отчего она Николаева), — так вот, недавно Роза говорила мне, что когда к ней приходили кавалеры, прабабка чаще обычного пользовалась тазом. А когда, проводив гостей, Роза кричала и топала ножками, прабабка посмеивалась:

— Надо же мне испортить вам удовольствие...

Наверно, она завидовала, что Розе и ее мальчикам — семнадцать лет.

II

Дети у прабабки были черные, кудрявые, носатые, толстогубые, с желтыми большими глазами. И — голубоглазые, белесые, курносые. Ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца. Потому что хотя Мендель и был голубоглаз, но то были совсем иные голубые глаза. А курносый никогда не был. Да и Ципа тоже.

Дочь Михалина, самая белесая и какая-то нагло скуластая, когда хотела как-нибудь побольнее уколоть прабабку, непременно поминала ей того прохожего молодца — Степана по имени. А бабка отрекалась. До революции — со страхом, после — со смехом. А в старости и вовсе не отрекалась. Хотя грехов никаких на себя не принимала.

Старшего ее сына звали Йомтов. Вы легко освоите это имя, вспомнив такие слова, как «миллион», «бульон», «майор». А когда будете звучно и отчетливо рвать, я сообщу вам в награду, что по-русски «Йомтов» означает «праздник», «добрый день», а затем разрешу это трудное и весьма редкое имя забыть, потому что молодым человеком, дабы избежать призыва, Йомтов уехал в Америку, где стал бухгалтером.

При царе в России был такой закон: еврея не брали в армию, если он обязывался эмигрировать. Будь у царя деньги — каждому купил бы билет на пароход. Но денег у царя не было. И он заключил договор с какими-то лондонскими сионистами, что они вывезут из России четыре миллиона человек... А погромы, наверное, устраивались затем, чтобы еврейское население не превысило четырех миллионов. Тютелька в тютельку.

III

Следом за сыном родилась дочь — Михалина. Но не Менделевна, а Марковна. Все они были Марковичи и Марковны — не держали имени отца в отчестве. И тем самым нарушали закон. Ибо, согласно закону Российской империи, иноверцы не могли называться христианскими именами. Но закон этот повсеместно не соблюдался, а Февральская революция и вовсе отменила его.

Потому-то бабка моя со стороны матери (в паспорте — Лея Менделевна) столь прочно зовется Елизаветой Марковной, что я лишь на пятнадцатом году узнал настоящее имя. И был несказанно удивлен.

Михалина, или попросту Михля, была «бой-баба». Она вышла за некоего Ошера, человека небогатого, ибо трудом праведным не наживешь палат каменных. Однако деревянный крепкий рубленый дом он нажил.

Ошер был лесник, то есть знал толк в древесине, и получал от английской фирмы солидное жалованье. Он был как те двое дегустаторов, что служили у чаеоторговца Высоцкого: полгода каждый сидел в китайской деревушке, чай пробовал, а полгода — на средства Высоцкого — в Италии, с семьей... Лес, где работал Ошер, был так же далеко от Лондона, как та чайная деревушка — от Высоцкого. Но получал он поменьше: одно дело — чай пробовать, другое — древесина. Дегустаторам за вредность платили.

Словом, акционеры были довольны Ошером, Ошер — акционерами, а недовольна была Михля. На свой страх и риск открыла она лавку в местечке Койданово — мелочную грязную лавчонку, где стояла за прилавком молодая, еще не замужняя и очень красивая бабка моя Лея. Там-то и увидел ее однажды купец второй гильдии Яков Абрамович Гурвич.

В нашей семье, довольно-таки, надо сказать, бедной, — именно бедной, а не бедствующей, — младшие работали на старших, а потом старшие помогали младшим. Этот порядок завела Ципа, и все крепко его держались, хотя не без перебранок и пересчетов, кто кому должен и кто кого обманул.

Но когда моя бабка вышла замуж и стала купчихой, младшая дочка Эсфирь, последний ребенок, взбунтовалась против такого порядка. И Михалина, поскольку некому было торговать в лавке, взяла из приюта девочку Двосю — забитую, замурзанную Двоську. Я ее как-нибудь потом сбуду, думала Михля, выдам за кого-нибудь.

Но совершились события, никак Михлей не предусмотренные, — война, революция, опять война, — и они, эти события, загнали ее на самый край земли, на самый западный край новой советской Родины, от которой она впоследствии не отказалась, отчего и погибла в Польше зимой 1944 года.

Край земли — западная граница — был местечко Негорелое.

Михалина закрыла лавочку, ибо новая власть не одобряла торговли и, напротив, высоко оценила знания, работоспособность и добросовестность Ошера, — итак, она закрыла лавочку и промышляла контрабандой. Нет, сама не носила в ведрах через границу чай и дорогое вино, — это

делали другие. Михалина принимала, сортировала и отправляла. А главное — договорилась с пограничниками.

Был на заставе некий Мирон Портной — рабочий, член партии. К нему-то и подослала Михля свою дочь Фаню. И та, образованная, гимназистка, распушенная и распутная, брезгливо, в угоду матери, овладела Мироном. Уж не знаю, как ей удалось... Современники ссылаются на нэп: угар нэпа, перерожденцы, «рыжее» время... Но в местечке на границе все это вряд ли имело значение.

Мирон попросту полюбил Фаню. А она его не любила. Никогда.

Я напишу о ней несколько позже, закончив историю матери,— сейчас скажу: Фаня всегда стремилась к деньгам как источнику удовольствий и всякий путь для их получения считала правильным. То есть она считала, что из всего надо извлекать деньги: из своих длинных и стройных ног, из ума, из земли, из воздуха — из всего. И если бы ей сказали: мол, продалась нелюбимому, чтоб мать наживалась,— она бы даже не обиделась, потому что не поняла б. А зачем еще дана красота, как не для того, чтобы продать за деньги?

Мирон женился на Фане, и предприятие процветало.

Между тем девочка Двосья подросла, и Михалина подыскивала какого-нибудь недотепу в мужа.

И вдруг в Негорелое припожаловали Двоськины сестры — младшие сестры, которые воспитывались в приюте, а после в детдоме. И понятно, они комсомолки — речистые, неугомонные. Организуют несоюзную молодежь. И первым делом, разумеется, являются к сестре своей Двоське, которая, между прочим, каждый лишний кусок и лишнюю копейку (да нет, свой кусок, свою кровную копейку!) отправляла в детдом.

А теперь они видят такую картину: родную сестру безжалостно эксплуатируют, прямо точь-в-точь как описано в книжке «Азбука коммунизма». И сестры начинают проводить работу среди кроткой, безропотной Двоськи. И она, Двоська,— месяца не проходит,— делает Михле ручкой. Но сознание ее до того возрастает, что не может больше молчать о темных делах, творимых хозяйкой при потворстве чекиста Портного.

Однако Михля загодя все пронюхала и вдруг оказалась ни при чем. А пострадал один Мирон: исключили из партии, отчислили из органов... И он открыто пришел к Михле в дом. Раньше в местечке не знали, что он женился на Фане. А теперь — узнали.

Но не думайте, что Мирон пропал. Ибо в доме Михля был еще Ошер. И выучил Мирона всему, что умел сам. Потом Мирон поступил на какие-то курсы и даже, кажется, в институт,— полюбил новое свое дело и жил, как Ошер, в лесу, изредка наведываясь в дом Михляны, который был теперь от него далеко, за триста верст по бездорожью.

Из Негорелого, дабы не мозолить людям глаза, Михля перебралась в Славск. Сняла скромную комнату и тихо там приютилась, ничем не обнаруживая своих богатств. И только перед самой войной поставила на улице Цнянской двухэтажный дом.

Он был воплощением достатка и добротности, могучий кирпичный дом, такой несокрушимый, что в первый день войны, когда все кругом горело, обваливалось и взрывалось, бабка моя Лея потянула нас к Михле, на Цнянскую. Но родители и сами не пошли, и бабку не пустили.

А в доме на Цнянской действительно собралась вся наша семья. Даже Ципа, прабабка, приковыляла.

Не было только хозяев.

Если все люди бежали на восток, то Михля, а с нею Ошер — на запад. Она свободно изъяснялась по-польски, а ее курносости и скуластости хватало на двоих.

Поселились в Люблине.

Михля содержала себя и мужа портняжным ремеслом. Ошера из дому не выпускала... И все-таки на них донесли.

Заявилась полиция. Даже не немцы и не украинцы — местная польская полиция, которую Михля подкармливала. Безо всякого внимания перетряхнули матрацы, подушки, в подпол спустились,— формальность хотели соблюсти: дескать, ложный донос, ничего не найдено. В швейную машинку полезли,— уж там-то, думают, ничего нет... Но там лежали советские паспорта.

Всю войну Михля хранила. Может, по забывчивости. А может быть, дорожила пропиской на Цнянской...

Через два месяца Люблин освободили.

И еще я знаю про Михлю. Люди, что были с ней в эшелоне, рассказывали.

Она стала очень спокойная. Что имела — воду, хлеб, сахар — раздала детям. Не боясь, колотила в стены теплушки, чтоб раскрывали. А то дышать нечем!

Многие не верили в смерть. Казалось невероятным, что нас просто заживо сожгут. Мы уговаривали себя, де-

тей, соседей, мол, Гитлер вывозит евреев в Африку, на остров Мадагаскар...

А Михля знала все наперед.

Спокойно разделась и пошла голая, светя своими косами. В дороге похудела, побледнела, частично утратив ту плотную и свежую полноту работницы-хозяйки, какой всегда была налита, и шла спокойным широким шагом. На прощанье она поцеловала Ошера и сказала, что любит его.

А дом на Цнянской стоит до сих пор.

IV

По моим расчетам, прабабка Ципа родилась где-то около 1860 года. Вышла за Менделя лет семнадцати—восемнадцати (а может, и того раньше) и затем, через каждые два года, рожала... Таким образом, сын Иосиф появился на свет в 1882 году.

Он был деловой человек, хотя и несколько уступал своей сестре. Ибо о нем говорили «Михля в штанах», но не говорили о ней — «Иосиф в юбке». Женился на богачке, имя которой произносится так же, как слово «цифра», с заменой «ц» на «с» — Сифра. Родом была из соседнего местечка, из Литвян.

Женился Иосиф без родительского благословения, когда Мендель и Ципа уехали в Славск,— давно мечтал отделиться и жить по-своему.

Внешне походил на цыгана. Там, в Литвянах, был конный завод — казенный, куда Иосиф всячески старался проникнуть. Однако к лошадям его не пускали. Потому что еврей. Не мог еврей служить на государственной службе... Тогда он взял и махнул в Америку.

Какая была цель путешествия, точно не скажу. Наверно, Иосиф был цыган по натуре — бродяга. За два года отлучки переменил множество занятий. Был даже матросом. А когда вернулся — по всему большому нашему дому загуляли, как сквозняки, слухи: едем... уедем... поедем...

Однако Иосиф отбывал в Америку из дома по улице Скобелевской, а прибыл на улицу Красноармейскую. И конный заводик перешел из ведомства великого князя под начало казака Буденного... Некоторые полагают, что разница небольшая. Но мы не поехали в Америку.

Иосиф работал на конном заводе, вконец оцыганился и погиб в 1936 году, спасая конюшню от пожара. И за

гробом шли сыновья, оглушенные медью военного оркестра, и несли на подушечке награду, присланную главным инспектором кавалерии... Гроб был затянут черной материей и завален цветами. Он был пустой, потому что Иосиф сгорел дотла, не оставив даже пепла.

А Сифра забрала детей и обосновалась в городе Гомеле.

Там и сейчас живет. И торгует на вокзале в аптечном киоске, возле которого я и видел ее, проезжая мимо Гомеля в тысяча девятьсот таком-то году.

И расскажу об ее детях — братьях Ароне и Борисе.

Моя мать встретила Арона в Ашхабаде. С виду — мальчишка. Лет шестнадцать — семнадцать. Однако уже служил, и чуть ли не на границе. Мать помнит его в форме — такой новенькой, что не успела выгореть. Издали, на сухой пыльной улице, казался зеленым деревом и шелестел складками, как листвою.

Пришагал в Мары. Или в какой-то другой город. Обещал хорошо устроить. Только поторопись. Со дня на день уйду на фронт... Война не пугала его. Был искренне убежден, что не пропадет.

Однако пропал. Без вести.

Борис был старше Арона и призван в первый же день. Отступая, дошел до родного города. Был в окружении. Пробивался. Раненный, отлеживался в деревне у своей невесты.

Но отец девушки донес на него.

После войны дочь донесла на отца. Он был осужден и сослан на десять лет.

Я видел этого человека.

Он стоял у аптечного ларька и говорил Сифре, что не сразу пошел в полицию. Предупреждал ее сына, чтоб уходил. Еду на дорогу давал, одежду... И в тот день тоже: иди, Бориска, а то за полицией пошлю! Только он не ушел. Ну, тогда я сам пошел и привел их.

Сифра молчала и слушала.

Потом я узнал, что он часто приходит в ларек и, ничего не покупая, рассказывает эту историю. Иногда он бывает пьян и говорит о своей жизни в Сибири.

V

Дядя Лазарь — идеал моего отца. Когда он думает, каким должен быть мужчина, то представляет себе дядю Лазаря. Когда ему говорят, что в его возрасте сало вред-

но,— кивает на дядю Лазаря. Тот только и делал, что сало ел: жареное, сырое, гусиное, свиное. Даром что еврей!

Наша семья не была религиозной. Прадед верил в Бога по-своему, потому что читал книги. Прабабка — потому что не читала. А еще больше потому, что любила Степана, любить которого запрещала вера. Их свободомыслие доходило до того, что они прятали подпольщика Зеликова. Прабабка неоднократно вспоминала об этом, и вот по какой причине.

Наша обширная семья занимала весь подвальный этаж дома на Скобелевской, и в первые годы Советской власти, вследствие какого-то недоразумения, новые начальники приняли прадеда и прабабку за владельцев дома, хотя настоящий владелец преспокойно себе жил на втором этаже. И нас уплотнили. Отдали одну комнату рабочим кожевенного завода, которые устроили там коммуны.

По вечерам они пели песню, где, как припев, повторялись слова: спереди и сзади. И поскольку горланили свое «спереди и сзади» непрерывно, и отчаянно громко, и отчаянно картаво, то бабка и поминала Зеликова: и зачем мы прятали этого дурака Зеликова?!

Скоро кожевники съехали (им подобрали другое помещение), а сюда, в сырость и темноту, вселился дядя Лазарь с женою и сыном.

Он женился исключительно по расчету на богатой и редкой некрасоты девушке — по имени Блюма (цветок). Братья и отец ее носили фамилию Сальманов, которую знал весь город.

На центральной улице был у Сальманов дом. И еще один дом был у них, белыми кирпичиками облицованный,— «Кондитерская».

После революции Сальманам пришлось туго, и, чтобы отмежеваться (в общих интересах), дядя Лазарь привез свою жену на Красноармейскую.

Она была очень деликатная женщина. У нас прощали ей причуды и капризы, покоренные добротой. Ну и конечно, втайне надеялись: а вдруг дела Сальманов как-нибудь да поправятся.

Блюма не ела тех супов, которые варила моя прабабка. Я не могу описать их, потому что знаком с ними лишь по выражению лица моей матери.

— Они были такие,— говорит мать,— с черными пленками...

Блюма ела «куричку» и «телятинку». О ней говорили, по-доброму и не по-доброму посмеиваясь:

— Блюмочка больна... кушает только булочку...

А чем они вообще там питались?

Мой отец, который в свой черед появится в этой повести, до сих пор не знает ничего вкуснее картофельных оладий. Как правило, он ел хлеб с соленым огурцом. А если между хлебом и огурцом было еще масло, то такая еда называлась «бутерброд».

И когда у моего отца умер отец, то, утешая его,— ибо мой отец совершенно не плакал, а неподвижно, как неживой, лежал на кровати,— утешая его, прабабка Ципа сказала, что даст ему бутерброд.

И еще мой отец никогда не забудет, какую замечательную яичницу жарил его отец, приезжая в Славск из деревни.

И вот в такой-то голодный и неимущий дом поместил жену свою дядя Лазарь. И здесь сын ее Гриша, аккуратный мальчик в рейтузиках и матроске, бегал среди других, неаккуратных мальчиков, которые изрядно колотили его.

Но Сальманы еще раз выручили своего зятя. Новая власть отобрала у них дом, оставив квартиру. А они не хотели довольствоваться такой малостью и в скором времени (тайно ли, явно?) перебежали в Польшу, где опять открыли магазин, так как были весьма привержены к частнокапиталистическому строю... А дядя Лазарь получил их квартиру.

Но чуть раньше наступили времена, самые счастливые в детстве моего отца и матери.

Подготавливая отъезд, Сальманы распределили по родственникам и знакомым те запасы кондитерских изделий, что не были реквизированы и не испортились. Первоначально перевезли их на Красноармейскую, в комнату дяди Лазаря, да он опасался держать у себя мешки и ящики.

И вот однажды мой отец видит: по двору идет дядя Лазарь с большим чайником. Войдя в сарай и выйдя из сарая, совершает еще один рейс. После — еще...

Мой отец верховодил мальчишками нашего двора, и нашего дома, и всей нашей улицы. И выследил дядю Лазаря. Обнаружил в сарае нечто, что по праву принадлежало ему, первооткрывателю, однако действовал по законам дружбы.

Вероятно, уже тогда у него была склонность к театральным представлениям. Он спросил собравшуюся публику, желает ли она увидеть фокус. Публика желала. Отец

поколупал пальцем в стене и извлек шоколадную конфету.

Но они не сумели скрыть следов преступления. Выше их сил расстаться с красивыми фантиками.

Дядя Лазарь чинил суд и расправу.

И тут мой отец снова находит повод для восхищения. Он был мужчина по всем статьям — дядя Лазарь. Огромного роста, огромного голоса, невероятной силы и аппетита. И когда отец вспоминает, как дядя Лазарь лупил его своим широким мужским ремнем, то говорит: никто и никогда не бил меня с такой страстью и рвением.

Мой отец часто думает, как погиб дядя Лазарь. Какими были последние его минуты. Махал ли он огромными рыжими кулаками, защищая некрасивую жену свою, которую любил. Мой отец верит, что перед смертью дядя Лазарь непременно убил кого-нибудь из тех, которые пришли убить его.

VI

Геня, или Гитл, как ее называли, а полностью — Евгения Марковна, была матерью отца. И долгое время я судил о ней по нему. Он — воинственный, напористый. И она — такая же. Мне казалось, что бабушка похожа на свою тезку из рассказа Шолом-Алейхема, которая одним лишь материнским сердцем, силою материнской любви освободила сына от службы в армии, — на знаменитую и легендарную Гитл Пуришкевич.

Родичи говорят, что бабушка Геня была некрасивая. Однако не так давно попала к нам фотография всех четырех младших сестер, и я увидел наконец бабушку Геню. И понял, почему считали ее некрасивой. Потому что рядом стояла другая моя бабка — мать моей матери, бабушка Лея, которая была самой обыкновенной красавицей.

Но если не смотреть на бабушку Лею (что невозможно даже на фотографии), но если все-таки не смотреть на нее — увидишь тонкую печальную девушку с тем выражением покорности, по крайней мере внешней, которую европейцы приписывают азиатским женщинам — японкам особенно.

Я очень смутно помню живую бабушку. Высокая, худая, чуть рыжеватая. В клетчатой кофте. Бегаёт, суетится. Вот и все. Самое яркое — клетчатая кофта: розовые пуговицы и бело-розовая клетка. Кофта велика — с чужого

плеча, с могучего плеча кого-нибудь из сестер, — и развеваются полы, и кофта топорщится на худенькой бабушке.

Как и все сестры, была она бесприданницей. Вернее, приданое состояло в родственных связях. Женихам казалось, что мы приbedняемся. Не могут же быть нищими сестры деловитой Михалины! А в случае чего — к Сальманам стукнемся!

Прадед и прабабка не опровергали ни слухов, ни надежд. Напротив, весьма тонко их разжигали, — отбоя от женихов не было.

Но когда дед мой Ицхак Симхович Бройтман женился на бабушке Гене, он, вопреки ожиданиям, не получил ничего, исключая какой-то полуподвал, набитый старым хламом, который (полуподвал) сбывли ему как железную лавку. И дед не скандалил, не требовал большего. Сидел в своей лавке, громыхал железом и радовался жизни. Случался покупатель — продавал, не торгуясь. И самым удивительным было то, что лавка не разорила его.

Мой отец похож на мать — сероглаз и светловолос. А дядя — на отца: черен, курчав, носат (с большим и могучим носом). Дядя унаследовал от отца еще одно качество — сильно пьющий.

Когда и по какой причине стал пить мой дед Исаак, сказать не берусь. Но он был самым пьющим человеком нашего обширного семейства, затмив (заткнувши за пояс) тестя своего Менделя.

Вообще Бройтманов было четыре брата. И каждый — человек одного качества. Первый — самый богатый. Второй — самый образованный. Третий — самый невезучий. И четвертый — самый красивый.

Мой дед был четвертым.

Но я хочу рассказать о первом, втором и третьем, тем более что второй, самый образованный, живет и по сей день в городе Евпатории, на тихой улице, и окна его дома обращены по-татарски во двор, а с улицы видишь только белую глухую стену.

Итак, первый брат был богатый.

Не знаю, откуда привалило ему богатство и почему он ни с кем не поделился. Но он был богатый. И дети его, ныне здравствующие, тоже весьма состоятельные, интеллигентные люди.

С одним я знаком. Его зовут Арий. Ленинградец. Инженер-кораблестроитель. Среднего роста, лысый, упитанный. Всю зиму, презирая мороз и ветер, ходит в потертой кожаной куртке. Когда был в Китае, в Южном Китае, тро-

пическом Кантоне (средняя июля + 27) — и там с курткой не расставался. Она заменяла ему имя: «человек в коже» — вот кем он был для китайских рабочих. И быть может, со временем о нем создадут легенду, подобную той, что живет среди нас о комиссарах гражданской войны, обмундированных в кожаные английские куртки.

У Ария был брат, недавно умерший, — человек уже легендарный, — хирург и психиатр. Рассказывают, он вылечил больного, который уверял всех, что к нему в черепную коробку проник волос, — спать не могу, чешется!.. Как ни разубеждали, как ни высмеивали, в какие санатории ни направляли, — волос и волос!

Мой дядя (я называю «дядями» всех родственников с неустановленной степенью родства) оперировал этого человека. То есть продержал под наркозом на операционном столе какое-то время, после чего заявил, что извлек волос.

Он умер зимой пятьдесят третьего года, отстраненный от работы не за какой-нибудь проступок, а в профилактических целях, как соплеменник тех, кто был арестован по «делу врачей».

Второй брат, самый образованный, убежал из дому тринадцати лет. Продал «стукальщику» (ночному сторожу) голенища, украденные у хозяина (он был сапожный подмастерье), и добрался до города Вильно. Встал в подъезде еврейского учительского института и, хватая за локти мимо шедших студентов, просил бесплатного урока. Нашелся некий студент, по фамилии Левин, с помощью которого дядя поступил в институт.

Но проучился недолго. Война, эвакуация, революция. Институт прикрыли. Дядя кое-как перебивался в Екатеринославле: сочинял письма на фронт, работал на пристани грузчиком, — грузил кожи, а они сапные, — у дяди лучший друг умер...

Перестал думать о пропитании. Ничего не делал, и неизвестно, чем жил. Оборвался, оброс, оголодал. В таком виде встретил его однажды тот самый Левин, который при новой власти вышел в начальники. И послал учиться.

К этому времени дядя сильно намучился, и в нем созрело решение, которое он, разумеется, не высказал Левину, однако решение достаточно твердое, следуя которому он поступил не в университет, куда Левин сватал его, а в Харьковский сельскохозяйственный институт.

Мой дядя решил про себя, что, как только получит высшее образование — сразу уедет в Палестину, на землю отцов. А там нужны будут не философы и филологи, не

болтуны и писаки, а люди практические, производящие хлеб,— агрономы.

Видимо, надо остановиться подробнее на причинах такого решения. Какая причина главная?

Быть может, сама прежняя жизнь, которая официально именовала тебя «инородцем» — человеком, не имеющим никаких прав на этой земле. Когда в Житомире была закрыта еврейская ремесленная школа, начальство мотивировало свои действия тем, что в краю и без того достаточно ремесленников соответствующей национальности, отнимающих хлеб и работу у «коренного населения».

Именно так. Было коренное население, и были инородцы. И ты был инородец.

А кроме того, мой дядя всю гражданскую войну провел на Украине и пережил гайсинский погром Махно, и погром Григорьева в Александрии, и другие мелкие погромы, о которых я не хочу писать, ибо и без того тут будет много смертей и крови, и без того умрут люди, которые выжили в те погромы.

Но когда дядя окончил институт, новая власть организовала в Крыму, на благодатной земле, еврейские колхозы. И дядя поехал в Крым. И проработал всю жизнь. А о своем юношеском намерении вспомнил лишь потому, что я спросил: как так случилось, что вы агроном?

(Жена его, тоже агроном, легко объяснила выбор профессии: отец был «хлебник». Нет, не торговал булками, не выпекал сдобу,— подходил в Одесском порту к горе зерна, брал горсть той горы и определял, на что вся гора пригодна. Естественно, дочь такого человека стала агрономом.)

В 1937 году дядя был командирован в Славск, где навестил племянников — моего отца и брата моего отца.

Брат моего отца уже в это время если не пил, то резвился весьма основательно, и вот прабабка Ципа попросила как-нибудь пристроить его, на какую-нибудь работу.

— Она держит меня за руку и просит за этого курчавого Евсея, и я вижу: он сын Иче... похож больше, чем я... И плачу, потому что не-те мысли... потому что не могу радоваться, что вижу сына Иче...

Дядя был членом комиссии, которая проверяла, как хранится зерно в хозяйствах. И поскольку шел тридцать седьмой год, председателя комиссии уже взяли. Дядя явился к нам на Красноармейскую прямо из кабинета следователя. Очень торопился увидеть детей Иче — брата своего Исаака, которого сильно любил. Не мог отложить

свидания, потому что не располагал временем. Неизвестно было, какая и где ждет его ночь.

Следователь уламывал дядю подписать заявление против председателя комиссии.

— Я очень боялся... готовился стать еврейским учителем — меламедом. Откуда мне быть храбрым?.. Подписал бы все, что он хочет... но разве я виноват, если не знаю за председателем того, что в бумаге... Так и сказал: как же я подпишу, когда ничего такого не видел?.. Тогда он стал выпрашивать про меня: откуда? и что за птица?.. «Ага, говорит, значит, вы работали с ним около десяти лет?» Я сказал, что двенадцать, что очень хочу подписать... но если не видел того, что там написано... Очень испугался! Откуда мне быть храбрым?

А вот вам жизнь третьего брата, самого невезучего.

Он был такой невезучий, что распространял свое невезение на всех, с кем общался: на жену, детей, соседей...

Жена, довольно красивая женщина, вышла за него по бедности. Уж он был бедняк, а она еще беднее. Никогда его не любила, всю жизнь мечтала развестись. И когда революция предоставила такую возможность, тут же ею воспользовалась. Да было уже поздно. Муж заразил ее своим невезением.

Работал не то грузчиком, не то сторожем. Отдавал все деньги. Она ничего не брала. Но у них были дети. Отдавал детям.

Детей было двое.

Мальчик Лева, носатый и щуплый, — самый носатый в нашем семействе, — кончил институт, физико-математический факультет университета, и преподавал в сельской школе неподалеку от Славска. Несмотря на слабое здоровье, он, как некогда говорили, по комсомольской путевке строил Березняковский комбинат, а по пути, в Брянске, возвел некую каменную стену, о которой узнаете позже... Погиб, как погибли все, в 1942 году.

Дочь Рива тоже погибла. Но о ней — особый разговор. Опять же — не сразу.

Погиб и отец.

Но мать выжила. Всю оккупацию пряталась в каких-то ямах, буквально — ямах. Уж не знаю, где их выискивала... А в сорок седьмом году сгорела в собственной хатке. Может, слишком уж натерпелась, стала забывчива и неосторожна. А может, ей просто не повезло. Последний раз в жизни.

И теперь я расскажу вам про деда моего Исаака.

У него самая короткая история, ибо самая короткая жизнь. Красивый брат жил меньше, чем богатый. Меньше, чем образованный. И даже меньше, чем невезучий. Умер тридцати четырех лет от роду, оставив отца моего сиротой.

Работал в деревне, заведовал кооперативной лавкой. Был очень честный. А вернее — брезгливый. То есть я хочу сказать, что честен был по натуре, а не в силу убеждений. Не принимал никаких подношений ни от богатых, ни от бедных.

Но был, как вы знаете, пьющий. И чуть ли не ежедневно совершал знаменитые свои обходы. Заходил во все дома подряд. Всюду его угощали. Не из корысти. А потому, что красивый, веселый... Дети его любили.

Однажды прабабка Ципа поехала навестить свою дочь Геню и увидела зятя, бредущего по деревне и орущего дурным голосом. Окружен мужиками. И те, под его управлением, орут хором еврейскую песню, которой дедушка их обучает...

Наверное, это было смешно. Но прабабка немедля забрала в Славск и дочь и внуков.

Лишенный ухода, дед вскоре заболел и был доставлен на Красноармейскую теми же смущенными мужиками.

Был ли вызван врач или не был вызван — только дедушка умер. И сын его (а мой отец) недвижно лежал два дня, ни разу не заплакав. И тогда моя мать, которой тоже было двенадцать лет, внезапно узнала, что любит его.

А бабушка Геня погибла. Так случилось, что мы ушли из города, а она не ушла. И если моему отцу снятся сны — ему снится бабушка Геня.

Я не знаю, позволительно ли рассуждать о смерти. Но мне кажется, легче примириться с ней, когда видишь родного человека в гробу, уже неживым. Ты отплачешь и откричишь, но будешь помнить не только живого, но и неживого.

А когда видел только живого и здорового, когда стоит магазин — булочная, где хлопотала за прилавком бабушка Геня,— когда ты видишь этот магазин и ее живую,— невозможно смириться с тем, что всё... конец... нету. И особенно страшной кажется смерть.

Потому что можно представить, как умирает, как чахнет больной... А ты помнишь здорового, живого... и вдруг — ничего.

Нет ничего ужасней этого перехода от жизни к смерти.

Тетя Доба, или Даша,— самая дальняя моя родственница. Я никогда ее не видел, кроме как на той старой фотографии, и никогда не увижу, и не сговорюсь с ее детьми просто по незнанию языка. Если попаду вдруг в город Кливленд, в американском штате Огайо, и найду дом, где они живут, то, чтобы объясниться, нам потребуется переводчик.

Даша вряд ли обучила детей русскому. А я не силен в английском... Правда, остается еще один язык, который следовало бы назвать нашим родным языком, ибо на нем говорила, его словами думала прабабка моя Ципа.

Но я не знаю этого языка.

Порой, мне кажется, чувствую. Например, читая Шолом-Алейхема...

Да, это язык народный, и не случайно именуется жаргоном, и не случайно облагораживали его, подмешивая древнееврейский. Да, это язык местечек, мелких торговцев и зазывал. Но это еще — язык моей прабабки. И если его хватило на то, чтобы выразить предсмертную муку насильственной гибели шести миллионов людей,— это хороший язык.

Но я не знаю этого языка.

Моих юных родственников, фамилии которых — Воропаев, Попов, Иванов, Жуков и так далее, мало тяготит подобное положение, ибо они перешли грань, что отделяет еврея от русского.

А я живу на той грани.

Совсем еще молодым человеком, в студенческом возрасте, я попал, по случайным обстоятельствам, в один вагон и в одно купе с очень скромно одетым стариком, на пиджаке которого приколот был депутатский значок. Он первым заговорил, стеснительно улыбаясь.

Была весна. На сером снегу стояли черные деревья, и я сказал, что они растут как бы корнями вверх.

А он очень мягко говорил о том, какой резвый и шаловливый художник — природа. Вот зима, и все окрашено белым. А летом — другая картина — зеленая. Но одна краска надоедает, и осень — яркая, многоцветная, аляповатая. Пестрота утомительна. Природа опять берется за кисть и снова замазывает все белым — основой всех цветов.

И когда я спросил его, кто он такой, то в ответ услышал фразу, которую память в точности не сохранила. Помню,

там было увязано: «работаю» и «литература». Но сказал ли он: «работаю в области литературы» или «работаю как литератор» — не помню. Скорее всего, нет. Сказал короче и проще. А потом с той же застенчивостью добавил: старейший писатель мусульманского мира. И улыбнулся: советского мусульманского мира.

Точно извинялся за слово «мусульманский», причастное к религии. Просто не нашел другого, такого же собирательного, для татар, башкир, узбеков, азербайджанцев...

Читал мне, зеленому студенту, стихи. И советовался, будто я действительно что-то могу подсказать. Говорил о своей общественной деятельности, что вот пишут татары из Семипалатинской области: закрыли у них татарские школы.

Помню, я страшно взъерепенился и вознегодовал...

А он сказал:

— Так ведь закрыли-то школы по просьбе родителей.

И я замолчал. Ибо насколько глубже меня переживает он все это.

— Молодежь,— говорит,— хочет учиться, знать русский язык и английский. Жизнь так поворачивается, что английский им нужен, а татарский нет. А старики? Старикам, конечно, обидно.

— Но ведь они будут читать вас в переводе,— сказал я.

А он засмеялся:

— Было бы что читать...

Ночью, когда я проснулся, он сидел за маленьким вагонным столом и писал, укутав лампу газетой, чтоб не мешала мне спать. Я думал, он пишет стихи о художнике-природе. Но он писал ответ старикам татарам.

Лицо его было грустно и торжественно. Это было лицо прошлого, которое не боится будущего. Потому что неправда, что прошлое всегда отживает и его нужно похоронить. Прошлое всегда с нами.

Не знаю, что он писал старикам татарам. Мне бы хотелось, хоть на одну минуту в жизни, иметь такое лицо.

А что касается тети Даши, то она уехала незадолго до революции и открыла в Америке не то шляпный магазин, не то скорняжную мастерскую. И жила не очень хорошо и не очень плохо. То есть не стала совладелицей банка «Кун и Леб», но всем своим детям дала высшее образование.

Надо сказать, что я впервые столь открыто пишу о моей тетке. И если когда-нибудь времена обернутся, мне, возможно, поставят в вину, отчего многочисленные анкеты отвечают «нет» в графе: есть ли родствен-

ники за границей?.. Но я надеюсь и верю, что время на не обернется.

А мы писали «нет» всегда, даже в годы войны, когда бабка моя получала посылки от тети Даши.

VIII

О моей бабке я могу точно сказать, что родилась она в 1893 году и вышла замуж семнадцати лет за человека ровно втрое старше ее.

Впоследствии сестры, и Михалина первая, попрекали бабушку, что она стала женой бравого старика Гурвича, польстившись на богатство. Но это неправда. Ее выдали за богатого. Та же Михалина и сватала. Ее вытолкнули из дому общими усилиями под приговор: стерпится — слюбится. Все они, и Михалина первая, зарились на деньги моего деда. Ибо старик Гурвич — мой дед.

Он любил бабку и не обижал ее. Наоборот, вручил ключи от всего дома — звонкую тяжелую связку. Ему доставляло удовольствие экзаменовывать молодую жену: какой ключ от какой двери?

Бабка пугалась всегда. Вечно теряла ключи, и Яков Гурвич хохотал до слез, кусая седые усы и глядя, как мечется она и весь штат прислуги, как тычутся во все углы... а ключи преспокойно лежат под подушкой. Потому что бабка каждый день перепрятывала их.

Она была воспитана в страхе и бедности. И пугалась добродушия мужа. Только много позже поняла, что он очень любил ее. А тогда — дрожала и трепетала.

Кругом были дети от первого брака — дочери и сыновья солидного возраста. Кончившие коммерческие институты и прогимназии, раввинские училища и музыкальные школы, они относились к ней свысока, попросту обижали: насмешничали в глаза и за глаза, но при отце, ее муже, угодничили и лебезили, в чем, растравляя себя, находили некое удовлетворение.

А бабка не жаловалась. Потому что чувствовала: будет им плохо, если пожалуется. Она была добрая и щедрая. Жизнь сделала ее скупой и каменной. Если бить все время по мягкому, если гнать его, голое, на мороз, оно затвердеет. И даже очень скоро.

В 1913 году бабка родила мать, а в 1917-м, накануне революции, — тетку.

Впрочем, возраст тетки не установлен. Поступая в театральное училище, она накинула год-другой, и комиссия

поверила документу, зачислив четырнадцатилетнюю девочку. А сейчас, когда старость спешит навстречу, а тетка от встречи уклоняется,— сейчас она двадцать второго года рождения.

Бабка забыла день, когда появились на свет обе дочери. У той и у другой в паспорте — 20 августа. У бабки — тоже.

После революции, которая лишила Якова Гурвича гильдии и мельницы, он уехал на родину, в Литву, в город Ковно. Обещал забрать бабку, но умер в девятнадцатом году — настолько бедным, что ковенская община похоронила его за свой счет. А бабке прислали на Красноармейскую, куда она переселилась из города Сумы, из собственного дома, старую и драную овчиную шубу.

Говорят, в Каунасе (моя тетка говорит) и сейчас есть могила деда. То есть там есть старик сторож, который, махнув рукой в какой-то угол кладбища, вспоминает, что именно здесь в девятнадцатом году хоронили бедных. Если дать ему денег, он побожится в этом.

А бабка жила на Красноармейской, подвергаясь всеобщим насмешкам,— ее называли не иначе как «купчиха»,— и теперь даже прабабка Ципа осуждала любимую дочку, что вышла замуж за богатого.

Бабка поступила на щеточную фабрику простой работницей. И сделала это не столько из-за материальных соображений, сколько ради дочерей, чтобы добыть пролетарское происхождение. Оно необходимо было для дальнейшей жизни, для поступления в институт или на хорошую службу.

Школьные учителя либеральней относились к моей матери, потому что ее мать — простая работница. Опасались снижать оценки — дирекция могла расценить это как саботаж. Разумеется, моя мать разленилась и, как ни тянули, осталась на второй год.

А бабку избрали на какой-то съезд и очень скоро выдвинули в торговлю, дабы «орбочить» данную отрасль хозяйства. Но бабка торговли не орбочила, а начисто проторговалась.

Все наши деловые родственники, едва пронюхав, что бабка допущена к неким материальным ценностям, которые можно реализовать не без выгоды для себя,— вся эта жадная свора родственников и знакомых кинулась на бабку, подхалимничая, угождая и подличая, подлизываясь и подлаживаясь и разом извлекая доход из ее неопытности.

А потом нэпачи вообще забили бабку — переманили покупателей, и ей ничего не оставалось, как вернуться на щеточную фабрику.

Но она не вернулась на щеточную фабрику...

Родственники заразили ее своей деловитостью. Приоткрыли тайны торговли, когда из ерунды, из мелочи, из «фу-фу» получается полновесный рубль, который ты опускаешь в карман почти на законном основании.

Но в бабке жила рабочая совесть — некоторое пролетарское тщеславие, воспитанное, может быть, фабрикой, и это неожиданно обнаружилось следующим образом.

По распоряжению новой власти, население должно было сдать золото, обменять на бумажные деньги. А у моей бабки оно было — золото, привезенное из Сум, из дома Якова Гурвича.

Каким-то путем об этом дознались. Бабку взяли.

На Красноармейской был страшный переполох. Прабабка Ципа поминала не только революционера Зеликова, но и другого революционера — Деменчука, которого они тоже скрывали с прадедушкой.

А надо сказать, что Деменчук работал в то время следователем по особо важным делам. И вот моя мать — комсомолка, возмущенная самоуправством, — пошла к нему жаловаться.

Деменчук выслушал, просил подождать и вышел. Через пятнадцать минут возвратился — красный от волнения. То есть раньше, когда узнал от матери, что ее мать, работница, арестована, он стал бледный от волнения. А теперь — красный.

— Идите, — шепотом сказал Деменчук. — Я бы должен вас задержать, но ради вашей матери и бабки... Идите... Ваша мать отдала золото. Она в тысячу раз лучше, чем вы.

И моя мать ушла, ничего не понимая. Вернее, поняла. Деменчук решил, что она знала о золоте и хотела его утаить. Но она не знала.

А на Красноармейской собрались родственники и ругали бабку последними словами. Отдать золото?! Ну, если бы ее били, пытали, или куда-нибудь там подвешивали, или жгли на горячих угольях... И то, кричала Михалина, пускай лучше руку отрубят, чем на свое кровное указывать!

— Почему? — вопили они хором. — Что он тебе посулил? Чем он тебе угрожал?.. Может, тебя околдовали? Может, заставили что-нибудь выпить?.. Ну, говори! Что ты как каменная?

Они пинали ее и щипали — вся эта свора.

А следовательно между тем сказал моей бабке вот что:

— Товарищ Гурвич,— сказал он,— вы же сами работница. И вашему рабочему государству нужно золото. Если на то пошло, оно нужно для ваших дочерей... Ну что я вам буду объяснять, вы же сами рабочая.

И бабка отдала золото.

Я очень люблю ее, какая б она ни была. Знаю о ней много дурного и даже стыдного. Но все равно я люблю ее и буду любить всегда.

Не в том дело, что первую мою шубу купила она на свои деньги. Не в том, что первая заметила, что я вырос,— физически вырос. Приехала и увидела, из какой маленькой чашки я пью, и напустилась на мать, и мне купили большую чашку, как взрослому, и я стал счастливее.

Когда учился в школе — любил рассказывать ей уроки. Потому что она не проверяла меня. Нет, самой интересно! Мне было двенадцать, а ей пятьдесят шесть, и ничего не знала о царе Петре. Мне кажется, именно тогда я постигал историю.

Люблю ее письма, где старая орфография мешается с новой. Моя бабка до сих пишет «і» с точкой — десятеричное.

И вообще я люблю ее. Мне кажется, моя жизнь изменится, если она умрет. Мне кажется, пока она жива, я и тот человек, тот ученик пятого класса, который рассказывал про Петра,— это одно лицо. А когда она умрет, их будет двое.

А потом трое. И десять, и тридцать. Ибо по мере смерти близких тебе людей умираешь и ты — такой, каким жил с ними.

Мне кажется, именно бабка разделяет со мной мою судьбу, даже в мелочах: в Чимкенте, в эвакуации, ее и меня укусила какая-то дрянь. Люблю ее руку со следами укуса.

Больше, чем всем, неприятностей, опасений и волнений принес я бабке. Ее чуть не выгнали с работы, когда во время войны она дала мне блин с госпитальной кухни. Один блин и чайную ложку сахара.

Мне легче болеть, когда бабка рядом.

Теперь она живет в другом городе. Я изредка навещаю ее. По деликатности она не решается говорить со мной как с мальчишкой, а взрослые мои интересы ей безразличны.

Моя бабка толстая. Я всегда знал ее такой. Лишь во

время войны, копая картошку в Ивановской области, была она очень худая.

Помню, мы жили в Уфе, в совершенно холодной комнате, ранней зимой или поздней осенью. У нас не было даже полотенца, и мать обсыхала после бани в предбаннике. А я, мальчишка, крутился в скверике возле фонтана. И вдруг, перевесившись через каменную ограду, пробил тонкий лед, бухнулся в воду...

Не знаю, выжил ли бы я, если бы в этот день не приехала бабка. Раздобыла откуда-то одеяло, дрова. Растопила печку, нагрела комнату — и вот я живой.

А потом мы ходили в баню. В женскую. И женщины кричали, что я слишком большой. Бабка тоже кричала. Не помню что. Но все вокруг засмеялись.

Если бы я мог, я написал бы стихи о моей бабке.

IX

Тетя Эсфирь — последний ребенок. Говорят, все они — последние — какие-то особенные. То ли слишком балованные и капризные, то ли, наоборот, покорные, исполнительные, приветливые... Тетя Эсфирь, или в просторечии тетя Этка, была самая злая из детей Ципы.

Моя мать до сих пор не может простить ей каких-то обид, настолько кровных и обидных обид, что даже не рассказывает о них. А если я пытаюсь иногда хоть словом защитить тетю Этку, мать отвечает:

— Ты не знаешь, что она мне сделала...

И все.

Даже во время войны, когда было известно, что тетка осталась в городе, мать ни капельки о ней не жалела. Вот старшую ее, Розу, очень жалела и плакала. Но о тетке, о матери Розы, — ни слезинки.

Я так много дурного слышал про тетку, что она представлялась мне помещицей из «Пошехонской старины» — Фиской-змеей. Тетя, как и та Фиска, поздно вышла замуж, и, опять же как Фиска, за человека случайного, приезжего. Видно, местные женихи обегали ее.

Но в двадцатом году зашел в наш дом на Скобелевской тощий солдат в рваной шинели и, улещенный прабабкой, прадедом и самой теткой, переломившей себя на этот случай, осел у нас зятем-примаком.

Ревность тетки была легендарная.

Она всячески стремилась, чтобы супруг занимался ра-

ботой, требующей уединения. А он был сирота — Наум Абрамович Брук по имени, — веселый, большой, окруженный народом. Воспитывался на улице и в казарме, привык к многолюдству.

У него был голос, и он работал в кино: пел перед сеансом разные песенки. А Этка, забросив дела, сидела тут же, в фойе, следила за каждым движением, взглядом и поворотом головы.

В конце концов добила свое: он поступил на курсы бухгалтеров, то есть отдался делу, которое совершенно не соответствовало его натуре, но отвечало планам Этки, ибо ее муж, Наум Абрамович, сидел один в кабинете. Всеми способами старалась она отдалить его от людей, потому что боялась потерять. И тот кабинет был не кабинет, а фанерная самодельная клетушка. Благо фанера своя, от дяди Лазаря.

Я думаю, Брук задыхался в этой клетушке, в этой собачьей конуре. Ему негде было повернуться. Когда ходил — тряслись и падали стены.

О мощи его и дородности судите по детям: Роза весит сейчас восемьдесят пять килограммов. Но такая статная, такая величественная, что пять пудов даже не ощущаются.

Брук любил детей. Он был самый заботливый семьянин на Красноармейской. И привык к Этке. Она требовала, чтобы каждую весну брил голову, потому что кудрявый еще больше нравился женщинам. Но даже лысый — ох, был хорош!

Брук — самое поэтическое воспоминание моей матери и, быть может, первая, детская любовь.

Наш дом был под горой. Часто, совсем еще девочкой, мать стояла у ворот, задрав голову к вершине. И когда там, на вершине, появлялся Брук, то макушкой своей доставал до облака.

Это был обман зрения, но это было так.

Брук шел широким шагом, чуть вприпрыжку, сильно размахивая руками. Матери казалось: стоит ему подскокить повыше, и он снимет солнце с неба. Так он шел, громыхая сапогами на всю Красноармейскую, с солнцем на голове.

Этка не пускала его к людям. Он отвык от них. Полюбил детей и добро, добытое своими руками. Жизнь, думал, имеет смысл. Жена, дети, шкаф с барахлом. Подарю Розочке золотой браслет...

Когда началась война, наш город бомбили в первый

же день. Все ушли к Михалине, на Цнянскую. А Брук не ушел. Но бомбили долго и страшно. Этка и дети плакали. И он увел их в подвал, в дом напротив, где помещалось высокое учреждение, совершенно вдруг опустевшее. Никого. Ни одного сотрудника. Все — в котельной.

Брук могуче раздвигал людей, оберегая свою семью, но все-таки было неудобно. Перемазались в угле. У младшенькой слезились глаза. Неожиданно Брук заорал, что плевать хотел на немцев и что в конце концов у него есть свой дом. Они перешли через дорогу. И вернулись в свой дом.

Как раз в это время оказалась на Красноармейской моя тетка, сестра матери. Только что приехала с шефского концерта. В длинном вечернем платье, в туфлях на каблуке. Прибежала переодеться. Но не переоделась.

По нашему двору ходил старый седой человек, бывший владелец дома Гагик Саркисян. Сжал голову руками, накрепко притиснул уши и кричал: о-о-о! Не стонал. Ему не было больно. Именно кричал. Помешался, наверное. Он был важный и злой старик. Его боялись все дети Красноармейской улицы.

И моя тетка спросила:

— Что с вами, дяденька Саркисян?

Он не ответил.

Тетка стояла как оглушенная. Будто старик Саркисян и ей заткнул уши. Потом до нее донесся неясный приближающийся шум.

Она выскочила за ворота и увидела, как по нашей Красноармейской горе мчится толпа людей. Вернее, табун. Но там, в табуне, там у всех животных есть главарь, вожак — тот, кто идет впереди. А здесь не было.

Они бежали, занимая всю ширину улицы, создавая шум ногами и глотками.

И, ничего не соображая, не думая даже, что ее сомнут и раздавят, в концертном платье и туфлях на высоком каблуке, тетка ринулась в толпу и слилась с нею.

Но самый большой страх испытала позже, километров через сто или сто пятьдесят, на крупной узловой станции. Там было много военных эшелонов, и тетке удалось пробиться к начальнику. Она спросила, можно ли возвращаться в Славск или погодить день-другой.

— Не знаю,— сказал начальник.

— А что делать?

— Не знаю.

— А кто знает?

Начальник помолчал и тихо ответил:

— Никто не знает.

Больше она его не видела. Только запомнила на всю жизнь это «никто не знает», именно «никто», через «х».

А Брук сидел на Красноармейской в кругу семьи.

Немцы вывесили приказ, что мужчины в возрасте от пятнадцати до сорока пяти лет обязаны регистрироваться в городской управе. Он пошел на регистрацию и в числе других был задержан.

Людей брали не по национальному признаку, а по какому-то иному, недоступному для понимания. Но ведь за что-то их да взяли!— думали невзятые. Никто в те дни не предполагал, что «их» взяли ни за что. Что немцы того и добиваются, чтобы каждый чувствовал себя в опасности, дрожал за свою жизнь. Вчера его взяли — завтра меня возьмут. Сиди тихо!

Немцы загнали всех в один лагерь, соединив вместе гражданских и военных. И в первую же ночь множество военнопленных переделались в штатское.

Правда, они не учли, что их выдают бритые солдатские головы... И перед расстрелом вспоминали, наверное, веселого гарнизонного парикмахера, что брил да подшучивал: эх, не свети нам больше солнце!— дескать, вон как затылок сияет... И смотрели на солнце.

Но офицеров немцы не обнаружили. А они-то как раз и нужны были.

Лагерь спешно разделили натрое: пленные, штатские, евреи.

Видимо, Брук уже понял, что попал в нехорошую историю, положившись на свое, двадцатилетней давности, знание немцев. И поскольку был совершенно славянской внешности — курносый, белокурый, голубоглазый, то и не пошел в третий лагерь, а пошел во второй. Но на него указали.

И когда Этка пришла к нему, он, ни слова не говоря, стал раздеваться. А она была так ошарашена, что не сразу сообразила, что делает муж.

В лагере как раз происходила классификация, или отбор. То есть немцы выясняли, кто — кто. За столом, врытым в землю, сидел офицер и беседовал через переводчика с людьми, которые выстроились длинной шеренгой.

Этка подошла в ту минуту, когда офицер допрашивал рыжего верзилу, первого пьяницу в городе, так называемого «базарного юдку». Он занимался тем, что подносил на базаре какие-то вещи, в чем-то кому-то помогал, кру-

тился возле весовщиков, был пьян и жалок. Можно, пожалуй, прямо сказать: он был нищий. Обыкновенный базарный нищий, имени которого никто не знал.

И вот теперь офицер, теряя терпение, пытался добиться через переводчика, как же все-таки его зовут. А тот мычал и мямлил. Он, видимо, вконец тронулся и позабыл свое имя.

И шеренга людей, среди которых были и старики, старалась припомнить, как зовут «базарного юдку». Они даже спорили друг с другом и махали руками, и Этка в первую минуту тоже стала вспоминать и только потом взглянула на мужа.

Он был так избит, как, казалось, нельзя избить человека. Ведь живой — не все может выдержать. Есть ведь какие-то пределы...

— Что они сделали с тобой?— спросила Этка.

Раздевшись догола, Брук перекинул через проволоку вещи и велел ей немедленно, забрав детей, уходить из города.

— Я отсюда живой не выйду,— сказал Брук.

И тут Этка помнит, что кто-то запел еврейскую древнюю песню — свадебную, веселую. Так и стояли они с Бруком по обе стороны проволоки. Под ту песню.

А пел Иосиф Горелик, заслуженный артист. Офицер за столом не поверил, что он певец и окончил консерваторию,— вот и пел, чтобы убедить его.

Этка ушла из города вместе с младшей дочерью Динной. А старшая, Роза, осталась. И когда немцы приказали переселяться в гетто, уговаривала Ципу и других туда не идти. Скрываться... Но они пошли.

А она была дочь Брука, то есть никак не еврейка, и свободно разгуливала по городу и носила им в гетто продукты.

Однажды ее вызвали в полицию. Там, у начальника, сидела некая Варвара Кюнг, обрусевшая немка, прачка, что стирала на всю нашу семью и знала в лицо каждого.

— Я родилась в этом городе,— сказала Роза,— и могу пойти с вами по улице, а вы будете спрашивать прохожих, еврейка я или нет. И если хоть один скажет: еврейка,— расстреляйте меня.

Так сказала Роза в 1941 году, осенью.

Я слушаю ее двадцать лет спустя.

— И они поверили?

— Да... Мне было семнадцать, а Варваре — сорок... Поверили.

А Этка с младшей дочерью поселились в деревне.

Зимой сорок третьего года туда приехали веселые молодые люди и объявили, что завтра на площади будут бесплатно раздавать одежду. Этка не хотела идти, но пошла, чтобы не возбуждать подозрений. И человек, который привез вещи, узнал ее. Так и сказал, радостно улыбаясь:

— Мадам Брук! Здравствуйте!.. Ну что же вы отворачиваетесь? Я же с вашей Розочкой учился в школе. В гости к вам приходил. Чаем с вареньем угощали...

У тетки был паспорт на имя Ефросиньи Ивановны Николаевой, настолько верный, что с ним дожила она до самой смерти в 1960 году. Но этот человек помнил ее.

— Мадам Брук,— кричал он,— возьмите платок вашей бабушки, он ей больше не пригодится!

Но он был один. Вещей — телега. А он — один.

И на глазах у всех тетка убила его.

Мы завершили первый круг нашего повествования. Перечислим поименованных:

Мендель и Ципа — прадед, прабабка

И х д е т и:

Пропаций Йомтов, о котором можно забыть

Михалина с мужем Ошером, с дочерью Фаней и зятем-чекистом

Коневод Иосиф, жена его Сифра и оба погибших мальчика

Дядя Лазарь — идеал моего отца

Бабушка Геня («Гитл Пуришкевич») и четыре Бройтмана:

самый богатый,

самый образованный,

самый невезучий

и мой дедушка Исаак — самый красивый

Дальняя тетя Даша, или есть ли родственники за границей

Бабушка Лея и дедушка Гурвич

Тетя Этка + образцовый семьянин

Теперь обведем их черною рамочкой и вступим во второй круг.

Х

У Михалины и Ошера было двое детей: Фаня, о которой вы кое-что знаете, и Миша, о котором узнаете сейчас.

Моя мать говорит, что был он какой-то придурковатый. Жил в Москве, учился в техническом институте (кажется, железнодорожного транспорта), носил фуражку с молоточками. Очень долго учился: по два года на каждом курсе.

И чуть ли не ежедневно мать Михля посылала ему масло, сахар, колбасу, сыр и все такое прочее. У моей матери только слюнки текли. И Миша рисовался ей таким всепожирающим краснощеким великаном, алчно и весело щелкающим зубами, с беспрерывно работающими челюстями. А он был тучный, печальный человек.

Тем не менее этот Миша, живя в Москве, ухитрился жениться на некоей Нюре, замоскворецкой красавице, дочери квартирной хозяйки. Михля приобрела молодым комнату недалеко от нынешней Колхозной площади, но Нюра очень скоро оставила Мишу: как родила — сразу уехала.

И вышла замуж за какого-то лейтенанта, который в свой срок сделался генералом. А она — генеральшей. И сын Миши, по имени Андрей, по фамилии Шапиро, воспитывался в кочевой военной семье, кончил мореходное училище, служит. Балтиец. Капитан какого-то ранга. Отец троих детей.

А Миша без Нюры заскучал и поехал к матери в Славск.

Тут надо сказать несколько слов о моем отце. Он учился в Москве, снимал угол (за полстипендии) и кружил возле той комнаты, которую Миша покинул. И у него тоже текли слюнки, как у моей матери, — от тех посылок. Но комната ему не досталась.

Михля произвела обмен, и Миша получил отдельную квартиру в Славске на центральной улице.

Вот тогда-то и ходил в фуражке с молоточками, чем и пленил Риву — дочь того невезучего Бройтмана.

Жизнь ее неудачно сложилась — трудно ждать чего-либо иного при таком отце. Сперва она заинтересовалась, скажем так, нашим дядей Пиней — старым еврейским интеллигентом, бывшим директором школы, перед которым все они прыгали, предвкушая наследство. Но Рива ничего не выпрыгала. Всем на удивление, дядя Пиня завещал имущество моей бабке Лее.

Я бы не упоминал о столь незначительных обстоятельствах, если бы тяжелый большой стол, за которым пишу все это, не принадлежал некогда дяде Пине. От бабки перешел к матери и переехал в Ленинград. Простоял

всю блокаду. Если хорошо посмотреть, увидишь следы топора. Его пытались рубить на растопку, но стол был крепок, а рука слабая. Теперь он стоит здесь, в Москве, в моей комнате, и надеется перестоять меня, как перестоял всех своих прежних владельцев.

И вот Рива, не получив этого самого стола, а равным образом серебряных чайных ложечек и толстых книг на древнем языке, вышла замуж за Мишу. И родила ему троих детей. И все они, может быть, живы. Но я вряд ли когда-нибудь найду их.

Летом сорок первого года Рива увезла детей на дачу, и война разлучила ее и Мишу.

Моя тетка, сестра моей матери, встретила Риву на той узловой станции, где начальник так напугал ее своим «никто». Рива приехала на подводе. С детьми и скарбом. И не нашла в себе силы оставить лошадь и вещи. Не столько даже вещи, сколько лошадь. Потому что хозяйская. Надо вернуть.

И вот моя тетка говорит, копируя голос Ривы:

— Родненькая, ну куды ж я поеду, и с маленькими? Родненькая, что хозяин подумает? Он же лошадь до станции дал — погрузиться и к брату завезть. А брата нема. Как же я коня брошу, родненькая?

И моя тетка поехала поездом на восток, а Рива с телегой — на запад.

Зимой сорок второго года люди видели ее в местечке Дарьина Гора. Она была среди тех, кого загнали на крышу полиции и велели прыгать. Рива прыгнула первая и разбилась насмерть, потому что приняла удар на себя, спасая детей. Только крикнула им:

— Бегите!

И они побежали.

Старшей девочке было десять лет.

Их подобрали местные жители и некоторое время прятали у себя. Этих детей, даже самого маленького, с нечеткими, неопределившимися чертами, нельзя было выдать ни за кого — ни за грузин, ни за армян. Тут, что называется, на лбу написано.

А все-таки они выжили.

Их отвезли в городскую управу. Не всех разом. Поодиночке. Там сидел человек, который знал, что если ему во вторник, с десяти до одиннадцати, приведут ребенка, ничейного, подкидыша без документов,— это еврейский ребенок. И нужно устроить его в какой-нибудь дальний детдом, соответственно оформив.

Так все трое попали в детские дома. И я верю, что они живут. Слишком много людей рисковали жизнью, чтобы им выжить. Их отец Миша, которого все считали придурковатым, в сорок втором ушел добровольцем. И погиб.

Они обязательно должны выжить.

Я не люблю Фаню, хотя не отрицаю ее достоинств. Уже выйдя за Мирона Портного, с ребенком на руках, кормящая мать, она поступила в юридический институт и успешно закончила. Потом работала юрисконсультком в славском ГУМе.

Настало такое время, что ничего не купишь. Разве что за большие деньги из-под полы. Или в торгсине, на золото. И в такое-то время мой отец вздумал жениться и по всем правилам преподнести матери свадебный подарок. Через Фаню достал отрез крепдешина (креп-жоржета? шевиота?).

И когда наше многочисленное семейство проведало, почем Фанин крепдешин, то вся Красноармейская просто за голову схватилась.

Это была та степень наглости, которая не возмущает, а восхищает. Фаня спросила с моего отца, которому было двадцать лет (да что там, спросила!.. получила с него!), сумму, во много раз превышающую рыночную стоимость отреза. По-родственному!

Во время войны, вместе с сыном, братом Мишей и родным моим дядькой Евсеем, застряла Фаня посреди Азии. И старший брат, и молодой дядька ушли воевать. А Фаня женила на себе местного торгового начальника и прожила с ним столько, сколько было ей выгодно.

Она унаследовала дом на Цнянской, который не только не был разрушен, но даже достроен погорельцами, поселившимися во время оккупации. Этот дом и занял бывший ее муж Мирон, с которого Фаня, и без того богатая, ежемесячно взимала квартирную плату. И пеню, если взнос запаздывал.

А потом ее сын получал те же деньги. Не как она, от бывшего мужа. С родного отца. И тоже начислял пеню. А когда подошла очередь выкупать автомобиль — продал дом своему отцу, который до сих пор не вылезает из долгов. А сам Леня, Леонид Миронович, если бывает в Славске, никогда не останавливается в гостинице, а только — у своего отца, в своем доме.

О детях Иосифа вы уже слышали. Когда Сифра умрет — провожать ее будет коллектив аптекоуправления.

А Гриша, сын дяди Лазаря, — тот аккуратный мальчик в матроске, — он учитель. Историк. Был на фронте, как говорится, «от» и «до». Собрал такую коллекцию орденов и медалей, что перевесит награды всех прочих членов семейства, включая мою, извините, медаль «За освоение целины».

Но это — одна сторона. А вторая: Гриша ходит по родным и знакомым и канючит тоскливым голосом, как ему быть с женой. Опять выгнала Сеню и не пускает на порог. Разводиться ли? И если разводиться, то как же так? Удобно ли?.. И не пойдете ли вы к его жене, и не скажете ли его жене...

А Сеня, сын Гриши и пасынок жены, ютится в какой-то халупе со старой бабкой.

Мирон Портной сказал Грише, что заберет мальчика. А Гриша ответил:

— Нет, Сеня с тобой не пойдет... очень меня любит...

Будто стыдился этой любви, будто не заслужил ее. И казался самому себе лучше благодаря ей.

Сеня — единственный человек, который видит Гришу таким, каким тот был на фронте, рисует его в офицерском кителе со всеми регалиями... Недавно гостил на даче у дальних родственников — милые, хорошие люди — и вдруг сбежал в Славск, за шестьсот километров к отцу... Еще и десяти лет не было.

...Но ведь годы их молодости — первая пятилетка: поворот, разворот, переворот. Да, именно так. В тридцатом году моему отцу было семнадцать лет, а носатому кузену Леве — помните, брату Ривы, сыну невезучего Бройтмана — ему восемнадцать, а Грише — девятнадцать. Они тогда все трое закончили профшколу строителей.

В Славске было много профшкол. И если отец встречает сейчас друзей юности, то говорит так:

— Из профшколы огнеупорников. — Или: — Из депо. — Или: — А этот — наш.

Как будто все они не врачи, не инженеры, не машинисты, а так и остались: из профшколы огнеупорников.

И вот выпускники строительной профшколы — отец, Лева и Гриша — идут за путевками (новенькие дипломчики наготове), дабы проследовать непосредственно в Магнитогорск.

Но то ли укоренилось местничество (вы-де наши кадры, собственные), то ли возобладали иные соображения, только отец, как самый бойкий, с трудом вырвал три направления — и не в далекий Магнитогорск, а в ближний Брянск.

И там они что-то строили, причем носатый Лева вывел кривую стену, которая тут же рухнула, и целую ночь, под дождем, они заново возводили ее, обещая жениться девицам-подсобницам. Утром им ничего другого не оставалось, как бежать.

И они убежали.

В Березняки.

Вообще в воспоминаниях моего отца времена эти не столько страшные, сколько веселые. Весело было месить глину, и замерзать, и голодать, спать вповалку в бараке. И ему, и Грише, и Лева — всем было весело и нестрашно.

Страшно было потом, при поступлении в институт, — его послали, опять-таки по путевке, — вот когда попотел. Комиссия спросила, кто он такой. И получила ответ: «слёсар».

Но так или иначе — чего-то они построили.

XII

О детях тети Даши я слышал краем уха. Кажется, врач. Вот и все сведения.

И лучше расскажу вам, как тысячу лет назад мой отец, мать и тетка натаскали кирпича и построили какое-то подобие собачьей конуры. И вот мой отец, уполномоченный всеми ребятами нашего двора, пошел к домовладелице Харитоновой с деловым предложением, не купит ли мадам Харитонова означенную собачью конуру. И мадам Харитонова польстилась, ибо ей нужен кирпич для сарая. Но самое интересное то, что именно у нее, у Харитонихи, они и похитили свой кирпич.

Гора на Красноармейской была крутая, вы это знаете, а стараниями моего отца — всегда скользкая, потому что он лихо съезжал на одном коньке. Чем бы ни посыпали — песком ли, золой, — уж он позаботится. В стоптаных валенках никак не пройдешь. А стоптанные валенки носила моя мать.

И вот однажды, возвращаясь из школы, она сняла валенки и побежала. Босиком. В одних чулках. По ледяной горе. И мой отец увидел это.

Расскажу вам о тетке — русской актрисе, которая училась в еврейской школе. Знаменитые мастера Александринки — Певцов, Корчагина, Блюменталь — ставили ей произношение. Можно позавидовать, каким великолепным языком говорит моя тетка. И когда я слышу негромкий акающий басок ее сына, а моего брата, то думаю: он не может носить иную фамилию, чем та, которая досталась ему от отца, — Сидоров.

XIII

Все, что я пишу сейчас о близких людях, близких по крови и по времени, то есть об отце, матери, тетке, дается мне как бы с трудом.

Классик правильно говорил:

Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать. Если б можно было об этом написать, он бы освободился от этого. Он освободился от многих вещей тем, что написал о них. Но для этого не пришло еще время. Многие оставались еще в живых.

Вот и мой дядя Евсей, родной брат отца, — он живой. И появился в моей жизни очень рано, сразу вслед за отцом.

Помню много солнца. Удивительно много солнца, которое меня ослепляет и как бы окутывает все. Я качусь на самокате по улице. Качусь в гору. Безо всякого усилия. И отец в коричневом кожаном пальто зовет и машет мне сверху.

Потом сразу — комната, суэта. Отец вбегает и кладет на стол синюю железную штуку. Я начинаю крутить ручку, и эта штука гудит. Но она страшно гудит, и ее отнимают... Отец не помнит, приносил ли сирену в первый день войны, а я помню.

И наконец, шоссе. Вечер. Иду с матерью и отцом. Говорю матери, пусть наденет на меня шубу — ее бомба не пробьет... А где-то впереди маячит спина дядьки с чемоданом на плече.

Вот эта спина — единственное, что осталось в памяти от довоенного дяди Евсея... Был первый вечер войны.

В конце ее, в году сорок четвертом, он прислал фото-

графию. Я горевал, что по ней нельзя восстановить дядькиного звания, — снялся в комбинезоне.

Когда пришел с фронта — меня не было дома. Знаю об этом по рассказам матери. Дядя пришел совершенно неожиданно, в сопровождении друга-узбека, который тянул его за собой (в Коканд? в Фергану?).

Узбек почти не говорил по-русски, а дядя, естественно, по-узбекски, тем не менее они прекрасно друг друга понимали, и матери стоило больших трудов убедить дядю остаться с нами, как-никак родственниками. Он остался и, по-моему, до сих пор жалеет.

Когда проводили узбека, дядька вытащил маленькие, коричневого цвета, костяные коробочки и стал медленно их раскрывать, как раскрывают раковину.

Мать следила за ним с ужасом и нетерпением. Боялась увидеть в коробочке какие-нибудь незаконные военные трофеи, которые отчаянный родственник умудрился добыть.

И дядька понял, о чем думает и чего ждет моя мать, — засмеялся разом брезгливо и самонадеянно и сказал, что там инструменты: он ведь радиотехник. Действительно, в коробочках были крошечные отвертки и какие-то гибкие прутья с деревянными шишечками на конце.

Но помимо инструмента дядька привез с фронта дурную болезнь. Подцепил в Бухаресте, в каком-то кабаке, куда попал скорее волею обстоятельств, чем по собственной воле. Хотя, прямо скажем, обстоятельства часто так складывались, что толкали дядьку не в ту сторону.

А случилось вот что. Когда заняли Румынию, где оставалось еще около ста тысяч евреев, тут-то и вспомнили, кто дядька по нации. У начальства были переводчики, переводчицы, то да се, а у солдат — дядька.

И вдруг обнаружилось, что он напрочь забыл родной язык. Ни единого слова! Ну, кто поверит, если сказать? Тем более местные жители признали в нем своего, на радость окружающих солдат. И те уж, куда ни пойдут, тащат за собой дядьку. Вернее, поначалу тащили. После он сам их возглавил — уж такой человек... Ну и довозглавлялся!

А узбек, точно, был его друг и писал длинные, непомерно корявые письма, за которыми виделась вся жестикуляция человека, говорящего на чужом языке. И звал дядьку к какому-то древнему старику, чтобы вылечить от дурной болезни.

Но исполнить это выпало на долю моей матери. И она

исполнила это. Тут же отослала меня к бабке, положила дядьку в больницу и три месяца неотрывно сидела возле него, утешая и подкармливая.

Когда выздоровел — поначалу все шло нормально. Пристроился на хорошую должность — инженером в Мосгорсвет. Как фронтовику дали комнату, и мать уже подыскивала невесту с высоким культурным уровнем, дабы дядя тянулся. Но стоило отлучиться на две недели — меня у бабки забрать, — сразу женился, стал зятем татарина-дворника (очень сильны в нем были восточные привязанности) и поселился в подвале в Астраханском переулке.

Запил. Переводился с работы на работу. Все реже посещал нашу маленькую комнату. Стеснялся себя и своих родных. И презирал нас, полагая, что мы презираем его. Пьяный, он сказал моему отцу, что у папы Бройтмана было два сына: один — умный, другой — дурак. И постукал себе в грудь.

Быть может, никого я так не люблю, как дядьку. Очень редко вижу его. Не был на новой квартире, которую они получили, выехав из подвала. Но когда Галя звонит и плачет по телефону, что вчера возвращалась с работы, а соседка встретила ее, — беги, мол, скорей, твой опять в подъезде на ступеньках валяется, — я чувствую себя виноватым и перед Галей, и перед Евсеём. Вижу, как лежит он в парадном и курчавая голова бьется об лестницу.

Года два назад дядька зарекся пить. Но ехал в троллейбусе, и кто-то что-то сказал насчет того народа, к которому мы принадлежим... О, мой дядька — не я! Сразу пускает в ход кулаки.

Но кончилось как всегда: с кем подрался, с тем и надрался.

Конечно, я знаю, за что люблю его. Он самый добрый в нашем семействе. Недаром прабабка Ципа ласково звала его — Сенька. И самый бескорыстный.

Если когда-нибудь мне некуда будет пойти, я пойду к дядьке. И меня примет он, и жена его Галя, и тесть, и рыжий сын Валерик, что лупит окрестных мальчишек за одно лишь худое слово об отце.

Меня будут кормить картошкой, и квашеной капустой, и солеными огурцами, как на Красноармейской. Ибо обширная дядина семья — братья с женами, сестры с мужьями — это, в сущности, та же Красноармейская, хоть и зовется проспектом имени Маршала Гречко.

Я приехал в Славск летом, и мне казалось — не в другой город попал, а просто вышел из метро где-нибудь в Новых Черемушках.

Новый город. Заново отстроен и спланирован. В центре — Вечный огонь. Как в Париже. Или в Ленинграде на Марсовом поле. И обрамление соответственное. Вы ж понимаете, где ни попадя Вечный огонь не зажжешь — триумфальная арка требуется.

Одели в гранит местную речонку и мосты перекинули. Речушка застеснялась, стала мелеть. Просто получился конфуз. Пришлось ее срочно перекрывать и вообще всячески оправдывать гранитную набережную.

Я родился в этом городе, хоть и очень мало здесь жил — три-четыре года в общей сложности. Но до самой смерти именно это место ощущаю как родину.

Бабушка Геня полоскала здесь белье, когда не было гранитной набережной, и пела песню: «Я птицу кормила, а ты подошел и на ногу мне наступил. Тихо-тихо. Будто нечаянно». Длинная песня. Пока все белье не выстираешь, не кончится.

Когда Розу Брук депортировали в Германию, она вспоминала эту речку. На Эльбе. На Рейне. И даже на Сене. В Париже. Куда привез Розу капитан Ямщиков, освободивший ее из лагеря Равенсбрюк. Зачем-то его послали в Париж, не знаю.

Думаете, легко было — отмучиться в лагере, а потом еще через свою же комиссию проходить. Хорошо, Роза в армии не служила. Тех ведь напрямую допрашивали: почему в плен попали, а не покончили жизнь самоубийством? И надо было доказать, что пули уже на себя не хватило или что без сознания был.

А все-таки Роза пошла на ту комиссию...

Я стою на горе, где был некогда наш дом. Теперь здесь пустырь, часть городского парка. Я стою один и думаю о тех, кто мог бы еще сюда прийти. И вдруг обнаруживаю, что из всех детей, родившихся в этом доме перед войной, выжил только я.

У меня нет сверстников. Есть двоюродные сестры и братья: Коля, Валера, Марина... Но когда они вырастут, здесь уже будет настоящий сад. И вся наша история быльем порастет.

Да и сами они, эти мальчики и девочки, — они родона-

чальники новой династии, в которой отсчет пойдет от них, а не от прадеда Менделя.

Так я стою на горе.

Один.

XV

Моряки старинных фамилий,
влюбленные в далекие горизонты,
пьющие вино в темных портах,
обнимая веселых иностранок;

важные, со звездами, генералы,
бывшие милыми повесами когда-то,
сохраняющие веселые рассказы за ромом,
всегда одни и те же;

вы —
барышни в бандо, вышивающие бисером
кошельки для женихов в далеких походах,
говеющие в домовых церквях
и гадающие на картах;

и вы —
приятно-глупые цветы театральных училищ,
преданные с детства искусству танца
и выдающие своих детей полчаса в сутки;

и дальше, вдали, в глубине —
дворяне глухих уездов,
какие-то строгие бояре,
бежавшие от революции французы,
не сумевшие взойти на гильотину, —
все вы, все вы!

Вы молчали ваш долгий век —
и вот вы кричите,
погибшие, но живые,
тысячами голосов
во мне,
имеющем язык
за вас.

Я не знаю, кричала ли перед смертью бабушка Геня, или она молчала. Но если кричала — я буду кричать в тысячу раз громче. А если молчала — мне завещано рассказать, о чем.

Рыгор Бородулин

* * *

Последние поэты еврейские...
Кому прочтут они
Стихи свои на идише?
Старики отошли к предкам,
Оглохли,
Отвыкли.
Молодежь не понимает.
В городишках
Собаки передохли.
Местечковые воробьи
В последнем колене
Изведены химией.
Ни школ, ни учеников.
Только кое-какие слова
Забрели попутно в белорусскую речь.

Мне смутно припоминается,
Наплывно видится,
Как на предвоенную мостовую
Летели из окон
Книжки с непонятными буквами,
Словно по снегу
Прошлось
Множество лапок птичьих.
Закрывалась школа
С целью
То ли единойзычия,
То ли взаимопонимания.
Хоть до той поры
Веками
Янка и Янкель,

Зося и Зелда
Друг дружку вполне понимали,
Даром что огольцы.
Дразнили магазинщика:
— У вас продаются
Свиные подковки?.. —
Летели книги
Грустнокрылыми пигалицами...

Смотрю
На книги белорусские
И вспоминаю
Унылокрылых одиноких
Изгнанниц.

1989

РЫГОР БЕРЕЗКИН¹

С прядью дыма от папироски,
Струящейся по-молодецки за ухом,
Дымился кратером
Рыгор Березкин,
Квёлый здоровьем,
Сильный духом.

Тюрьмы, фронты, лагеря, госпитали
Прошел с усмешкой нелегкой
Смело.
Он чуял поэзии поступь сквозь дали,
Той, что еще и ходить не умела.

Друзья шутя его звали —
Ребе.
Учитель и сам
Был к науке охочий.
Доныне
Мне в душу смотрят,
Как небо,
Предвечные очи, библейские очи.

1991

Авторизованный перевод с белорусского Н. КИСЛИКА

¹ Березкин Григорий Соломонович (1918—1981), советский литературный критик.

Реувен Бен-Цви

ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ НОВЕЛЛ

СЛУЧАЙ С ШАМУЭЛЕМ ИБН-НАГДИЛОЙ

Происходило это, как утверждают, около 1035 года по христианскому летосчислению. Причем, возможно, этого и не было.

В те времена Андалузия принадлежала миру ислама и была разделена на несколько эмиратов, а с севера ей грозили полчища кастильских христиан. Андалузские города процветали, но над ними нависла опасность опустошения и гибели, так как христианские короли не щадили инаковерующих, особенно же были беспощадны к мусульманам. Захватив какую-нибудь область, они предлагали населению на выбор — крещение или смерть, однако к евреям проявляли больше милосердия, стараясь склонить их на свою сторону.

Упадок былого могущества и страх за будущее сковали ум андалузцев-мусульман, и звезда их учености и мудрости постепенно угасала, отбрасывая лишь время от времени яркие искры. Но ученость евреев страны сияла сильным, ярким и ровным светом. Превосходя всех любовью к знаниям, сыны Израиля имели к тому же большой опыт в торговле, ремеслах и земледелии. И не удивительно, что многие из них занимали высокое положение — назначались визирями, министрами, сановниками. В том, что мусульманские государства, несмотря на военную слабость, все же противостояли мощи христианского оружия, была большая заслуга еврейских дипломатов, которые сдерживали завоевательный пыл кастильцев дружественными заверениями и подарками.

В Гранаде, жемчужине Андалузии, правил эмир Хабус, а своим визирем он сделал еврея Шамуэля Ибн-Нагдилу. Эмир был кроток и справедлив, любил поэзию и ученость, но избегал государственных дел, проводя дни в пирах и весельи. В пиршественном зале нередко присутствовал и визирь, однако он едва прикасался к вину и радовался возможности покинуть пирующих, чтобы посвятить остаток времени ученым занятиям.

Бывало, захмелев, эмир говорил визирю, своему близкому другу и самому приятному собеседнику:

— Измаил, нет лучшей участи в этой жизни, чем предаваться радости, которую приносит с собой вино. Разум и чувства несовершенны, они обманывают нас, и путь познания подобен узкой тропинке, которая ведет во мглу, так как кончается в небытии. Жизнь человека проходит во сне, но сон трезвенника безотраден и полон тяжелых предчувствий, а тот, кто пьет вино, видит радостные сновидения.

Сам образ кубка с вином заключает в себе совершенство. Прекрасен кубок, и приятны цвет и искристость напитка. Но любая красивая вещь услаждает лишь зрение, а кубок с вином к тому же будит веселье и возвышает дух. Это ли не гармония чувства и разума, материи и формы?

Прекрасно сказал один поэт, живший в отдаленные времена:

С этой бутылки печать мы сегодня беспечно сорвали,
Чтоб напиток почать, вызревавший так долго в подвале.
И пускай седина предвещает конец безотрадный —
Мы с утра дотемна будем пить буйный сок виноградный.
За него мы взялись на рассвете, а кончим к закату,
Встречу смерть во хмелю, не замечу я жизни утрату.

— Эмир,— возражал на это Шамуэль, — прекрасно и благословенно вино, но не в нем одна радость жизни. Подлинное наслаждение в гармонии, а оно враг всякой неумеренности, в том числе и в употреблении вина. Бог подарил человеку для его разума и чувств огромный мир, полный красок и звуков, а пьющий много вина не видит красоты дальше своего кубка. В человеческой жизни много зла, и все же она — бесценный божий дар. Несправедливо, как я полагаю, топить это сокровище в кубке с вином. К тому же радость, приносимая вином, как и всякая другая, преходяща. Кубок легок в руках того, кто подни-

мает его лишь изредка, но от постоянного употребления становится безмерно тяжелым. И пусть много пьющий вспомнит слова поэта:

Ни единой отрады судьба не дает безвозмездно,
Безысходная скорбь — за мгновенную радость расплата.
... Все, что радостью было, исчезло, прошло, миновало,
Под конец эта жизнь лишь тревогой и скорбью богата.

В эти же годы на одной из главных улиц Гранады жил некто Ибн-Нуvas, торговец пряностями, небольшого роста человек, плешивый и к тому же хромой на одну ногу. Барыши он выручал умеренные, так как не обладал искусством зазывать покупателей и убеждать их в превосходном качестве своих товаров. Тем не менее Ибн-Нуvas считал себя выше остальных торговцев и не сомневался, что достоин лучшей участи. Эту уверенность поддерживало в нем то обстоятельство, что он иногда сочинял стихи, которые с удовольствием читал всем, кто соглашался их слушать. Кроме того, он происходил из племени санхаджийцев, а владельцы соседних лавок принадлежали к иным, по его мнению, незначительным племенам.

Как ни велико было презрение Ибн-Нуvasа к соседям — берберам и арабам, но не санхаджийцам, гораздо больше он негодовал против иноверцев-евреев, совершенно незаслуженно, как он полагал, занимавших высокие должности. Здесь возмущение его не знало границ, и почти каждый разговор он сводил к горьким жалобам на засыле евреев и особенно на то, что «львы пустыни» — санхаджийцы унижены, так как живут хуже евреев. Свои обиды он излил в стихотворении, в котором были такие строки:

В этом мире праведник плачет, а Иблис торжествует победу.
Спросите меня: в чем причина? Я отвечу: оглянитесь вокруг и увидите.
Еврей господствует повсюду, а мусульманин робко прячется в его тени.
Куда ни приди — и в столице, и в провинции властвует кто-нибудь
из этих проклятых.

Не смотри с надеждой на небо — и оно стало еврейским.
Правоверные! Если хотите власти и богатства — становитесь иудеями!
Но нет! Аллах не любит нечестивого народа,
Евреи и те, кто им потворствуют, понесут достойную кару.

Многие из слушавших Ибн-Нуvasа разделяли его чувства и сокрушенно качали головами, иные были равнодушны к его словам, а купец Абу-Маруф Ибн-

Харис, торговец шелком, говорил, степенно поглаживая крашеную бороду:

— Не подумай, Ибн-Нуvas, что я защищаю неверных, но, по-моему, твои речи нерассудительны. Евреи держат в своих руках всю торговлю Франкистана, и корабли их плавают даже в Кользум и далее — в Индию и Син. Если мы станем стеснять их, то лишимся больших преимуществ от торговли с этими странами. Я часто имел дела с евреями и еще ни разу не был обманут ни в каких расчетах. А кто заменит евреев-ремесленников, шелководов или виноградарей, если отстранить их от этих занятий? Ведь тогда не достанешь ни куска шелка, ни кувшина вина! К тому же какой пример мы подадим христианам, этим свирепым собакам, которые отрывают кусок за куском от наших земель? Не евреи, а христиане грозят сейчас исламу и силой обращают мусульман в свою проклятую веру. Если мы будем угнетать евреев, то они станут помогать христианам, а мягкое обращение с ними делает их нашими союзниками. Помнится, и в святом Коране сказано: «С народом Завета — то есть с евреями — спорьте всегда только приличным образом. Наш Бог и ваш один и тот же, мы ему всецело преданы».

Ибн-Нуvas, послушав Абу-Маруфа, умолкал, но потом говорил приятелям:

— Бойтесь Абу-Маруфа и не верьте ему: он правоверный лишь по имени, но в душе враг нашей вере и тайный иудей. Я не удивлюсь, если мне скажут, что он поклоняется субботе и тайком посещает еврейскую молельню! Прокляты и еврей, и христианин, но стократ проклят тот, кто правоверен на словах, а в сердце своем хулит и Аллаха, и пророка его!

Однажды с Ибн-Нуvasом случилось несчастье. Он поставил у открытого окна светильник и уснул, забыв потушить его. Подул ветер, светильник опрокинулся, масло из него разлилось и загорелось, и скоро всю лавку охватило пламя. Горели скарб и жалкий товар — горки кореньев, тмина и тысячелистника, не пощадил огонь и бесценные стихи Ибн-Нуvasа, которыми он так гордился. Сам хозяин проснулся, когда огонь уже подбирался к нему и лавка наполнилась дымом. Полуодетый, босой, он выскочил на улицу и стал звать на помощь. Проснулись соседи, и пожар был потушен. Но дом и почти все имущество Ибн-Нуvasа сгорели. Некоторое время он находил приют у друзей, однако гостеприимства их хватило ненадолго. На-

стал час, когда ему осталась одна дорога: присоединиться к толпам нищих.

И Ибн-Нувас оказался среди этих несчастных у базарных ворот, присоединил свой голос к пронзительным мольбам о милостыне и хватал, подобно своим собратьям, каждого прохожего за полу халата, в надежде получить медную монету. Не раз приходилось ему убеждаться в том, как скудно человеческое милосердие, и ложиться спать, не попробовав за целый день куска лепешки. Тщетно пытался он успокоить пустой желудок благочестивыми рассуждениями. Нищета, убеждал он себя, от Аллаха. Справедливо, чтобы одни бедствовали и голодали, а другие жили в роскоши, так как люди сильно размножились, еды, вещей и денег все равно не хватит на всех. Но самым большим богатством — жизнью — и вельможи и нищие обладают в равной степени. Бывает даже, и нередко, что последнему бедняку его отпущено больше, чем царю или знатному сановнику. И как ни тягостна жизнь бедняка, все же он видит краски и очертания бесконечного множества вещей, слышит звуки, чувствует свежесть воздуха и запах растений. А видеть, слышать, вообще чувствовать предметы — это почти то же, что обладать ими.

Едва ли не меньше, чем голод и другие бедствия нищеты, одна мысль не давала покоя Ибн-Нувасу и причиняла ему тяжкие страдания. «Почему,— думал он,— Аллах избрал жертвой меня, верующего в него, в то время как среди неверных есть немало таких, которые процветают и благоденствуют? Разве не справедливо было бы, чтобы те, кто не признает Мухаммеда пророком и не знает истинной веры, были унижены и томимы голодом? Вот визирь и многие чиновники — евреи, а я, мусульманин и к тому же настоящий санхаджиец — «лев пустыни», — протягиваю руку за милостыней! В этом заключено самое большое зло мира — ведь оказывается, обладающий истиной не пользуется благом, и Аллах не вознаграждает его, но он благосклонен к иноверцам! Что же тогда есть истина и нужно ли, как учит ислам, к ней стремиться, или лучше жить, избегая ее?

И пусть, размышлял далее Ибн-Нувас, среди правоверных будут бедные и богатые, имеющие власть и униженные. Ведь сам Аллах сказал: «Мы возвысили одних степенями над другими, чтобы одни из них брали других в услужение. Но не должно быть ни богатых, ни власть имущих среди иноверных! Каждый мусульманин, как бы беден он ни был, пусть помнит,

что стоит выше любого еврея или христианина и любому неверному может доказать его ничтожество. В этом будет подлинная справедливость, и свет правой веры станет виден всем, так же как и нечестие любого, кто хулит имя пророка».

Чем больше бедствий приходилось испытывать Ибн-Нувасу, тем ярче разгоралась его ненависть к неверным, особенно к евреям. Как-то он сидел у ворот базара, голодный и оборванный, с тяжкой обидой на сердце. Вдруг раздались звуки труб и барабанов, показались воины из дворцовой охраны и вслед за ними, рядом, на белых конях с роскошным убранством, эмир и визирь. Тут рассудок оставил Ибн-Нуваса и он, с перекошенным от ненависти лицом, бросился наперерез процессии и закричал:

— Горе вам, правоверные! Еврей стал нашим владыкой, он сидит на белом коне и одет в золото и шелк, а мусульманин валяется в грязи! Будь ты проклят! Да поглотят тебя недра земли! Да не узнаешь ты покоя ни в этой, ни в иной жизни!

Это было так дико и неожиданно, что эмир и визирь остановились и на несколько мгновений остолбенели от изумления. Придя в себя, эмир сделал знак воинам, чтобы они схватили бесноватого, но Шамуэль Ибн-Нагдила удержал его. Случилось непонятное: визирь вытащил из своего кошелька горсть золотых монет и бросил их Ибн-Нувасу. Процессия последовала дальше, оставив нищего ползающим в пыли и с жадностью подбиравшим словно с неба свалившееся к нему богатство.

На деньги визиря Ибн-Нувас отстроил свою лавку и зажил так, как будто с ним и не случилось несчастья. Лишь иногда во сне перед ним вставали горе, голод и нищета, которые ему довелось пережить. Проснувшись, он благодарил Аллаха, что эти времена миновали.

Прошло немного времени — и случилось эмиру Хабусу вместе с Шамуэлем Ибн-Нагдилой снова проезжать мимо места, где совершил свой безумный поступок Ибн-Нувас. Эмир заметил в толпе смиренно кланяющегося лавочника и спросил визиря:

— Скажи, Измаил, почему ты помешал схватить этого бесноватого? Если бы не твоя защита, я бы приказал вырвать у него язык.

— Эмир,— ответил с улыбкой Шамуэль Ибн-Нагдила,— я исполнил твое намерение, вырвал его злой язык и дал ему другой, добрый.

А Ибн-Нуvas в это время говорил своему соседу, купцу Абу-Маруфу:

— Увы, о друг мой, для того, с кем приключилась беда, нет ни мусульманина, ни неверного, он остается один со своим горем. Но когда Аллах наконец смилостивится, он посылает избавителя, и не обязательно из правоверных. Воистину, недоступны человеческому пониманию ни дела, ни помыслы Всевышнего — да будет благословенно имя Его!

СИМХА КОГЕН

События, о которых пойдет речь, начались весной 1096 года по христианскому летосчислению.

В городе Вормсе, в еврейском квартале, жил купец Мар Исаак Коген. Он вел торговлю с Триром и Шяейером и накопил богатства, но тратил их разумно и жил скромно; одевался постоянно в поношенный черный кафтан, носил, как и другие обитатели квартала, низко надвинутую остроконечную шапку и не позволял ни себе, ни домочадцам никаких излишеств. Однако к бедным он проявлял щедрость: устраивал для них бесплатные субботние трапезы, помогал невестам-бесприданницам, хоронил за свой счет неимущих и содержал вместе с несколькими другими зажиточными людьми молитвенную школу при синагоге.

Мар Исаак был вдов и имел двух взрослых сыновей, из которых старший, Шимон, унаследовал от отца склонность к торговым делам, а младший, Симха, все свое время отдавал учению. Находясь уже в преклонном возрасте, купец постепенно отходил от дел, передав их Шимону. С каждым годом все сильнее и нежнее становилась его привязанность к младшему сыну. Юноша был красив лицом, высок и строен, носил густые черные кудри ниже плеч, а в глазах его сквозили живость ума и сила воли. Он не любил свойственных его возрасту развлечений, знал лишь одну страсть — любовь к Торе и наукам и не замечал ни робких взглядов еврейских девушек, ни вызывающих — молодых христианок. В глазах старика отца Симха был гордостью и украшением своего рода, и в мечтах сын представлялся ему новым рабби Гершомом, Светилом диаспоры. Мар Исаак ничего не жалел для того, чтобы Симха имел все интересовавшие его книги. Когда же

юноше исполнилось восемнадцать лет, он отправился, по совету друзей отца, на учение в Регенсбург, к законоучителю рабби Элеэзеру.

Между тем в мире назревали зловещие события. Нескольким духовным пастырям христиан, среди них папе Урбану I и странствующему проповеднику Петру Пустыннику, в недобрый час запала мысль, что все беды и несчастья Европы — войны князей, неурожаи, мировые болезни и равнодушие к вере — происходят как божья кара, так как христианский мир не помешал переходу Гроба Господня в руки сарацин. Собрались полчища юродивых и бродяг. Они рассчитывали, кощунственно прикрываясь Божьим именем, безнаказанно совершать грабежи и насилия. К ним охотно примкнули многие рыцари и даже бароны и графы. Огромные орды брели на восток, то и дело сбиваясь с пути. «Спасители» Гроба Господня нападали на купцов и крестьян, опустошали винные погреба и, упившись, приходили в исступление; иные были одеты в рубища или совсем обнажены, другим придавали причудливый и дикий вид роскошные шапки и кафтаны тонкого сукна, накинутые на жалкие лохмотья. С отеками лицами, всклоченными волосами, оборванные, они были безобразны как смертный грех. Впереди некоторых отрядов бежали гуси или козы; невежественный сброд верил, что эти животные хорошо знают дорогу на Иерусалим.

Император принял меры, чтобы оградить христианское население от насилий крестоносцев. Тогда они обрушили свою ярость на беззащитные еврейские гетто. По городам и селам Германии и Северной Франции ходили проповедники и доказывали, что нет смысла начинать избиение неверных с мусульман, путь до которых лежит далеко, когда рядом живут евреи, также не признающие Христа Богом.

Один из крестоносных отрядов во главе с французским рыцарем Гийомом Плотником разграбил и предал огню еврейские общины вдоль Мозера и Рейна. Почти не встречая препятствий, он дошел до Вормса. Епископ Вормский Алебранд дал убежище части еврейских семей, но, как оказалось, с коварным замыслом обратить их в христианство. Когда евреи отказались креститься, он заявил, что не может далее держать их у себя. Евреи попросили краткой отсрочки, якобы чтобы принять окончательное решение, и все покончили жизнь самоубийством.

Жители Вормса охотно открыли ворота города крестоносцам, рассчитывая получить свою долю при грабеже

еврейского квартала. К толпе громил присоединились несколько баронов, и среди них — племянник епископа Франц фон Фюрхтендорф. Так как его челядь была многочисленна и хорошо вооружена, этот барон считал себя вправе захватить добычу в зажиточных домах квартала.

Дом Мар Исаака подвергся разграблению одним из первых. Фон Фюрхтендорф ворвался в него, а за ним с ревом и гоготом последовала толпа его вооруженных слуг, все сметая и уничтожая на своем пути. Мебель, домашний скарб, книги вмиг превратились в груды щепок, обломков и клочков. Шимон выбежал навстречу громилам, чтобы попытаться как-то их остановить или урезонить, но тут же пал, обливаясь кровью, с черепом, проломленным окованной железом ножкой от табурета. Через несколько минут толпа вломилась в контору. Там, онемев от ужаса, сидел Мар Исаак. Не обращая на него внимания, барон бросился к бюро, где старик хранил наличные деньги, и принялся ударами меча сбивать замки. Это ему вскоре удалось, хотя лезвие клинка зазубрилось и безнадежно испортилось. Фон Фюрхтендорф запустил руки в ящики и стал вычерпывать из них монеты, наполняя ими свою охотничью сумку. Затем, мерзко ухмыляясь, он швырнул несколько пригоршней монет слугам. Они повалились на пол и стали подбирать, вырывая друг у друга, серебряные и медные кружочки. Когда грабить было больше нечего, вспомнили о старике, у которого крик застрял в горле, привязали его к столу и принялись, хохоча, выдирать у него по клокам бороду. Но это удовольствие не удалось растянуть надолго: сердце старого купца не выдержало, и он скончался, так и не проронив ни звука; ужас и смертная тоска застыли на его лице.

К концу дня разгром еврейского квартала закончился. На узких темных улочках, среди груд обломков, валялись трупы и стонали тяжело раненные. Из-под дверей многих домов натекали лужицы крови. Синагога горела, языки охватившего ее пламени освещали эту зловещую картину. Огонь перекинулся на несколько соседних лачуг; никто не тушил его. Толпы громил рассеялись по городу и заполнили все кабаки, харчевни и притоны, пропивая награбленные у евреев деньги и вещи. Нападению подверглось и несколько христианских домов. Утром городские власти, обеспокоенные этим, уговорили вождей крестоносных толп покинуть Вормс. В нем установилось мрачное спокойствие.

Прошло некоторое время — трупы были оплаканы и

похоронены теми, кто остался в живых, синагога и пострадавшие дома вновь отстроены. Еврейский квартал мало-помалу приобрел свой прежний вид. Но на души его обитателей лег тяжелый камень, а с лиц не сходило выражение страха. К тому же горожане, ободренные безнаказанностью злодеяний, проявляли открытую вражду к жителям гетто; не проходило и дня без осквернения могилы на еврейском кладбище или нанесения обиды какому-нибудь еврею бедняку, ремесленнику или мелкому торговцу. Над Вормской общиной нависла постоянная тень новых кошмарных насилий.

Узнав о гибели отца и брата и о других кровавых событиях, Симха немедленно отправился в Вормс. Едва въехав в городские ворота, он поспешил к кладбищу, нашел родные могилы и, хотя безмерная скорбь охватила его, удержался от рыданий и прочел подобающие сыну и брату молитвы. Затем он сел на могильный холм, обхватил голову ладонями и просидел так до темноты. Мысли его то прекращали свое течение и проваливались в бездну, то лихорадочно мчались одна за другой, так, что нельзя было проследить их бег. Когда же Симха пришел в себя, то понял, что в жизни у него осталась лишь одна цель — месть убийце.

Юноша задумал подстеречь фон Фюрхтендорфа в поле или в лесу. Каждый день он осторожно справлялся у разных людей, не затевается ли в каком-нибудь замке поблизости пиршество, на которое, несомненно, поспешил бы враг, большой любитель пьяного веселья. Наконец стало известно, что фон Фюрхтендорф намерен отправиться на званый ужин к своему давнему приятелю, графу Гетцу фон Гольцу. Тотчас же Симха сделал себе тяжелую дубину, а в урочный день притаился в густых зарослях кустарника у тропинки, что вела к замку фон Гольца. Здесь юноша ждал до вечера, забыв о еде и питье, терзаемый то воспоминаниями об убитых отце и брате, то страшной ненавистью к убийцам, которая не умещалась в его груди и готова была залить весь мир. Наконец послышалась громкая песня, а затем показался и сам барон, сопровождаемый двумя слугами. Он сидел на лошади и горланил свою любимую застольную. Вооруженные слуги, едва поспевая, молча тянулись за ним.

Не теряя времени, Симха покинул укрытие и в мгновение ока встал на их пути. Один из слуг сделал было движение, чтобы защититься, но Симха обрушил на его голову свою дубину и, пока тот падал, выхватил у него из

ножен тяжелый меч и одним ударом уложил другого. Тут глаза его и фон Фюрхтендорфа встретились, и барон отчетливо увидел в пылающем взгляде юноши свою верную смерть. Образ ее был так страшен, что христианский рыцарь, не помня себя, во весь опор помчался назад, забыв, что вооружен и мог бы вступить в схватку. Симха преследовал его, но скоро понял, что гнаться за лошадью бесполезно, и остановился.

Возвратясь в свой замок, барон немедленно отправил челядь на поиски еврея. Однако лес был достаточно густ и велик, чтобы надежно спрятать человека, искавшего в нем убежища. Здесь юноша скрывался несколько дней, утоляя голод дикими плодами и вынашивая новые планы мести. Когда же он наконец решился тайком вернуться в гетто, то, к своему великому отчаянию, узнал, что фон Фюрхтендорф по приказу императора неожиданно с большой поспешностью выступил в поход. Никто не мог достоверно сказать, куда направился барон: одни говорили, что он бросился догонять крестоносные отряды, но неизвестно, в каком направлении — то ли к Нюрнбергу и далее в Венгрию, то ли южнее, в сторону Мюнхена, то ли к Генуе, чтобы там пересечь на корабль; другие утверждали, что барон отправился вовсе не в Палестину, а к восточным берегам Эльбы для покорения независимых славянских племен. Высказывались и разные другие предположения. Искать негодяя было так же бессмысленно, как иглу в сене, и Симхе, скрепя сердце, приходилось отложить месть до его возвращения. Но мысль о том, что фон Фюрхтендорф может погибнуть не от его руки, ни днем, ни ночью не давала Симхе покоя. Часто бессонными ночами он ловил себя на том, что беспокоится об убийце, как о своем лучшем друге. В эти минуты возмущение и гнев охватывали его, но приходилось сдерживаться и мириться с мыслью, что барон будет жив до окончания похода — много месяцев, а может быть, и годы.

Дни шли за днями — и Симха решил вернуться в Регенсбург к рабби Элеэзеру, чтобы скоротать время за учением. Он рассчитывал приехать в Вормс каждые несколько месяцев и выпытывать, не возвратился ли враг. Старый рабби встретил любимого ученика с приветливостью и вниманием, с какими обычно чуткие люди принимают тех, у кого случилось большое несчастье.

Несмотря на все старания, Симха уже не мог заниматься с прежним прилежанием. Рабби несколько раз пытался утешить Симху и вновь пробудить в нем жажду зна-

ний, однако юноша, казалось, даже не слышал его слов. Однажды Симха, не в силах больше нести один груз своей тайны, поведал учителю, что давно ждет минуты расплаты с убийцей и это единственное, что удерживает его в земной жизни.

— Ни святые законоучители, ни Аристотель и ни одна из книг не помогут мне в моей цели,— говорил юноша.— Я смотрю на страницы, но вижу кровь праведных людей, и сердце говорит мне: отложи книги, возьми меч и порази зло повсюду, где оно тебе встретится. Пусть зло непобедимо и тем более его не одолеть одному человеку, но лишь в противоборстве с ним я верну хоть частицу прежнего покоя. Если я паду в этой борьбе, то потеряю немного, так как недорого стоит жизнь в скорбном смирении и молчании.

Рабби опустил голову и задумался, а потом ответил:

— Дитя мое, я вовсе не хотел бы, чтобы ты забыл о злодеянии или мирился с ним. Капля невинно пролитой крови перевесит тысячи жизней тех, кто убивает человека, который есть Божье творенье, и лишь Он один волен распорядиться им. Справедливо, чтобы наказание было не меньше совершенного злодеяния; поэтому сказано: «Око за око, кровь за кровь, зуб за зуб».

Но месть, которую ты задумал, не может осуществиться без того, чтобы не принести вред многим невинным людям. Смерть преступника от десницы сына Израилева поднимет всю муть со дна темных сердец, они обрушатся на Израиль, и без того стонущий под гнетом бедствий. Толпы нечестивых снова пойдут убивать и грабить, а ты не сможешь остановить их.

Мечь твоя не будет оправданной потому, что она, конечно, не искупит преступления. Жизни убийцы и его жертвы неравноценны. Первую я уподоблю дорожному камню, вторую — жемчугу. Ты же намереваешься уравнять их, полагая, что совесть твоя успокоится, если удастся покончить с одним негодяем, повинным в гибели твоих отца и брата, тогда как другие будут продолжать жить и творить зло.

Выслушай же меня: с тех пор как Израиль рассеян по лицу земли, Бог отнял у людей право мстить за него, Он Сам карает врагов Своего любимого народа. А Божья месть неизмеримо страшней мести человеческой. Если ты лишишь барона жизни, то скорее окажешь ему тем самым немалую услугу. За те годы, которые он проживет, если твоя рука не поразит его, он, конечно, отягчит свою

душу новыми тягчайшими грехами, за которые ему воздастся сторицей в Геенне.

Но Бог наказывает нечестивцев еще при их жизни, и кара эта ужасна. Не заблуждайся, если ты видишь человека преступного и нищего духом бодрым и благополучным. Нужно заглянуть в его душу, чтобы понять, на какие муки он осужден. Вот сердце его гложет зависть, и он не спит ночей и тяжело страдает; вот завладела им похоть, и нет для него покоя, даже если удовлетворит ее, так как пороки не насыщаются. Затем на сердце его ложится камень оттого, что, как ему кажется, мало у него сокровищ. Тогда он отправляется грабить и совершать всяческую неправду, чтобы отнять у людей их имущество. Все боятся его, но люто ненавидят, и живет он среди постоянной скрытой вражды. Он плывет среди океана ненависти, но нет даже соломинки, за которую он мог бы хватиться!

А удовольствия ему горше желчи: вечер его прошел в пьянстве и чревоугодии, утром все тело изнемогает от пресыщения, голова тяжела, и он едва стоит на ногах. Иной раз он, упившись вином, валится в собственную блевотину и спит с собаками. Круг его дней замкнулся: еще утром он тяжело маялся от излишеств, а вечером вновь стремится к ним.

В мире праведных людей — согласие и дружба, в мире греха — разобщенность и вражда. Приди на пир нечестивых: там раздаются приветственные клики и заздравные речи. Но за каждым приветствием прячется проклятие, а сладкие слова замешаны на яде, желчи и уксусе.

Жизнь — чудо из чудес, и сущность ее едва ли доступна человеческому разумению. Измеряется она не временем, не числом прожитых лет, а добром и злом. Долгая жизнь, лежащая во зле, коротка, а короткая, полная добрых дел, так длинна, что близка вечности. Каин умер в тот самый час, когда совершил братоубийство, хотя и прожил потом многие годы.

В жизни праведного человека немало минут, когда душа стремится к Богу, или наслаждается красотой, или проникает в тайны вещей и человеческой души. И разве не следует признать их величайшим благом, которое выпадает на долю человека? В них — Божье воздаяние за добро. Кто, испытав их, согласится променять эти бесценные сокровища на долгие годы жизни впотьмах, среди грязи и похоти? Человек, обладающий многими красивыми вещами, окруженный поработочными и униженными им людьми, в слепоте своей считает себя счастли-

вым и благополучным, но на деле пребывает в аду еще при жизни.

Итак, дитя мое, пусть не вводит тебя в заблуждение видимое; в нем редко заключена истина, она прячется в сущности вещей, недоступной человеческому глазу. Не заблуждайся о положении Израиля в галуте; оно лишь кажется бедственным, но по сути своей лучше, чем у Эдема или Исмаила. Хотя их мышцы крепки, а на голове у них венец, а в руках скипетр, они слабы: не их избрал Бог, чтобы поведать Свой закон, и не им Он дал откровение. Что пользы в царском венце? Другие цари и народы завидуют ему и покушаются на него до тех пор, пока не сокрушат — и вот он в грязи и подошва врага топчет его. Но Тора — венец Израиля — пребудет вовеки, и нет царя ни из Эдема, ни из Исмаила, который отнимет его.

До тех пор, пока власть царя еще сильнее, она несет с собой насилие и зло. Царь посылает войско, чтобы истребить и разорить народ — и оно идет и выполняет волю его; он приказывает убить — и убивают; он собирает тяжкие налоги, судит несправедливо, награждает богатых и знатных и наказывает неимущего. От этого происходят ненависть и смута; Сатана торжествует повсюду, ад воцаряется на земле, и ад ждет после смерти людей, послушных воле нечестивых правителей.

Но Израиль минует это зло; нет у него войска, чтобы разорять и убивать, нет несправедливых судей, чтобы восставать против истины и справедливости, нет злодеев, кичащихся замками и титулами. Поэтому силы и разум Израиля обращаются на то, чтобы созидать, а не разрушать — и вот он спешит в дальние страны с товарами, ремесленники его изготавливают изделия на благо людям. А цвет Израиля — люди знания — обращают свои помыслы к Богу и к истине.

Те, кто говорят, что чудеса являлись Израилю только в прошлом, слепы, они не замечают, что чудо совершается на их глазах. Разве не чудо сохранение Израиля в рассянии и под игом, и не чудесна ли бодрость духа его? Эти чудеса сравнимы с теми, которые явил Господь Моисею и народу израильскому в пустыне, и с тем, когда войско Фараона утонуло в Черном море, и с прекращением хода светил над Гаваоном, и со многими другими, которые случились в давние времена.

...Так говорил старый рабби, а в небе зажегся закат, и слабый розовый отблеск лег на две неяркие вечерние звезды. Закатное зарево почудилось Симхе морем невин-

ной крови, а звезды — неотомщенными душами отца и брата. До нашествия крестоносцев он выслушал бы речи учителя со вниманием и назвал мудрыми, но теперь для них не было места в его сердце. Они лишь всколыхнули в нем давно накипевшее негодование против тех, кто, подставляя грудь под нож, прячет страх и смертную муку в утешительных словесных сплетениях. Ненависть к злу и презрение к бессильной мудрости придали юноше такую мощь, что он теперь твердо знал: ничто в мире — ни расстояние, ни время, ни толпы вооруженных слуг — не смогут спасти убийцу от справедливой кары. В эту минуту ангел смерти сжал рукоять меча и обратил на фон Фюрхтендорфа один из своих бесчисленных глаз.

Владимир Ферлегер

НА ЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ

На кладбище еврейском камни
стынут,
Под снежной манной
сбившись в тесный ряд.
И тихо на иврите говорят:
— Веками собирался
наш отряд,
Пора домой...
в Синайскую пустыню.

ХАВЕЛ-ХАВАЛИМ

О чем скорбит свирель Екклезиаста?
О том, что все пройдет, пройдет напрасно.
Жизнь — «хавел-хавалим», тоска и кровь.
А Бог? — Он, мир толкнув, ладонь отставил,
Завел Часы. Пространство в Космос вправил.
Лети, вертись, пока сожмешься вновь.

Творец Всего не врач отдельной боли,
Сиротству имя есть — Свобода Воли.
Напрасно всеу поминать Его...
Без предрассудков и поверх приличий,
От любопытства и до безразличья,
И — «хавел-хавалим», и — Ничего.

ОДЕССА, СТАРЫЙ ДВОР

Старый двор в переулке Адалис.
Все смотались, а эти остались.
Куда им, таким старым.

Две старухи, гудя как гитары,
Шли, качаясь, широкие книзу
От расширившей вены жизни,
По двору, как по карнизу.
Осторожно, здесь ломок край,
Тетя Ханна и тетя Лиза...

Бог пошлет им въездную визу
Да билеты: Одесса — Рай.

Абрам Карпинович

НА ВИЛЕНСКИХ ЗАДВОРКАХ

Евреи называли Вильну Ерушалаим де-Лита — Иерусалим Литовский. За то, что славилась она своими мудрецами Торы и знатоками Талмуда, своими учеными и писателями, библиотеками и издательствами. За твердость веры и благочестие одних и за гордое понимание другими своей причастности к судьбам древнего своего народа.

Существовал в еврейской Вильне и свой блатной мир, во многом схожий с миром «Одесских рассказов» Исаака Бабеля, но и отличный от него. Он разделил судьбу, общую для всего виленского еврейства. Этот мир снова предстает перед нами в написанной на идише книге Абрама Карпиновича «На виленских задворках».

НЕ ДЛЯ ВИЛЬНЫ

После того как Зелик Благодетель засыпался с контрабандным табаком из Литвы, он надолго оказался не у дел. Не за что было ухватиться. Орка Сотник, заклятый недруг, все заграбастал и никому гроша не давал заработать. Куда ни повернись — всюду его люди. На бойне царил Элинька Дылда, на Дровяном рынке всякая шпана вела себя как полный генерал. Когда Зелик послал на лесопильни Хаима, младшего сына, потолковать с хозяевами насчет того, чтоб оградить плоты на Вилии от расхитительей бревен, так эта затея чуть не кончилась смертоубийством. Саркин Велвл, опять из людей Орки, давно уже имел с этого приличный навар.

Зелик сидел дома, на Стекольной улице, и жевал ус. На заработки жены не очень-то проживешь. Она расставила в передней столики и стала на метры продавать добрым людям колбасу из потрохов. Но это разве заня-

тие — обслуживать Мишку Наполеона или Гершку Полхалы?

Зима покрыла Вильну толстой пеленой пушистого снега. Зелик соскребывал ногтем лед со стекла и глядел на двор, на кузницу, стоявшую напротив. Он следил, прищурясь, как после каждого удара молота сыпались на снег искры, и мысли его, уносясь к давней молодости, гадали вместе с ними. Совсем по-другому было тогда. Ему стоило только буркнуть, и уже вся железнодорожная ветка Бунимовича дрожала. А теперь?.. Аз ох ун вэй, если Орка и его сыновья стали хозяевами над Вильной. Ну да ладно, видать, так захотел Господь, а то как бы иначе могло такое быть?..

Зелик еще яростней кусает ус и почти совсем покоряется карающей деснице Всевышнего, но изнутри рвется крик против несправедливости: когда он, Зелик, уже был всесильным главарем, Орка еще тибрил из кошелок на Рыбном рынке в Заречье...

Кузнец давно уже отложил в сторону клещи и молот, а Зелик все еще стоял у окна и размышлял, за что бы приняться: не так уж ради заработка, но чтоб показать, кто старше. Ведь перед людьми стыдно! Тот прожигает жизнь, а ты сиди дома и жди, авось придет какой-нибудь болван и даст разжиться на пол-литра.

Зелик до того приуныл, что не заметил, как кто-то вошел. Зычное, прямо с порога, «утро доброе!» вырвало его из снежно-белой меланхолии. Пришел Лейба-с-Понтом. Он время от времени забегал к Зелику схавать пару метров колбасы. Лейба-с-Понтом шил портки и никогда не входил в теперь уже развалившуюся шайку «Золотой прапор». Но тереться среди блатных было для него дороже жизни. Тем более что он мог появиться на немецкой улице рядом с Аврумкой Анархистом, и ни один билетер Еврейского театра не осмелится спросить у него билет.

Зелик хотел было крикнуть на кухню дочери Тайбке, что пришел гость, но Лейба остановил его: он пришел не колбасы есть, а по делу. Другой на месте Зелика задался бы вопросом: какие такие дела могут быть у Лейбы, кроме как строчить штаны? Но лично Зелика, многолетнего старосту синагоги при Лукишкской тюрьме, ничто удивить не могло. Пришел по делу? Садись, послушаем.

Лейба придвинул свой острый профиль к уху Зелика и начал излагать: прибыл из Америки Хона...

— Хона вернулся из Штатов?

— Да, реб Зелик, он приехал. Я лично расставлял ему

брюки; он заявился в Шнипешки к своим родственникам в американских брюках-дудках — стыд на улицу выйти. Короче, слово за слово, и он мне рассказал, что отсидел десять лет в Синг-Синге, а когда отдал срок, его вышибли из Штатов. Он все выпрашивал о вас и хочет вас видеть, но, так как он меченый, а ищейки из Третьей управы рыщут по его следам, он не знает, можно ли прийти, и послал меня спросить.

Зелик ухмылялся в усы и кивал большим лысым черепом. «У меня тогда еще все волосы на голове были,— мелькнула мысль.— Хона тогда слинял в Штаты со своей долей налета на Безданский почтовый вагон. Были времена... Что они знают, эти нынешние цуцики?» Он смотрит на Лейбу, как бульдог на муху, и все, что тот продолжает говорить, вязнет в большом черном ухе Зелика.

— Хорошо, хорошо, пусть приходит. Ему нечего бояться: дом кошерный.

Вечером Хона сидел с Зеликом за водкой в чайных стаканах и рассказывал об американских чудесах. Порой Зелик одобрительно кивал, кое от чего морщился, однако в целом Америка ему понравилась. Но когда Хона выдвинул идею совершенно нового гешефта, о котором, сколько город Вильна стоит, никто и слыхом не слыхивал, Зелик застыл, как припечатанный к стулу. Раз десять пришлось Хоне повторять, как эта штука называется в Америке. Впрочем, Зелик не столько хотел раскусить чужое слово, сколько саму идею, которая не умещалась в его тыквообразной башке.

— Хона, ты не ошибаешься? На этом в Америке делают деньги?

— На краже детей? Богатеют люди!

Долго Хона подогревал интерес своего давнего друга к этому бизнесу, хотя печь в доме трещала от жара. Вроде бы все выглядело ладно и складно, а в то же время что-то было не так... Эта возня с детьми: сперва его взять, потом доставить — целая волокита... Хороший гешефт — как приговор: чем короче, тем верней. А тут — пиши, марай, жди денег... Не дело это...

Но когда Хона поднялся после полуночи, весь распаренный, и заявил, что пойдет попытать счастья с Оркой Сотником, Зелика словно обожгло. Они опять уселись, и Хона с новым энтузиазмом стал посвящать своего консервативного друга в тонкости нового ремесла. Зелик много имел что возразить, но чего уж там, если Бог послал такого рода заработок... А вдруг

дело выгорит? Если Всевышний захочет, все может случиться...

Снова выпили за здоровье, и Зелик крепко пожал руку Хоны. Сделка состоялась.

Зелик вплотную приступил к работе. Первым делом он созвал сходку, в которой участвовали Ицка Рыжий со своей женой Эстеркой Два Очка, Элимелех Хохмач и Шимон Курчер. Все они решили: раз Зелик входит в дело, что же им отставать? Долго перебирали, у кого из виленских толстосумов брать ребенка. Естественно, что первым был назван банкир Бунимович. Но тут же передумали: его дочь — девица в годах и может поднять такой гвалт, что полгорода сбежится. Перешли к Троцкому, хозяину маслобойни. Но у него тоже не нашлось подходящего ребенка. Перетрясли всех городских богачей, сколько их было, и не могли ничего решить, пока Шимон не вспомнил, что у Лейбовича, хозяина кожевенного завода, есть сынишка лет семи-восьми. Откуда он знает? Он вез их однажды на дрожках в Волокумпье на дачу, так ребенок хотел сидеть только на козлах и погонять.

Ну, когда нашли кого похитить, дело пошло легче. Зелик распределил роли: Шимон подъедет к школе, где мальчишка учится, дождетя, пока тот выйдет, и спросит, не хочет ли он прокатиться в санях. А какой пацан не захочет? И когда он сядет в сани, Шимон отвезет его в дом Эстерки возле бойни, что на Новограде. Там малый и будет, пока не сдерут деньги с его папаши. А Ицка Рыжий пусть ходит по городу и прислушивается: что, где и как. Элимелех Хохмач умеет писать левой рукой и настрочит письмо Лейбовичу, чтоб тот положил десять тысяч злотых в склеп Герцедека на Старом кладбище, и тогда ему вернут ребенка, а если нет...

Когда Эстерка услышала, что хотят написать после слов «если нет», она запрокинула голову и схватилась за сердце. Чуть очки не кокнула. Малость очухавшись, она схватила мужа за руку и потащила к двери. Еще минута, и лопнул бы весь гешефт. Хона всполошился, закричал, что в Америке это — как бублик съесть. Эстерка водила у его носа пальцем: здесь тебе не Америка, здесь Вильна! В конце концов решили так: Элимелех закончит письмо многоточием, и это многоточие скажет все, что нужно... Затем наметили удачливый день — втор-

ник на следующей неделе, — пожелали друг другу всего наилучшего и разошлись по домам, распаленные, как с помолвки.

Вильна места себе не находила. Шутка ли сказать: у Лейбовича украли мальчика и требуют за него выкупа десять тысяч! Сам Лейбович был на грани умопомешательства. Даже комиссар Третьей управы едва не рехнулся. Он уже свыкся с местными своими мазуриками, а тут что-то за границей попахивает!.. Лейбович носился с письмом в руке и кричал, что не так четыре дня срока, которые эти хамы дали ему, как многоточие... Точки эти сведут его в могилу. Комиссар тоже струхнул изрядно, но пыжился и велел Лейбовичу идти домой успокаивать жену. До конца недели еще далеко, и он надеется, что к субботе все мошенники, пся крев, будут висеть у него на одной веревке.

Тем временем Йосенька, сынок Лейбовича, сидел в доме Эстерки и играл с облезлой кошкой. Ицка Рыжий слонялся по Дровяному рынку, у больших часов на Рудницкой улице, забредал в бильярдную Штрала и всюду прислушивался, о чем люди толкуют. А Эстерка к тому же приказала ему купить для Йосеньки какао, потому как это барское дитя, небось иначе не привыкло. Ицка рвал и метал: не станет он класть живое надохлое; он еще гроша с этого гешефта не имел. Однако Эстерку не переспорить. Она твердо наказала, чтоб не возвращался домой без детской пижамки, а то дитя, не дай Бог, простудится...

Эстерка забросила все дела, не вышла из дому даже тогда, когда Ицка сообщил, что в лавке Бецалеля Носика еврейки давятся за дешевыми остатками. При такой распродаже она могла бы только за пазуху затолкать товару на полсотни, но продолжала весь день возиться у печи и готовить пшеничные оладушки, пышки и прочие лакомства для своего пленника. Эстерка смотрела на почти нетронутые угощения и сокрушалась: дитя не ест. Как она ни молила: «Йосенька, будь мне здоровеньким, съешь что-нибудь», — ничего не помогало. К ее большому удивлению, Йосенька сам вечером попросил еды, но только той, что «дядька» ест. А дядька Ицка сидел за столом и отрезал себе ломти большого квадратного гречишника.

— Ох уж эти мне богачи, — ворчала Эстерка, — гречишник им подавай!

Вот уже и пятница, а дело ни с места. Лейбович как опытный коммерсант пытался выгадать время и вместо того, чтобы появиться в два часа дня на углу Гетманской с вечерним «Курьером» в руке и дать им знать, что согласен принять условия, сидел у комиссара и глядел ему в рот. Комиссар артачился: не давать! Хамы после этого на голову сядут! Но иди объясни этому гою, что значит для еврея ребенок...

На Немецкой и Рудницкой по случаю наступления субботы уже закрылись все магазины, а Лейбович с комиссаром все сидели и ждали: вот-вот придет спасение, вот-вот сыщики нападут на след. Только зря они ждали. Вечером ввалился тайный агент Маевский и доложил, что ничего не обнаружил; ему нынешней ночью придется пропахать всю Новостройку, потому что только там краденое может как в воду кануть. Решили выждать последний день — до исхода субботы.

Эстерка осталась с заложником одна. Ицка отправился присмотреть за их заведением на углу Садовой. По пятницам к вечеру там всегда бывало полно. Помимо гостей с вокзала, которых принимали две девки, туда приходили и свои люди перекинуться в «девятый вал».

Йосенька забрался на клеенчатый диван, встал на колени и глядел в окно на белый свет. Домик стоял вдали от глаз порядочных людей, чуть ли не в чистом поле. Йосенька еще никогда не видел такого большого пространства, покрытого голубовато-сахарной белизной, которая искрится под круглой начищенной луной. Он подпер кулаками подбородок и залюбовался темно-гранатовым атласом, нависшим далеко-далеко, у самого края неба. Ему вспомнился мамин субботний наряд, но так как дома его учили, что неприлично плакать при посторонних, он застыл со сжатыми кулачками, словно сдерживая ими сердечко, чтоб не обнажить перед Эстеркой свое горе. Вдруг в оконном стекле на миг отразился свет. Йосенька оглянулся: это Эстерка зажгла две субботние свечи в высоких медных подсвечниках.

— Доброй субботы тебе, Йосенька!

Пленник сидит на диване, глядит на Эстерку, и две крупные слезы блестят, как бриллианты, в его глазах.

— Йосенька, ты плачешь? Скажи мне, дитя мое.

— Я не плачу. Я просто вспомнил маму. Она сейчас тоже, наверно, благословляет наступление субботы.

В темную душу Эстерки протиснулся теплый луч: вот

и она не хуже его мамы, она тоже зажигает субботние свечи. Она — как все, не какая-то там...

Эстерка глянула на подсвечники, на желтые огоньки, и они растопили так долго копившуюся ненависть к миру чистых, которые захлопнули перед нею свои двери. И Йосенька, выхваченный из этого мира, сидит перед ней на диване и не сводит с нее своих ясных доверчивых глаз. Давно уже никто не смотрел на нее так — не прищурив один глаз, без убудочного подмигиванья, не вскинув поворовски бровь. Этот взгляд напоминает тебе, что ты как-никак тоже человек.

Эстерка снимает очки, протирает запотевшие стекла, и с каждым движением носового платка ей становится все ясней и ясней, что она обязана совершить что-то такое, что было бы достойно взгляда Йосеньки. Вчера она подслушала, как компаньоны шептались о том, что надо сделать с заложником, если Лейбович, упаси Боже, не выложит деньги. Хона не остановится ни перед чем. Он кричит, что в Америке поступают так же. Что бы ни стала Вильна говорить после этого о своих блатных, она будет права.

...Но когда Эстерка надела очки, она вдруг увидела себя, сбитую с ног, с разбитыми очками, окровавленную и измазанную всей новоградской грязью. Она представила также следующий миг и буквально ощутила под левой лопаткой острый нож Хоны... Но видения рассеялись, едва она встретила взгляд Йосеньки. Его глаза, омытые слезой, светились доверием.

— Йосенька, дай я надену на тебя пальтишко.

— Зачем? В доме ведь тепло.

— Но мы не будем сидеть дома. Нам надо пройтись.

— Куда мы пойдём?

— Ты будешь хорошим мальчиком? Я завяжу тебе глазки шарфом, возьму на руки, и мы пойдём в город. Там я спущу тебя на землю, и кто бы ни шел мимо, ты должен сказать ему, кто ты, и он отведет тебя домой, к маме. Ладно? Но прошу тебя, будь послушным мальчиком, не бойся и по дороге не плачь, потому что, если будешь плакать, набегут люди и станут кричать на меня. Ты ведь не хочешь, чтоб на меня кричали, не так ли?

— Нет, не хочу. Вы хорошая, как моя тетя Рива.

Послушать только, какое дитя! «Как тетя Рива...» Эстерка подняла Йосеньку на руки, а он положил головку ей на плечо. От Новограда до самого Дровяного рынка она

все время ощущала его влажное дыхание на своей шее, и дорога ей не была тяжела.

На Новограде толковали, что Ицка Рыжий бил жену смертным боем за то, что она выперла из дела Зоську Головастика, девку, к которой Ицка питал некоторую слабость. Хона рвал и метал. Он кричал, что этого мало, что Эстерке надо выпустить потроха, и с концами. Такие деньги потерять! Папаша бы выложилась как миленький, так приходит эдакая лахудра и все губит. Случись такое в Америке, ну...

Зелик постановил — разойтись по своим углам, утереться, как будто ничего не случилось, и никто знать ничего не знает.

Вечером, перед тем как Хона должен был смыться из Вильны, поскольку Третья управа начала слишком интересоваться его персоной, они с Зеликом сидели за бутылкой водки и миской с колбасой, разбирая вполголоса случившееся. Хона доказывал, что дело было верное, как дважды два — четыре, и что ему не пришлось бы уезжать... Зелик сидел, замкнувшись в себе, покусывая ус и не прерывал своего приятеля. Но когда Хона договорился до того, что надо бы выдавить Эстерке ее подслеповатые зенки, Зелик остановил его и проворчал:

— Хона, знаешь, что я тебе скажу? Я таки рад, что этим кончилось. Правду сказать, так дело твое — одна тягомотина, не для Вильны это...

Хона ничего больше не сказал, допил водку и ушел, чтоб никогда не вернуться. Зелик некоторое время постоял у окна, глядя на улицу. Вильна спала на белой простыне из домотканого снежного полотна.

ЭЛИНЬКА ДЫЛДА

Это было, когда Хаим, сын Зелика, искал приличных дружков. Многие блатные в те поры заделались добропорядочными. Орка Сотник открыл скобяной склад. Даже Хайкл уступил двух своих девок Берте Глух и на отступные открыл пивнушку на заезжем дворе. Трудно сказать, отчего это происходило. Может, блатняки постарше хотели немного остепениться, войти в деловой мир, найти своим детям приличную пару. А может, и потому, что блатной промысел пошел прахом. Гои рвали профессию

из рук. Янка Босяк даже приноровился «щипать» деревенских на Дровяном рынке, а Дурной Турок обнаглел до того, что поджидал «клиентов» на Немецкой улице. Одно счастье, что старьевщики намекнули ему, подбив оба глаза, что Немецкая — не для гойских карманников. А то пришлось бы Гершке Полхалы с женой и детьми по миру идти. Тут вообще окрепло еврейское единство. Времена были тяжелые. Гои жали со всех сторон. Как-то случилось Тайбке, сестре Хаима, забрести со своим кавалером на Телятник, так они вернулись оттуда покалеченными. Хаим хотел поджечь Антоколь: ему донесли, что именно антокольские парни куражились над его сестрой и ее болваном. Юдл Сольц, староста мясницкой молельни, кричал:

— Хаимка, дитя мое! Упаси тебя Бог! Ведь накличешь беду на евреев. Лучше мы этих хамов, где сможем, поодиночке заарканим.

И Хаим послушался, хотя кровь в нем кипела: как-никак домашнее дите. Он затаился, а затем в одну из темных ночей подстерег двух парней у Антокольской больницы, вспорол им животы и поехал к себе домой. Пельта, младший сын извозчика Шимона, поджидал его с дрожками.

Только гоев это ничему не научило. Наоборот, они стали еще хуже. Дошло до того, что студенты, их краса и гордость, стали кидаться на евреев на улице и избивали еврейских ребят в университете. Доктор Выгодский, заступник виленских евреев, зашел как-то в мясную лавку Юдла и тяжело опустился на колоду: что делать? Как защитить еврейских ребят, чтоб они могли учиться? У Юдла прямо сердце сжалось. Он мог бы поклясться, что у доктора слезы текли из глаз. Какое там слезы — кровь текла. Так потом рассказывал Юдл. Ведь доктор Выгодский взвалил на себя заботу о всех виленских евреях — от торговков птицей, у которых полицейские вырывали кошелки, до студентов, которым не давали учиться. Юдл не садился из почтения и стоя утешал доктора:

— Дай Бог вам полного здоровья, доктор, не тужите. Им вывернут ноги и спички вставят, тогда они узнают, эти разбойники, как трогать наших студентов.

В мясницкой артели все бурлило. Юдл Сольц стучал по столу и кричал:

— Грубилны, говорите по одному!

Не сказать, что народу было много, но гомон стоял та-

кой, как при разборе мяса на бойне. Одна скамья прогибалась под Калманом, Хаимом, сыном Зелика, и Мейлехой Вапником. На противоположной солидно восседали Кушка и Додка Туз.

— Не могу же я, понимаете, сесть со студентами учиться в университете,— доказывал Юдл.— А кто в лавке будет? Шнипешкский раввин?.. Будь я там, на месте, сунулся бы кто столкнуть еврейское дитя со скамейки? Да я бы тут же пустил юшку первому попавшемуся гою и оставил от его туши кусок падали. Но когда я по рукам связан лавкой, так они там большие герои...

Долго искали способа добраться до гоев. Калманка кричал, что надо раздобыть обыкновенную бомбу, а он уж забросит ее куда следует. Хаим предложил пойти всем к университету и подкараулить всю компанию. Но Юдл ему тут же напомнил, что есть на свете Третья управа. Мейлехка Вапник все никак не мог взять в толк, почему нельзя зайти с топорами в Христианский союз студентов и сказать им пару слов. Юдл заорал на него: «Это нехорошо для евреев!» Только Кушка молчал.

Юдл Сольц почесывал себя у виска: подвести доктора Выгодского? Нет! Только не мы. Надо найти выход!..

И выход был найден. Его предложил Мотка Королек. Из кабака Ханы Бобкиного Ицки случайно вывалились раньше обычного Зямка Крылышко, Хаимка Заяц и Мотка Королек. Они увидели в артели свет и зашли: авось там сидит их дружок Элинька Дылда. Его они не застали, но сели послушать, о чем толк.

Юдл Сольц не слишком обрадовался их появлению. Во-первых, они были пришлые и с Элинькой снюхались не на деле, а на гулянке. Во-вторых, в последнее время пошли междоусобицы среди живодеров. Элинька Дылда был тоже живодером, но перестал выходить на работу. Тем не менее он требовал равную со всеми долю заработка, а не то — прольется кровь. Притом еще он взял манеру приводить с собой Мотку Королька или Зямку Крылышко, чтоб те с ножом в руке помогли ему в случае чего выполнить угрозу. Кушка и Додка Туз, втянутые своими девушками из Шнипешек в компанию косовороток, кричали на бойне, что Элинька должен руки прочь убрать от пролетариата. И сейчас, когда враги встретились под одной крышей, а Додка недобро зыркнул из-под козырька на Мотку, Юдлу стало не по себе. Он знал по опыту, что

вот-вот вспыхнет драка, буйная, отчаянная; но гости, слава Богу, уселись у двери, а Кушка и Додка ни словом не задели их.

Мотка Королек чувствовал себя виноватым перед доктором Выгодским. Отец Мотки в юности как-то стащил с доктора каракулевою папаху, когда тот ехал зимой в розвальнях к роженице на Новоград. Такого злодейства блатные долго не могли простить. Конечно же, назавтра Зелик Благодетель собственной персоной явился с папачкой к доктору, но досада на отца Мотки держалась, и тонны водки не могли смыть это пятно с семьи. Вот почему Мотка так заинтересовался предметом разговора, хотя в политику не лез. А к его словам относились уважительно, так как он, что ни говори, лучше всех в Вильне работал ножиком. Мотка никогда не пырял ножом просто так, а только по мерке. Глубину раны он намечал большим пальцем, прижатым к лезвию на нужном от кончика расстоянии. Ему довольно было лишь беглого взгляда, и он уже, точно опытный закройщик, знал, какая кому требуется мерка, чтоб припугнуть кого или прикончить.

Мотка велел Юдлу Сольцу смотаться на Немецкую улицу в скобяную лавку Гальперина и закупить для всей компании финские ножи. Пусть Гальперин вскроет новый ящик с финками, сунет его под прилавок и никому не продает. Юреков подкалывать по мерке: на два пальца от острия. Кто бы из них ни попался — пускать кровь и тут же давать тягу. Если наутро по дороге случится ищейка и найдет нож, все должны в один голос твердить, будто только что купили у Гальперина инструмент для работы. А Гальперин, когда его спросят, пусть всякий раз говорит «бом». Пусть клянется женой и показывает ящик. Само собой, доктор Выгодский должен поговорить с адвокатом Черниковым, чтоб тот в случае следствия знал, что к чему. Вот и все. Когда порежут немного этих хамов, в городе станет тихо и можно будет спокойно принять стопку водки.

И Кушка произнес тогда свою знаменитую речь, которая надолго запомнилась артельщикам. Вот что он сказал:

— В дни, когда интеллигенция оторвалась от народа и нам нет хода на танцы в реальном училище, в дни, когда реакция заарендовала рабочий класс и притесняет его со всех сторон, нас хотят кинуть на баррикады за чужое

черт-те что. Но ничего. Мы подчинимся дисциплине. Мы с Додкой не уклонимся от боя; но знайте, что день недалек. Ванька бьет по всем. Но еще воссияет солнце конституции, да так, что у реакции станет темно в глазах. И тогда для всех наступит «Тайбеле-вари-рыбу-мы-счастливы». Но прежде мы избавимся от внутренних врагов, изменников рабочего класса — кулаков: от Элиньки Дылды и его дружков, болячку им в пах! Настанет момент, и мы вгоним Элиньку в землю на полную его длину. Теперь вношу предложение отправиться к Ицке промочить глотку. Да здравствует революция!

Элинька Дылда поссорился с женой. С тех пор как он познакомился с курятницей Бункой, его жизнь сломалась. Эстерка, его жена, уже ничем не могла ему угодить. Что ни сделает — все не по нему. И можно было его понять. Куда там было Эстерке против Бунки — красивой, юной, со стройной шеей. Эстерка вообще не пара ему. Это Орка Сотник въелся: возьми, мол, Эстерку, и мы примем тебя в бражку; заработков будет в избытке... Бражка распалась, когда Зелика Благодетеля схватили с контрабандным табаком, и Элинька остался при своей крале. Он было пошел к Орке и пытался доказать, что если приданого вышло, как пудры из кирпича, то ни к чему и жена, эта неряха, сестра его. Но Орка популярно объяснил, что женитьба — это как пожизненная каторга без права на апелляцию, пусть спросит у адвоката Чернихова, — после чего наказал Элиньке не являться больше по этому делу, а то разговор может кончиться по-мокрому. И поскольку Орка — это фирма, где слово есть слово, Элиньке оставалось только заливать горе водкой и выедать печенку жене. Он донимал ее упреками, порой и ножиком... Когда она прибежала к брату с криком «разбойник хочет убить меня», Элинька оправдывался, что то была шутка, просто баловались...

Элинька тосковал. В бражке всегда было веселье. Каждую ночь пили у кого-нибудь, и для него все двери были открыты. Шагали по Мясницкой улице во всю ее ширину. Полицмейстер Янкель привозил девок из самих Поспешек. У Шлоймки, сына Пейски, столы ломились от яств. А теперь все исчезло как дым... Зелик заправляет делами синагоги в Лукишкской тюрьме, а Орка из всех сил рвется стать почтенным лавочником.

Элинька тосковал по тем немногим годам, когда он в

будни ходил расфуфыренный, как граф. Его шевровые сапоги и велюровая куртка были ослепительны, а когда он еще и клетчатую кепку надевал, то не было ему равных от Рогатки до Новограда.

Он перестал ходить на дело. Приятели устроили его на бойню, но и там он себе места не находил. И не диво. Тут тебе сияет солнце, берега Вилии утопают в зелени. В Волокумпии можно взять плоскодонку у лодочника Владислава и доплыть с Бункой до Верок, а на бойне Кушка толкает костистые речи с аптекарскими словечками — слушать тошно. Все, о чем он говорит, не стоит даже минуты вот такого лежания на боку под голубым небом, когда чуть прищуриться — и мир становится многоцветным, как ленты на Бунке. Будь Кушка свойским парнем, Элинька взял бы его на Вилию, пусть хоть разок отведаст настоящей свободы. Но Кушка — бешеный кабан, которому девушки из Шнипишек голову заморочили, и еще он потянул за собой Додку Туза, прежде довольно славного малого.

Бойня бурлила. Все уже были по горло сыты проделками Элиньки. Даже живодеры постарше стали кулаком грозить. Что уж тут говорить о Кушке и Додке, которые готовы были мир перевернуть ради уничтожения врагов рабочего класса. Заводила был Кушка, который последнее время заделался таким оратором, что лучше не попадайся ему под руку. Додка Туз только подпевал, чтоб не отстать от движения.

Элинька, желая доказать, что не зря хлеб ест, никого не спросясь взял на себя взимание долга с лавочников. Все бы хорошо, но он забывал вносить эти деньги в кассу артели. Живодеры твердо предупредили мясников, чтоб Элиньке не давали ни гроша. Но тот приводил с собой Зямку Крылышко и Мотку Королька как доказательство, что все в лучшем порядке. А поскольку Мотка при взыскании долга поигрывал ножом, это убеждало, что надо платить и не задавать вопросов. Хаимка Заяц даже записывал, сколько получено, поскольку деньги счет любят. Разделив добычу, «сборщики» разъезжались: Хаимка — в бильярдную Штрала, Мотка и Зямка — к Ицику за водкой, а Элинька Дылда — в лавку к Бунке.

Бунка влюбилась в Элиньку с первого взгляда. Познакомились они на свадьбе одной из дочерей Карова. Пьянствовали до рассвета. Все валялись под столами. Один

только Элинька держался на ногах, танцевал с Бункой и нашептывал ей в пылающее ушко:

— Не видать мне воли, Бункеле, если я видел когда такую женщину, как ты...

Бунка притворно возражала: «Пойди скажи это полицейскому с длинной бородой»,— но где-то глубоко под высокой грудью сердце ее трепыхалось, как курица под ножом.

Они стали гулять вдвоем. В сумерки Элинька приходил помочь расставить клетки с курами, Бунка мыла стол, собирала потроха, потом запирали лавку, и они — вольные казаки, весь мир — их, ни на волосок еще чей-нибудь! Куда же пойти? В Еврейский театр на Новогороде или вовсе на Телятник, посидеть немного под Замковой горой? Бунка говорит, что, куда бы ни идти, надо выглядеть прилично. Пусть Элинька ждет ее у Зелика, перехватит там кусок колбасы или порцию вымени, а она сходит домой переодеться. Она не пойдет на люди в халате.

Летом луна не заглядывает в Телятник из-за каштанов. Их ветви свисают на лоб и на затылок, и у старых деревьев нет сил подтянуть свои кроны. Луна из любопытства ищет хоть щелочку меж ветвей и не находит. Так и не надо! И она плывет себе дальше, мимо Вилейки к Меловым горам, и оставляет сад в темноте.

Элинька с Бункой сидят на скамейке у овечьего загона, держатся за руки и беседуют. Их грешная любовь, темные доходы Элиньки, доля Бунки — все это вплетается в пожатия их пальцев и стучит в сердце вместе со вздохами и поцелуями.

— Будь ты моей, Бункеле, я мог бы так просидеть с тобой две ночи подряд без единой стопки водки...

С тех пор как Бунка влюбилась, она узнала, что сердце может болеть, как зуб, а то и хуже. Она вздыхает:

— Ох, Элинька, не говори, а то грохнусь... Как я могу быть твоей, когда между нами Эстерка?

— И то правда...— замолкает Элинька, и на несколько мгновений оба грустнеют...

— Ладно, Элинька, не тужи. Может, Бог даст, ей надоест, и она возьмет развод. Вся Мясницкая улица знает, что это чистое притворство. Берка Пузан с ней путается. Он приносит к Орке пачками медные ручки. Говорят, на Большой Погулянке все парадные без дверных ручек стоят. Теперь он взялся за Троцкую

улицу. Но мне не жалко, у каждого свой промысел. Хуже то, что живодееры грозятся призвать тебя к суду Торы. И ты знаешь, что на этом суде они загонят тебя в гроб. Элинька, пожалей меня, не иди больше на открытый риск. Грубияны не смолчат. Тебе нужны деньги — давай стой со мной в лавке, и я буду отдавать тебе всю выручку.

Элинька срывается со скамьи, и Бунке еле-еле удается его придержать.

— Я возьму деньги у женщины? Что я, какой-нибудь Мишка Красавчик или Ицка Рыжий?— Элинька отталкивает ее руку, и Бунка мрачнеет. У нее вырывается:

— Вот она, плата за верность! Как в Еврейском театре... Задела его честь! А то, что я ночи напролет не сплю, это не в счет?..

Элинька слышит, как Бунка шмыгает носом, и у него начинается щемить под ложечкой, словно ему хомут надели. Он снова садится на скамейку, ищет в темноте руку Бунки.

— Ну же, перестань плакать. Не реви, говорю тебе! Не делай мне дыру в сердце. Думаешь, мне хорошо? Как выбраться из этой игры? Не умею я на других работать. Меня тянет черт знает куда. Если б я мог тебе точно все это растолковать... Такое иногда в кино показывают. Люди на конях скачут, размахивают шпаерами, захватывают землю. Нам с тобой надо бы там быть. Воля кругом, только поле да лес, небо и вода... А ты говоришь — иди в лавку дам обслуживать...

Бунка старательно вытирает глаза и прижимается к возлюбленному:

— На край света бы с тобой пошла, мой красавец, удача моя...

Элинька обнимает ее одной рукой, а другой рисует в темноте свои планы:

— Сделаем немного денег и уедем отсюда. Купим землю, у нас будут свои лошади, поля. Увидишь, Бункеле, нам будет так хорошо, как мир хорош...

— Я знаю, Элинька, я знаю...

На Телятнике тихо. Несколько невезучих девиц походили по аллее и ушли домой не солоно хлебавши. На Кафедральной площади погасли фонари. Бунка вспоминает, что на рассвете ей бежать к резникам за товаром. С тяжелой головой, как после доброй чарки, она с трудом отрывается от Элиньки и встает со скамьи. Элинька за ней. Он отряхивает рукавом брюки и голенища сапог, словно мешок муки принес. Затем они возвращаются из приволь-

ных своих полей на горбатую и узкую Стекольниковую улицу, где Бунка снимает комнату у керосинщика Шмуэля Залмана.

Дружки Элиньки были на него в обиде. Последнее время он перестал водить с ними компанию. Берут деньги у мясников, делят на ходу — и все. Ни тебе вместе рюмку водки пропустить, ни так тряхнуть в дверь Ицки, чтоб у всех, кто там есть, животы подвело. Превратили все в сухой гешефт, когда главное — дать знать, кто в городе сила. Вот уже и случилось, что как-то Мотка Королек и Зямка Крылышко зашли к Хайклу требовать денег, а им навстречу поднялись несколько живодеров. Элиньки в тот раз не было, вот и расхрабрились.

Хаимка Заяц ломал голову над вопросом: куда Элинька деваает деньги? Не пьет, не играет. Бунка, как прежде, стоит в лавке, и он ей котикового манто у Шайки Аса не покупает. Что все это значит? Странные вещи рассказывают об Элиньке. Все лето он околачивался на Роне-поле у теплиц агронома, сына доктора Шабада, и был какой-то пришибленный. Мотка напомнил ему, что надо бы зайти туда-сюда взыскать маленько долгов, так он отвертелся, сказал, что еще не время. А так как Мотка все чаще стал мазать в бильярдной Штрала и остался без копейки, ответ Элиньки был ему не в дугу совсем. Хаимка Заяц продулся в пух и прах еще раньше. Оставалось одно: попытаться брать деньги без Элиньки, силой. Зямка было помялся: без Элиньки визит — не визит. Тот заходит в мясную лавку, так есть кому сказать «доброе утро!». Но Мотка уперся: «Нож скажет...»

Когда Юдл Сольц увидел, что в делегации нет Элиньки, он начал торговаться, пытался оттянуть платеж. Слово за слово, и Мотка сунул руку в ящик с выручкой. Это вывело Юдла из себя: при Элиньке такое даже вообразить себе нельзя было. Правда, он тоже брал, но фасон был совсем другой... Юдл начал брыкаться и схлопотал от Мотки по руке ножом, самым кончиком, чтоб только попугать. Юдл схватился за топор. Зямка, видя, что дело худо, рванул Мотку, и они дали деру. Всю дорогу Зямка твердил, что был прав: без Элиньки весь гешефт насмарку. Тому стоило только козырек на глаза надвинуть — и вот уже деньги тут. А сейчас и нож не помог, потому что мясники не признают Мотку. Для них это не фирма, если в дело нож пускают.

В артели опять все бурлило. Юдл Сольц не мог стучать по столу из-за Моткиной выходки, и он криком кричал. Его слышно было даже на Конницкой улице:

— Мы им не спустим! Пусть урки знают, что еще есть порядок на этом свете!..

У стен сидели новые жертвы, такие, как курятник Лейба, пострадавший ни за что, поскольку никакого отношения к бойне не имел, или такие, как Абраша Пустолоб и его брат Эля Глухарь.

— На Юдла Сольца напали!— кричал Юдл, колотя себя в грудь здоровой рукой.— И кто? Мотка Королек, который в добрые времена как пузырь лопнул бы у меня, только дунь. Кабы не Элинька, этот огрызок чистил бы за гроши куриные пупки. Мы этого не спустим. Это позор для всех нас. Первым делом объявляю Мотке, чтоб ноги его больше не было в мясницкой молельне, даже в Судный день. Как увижу его там, пусть хоть Тору читают в это время, так и раскрою черепок ему. Во-вторых, требую призвать Элиньку к суду Торы, как об этом уже говорилось. Поелушались бы меня сразу и усадили его за стол, давно б уже тихо было.

Абраша Пустолоб съехидничал:

— Элинька только и ждет, чтоб его позвали. Чихать хотел он на ваши ермолки. Не диво, что такой охламон заявит, что он сам судья. Вы с кем играете? Кого он боится? Разве что Эстерки? Так тоже нет. Если раньше он тискал Бунку под стенами где-нибудь на Новостройке, то теперь они ходят под ручку прямо по Немецкой улице.

Юдл все же настоял на привлечении Элиньки к суду. Судить будет Зелик Благодетель. Где найдешь знатнее его? Но Абраша не унимался:

— А если он не примет решение суда?

Юдл раскричался:

— Пустолоб! Упрямец! Если слово Зелика Благодетеля для блатных уже не слово — значит, нет суда и нет судьи. Возможно ли такое в Вильне?..

Тут взял слово Кушка. И начал с обличения отсталости и темноты в лице Юдла Сольца, который хочет судом Торы крепить фронт трудящихся. Против Элиньки надо принять революционные меры, как написано в брошюре, которую в последнюю пятницу вечером зачитала товарищ Гитл в Шнипешках. Тем, что Элинька изменил рядам, он сам себя осудил на ликвидацию. Поэтому суд Торы тыщу девятнадцать раз на фиг не нужен, а лучше рассудить, как сделать его холодным — и прочь с базара! Но

этот вопрос мы рассмотрим на более узком платформе, без мелкой буржуазии и приспешников капитализма.

Спустя несколько дней в пивнушке Хайкла собрались «на более узком платформе» Кушка, Додка Туз, Мейлехка Вапник и Абраша Пустолоб. Брата своего, Элю Глухара, Абраша не привел, так как Кушка сказал, что конспирация любит тихий разговор, а из-за Эли надо так кричать, что сбежится весь город. Заседание вел Кушка. Он стучал кулаком по колену и по новой осуждал контрреволюционную сущность Элиньки. Он уже и на дело не ходит. Окружил себя несознательными элементами — Моткой Корольком, Хаимкой Зайцем, Зямкой Крылышком,— чтоб служили ему. Это хуже, чем отступничество,— эксплуатировать своих же корешей. С того момента, как он окопался дома и ждет готовенькое, он уже не только урка, но и буржуй недорезанный, которого надо ликвидировать как класс.

Абраша плевать хотел на идейные соображения. Его прижгло совсем другое. Мотка Королек уже не ходит по мясным лавкам. Он среди бела дня останавливает на улице телегу с мясом, велит свалить ему целую тушу и загоняет ее мясникам-гоям.

На днях Хаим Хона вез мясо. Подскочил Мотка со своей бандой и приказал переложить коровий бок на их тачку. Хаим Хона возразил, что это товар Абраши, и тут же схлопотал по кумполу. Вряд ли Мотка настолько уверен в себе, чтобы не заручиться указанием Элиньки,— мол, иди, я за тебя постою. Значит, это придумал Элинька, и его надо прикончить. Пусть не воображает, что он будет хозяин города.

Все то время, что Кушка ораторствовал, Додка глядел ему в рот. Он услышал много новых слов, таких весомых и завораживающих, как иностранная валюта. Теперь он понял, почему Лейка Сапир из шляпной мастерской Касара на сходках старается сесть поближе к Кушке. Она как-то даже призналась Додке, что ее тянет к интеллигентным ребятам. Додку охватила бешеная ревность. Ведь Лейка была его девушкой, и все ребята знали это. Но Кушка день ото дня становится все грамотней, а он, Додка, плетется за ним, как теленок за коровой, и только мычит ему в лад. Уже и так Лейка может при всех повернуться спиной к Додке и игриво предложить Кушке:

— Великий устроитель, а не сходить ли вечерком в танцкласс к Фросту?

И ему, Додке, придется стоять у стены и стеречь пальто. А чем он уступает Кушке? Тем, что тот говорит как по писаному?

...И вот «на узком платформе» у Додки впервые вырвалась пара собственных слов:

— Чего там говорить! Я его шлепну, и пусть жалуется маме...

Кушка даже лишился дара слова. Такого революционного шага он от Додки не ожидал. Он хотел предупредить товарища, что к такому делу надо иметь призвание и быть более подкованным идеологически. Но Абраша Пустолоб хлопнул Додку по плечу и гаркнул, забыв конспирацию:

— Такие речи я понимаю!..

Мейлехка Вапник тоже очнулся от усыпляюще возвышенных речей Кушки и предложил принять по капельке. Потом все сидели со взмокшими чубами и планировали самый верный Элинькин конец. После второго литра все было подробно обговорено. Мейлехка достанет у Бронзовика в переулке Гитки Тойбы шпаер, который спрятан у него в малине еще со времен бражки. Додка подкараулит Элиньку, а Кушка с Абрашей будут следовать за Додкой на дрожках и подхватят его, когда все будет кончено.

На том и распрощались. Кушка провожал Додку на Новоград и все толковал ему о важности этого мероприятия. В конце концов, колеблющиеся слои трудящихся увидят, кто в силах освободить их от эксплуататоров. Глаза всех участников движения устремлены сейчас на него, на Додку. А Додка вовсе и не думал о глазах всех единомышленников, а только об одной паре черных как уголь глаз, подернутых мечтательной дымкой, как Вилия ночью. Лейка давно мечтает о стране, где избавились от дамочек и где такие красивые песни. После этого мероприятия ему ведь придется бежать через границу. И Лейка не отстанет, он уверен. Там их ожидает светлый мир. Он подучится там говорить, как Кушка. Лейка тоже будет учиться, а потом они вернутся и освободят всю Вильну.

А вот как убили Элиньку Дылду.

Все лето он валялся на песке в Волокумпье или вертелся возле агронома Шабата на Роне-поле. Агроном никогда не объяснял, почему Элинька так привязался к нему, что оставил и дружков, и дела. На бойне же поговаривали, что Элинька взял с агронома слово молчать. И это была правда. Он опасался, что братва заклюет его: мол, захотел

помещиком заделаться. Урки при каждой стопке водки острили, что у него уже все есть для имения, кроме усов.

Лето прошло, а Элинька по-прежнему ходил как в воду опущенный. Ребята приглашали его на свадьбу, на субботний чолнт, просто раздавить литровку, но он все отнекивался. Ночи напролет стояли они с Бункой у ее ворот и без конца говорили. О чем шел разговор — точно не знают, но Зелда, жена керосинщика Шмуэля Залмана, слышала, как Бунка кричала во сне: «Элинька, держи лошадей! Элинька...»

Зимой под вечер Элинька шел по Немецкой к Бунке. Она просила немного помочь ей в лавке, чтоб можно было пораньше выйти. В Еврейском театре ставили «Тоскующее сердце», и ей очень хотелось поплакать немного над своей долей. Но как раз сегодня ей незачем было плакать. Элинька нес ей радостную весть. Эстерка заявила ему утром, что он хоть сегодня может катиться от нее с ногой под мышкой, а вторую пусть тащит Бунка. Она не желает больше быть посмешищем для шнипешкских замарашек. Пусть дает развод, и кончено. Берка Пузан будет ее на руках носить...

Сумерки собрались ночевать в большой красной бутылке, что на витрине аптеки Фрамкина. Газовые рожки жгли пятки сумеркам, и они кидали зловещую тень на заснеженную улицу. В тени стоял Додка Туз и поджидал Элиньку. Лед у входа в аптеку не был обколот, и Элинька чуть там не растянулся. Пока он пытался найти равновесие, Додка подскочил и стал стрелять через карман кобура. После четвертого выстрела Элинька все еще стоял, схватившись за прогон ставен, и без единого стога глядел, не узнавая, вниз, на Додку, словно пули не задели его. Додка на миг сдрейфил, но тут же снова нажал курок. Элинька схватился за бок, нога его подломилась в колене, и он лоб в лоб столкнулся с Додкой, протянул к нему руку и взревел:

— Додка, за что?!

Тот ничего не ответил, бросил шпаер в снег и ходу.

При первом же выстреле все барахольщики забились по своим лавкам, и даже когда все стихло, никто не осмеливался высунуть нос наружу. Элинька шарил по стенам, как слепой, и искал любой выступ, который помог бы ему удержаться на ногах и добрести до Бунки. А она уже узнала новость от торговки мочеными яблоками, которая прибежала с Немецкой. Растрепанная, с заломленными

руками, помчалась Бунка навстречу Элинке. Опираясь на нее, он ввалился в лавку, а Бунка тут же заперла дверь и ставни. Элинька лежал под прилавком, куда она затолкала его, боясь новых выстрелов. Глаза его были закрыты. Лишь теперь Элинька понял, что кончается, так как ему хотелось простой воды, а не водки. Бунка сидела на полу и поддерживала его голову. Слезы капали на лицо. В его затуманенном мозгу роилось видение летнего ливня на берегу реки. Он спрятал ее руку в своей, и она еще сильнее разрыдалась:

— Что они имели к тебе? Ведь последнее время все было хорошо, ты же все бросил...

Элинька отозвался словно сквозь сон:

— Ничего они не поняли...

Бунка молила:

— Элинька, сжался надо мной, открой свои красивые глаза. Тогда я смогу оставить тебя на минутку и сбежать за доктором Зарциным.

Элинька из последних сил чуть приподнял веки и попытался улыбнуться:

— Не надо, Бункеле, Зарцин уже не поможет. Я умираю, Бункеле. Додка меня хорошо пришил.

Бункин плач всполошил курей в клетках. Они часто мигали, как бы недоумевая, и беспокойно менялись местами на поперечинах.

— Не плачь, Бункеле, не плачь, говорю тебе. Возьми все деньги и уезжай отсюда с хорошим парнем, собственным... Поезжай далеко, в поля... в леса... далеко...

— Элинька, человек мой, сокровище мое, кто может заменить тебя? Кто может возвысить, как ты? Элинька, мой герой, я тебя так люблю... Элинька...

— Я тебя тоже, Бункеле, я тоже, чтоб мне воли не видеть...

Много лет потом киоскеры Хона Башка и Зевка Зеркало продавали песню про Элиньку Дылду. Нездешний поэт сложил ее. Может, кто-то помнит мелодию?..

Сидиша. Перевел Иосиф ГЛОЗМАН

Наум Кислик

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Это слово
про личное дело,
с которым
в некий год я ходил
по различным конторам.
И о том,
как глаза на меня подымали,
будто срочное фото
для «Дела» снимали,
будто срочно снимали
и сразу вручали,
точно что-то порочное
разоблачали...

Так,
без всякой вины,
в результате хождения
стали сниться мне сны,
будто я окруженец.
Продираюсь сквозь чащи,
сквозь беды-напасти,
и незнамо-неведомо,
где наши части.
Я водой запиваю
сухарик последний,
про себя запеваю:
«...это есть наш последний...»

Это ты, мой последний,
остатний, останний

свет в окошке подслепом,
млечный,
стылый,
астральный.

Это я,
безголос,
будто парализован,
меж газетных полос,
травлей пышущих псовой.

Столько лет пролетело,
а слышу все то же...
Это личное дело,—
я век с этим прожил.
Средь больших катастроф,
средь ничтожных крушеньиц
не избавлюсь от снов,
будто я окруженец.

Видно,
не оклемаюсь,
пока не отмаюсь...

Все к своим пробиваюсь,
к своим
пробиваюсь...

1989

Эли Люксембург

ИТРО — ВОЛЧОНОК СИДКИ

Рассказ

1

С некоторых пор имя Итро стало кличкой моей, или прозвищем,— так зовут меня наши ребята в ешиботе «Диаспора», обратившиеся недавно к вере, к Торе, одним словом,— раскаявшиеся.

А между прочим, ребяташечки наши — один к одному: бывшие наркоманы, бывшие гиганты панка и хиппи, проколотые в ушах и ноздрях, с изумительными татуировками, бывшие приверженцы индийских гуру, тибетских далай-лам, леваки-коммунисты, давшие деру из Аргентины, из Уругвая, недавние обитатели израильских тюрем — блатари, насильники, медвежатники...

Есть, как вы понимаете, косячок и наших, бывших советских: непромокаемый алкаш Семка — вечерами выходит со шляпой на площадь Субботы и собирает милостыню на коньячок, два художника, три инженера и я — Феликс Болотный, или, иначе, Итро. Отрастили бороды, пейсы, пустились в плавание по необъятному морю Торы, молимся, соблюдаем субботу. Короче, меняемся, братцы, меняемся...

Спускаясь вниз из Бухарского квартала или просто гуляя по кварталу пророка Самуила, загляните к нам на часочек, не бойтесь, все эти *бывшие* как ручные котята нынче, только рады вам будем, авось и вы к нам примкнете?! Сижу я обычно возле окна, что выходит на футбольное поле местного Дома культуры. Здесь вы меня и найдете.

Обложен я книгами, учу Писание, учу и качаюсь, пощипывая бородавку. С утра до вечера.

В зале нашем стоит густой гул, все ребятишечки вразной качаются — в черных, широкополых шляпах. А те, кто из Штатов,— в извозчичьих, галутных картузах.

Вы спросите, почему у нас воздух такой спертый, почему не откроем окон и не проветрим? Да пробовали уже много раз, не помогает, ибо вонь у нас застарелая, неистребимая! Вонь наших прошлых грехов сочится из наших тел, душ... Ничего не поделаешь, братцы,— воняем, воняем!

Упорство и силу дает нам фраза, отлично вам всем известная. «Там, где стоит раскаявшийся, даже праведник не может стоять!» — предполагается, что наше внезапное прозрение настолько приблизило нас к Богу, что никакому праведнику этого не достичь. А вы, конечно, немедленно мне возразите: не обольщайся, Итро, потому здесь праведник не может стоять, что слишком уж вы воняете! Ну что же, воля ваша, думайте как угодно.

В зале, где мы занимаемся,— неоновый свет, тысячи книг, фолиантов: Талмуд, Мишна, Заор, Тания... Еврейская мудрость от дней сотворения мира! А возле восточной стены, за бархатной, расшитой золотом занавесью стоит *арон кодеш* — шкафчик со свитками Торы.

Вы спросите, могу ли я по свиткам этим читать, могу ли вести службу во время молитвы? Да, могу, научился...

Вообще-то у меня есть конек — египетское рабство, тут я подкован серьезно и основательно. Точнее, два конька — рабство и Храм, камни Первого Храма. В этих вопросах я дока, авторитет, ко мне обращаются за советом, за консультацией: Итро любой вам вопрос разрешит, мнение Итро — окончательное, непререкаемое.

— И что же ты знаешь о рабстве египетском?— спросите вы.— Что ты знаешь такого, чего бы не знали мы?

О, уйму пикантных вещей! Знаю сплетню библейскую, о которой вы и не слышали: знаменитый в древнем мире Валаам спал со своей ослицей, был попросту скотоложец! И могу легко доказать, если есть у вас пара минут свободных...

Могу, например, рассказать, с чего и как началось наше рабство, каким вдруг образом фараон умудрился закабалить наших предков — гордых и независимых. Хотите послушать?

Однажды вышел сам фараон на работу, что была объявлена по всей стране как государственная, общественная,

и весь народ, естественно, вместе с ним. Вышли раз, и два, а в третий фараон почему-то не появился. А народ, и евреев, конечно, выгонять продолжали; и раз от разу все тягостней, все настырней, с плетками, с принуждениями. Так наше рабство и началось, как у Ленина с его коммунистическими субботниками. А посоветовали так поступить фараону его три советника: Валаам, Итро и Иов — три мудреца, три волхва — специалисты по еврейским делам... И каждому из троих Господь Бог воздал впоследствии по мере их дел в отношении избранного народа.

Итро, правда, быстро раскаялся. Оставил язычество, дочь его вышла замуж за Моисея, да и сам он поверил в Единого Бога... Похоронен в окрестностях Тивериадского озера в трехэтажном дворце-усыпальнице, среди скал, и издревле почитаем друзьями, как Моисей евреями.

Валаам же был убит в войне с Моавом за то, что посоветовал фараону бросать в Нил еврейских младенцев, за то, что нанялся проклясть колена Израилевы и придумал также совращать воинов наших базарными шлюхами. Это вы знаете, как я полагаю, это известно каждому, а вот Иов — про Иова даже Илья Эренбург не знал!

Помню, читал я однажды Илью Эренбурга, и он возмутился: «Что это за Бог такой да разэдакий? Пospорил с Сатаной, а жертвой несчастной человек у них вышел?»

Но если бы еврей Эренбург (земля ему пухом) не поленился бы, зашел к нам в ешиву и сел со мной рядышком, я бы про Иова такие вещи ему сообщил, такие сплетни,— вмиг бы отказался от своего подзащитного! Ибо все воздается у Бога по вере, по мере: был он ни нашим, ни вашим, когда состоял в комитете еврейском при фараоне, вот и гнил заживо, лишившись всего, что нажил,— семьи, богатства, почестей. Сам Сатана с ним дело имел, обратившись то бурей, то хищным зверем, то кочевниками воинственными.

— А что у тебя за второй конек?

Это про Храм-то? О, из-за Храма я и попал в ешиву, поэтому и позвал вас сюда — все рассказать! Только давайте условимся,— все по порядку: сначала о Храме, а после уж о себе, договорились?

...Решил Соломон приступить к строительству Храма и попросил фараона прислать мастеров и зодчих для этого дела, ибо приходился ему фараон родственником, тестем. Призвал фараон магов, кудесников и астрологов: «Укажите мне строителей мастеров, которым судьбой

предопределено умереть в этом году,— их и пошлем Соломону!»

Явились они к Соломону, а он — мудрейший из мудрых — быстренько все раскусил, дал каждому из них по савану и отправил обратно с письмом: дескать, милый папочка, если нет у тебя саванов для погребения, то вот — получай своих будущих мертвецов вместе со штукой материи, очень хорошего качества, между прочим!

Храм, как известно, строился сорок лет. Никто на его работах не умер, не заболел. Не сломались за сорок лет ни заступ, ни топор, ни лопата. Зато возмущались на небе: почему Соломон породнился с извечным врагом Израиля, почему попросил содействия? Слетел к морю Гавриил-архангел, опустил в море тростинку и вытащил сушу,— на месте этом впоследствии был основан Рим...

— Проклятый Рим,— скажете вы,— проклятая империя! Рассеяли нас по миру, разрушили государство, по сей день не можем оправиться!

Я с вами отчасти соглашусь печально: все это так, все это верно! Но мы-то живы, а их давно и в помине нет! Сколько империй, сколько великих народов исчезли с лица земли, а мы с вами, свежие, бодрые, готовы начать все сначала, будто и не было ничего. А все потому, что Израиль небесный был и будет и мы с ним связаны нерасторжимо.

Корни всего земного, говорит Кабала,— на небе: если что-нибудь исчезает здесь, то исчезает и там,— народы, языки, государства. Израиль же небесный никогда не был разрушен, и где бы на земле мы ни жили, ни умерли — наши души все равно возвращаются на родину, в Израиль небесный, как вы понимаете. И каждый еврей, за эти две тысячи лет рожденный, чувствовал себя так, будто только что потерял родину. Это и есть секрет нашей живучести, силы и оптимизма.

Вот и подошло время рассказать о себе. Я это понял по вашим глазам: как я проник до глубин таких, дошел до жизни такой? Мастер спорта по боксу, бывший чемпион Средней Азии, выпускник физкультурного института, и вдруг — ешиботник Итро с бородой и с пейсами?

Больше всех возмущается Жанка, жена моя:

— Выходила замуж за одного человека, а живу вдруг с другим! Сей пункт под названием ешива «Диаспора» я в нашем брачном контракте что-то никак не припомню, Феля!

Еще ни один еврей не приехал в Израиль, чтобы подчинить его себе, как приезжают, скажем, чтобы завоевать Париж или покорить Америку... Ошалелость и удивление — вот, пожалуй, первые впечатления от страны на долгие годы! Так и я, — до гробовой доски буду помнить, как я Израиль увидел и что творилось у меня в душе...

Голубой, нежный рассвет, первая, ранняя птица поет на пальме свою одинокую песню. Все семейство мое расположилось на траве: Сонечка, Жанка и я, с сумками, чемоданами; рядом, в двух шагах — Средиземное море... Как постичь это чудо? Вчера еще были в Москве, закованной в лед, прятались от пурги! Неужели вырвались из когтей Сатаны? Неужели лик его не заглядывает больше в глаза, не цепенит душу?

Смотрю на пальто, сваленные под пальмой, на шапки, шарфы, припоминаю слова царя Давида и поражаюсь их истине: «И будете, когда вернетесь, — как зачарованные, как во сне».

...Самолет доставил нас нынешней ночью в Израиль, а такси — из аэропорта в Ашкелон, в наш *мерказ клита*¹ «Нофеш хаялим» — солдатский дом отдыха, только-только здесь сгрузились!

Там, наверху, шумел город, а вокруг раскинулись виноградники, банановые и апельсиновые рощи, и пахло морем и водорослями. Помню высокий маяк над обрывом, переделанный англичанами под смотровую башню. Так велось в Палестине лет тридцать назад, объяснили нам, чтоб не пускать евреев...

Впервые в жизни я никуда не спешил, не рвался. Великий покой смирял мятежную душу, я находился единственно там, где дано мне расположиться просторно и навсегда.

Подумать только, кому я всю жизнь завидовал, — русскому пьянице, последнему забулдыге?!

...Читал я однажды, как шли в Петербурге еврейский богач Высоцкий с жандармом и видят — в канаве спит пьяница. «Какой позор, господин пристав, какое безобразие! — возмутился еврей Высоцкий. — Уберите немедленно!» А жандарм ухмыльнулся и отвечает с ехидцей: «Никак нельзя, досточтимый Калонимус-Вольф, русский че-

¹ *Мерказ клита (исрмит)* — центр абсорбции, временные квартиры для новых репатриантов.

ловек отдыхает в своей канаве, никто не смеет его потревожить!»

Вот и я точно так же — наконец ощущал себя в собственной, родной канаве и никому на свете не был ничем обязан! Не был обязан быть умным, образованным, интеллигентным, мужественным, слабым, остроумным, уступчивым, бедным или богатым. Отныне я мог лежать, где мне угодно, и ходить, куда я хочу, и думать и говорить все, что мне хочется. Словом, быть именно тем, кем создал меня Господь Бог! И что важнее всего — каждая капля пота, что упадет с моего лица, упадет в мою землю и принесет ей пользу, как труп мой, когда меня в этой земле похоронят, — я становился в своей канаве гражданином первого сорта! И это еще предстояло понять, осмыслить, по-настоящему в это поверить.

По утрам, облачившись в спортивный костюм и кеды, я убегал в парк или на пляж. Задолго до завтрака, до начала занятий в *ульпане*¹, — для поддержания формы.

В парке, именуемом Национальным, стояли ряды гигантских колонн с гранитными капителями, валялись в траве обломки статуй, был замшелый, старинный колодец с ветхими колесами-черпаками.

По соседству с Газой, здесь, на земле древних филистимлян, эти колонны вполне могли оказаться руинами капища, которое разрушил мой предок Самсон, а эти обломки статуй — идолом Дагоном, божеством филистимлян, мерзостью и чудищем...

Я остановился между колонн — жалкий пигмей, — пытаюсь представить себе Самсона: какой это был циклоп, если эти колонны сумел развалить! И тоже вскрикивал: «Погибни душа моя вместе с филистимлянами!» А как спортсмен и боец пытался представить, что за силой он обладал, — унесший ворота Газы, так себе, ради шутки, воевавший ослиной челюстью с целой вражеской армией и положивший ее...

Далеко на рейде стояли танкеры, рыбацьи сейнеры тянули ночные сети, шныряли на горизонте сторожевые катерки, оснащенные пушками и ракетами. И все это было мое! Имело самое непосредственное ко мне отношение. С этой мыслью я постепенно сживался, распираемый чувством ответственности... И выбегал на пляж, бесконечный пустынный пляж, где ночевали влюбленные, и повторял на бегу вчерашний урок: «Ахат, штаим, шалош,

¹Ульпан (*иврит*) — здесь: курсы иврита.

арба, хамеш, шеш...» — ивритские числительные, сбиваясь и путаясь.

Однажды мне удивительно повезло: наткнулся на парня, бежавшего, как и я, по пляжу и тоже делавшего бой с тенью — боксерскую безделушку.

Я объяснил ему, как умел, что живу на горочке, рядом, что тоже боксер и хотел бы повозиться с ним малость в перчатках. Это был парнишка-араб из Газы, учился боксу в Египте, в Каирском университете. И вот здесь, рядом с ульпаном, на зеленой полянке, состоялся мой первый международный матч, длившийся не больше минуты.

Не подумайте, ради Бога, что я нокаутировал его, вовсе нет! Просто он оказался из новичков, и делать мне с ним было нечего. Он же, в свою очередь, быстро понял, с кем имеет дело, ушел в глухую защиту и совсем перестал выбрасывать руки в мою сторону. Тогда я снял перчатки, вынес тренерские лапы и стал учить его приемам, которых в Каире, видать, не знали.

Стояла весна, начало апреля, и море было опасным.

Публика из ульпана выходила на пляж загорать, а я купался, не обращая внимания на сплошные черные флаги на вышках спасателей. Никогда я на море не жил, но технику купания в бурю быстро схватил и освоил. Весь фокус заключался в том, чтобы навстречу волне набрать в легкие побольше воздуха и уйти под воду, с водоворотами не бороться, ни в коем случае не впадать в панику, а дать им тащить себя, — все равно вода тебя вытолкнет наружу. В конце концов был я не просто спортсмен, не просто боксер, а выпускник физкультурного института! Был обучен приноровиться к любой среде и стихии, обучен управлять своим телом в любом пространстве.

Глядя, как я легко и играючи справляюсь с волнами, поперся в воду и наш сосед по ульпану — хилый, косоглазый инженер из Житомира. Его тут же накрыла волна и понесла в открытое море. Долго его не было видно, потом он возник, завизжал и снова исчез... На пляже уже все кричали, метались, жена его билась в истерике.

По институтскому курсу плавания я помнил отлично — утонуть в таком случае могут оба, тонущий и спасатель. Надо дать ему нахлебаться и потерять сознание, а после тащить за волосы обмякшее тело, но ни в коем случае не вцепившегося в тебя мертвой хваткой безумца... Я дал ему полностью отключиться, покуда он не пошел ко дну, и только потом принялся за работу.

В тот день я стал героем ульпана, но очень скоро слава

моя померкла! Слава моя стала скандальной, ибо ввязался я вот в какую историю.

В соседнем центре абсорбции была объявлена голодовка. Грузинский семейный клан отказался брать предложенную им квартиру. По их убеждению, в ней было меньше квадратных метров, нежели им положено... Бастовать они бастовали, голодовку у себя объявили, а жрать приходили к нам, в нашу столовую, и это мне не понравилось.

Я нашел картонку, начертил на ней жирными буквами: «Эти приехали грабить!» — и прибил картонку к здоровенному дрыну.

Всякий раз, когда клан приходил в столовую: в обед, на завтрак и ужин, я с этим дрыном-плакатом подсаживался к их столу, ожидая атаки и готовый к бою.

Не обращая на меня внимания, они продолжали жрать, но голодать по-настоящему начал я. И так прошла неделя...

Подходил директор центра: что на картонке написано и почему я не ем? Что вообще означает моя контрзабастовка? Я отвечал, что это наши дела, исключительно русские, что сами во всем разберемся, а муки мои голодные продолжались! Я ждал, молил Бога, чтобы гады эти на меня бросились, чтобы нервы их сдали и все бы кончилось.

Ульпан же наш раскололся надвое. Одни, а было их большинство, кричали, что я предатель, сволочь и подхалим, что «эти израильтяне» нас непременно обжулят, что я скотина, стараюсь перед ними выслужиться и заработать тем самым дополнительные льготы. Вторые же одобряли мой первый сионистский подвиг в борьбе с хапугами, но говорили это тайком. Слишком свирепо выглядели грузинские мужики, могли и зарезать запросто.

К концу недели я превратился в тощего доходягу. И тут они кинули мне в лицо кусок курятины. Удара я не почувствовал, зато потерял сознание и свалился на пол. Очнулся я весь в объедках, в банановой кожуре, в огромной луже из супа... Но больше грузины не приходили, и было похоже, что я победил.

3

Потом пришло письмо из министерства просвещения.

Поднялся к Шоши, ведавшей вопросами трудоустрой-

ства,— конторка ее была на маяке, на смотровой площадке, и Шоши письмо мне перевела.

...Израильское министерство просвещения от всей души поздравило меня, Болотного Феликса, и мою семью с приездом на родину, желая нам мира, здоровья, счастливой абсорбции. Далее сообщалось, что в связи с отрядным для Израиля фактом — прибытием в страну огромного числа учителей физкультуры, тренеров и просто действующих спортсменов, в Иерусалиме организованы специальные курсы, месячный семинар. Мне предстоят зачеты по языку, истории сионизма, спортивной терминологии; в конце я дам показательный урок либо проведу тренировку и получу полное право влиться в спортивную жизнь Израиля, в которую — они уверены в этом — я внесу свой неоценимый вклад...

Это был уже разговор по делу, и я возликовал, собрал быстренько все, что положено, и отчалил в Иерусалим. А Жанка и Сонечка остались в ульпане.

Еще в России, в зените своей карьеры, я все поражаюсь: откуда столько евреев в спорте? Заслуженные мастера, чемпионы, прекрасные тренеры! Где и когда мы об этом договорились? Почему не стало в моем поколении портняжек, скорняков, сапожников, а будто знали, что всем нам сюда собратся — сильными духом и телом!

Антисемиты нас зажимали, засуживали, лишали чемпионских званий. Нас не ставили судьями на решающих поединках. Тренерам не давали работать со сборными, вообще не допускали на руководящие посты. И несмотря ни на что, мы их «делали»! Били, выигрывали и пробивались... Да что говорить, в одной только сборной Узбекистана по боксу нас было четверо — из десяти! Средневес Йоська Спивак и мухач Вовчик Боднер каждый год выходили в финал Союза — звезды первой величины, мирового класса... Судьи же, как правило, делали им в финале «козу» и нагло оставляли без золотых медалей.

Ну а сколько профессоров и преподавателей было в физкультурных институтах — авторов блестящих учебников, по которым я обучался?

Ну а спортивные журналисты, фотокорреспонденты? А целые коллективы врачей в спортивно-медицинских центрах и диспансерах?

«И все они здесь наконец! — думал я, захлебываясь от восторга. — Поднимем наш спорт до уровня мировых держав, усилим и укрепим весь народ! Ну а армию нашу вообще превратим в парней-суперменов...»

Так я все это предвкушал, глядя в окно, где высоко в небе, как фантастическое видение, вырастал Иерусалим, и обобщал свои мысли:

«Вот где мы об этом договорились, вот где дали клятву — в небесном Иерусалиме, задолго до своего рождения!»

...Я пришел со своим письмом на улицу Теодора Герцля. Занятия шли уже полным ходом. Я получил в общежитии койку и пошел на первую лекцию.

Спортсменов было человек двадцать: с десятков пожилых учителей физкультуры с опытом работы исключительно в школах, три борца, один велосипедист, два фехтовальщика, два боксера... Теперь уже три вместе со мной — вот и все! Зато учителей математики, физики — целые табуны; бывшие пионервожатые, бывшие библиотекари, учителя каракалпакского, осетинского, выпускники инязов — кого здесь только не было!

С утра все слушали лекции по Танаху и географии, зубрили иврит, имена героев палестинского подполья, слушали лекции о Катастрофе шести миллионов, потом шли в столовую, отдыхали, а после обеда разбредались по семинарам. Мы же, спортсмены, уезжали в спортивный зал, либо в бассейн, либо на стадион.

Все трое мы как-то быстро, легко сошлись и сделались неразлучны: чемпион Украины Максим Зильбер, чемпион Москвы Артур Флорентин, окончивший два института, химический и физкультурный, и я, Феликс Болотный, дядечка хорошо под тридцать, все еще мечтающий повоевать на мировых рингах во славу Израиля.

Каждый из нас был по прошлой жизни чем-нибудь знаменит, поэтому в отношениях наших не было ни капли высокомерия.

Максим Зильбер — мрачный еврей с лицом старого гладиатора и расквашенными руками был знаменит тем, что неизменно бил легендарного Королева и даже нокаутировал однажды десятикратного чемпиона Союза! Во всех учебниках бокса писалось, что Николай Королев ни разу не побывал на полу и ушел с ринга непобедимым, завоевав звание «абсолютного чемпиона страны». Максим же Зильбер ни в одном учебнике не упоминался, но мы то отлично знали, кого всю жизнь Королев боялся и кто по-настоящему был «абсолютным» в Союзе.

Огромный, гориллообразный, ходивший с подогнутыми коленями, наш Макс был знаменит еще тем, что вечно был холост, зато имел уйму любовниц. Из Киева

ему слали посылки: черные сухари, хозяйственное мыло, соль, сатиновые трусы и консервы. Он оставил там кучу внуков, гораздо старше своих детей, и все вместе — любовницы, дети и внуки — звали его назад. Угрюмый же дед Максим завел мгновенно поклонниц на семинаре. Не припомню, чтобы хотя бы раз «мотор наш пламенный» ночевал в своей постели.

Артур Флорентин жил в Москве на улице Горького, в самом центре, получал чемпионскую стипендию по первому разряду. Вдобавок к этому тренировал в Лужниках мальчиговую группу и чуть ли не круглый год находился на сборах, бесплатно питаясь в лучших ресторанах. Однажды его не взяли в Данию, потом в Норвегию, а вместо него, чемпиона, послали простых русских парней, которых Артур запросто колотил, и он взбеленился, собрал документы и подал заявление на выезд в Израиль.

Из Лужников его тут же уволили, лишили стипендии и отобрали квартиру. Артур начал искать работу по второму диплому — химическому... Долго искал, и наконец повезло, нашел именно то, что надо! Жуткую шарагу, где работали отпетые забулдыги, подонки, которым на жизнь свою наплевать, ибо в цехе постоянно висели убийственные пары, разрушавшие почки и мочегонную систему, а потому у каждого, кто здесь работал, имелась бумажка на право мочиться где и когда угодно, и производство просило органы и общественность отнестись к задержанным с пониманием и сочувствием.

Получив такой документ, что у него немочь и недержание, Артур принялся поливать Москву с глубоким расчетом. Сначала он это делал в местах совершенно невинных: в гастрономах, музеях, кинотеатрах, встречая в народе глубокое сострадание и поддержку, затем перешел на памятники вождей, встречая уже восхищение и восторг у простой публики. Так подбирался Артур все ближе и ближе к центру и вышел на Красную площадь. Задержан и арестован же был под стенами Мавзолея. В цехе, где он трудился, состоялось собрание: немедленно уволить мерзавца, лишить охранной бумажки и отдать под суд! Увольнение, однако, не состоялось. Услышав про подвиги нового инженера, забулдыги категорически воспротивились тому. И получил Артур свой Израиль — выезд мгновенный и беспрепятственный...

Я же был знаменит своим тренером — Джеком Сидки! Известен во всем Союзе как лучший ученик за всю его тренерскую карьеру.

Собственно говоря, все четыре еврея в сборной Узбекистана были воспитанники Сидки, и стоит рассказать об этом подробнее.

О тренере моем в России написаны две книги: «Красный конник» и «Поединки в концлагере» — лишь несколько историй из его фантастической биографии.

В «Красном коннике» сообщается о том, как Джек Сидки, уроженец Нью-Йорка и сын бедного еврейского портного, но уже чемпион мира среди профессионалов, приезжает в Россию на ряд показательных матчей. Здесь застаёт его Октябрьский переворот, в чемпионе мира вдруг вспыхивает рабочая кровь, и он уходит в бойцы революции. Ни о какой Америке он больше и слышать не хочет, а едет в Среднюю Азию, воюет с басмачами и устанавливает советскую власть.

Во второй книге он же — Джек Сидки — солдат советской армии, воюет с фашистами и попадает, контуженный, в плен, в Бухенвальд. Голодный, затравленный, дерется на ринге с откормленными эсэсовцами и неизменно их побеждает, ибо ставка в этих схватках — жизнь...

Основные факты его биографии в обеих книгах изложены верно, за исключением отдельных деталей: советскую власть мой старенький тренер ненавидел всеми кишками, люто, с басмачами никогда не воевал, а был сослан навечно как иностранец, чудом пережил страшные чистки и чудом же уцелел.

Работал он дамским портным, держался ниже травы, тише воды («Что было в детстве забавой, то стало на старости лет куском хлеба!»), а тайную свою ненависть вкладывал в то, что растил еврейских волчат. Построил у себя во дворе огромный амбар, развесил мешки, груши, поставил ринг на помосте и занимался с нами по необычной, диковинной системе. И были мы будто слепки с него самого времен его далекой молодости. Ветхий, белый, легонький, он приезжал на любые соревнования с нами, со своим «портновским товаром», из зачуханного Ташкента, и мы разили противников наповал, брали измором и пробивались в финал. «Волчата Сидки» — так нас везде называли, этим и были мы знамениты.

4

Чуть ли не в первый вечер все трое мы поехали к Стене плача. Автобус привез нас к башне царя Давида, и мы вошли в Яффские ворота: перед нами раскинулась пло-

щадь с нарядными туристами, крикливыми арабчатами, торгующими открытками, сигаретами, жевательной резинкой, евреями в черных шляпах и черных кафтанах. Мы двинулись вниз — торговыми улочками, переулками, заваленными пестрым товаром, — привычная моему глазу картина по Бухаре, Самарканду... Словом, нищая роскошь Востока, которую сразу не раскусить.

Я как бы шел по знакомым местам, пытаюсь понять, что было наяву, а что — во сне! Еще там, в той жизни, когда всей душою рвался сюда, бродил здесь ночами, жадной и цепкой памятью все запомнив, — измучивший мои сны Иерусалим...

Вот колченогий, плавно-ступенчатый переулок, запираемый в самом начале своем на калитку, — это я видел уже, помню! И даже ржавый замок, и эту калитку из кованой меди... Удивлялся во сне и сейчас удивляюсь: улицу запирают вдруг на калитку — неслыханно!

А вот столб и фонарь на обочине — средневековый фонарь, улица круто вниз... Здесь проходил я с Сонечкой, вел ее за руку, и было пустынно, был мертвенный свет, а сейчас — иду наяву в шумной и праздничной толпе!

Мой старенький тренер, знаешь ли ты, что я уже здесь, в мире, куда ты не явишься больше? Ты передал его мне по наследству... Иду к Стене плача, буду молиться за подвиг твоей души, просить для тебя у Бога награды!

Отсеялись помаленьку арабы, толпа очистилась, стала торжественней.

...Вот уже много лет живу я в Иерусалиме, десять почти что лет, всегда хожу к Стене плача, давно здесь свой человек. По субботам мы всей ешивой приходим сюда молиться, поем свои гимны и песни, танцуем и веселимся, а все-таки первая та ошалелость ничуть не прошла, не стерлась, не притупилась! Только стали теплее щербатые камни, знакомы теперь любая травинка, колючка, каждый голубь, живущий в расселинах. Прихожу сюда, воспаряюсь и отлетаю в сияющие чертоги, и каждый раз вспоминаю, как это было, с чего началось, как превратился волчонок Сидки Фелька Болотный в книжного червя Итро, пейсатого ешиботника.

В будке пропускного пункта мы были обстуканы и обшарены солдатами-автоматчиками, придирчивым взглядом оценены и вышли на площадь, залитую ровным, печальным светом, и сразу же в ней затерялись.

Стражник с бляхой на черной фуражке нахлобучил на нас по бумажной ермолке, и мы устремились к камням.

Стояли здесь громкий плач, вопли и восклицания — душа народа изъяснялась с Богом лицом к лицу, и наши души тоже разверзлись, все трое упали мы на колени, прильнув к камням лбами.

Теплый, ласкающий дух переливался в меня, утишая мои печали, смывая светлой волной мои язвы — всю мою горькую, исколотую память; дух этот все мне прощал, и было, как в детстве на коленях у любимых родителей, уютно, покойно и восхитительно.

Громче всех ревел Максим Зильбер — всем нутром, тяжелым грузом нажитых лет и чем-то еще, звериным и страшным. Он снял с шеи старый, засаленный кисет, целовал его, обливая слезами, потом прикладывал к камням, потом опять ко лбу, к обоим своим глазам.

Судя по всему, мы вели себя необычно. Публика поутихла и обступила нас молчаливым кольцом.

И слетел к нам ангел, взволнованный, с ясным ликом, и обратился ко всем троем:

— Не принято у евреев стоять на коленях, только в Судный день! Встаньте на ноги, братья, душа еврея в сердце и в голове, ближе к Богу и к небу... Ибо праху земному молятся только язычники!

Был он в пейзах, наш ангел, в черной шляпе и светлом полосатом халате. Говорил на идише, и мы отлично его понимали, как будто прочел он это у нас в душе.

В кисете же старого гладиатора оказалась горстка земли из Бабьего Яра. Он объяснил потрясенной публике, что носит это у себя на груди, что даже дрался на рингах с этим кисетом, всю жизнь его не снимая.

— Родные мои расстреляны в Киеве, а я поклялся их прах привезти на родину! Теперь могу их и схоронить...

Ангел вывел нас из толпы и привел в закопченный закуток с низкими сводами, набитый святыми книгами и свитками Торы. Первым делом он обнажил наши руки и намотал филактерии — коробочку против сердца, коробочку под ермолкой, на лоб, громко читая благословения и заставляя нас повторять за собой слово в слово.

— Плоть еврея, не освященная филактериями, как бы нечиста, не кошерна, а вот сейчас и вы приобщились — возле Стены плача, в Иерусалиме! Евреи, я поздравляю вас, великую честь оказали вы мне! Великую честь и радость, не знаю, чем и когда я смогу вас за это отблагодарить!

Потом он рассказал о себе: фамилия его Петух, перевести ее на иврит — будет звучать смешно, а так... Предки его из русских мест, с Волыни. Вообще-то сам он родился

в Иерусалиме, вырос и получил воспитание в Меа-Шарим, ортодоксальном квартале, а еще окончил Еврейский университет и занимается раскопками в окрестностях Храмовой горы, как бы находится на службе у раввината при Стене плача. И вдруг сказал с виноватой улыбкой:

— Тот, кто разрушал однажды или косвенно был повинен в этом, обязан впоследствии строить и восстанавливать. Так и я свою судьбу понимаю,— объяснил он нам, непонятно в чем и перед кем оправдываясь.

— А может, и вы недаром явились и наша встреча совсем не случайна? Хотите ли заработать деньги, честные и очень хорошие? Таких, как вы, я как раз и ищу, евреев с чистыми душами и крепкими мускулами!— и обвел нас пытливым, любовным взглядом.— Не бить же вы нас приехали...

Сезон раскопок в самом разгаре, стал он нам объяснять, работают у него слабые девушки, хилые юноши, добровольцы со всего мира, «галутные, изнеженные дети, а вы, я вижу,— богатыри и атлеты!». Обкапывают они камни, колонны, крупные блоки, а извлекать их из глубины некому, ибо никакая техника туда подступиться не может...

— Сами увидите! Пару часов работы вечером или ночью, а расчет на месте, согласны?

Мы оживились: еще бы, деньги нам позарез нужны, какая удача!

Посоветались: и с семинаром устроимся, не страдаем...

— Конечно, согласны!

Сказал археолог Петух:

— Господь сотворил человека для наслаждений, но дал ему совесть, достоинство, гордость! Несчастен человек, которому все дают, несчастен и вечно печален. Тот же, кто всего достигает сам,— ликует и счастлив! Счастлив он сам, и счастлив его Создатель.

5

Если случится вам ехать на юг Кедронской дорогой, мимо ворот Милосердия, которые замурованы, как раз напротив Масличной горы,— возьмите вправо, остановитесь, взгляните наверх, на грандиозную лестницу, ведущую в никуда, в глухую крепостную стену, увидите чистенький сад руин и раскопок, мраморные дорожки, посы-

паннные гравием, подземные улицы, переулки и переходы,— погуляйте здесь часик!

Здесь некогда были жилые комнаты, складские помещения священнослужителей, ритуальные бассейны — южный храмовый двор, принадлежавший потомкам Аарона, посредникам между Израилем и Небесным Престолом... Гуляя среди руин и мощных колонн, поставленных в струнку ровно и точно, не думайте, что так всегда и было, не обольщайтесь!

...Пологий, лысый курган, изрытый глубокими шахтами и траншеями, освещал по ночам прожектор, и было пустынно, безлюдно.

Горки просеянной днем земли волновали меня, я погружал в них руки, как в пепел собственных предков, пепел Храма, моей библейской родины, и все нутро во мне содрогалось. Подсаживались молча Максим Зильбер и Артур Флорентин и тоже пропускали сквозь пальцы землю, философствуя в глубокой задумчивости.

Максим говорил, что ее состав — даже на ощупь — это одно и то же, что он привез в кисете, совершенно одинаковый прах! Такая почва, говорил он, никогда ничего не родит, ни здесь, ни в Бабьем Яре, ибо земля таких мест убита навечно самим человеком.

Артур соглашался: земля удивительно древняя, необычная! Дожди и бури, видать, никогда ее не мешали, не молодили наносы веков, пространство Храмовой горы существует как бы в ином измерении, и это волнует его — не ум, не душу, а плоть! У плоти его и этой земли, должно быть, одна и та же химическая формула, поэтому повсюду в Израиле Артур себя чувствует одинаково древним, значительным и великим...

Такие разговоры мне нравились, я даже завидовал им: как тонко они рассуждают, чувствуя связь своих душ с родиной всеми корнями, метафизически...

Да разве найдется сила, которая сможет нас сдвинуть отсюда? Разве найдется во всем этом мире бес, который сможет нам помутить рассудок? Да быть такого не может,— хозяева явились — не гости!

Потом мы шли в дощатый сарайчик, заваленный ведрами, граблями, лопатами, выволакивали свою пирамиду с лебедкой, ремни и цепи, включали прожектор и принимались за работу... В промежутке между Лужниками и той шарагой, давшей Артуру право повсюду в Москве мочиться, он подрабатывал грузчиком, чернорабочим, и опыт его нам удивительно пригодился: он прыгал обычно

в шахту, вязал там узлы на самых замысловатых обломках камней, капителей, колонн, каким-то особым чутьем чувствуя центр их тяжести, и был направляющим, мы же с Максимом орудовали лебедкой...

Уставал я, конечно, зверски! Мышцы мои, привыкшие к благородным нагрузкам в спорте, на ринге, быстро сдавали при заурядной физической работе, и весь я гудел и дымился, но виду не подавал. Все трое бодрились мы друг перед другом! Кончали работу, мылись, переодевались и шли к Петуху за расчетом.

Платил он нам щедро, по-царски, даже больше, чем обещал, больше, чем мы ожидали,— тут же, из своего кармана, не требуя никаких расписок, не вычитая налогов, и мы, как безумные, разбегались эти деньги немедленно тратить.

Несколько дней спустя все трое оделись в новое с иголочки барахло! Купил я себе джинсовый белый костюм, новые сандалеты, туфли, три рубашки с погончиками, купил для Сонечки платье, шерстяную кофту для Жанки... Роскошно прибарахлился Максим и дал телеграмму в Киев своим любовницам, детям и внукам: «Перестаньте слать дурацкие сухари, трусы, мыло!» Артур же, всю жизнь мечтавший об электронике, грезивший японским товаром,— купил огромный транзистор с магнитофоном, и загремела музыка на наших ночных раскопках, иерихонские трубы сотрясали крепостные стены.

Утолив первый голод материальных желаний, голод жадных нездешних глаз, мы после расчета стали оставаться у Петуха в закутке подольше. Уже не летели после работы наверх, как сумасшедшие, к Мусорным воротам, не мчались сломя голову мимо священной Стены плача, не рвали из рук Петуха свои кровные лиры, чтобы поспеть к закрытию магазина на улице Яфо,— мы стали вкушать от пищи духовной!

Первым делом наш благодетель и босс дал нам понять, что у каждого в мире еврея, в том числе и у нас, есть доля и право на Храмовую гору,— право наследников и хозяев, чем очень нас озадачил, обрадовал и удивил.

— ...Было здесь поле и гумно у некоего иевусея, и царь Давид решил его откупить,— рассказывал нам Петух.

Не взял его даром Давид по праву владыки, не стал платить из казны, и разделил эту сумму на все двенадцать колен поровну, чтобы каждый израильтянин внес свою долю. И вышло: как есть у нас право на владение гробницей в Хевроне, записанное в Торе, когда состоялась сдел-

ка между Эфроном и праотцем Авраамом, так есть оно и на Храмовую гору — на всех одинаково, поровну.

Но не позволил Господь Давиду строить Храм, ибо был он человеком воинственным и слишком много людской крови пролил, а ведь назначение Храма — вечная жизнь и мирные жертвы! Руками сына его, мудрого Соломона, возжелал Господь быть Храму воздвигнутым. Сорок лет продолжалось строительство, и не коснулось ни разу железо камней Храма, ибо железо тоже символ убийства! Обтачивал камни червь *шамир*, похищенный Соломоном у князя тьмы Асмодея. Был он размерами с ячменное зерно, этот червь шамир; проворно пожирая камень, жил в свинцовой коробочке, выстланной ватой, — так и хранился у Соломона...

Каждый вечер после таких вступительных лекций Петух отпирал решетки и приглашал нас в глубокие, мрачные тоннели. Здесь, по его словам, велись особо секретные раскопки! Подводил нас к глубоким шахтам, включал прожектор и там, в немыслимой глубине, показывал основание Храма, фундамент, блоки, уложенные зодчими царя Соломона: удивительно свежие, будто вчера уложенные, — и с точностью ювелирной!

— Разве скажешь, что этим камням четыре тысячи лет? — спрашивал шепотом и вел нас дальше, уже под храмовым двором, к скале Святая Святых, «основанию мира и всей вселенной».

— За завесою Святая Святых, куда раз в год — в Судный день — входил первосвященник, находились две скрижали, принесенные Моисеем с Синая, и сосуд с манной, — продолжал рассказывать нам Петух. — Открыл Господь Соломону, что Храму его в будущем предстоит быть разрушенным. И второму тоже, а третий спустится с неба и стоять будет вечно! Поэтому сделал Соломон тайное устройство, известное только левитам, и, приведенное в действие, устройство это опустило в земные недра скрижали и манну. Где-то здесь они и должны находиться, их мы как раз и ищем!

Так мы в то лето артелью и жили, артелью боксеров, скрывая от всех остальных в семинаре курган с раскопками, археолога Петуха и внезапную свою зажиточность. В тайну ночных приключений наших был посвящен лишь один человек, Нафтали Бен-Галь, бодренький старичок, руководитель спортивной секции на семинаре, заботливо, по-отечески опекавший нас всех.

По пятницам нас распускали, я возвращался к семье в

Ашкелон, купался в море, загорал на пляже, набираясь сил на неделю, а в воскресенье утром снова — в Иерусалим. Артур с Максимом отпуск субботний проводили на стадионах, в спортивных залах, но бокса в Израиле не обнаружили, и раз от разу становились мрачней, и впали наконец в отчаяние.

— Пустыня!— хватались они за голову.— Куда мы приехали, да тут и начинать не с чего! Бокса они не хотят, даже не знают, с чем его кушать!

Тем временем приближался сентябрь, начало учебного года, и нам предложили преподавать физкультуру в гимназиях. И мы решили начинать с нуля, с мальчишек в школах...

Потом показали квартиры в новеньком каменном доме, чудненькие три квартиры, и тут мы совсем смирились: «Слава Богу, хоть жить будем вместе!»

6

Петух привел нас однажды на новый участок. Пирамиду с лебедкой велел не брать, а только ремни и цепи.

Был он взволнован и нервничал, говорил, что работа пустячная, но есть в ней опасность для жизни: тащить ничего не надо, а только надеть узлы, утром прилетит вертолет, и он это вытащит, ибо нам никак не под силу.

— Вы же себя берегите, ради Бога, берегите себя!— заклинал он нас то и дело.

По веревочной лестнице мы сошли в глубокую, узкую траншею, где снизу вверх торчал чудовищный блок, выходящая из земли под углом в сорок пять градусов, невыносимой тяжести. Такой нам ни разу еще не попадался! В траншее же было темно и узко, и если бы блок вдруг качнулся и начал клониться, то между стенами не осталось бы и сантиметра, чтоб увернуться, и всем троим нам — могила! Держался он на подпорках, и вся его тяжесть лежала на них.

— Что за идиоты у вас тут копали?— раздраженно крикнул Петуху Артур Флорентин.— Почему вы вбок не копали, вас разве не учили технике безопасности в институте?

Петух, видать, его не расслышал либо не понял и стал бросать вниз цепи и ремни, направлять слепящий прожектор, велел нам скорее вязать, поменьше там суетиться и не трогать подпорок.

Мы стали соображать и советоваться. Вся надежда была на то, сколько блока еще в земле. Если много, то можно попробовать на него и залезть, а если нет, если весь его уже обкопали, то камень, пожалуй, превратится в надгробный!

Артур уперся в глыбу, пробуя ее устойчивость.

— Ну, братцы, была не была, где наша не пропадала!

Потом перебросил ремень, повис на нем, сильно подергал: вроде бы не качалось! Нас это сильно взбодрило, и тогда Артур поднялся уверенно по веревочной лестнице и взошел на блок, над нашими головами.

Успел я еще подумать, мрачно иронизируя: «По нему-то кадиш говорить не будут, а вот по мне и Максиму...» — и в эту минуту затрепали подпорки.

Я с ужасом видел, как на моих глазах блок стал медленно накрывать нас, инстинктивно вытянул руки, и страшная тяжесть подмяла меня, как былинку. Мелькнула, помню, картина: стою в ашкелонском парке между колонн филистимского капища, воображая себя Самсоном: «Погибни душа моя вместе... Вот ты и гибнешь, Фелька Болотный! Так с твоим предком и было на самом деле...»

Визжал над нами Артур каким-то бабьим истерическим голосом, понимая, должно быть, что это он нас сейчас убивает, предсмертным матом крыл неизвестно кого Максим, орал и визжал наверху Петух. Кричал чего-то и я, конечно, — не помню!

И вдруг изменилось что-то! Весь изломанный, я стал выпрямляться, продолжая держаться за блок, чьей тяжести почти не чувствовал... Подумал сразу же о Максиме: «Ну и дед, ну и силища! Да он же и есть настоящий Самсон, горилла эдакая!» И видел, задрав голову, как верхний торец уже ползет из траншеи к небу своей бесконечной тушей, как кит или подводная лодка, и продолжал блок направлять, перебирая руками, куда туша его не кончилась и опустела траншея.

Было тихо с минуту. В синем, кинжальном свете прожектора плясала пыль. Я тер кулаками глаза, в которые попали комочки земли, спотыкаясь сослепу об искривленные подпорки у себя под ногами, чертыхаясь и подывая.

— Ну что, живы вы, что ли? — прохрипел сверху Артур.

— Живы вроде, а ты? — бодрым голосом отозвался Максим. — Ты-то как наверху оказался?

— Да вы же с камнем меня и подняли!

Прочистив глаза, я стал прозревать — буквально и фи-

гурально: «Да нет, чертовщина какая-то, не шутку ли выкинул с нами Петух?! Уж слишком легкий, какой-то бутафорский камень... Но ведь вначале он был же тяжелый, как смерть, что с ним потом случилось? Колдовство какое-то, чудо... А почему бы и нет? Петух намекал нам, что изучает Кабалу, говорил, что в Меа-Шеарим у них чуть ли не все кабалисты, вот и сотворил с нами чудо!»

Мы вылезли из траншеи, и Петуха не узнали,— другой это был человек. Как тронутый, как бесноватый, он бегал вокруг громадного параллелепипеда, облепленного землей, борода его развевалась, размотались пейсы с ушей, шляпу он потерял.

— Чудо, евреи, древнее чудо!— воздевал он руки к звездному небу, рвал и теребил на себе полосатый халат.— Благословен Ты, Господи, давший дожить мне и просуществовать до этого дня, увидеть это своими глазами!

Подошел и я к блоку: длины в нем было метров шесть, а высота доходила мне до груди,— постучал его ботинком, попробовал качнуть... Э, нет, бутафорским он не был! И весь я покрылся мурашками, пронзенный чем-то внезапным. И сразу же захотелось мне тоже воздевать к небу руки, тоже выкрикивать, бесноваться, но удержался! С трудом удержался...

На блок вскарабкались Артур и Максим, стали прыгать там и громко, как дети, кричать:

— Ура, вертолет отменяется, а деньги все наши...

Мы смотали лестницу, собрали ремни и цепи, заперли все в сарайчик и пошли к Стене плача.

Сидели в сводчатом закутке, запершись за решеткой.

Петух же наш, весь истерзанный, с блуждающими от всего пережитого глазами, начал объяснять, что, по его мнению, случилось, что на самом деле произошло с нами.

— На пирамидах египетских работали сотни тысяч рабов, тащили камни вручную, волокли их катками, подъемниками, люди гибли как мухи, гибли и надрывались... Ничего подобного при строительстве Храма не было! Предание сообщает, что камни плыли по воздуху, точно ложась туда, куда им велели. Плыли камни и поднимались по слову, в котором заключается одно из имен Бога... Только что мы видели это сами, это чудо! И сообщить об этом надо всему миру, вы с этим согласны?

«Ну вот, это самое я сразу и подумал: он кабалист и знает это заветное слово!» И сразу поинтересовался:

— И вы это слово успели вовремя произнести?

— В том-то и дело, что нет, это одна из величайших тайн мира! Его знали избранные Богом пророки, царь Соломон... Может, вы случайно произнесли его, сами того не ведая? Вспомните хорошенько, что вы кричали в транше?

— Не помню,— пожал я плечами.— Понятия не имею!

— А хрен его знает,— хихикнул Максим.— «Ебицкая сила», кричал, «еб твою в душу мать», кричал...

— Что-что? Что вы, Максим, кричали?— вскинулся Петух.

— Да ничего интересного, матюгались, как сукины дети, как и все нормальные люди,— ответил ему Артур.

— Евреи, мы видели чудо!— снова начал Петух.— Я предлагаю составить сейчас документ и всем четверым под ним подписаться — по всем правилам юридический документ! Поднимемся в раввинат при Стене плача и заверим печатью при авторитетных свидетелях. Народ Израиля и весь мир должны узнать о чуде с храмовым камнем. Таков долг каждого религиозного еврея,— о чуде ни в коем случае не умалчивать, а всех широко об этом оповещать! О славе и силе Господа Бога нашего, отныне и во все времена!

— Чушь и бред!— ударил себя в грудь кулаком Максим.— Не стану я вам ничего подписывать!— Поднялся во весь рост и грозной тушей навис над худеньким, расстрепанным Петухом.

Максим стал кричать ему, что с детства отличался живучестью, везением и чудовищной физической силой. В Бабьем Яре его подростком расстреляли со всей семьей, со всеми киевскими евреями, и, будучи погребенным под целой горой трупов, он выбрался ночью и ушел. Не утонул в море крови, не умер там от горя и ужаса, не был раздавлен, задушен, а сам себя раскопал — и вышел.

— Такое ты можешь себе представить?— гремел Максим.— Такое ты слышал когда-нибудь в жизни?— И обратился к нам, ко мне и к Артуру:— А кто в Союзе был настоящим чемпионом по боксу? Кто валил Королева на ринге и выбрасывал его за канаты,— это страшилище, эту глыбу мяса?

И мы подтвердили его слова молчаливыми кивками: да, Максим Зильбер, да, абсолютный, сильнее Максима не было человека в России — исторический факт!

— Вот вам о чем составить бы документ, господин Петух: не Бог и не вертолет вам выволокли эту штуку, а я!

Вот с каким чудом вы встретились нынешней ночью, об этом и сообщите миру, мой милый, сообщите всему Израилю!

Максим сел, тяжело сопя от возмущения явно чинимой над ним несправедливостью, и разверз уста свои Артур Флорентин, человек разумный, ученый, объясняя все по-профессорски, с легким налетом скепсиса и иронии:

— Известно ли вам, господин Петух, что рекорды в тяжелой атлетике доходят нынче чуть не до тонны? Что в некоторые моменты человеческий организм способен взорваться, как бомба, совершая при этом уму непостижимое действие? Если имеете, конечно, представление, о чем я вам говорю! В конце концов, мы атлеты, выдающиеся спортсмены...

Петух качал головой, окаменев от растерянности, но было видно, что босс наш сломался и чуть ли не плачет:

— На все есть воля Бога, но лишь в одном человек свободен — в выборе власти Бога над собой: бояться его — или же не бояться... Вы мне сейчас напомнили вдруг Валаама, Итро и Иова — троих советников фараона! Каждый из них имел свое мнение о Боге евреев, и каждый впоследствии получил по вере своей. Должно быть, и вы получите... Больше я вам ничего не скажу, берите деньги свои и идите!

7

Плыл однажды по морю Тит — император, разрушивший Храм иудейский, и возгордился собой: «Силен, говорят, Бог Израиля на море, на водах, а вот на суше сумел я его одолеть! Пусть поборется со мной сколько угодно, увидим, кто из нас всемогущ...»

Раздался хохот на небе: «Нечестивец, сын нечестивца, зачем Мне с тобой бороться? Есть творение в мире Моём,— ничтожнейшее из творений, с ним ты и поборись!»

Сошел император на берег, и тут же влетел ему в ноздри комарик, засел в голове и принялся точить его мозг. Семь лет его мучил, довел до безумия... Умирая от жутких страданий, Тит завещал: тело мое сожгите, а пепел развейте по всем морям, чтобы Бог иудейский не смог бы меня отыскать, не смог призвать на суд за речи мои надменные.

Так рассказано в Агаде, таково одно из преданий о Храме, о слабом, ничтожном комарике, о долгих, мучи-

тельных страданиях великого римского императора. Давно это было... Мы же в двадцатом веке живем, в иные времена, где скорости, как известно,— космические, потому и стали сбываться над нами слова Петуха чуть ли не сразу, я бы сказал,— мгновенно!

...Стоял сентябрь, все трое мы въехали в новенький каменный дом, каждый в свою квартиру. Получили койки казенные с матрацами, одеялами, казенные табуретки, столы, газовые плитки. Все остальное предстояло нажить, не унывать, работать годами... Приехали ведь мы навсегда, навечно, не в гости, как это давно уже было сказано между нами, давно решено и клятвой души подписано.

Помню, был поздний вечер, сидели мы с Жанкой на голой кухне, пили чай и скучали.

Позвонили вдруг в дверь, и вошел Максим.

— Привет, Максимушка!— обрадовалась жена. И удивилась, взглядевшись в него попристальней.— Ой, да кто ж тебя так отделал, бедный!

Увидел и я синяк у него под глазом, лицо сизое, отечное, весь он какой-то грустный, унылый. Спросил я его с сердечным участием:

— С хулиганами местными дрался?

— Не... милиция в Киеве отлупила,— обыденно так.

Мы ошалело с женой переглянулись, одновременно подумали: «А малый того, свихнулся...» Затараторили разом, развеселившись, как от хорошей боксерской шутки:

— Дядька в Киеве, а бузина в огороде... Да ты в своем уме, кто тебя пустит туда, что за чушь ты нам порешь? Мы же видели тебя позавчера только: какая милиция, какой Киев?

Максим ничуть не обиделся на наше неверие, попросил у Жанки зеркальце и стал разглядывать свое лицо, массируя осторожно фонарь под глазом, набрякшие щеки. И я вдруг поверил! Увидел, какой он уже не здешний, чужой, как будто его подменили. И руки его, руки старого гладиатора, в свежих ссадинах, распухшие, как олады, больше всего убедили меня. Так бывает, когда бьешь о голые скулы, кости, дробишь людям зубы...

— Суки, их целая рота была, дубинками молотили! А на кулачках хрен бы меня одолели, ни за что не связали...

И рассказал нам Максим про комарика, ставшего точить его мозг, точить безумием, одержимостью возвращения в клетку, в тюрьму, ибо поля свободы старой горилле сделались вдруг ненавистны.

...Сел он в Лоде на самолет румынской авиакомпании

и прилетел в Бухарест. Тут же купил билет на киевский самолет, и прошлую ночь провел у своей любовницы на Крещатике. Видать, был опознан одним из ее соседей, ибо на рассвете в квартиру ворвалась милиция. Счастливый и сонный израильтянин Максим Зильбер был извлечен из теплой постели, вынут из цепких объятий хохлушки Даши, ему дали одеться, побриться и предложили без лишнего шума покинуть границы Украинской Советской Социалистической Республики. На что Максим согласился и дал отвезти себя в аэропорт.

В аэропорту же, находясь под усиленной охраной, решил вдруг отбиться и закатил милиции бой. Охрана прекрасно знала, с кем имеет дело, и была готова к любому развитию событий: повергли на пол Максима, топтали и били ногами, затем связали его по рукам и ногам и, как полено, заволокли в румынский авиалайнер, где в грузовом отсеке он был возвращен в Бухарест, оттуда — в Лод, где и передан израильским пограничникам.

«Румыния, сигуранца, избиение с возвращением... Новый Остап Бендер!» Мой разум всеми силами сопротивлялся, пытаюсь обратить это все в шутку, не зная, чему удивляться больше: фантастичности ли происшествия или внезапному, необъяснимому ослеплению пограничников трех держав?

Что с человеком случилось, куда он рвался? В Бабий Яр, где был расстрелян однажды? Ведь был же кисет, были же слезы возле Стены плача? Своими глазами я видел, как он любовно ласкал эту землю! Слышал, как проклинал свое прошлое, как строил грандиозные планы, мечтая увидеть наших боксеров на олимпийском пьедестале почета: с флагами и государственным гимном, и чтобы были наши боксеры в пейзажах... Пейсы его умиляли больше всего!

До поздней ночи сидел он у нас на кухне в тот день, пил чай с рафинадом — пожилой, несчастный еврей, весь в ссадинах, с кровавыми рубцами от узлов и веревок по телу... И родилась во мне жалость к нему! Не восхищение его подвигом и не осуждение, а именно жалость. И даже отчетливое предчувствие, что плохо он кончит, ибо комарик влетел в него на редкость подлый!

Поняв, видать, что вломиться в Киев ему никак не светит с парадного хода, Максим решил попасть туда с черного — любимым путем!

Созвали через неделю пресс-конференцию, и на дру-

гое утро израильские газеты вышли с громадными заголовками:

«Русский медведь набрался вшей у Стены плача!»

«Израильские пограничники зверски избили нового иммигранта!»

«Археолог Петух — религиозный фанатик и вымогатель!»

«Израильский спорт — безнадежное захоlustье!»

За прессой ивритской в ту пору я не следил — не знал достаточно языка, но сообщил мне тотчас же об этом Нафтали, который по-прежнему нас опекал и был во все посвящен, — Нафтали Бен-Галь, бодренький старичок, отлично владевший русским.

— Феликс, немедленно приезжайте! — наказал он мне категорически строго. — Берите Максима, Артура, и вечером обязательно у меня!

Нафтали был зол и растерян, оскорблен в своих лучших чувствах; уединился с нами в отдельной комнате и вместо обычного кофе и угощений вынес нам на подносе гору газет и вывалил их на стол.

— Где вы видели вшей у Стены плача? — воскликнул он. — Каких вшей от чужих ермолок вы могли там набраться, если ермолки на входе бумажные? И потом, взгляните, Максим, на себя, вы же лысый почти! Далее вы обзываете Петуха «вымогателем»... А на какие деньги вы купили билеты в Киев и Бухарест, когда успели скопить такую огромную сумму? Не на те ли, что так щедро платили вам на раскопках? Возомнили себя Самсоном, не поверили в чудо? А разве не чудо сам факт, что мы здесь с вами сидим, в Иерусалиме, чудо, свершившееся в нашем же поколении?

Максим листал газеты, любуясь своими фотографиями, лицо его было непроницаемым. На вопросы Нафтали не отвечал, как будто не имел к этому никакого отношения, а тот его продолжал наставлять:

— Не вы первый и не вы, к сожалению, последний, кто приезжает в Израиль пламенным сионистом и патриотом и вдруг превращается в нашего ненавистника... Что за бес в вас вселился? Поймите, пресса на Западе беспощадна, им бы только товар с душком! Им наплевать, что завтра же все советские газеты эту ложь дословно перепечатают. А может, именно этого вы и добиваетесь? Скажите же правду, Максим...

И тут загудел возмущенно комарик Артура, — впервые дал о себе знать:

Я вас, Нафтали, не понимаю, по какому праву вы ставите так вопросы? Слава Богу, мы не в России живем, а в государстве демократическом,— разве не волен человек выражать открыто все, что он думает?! Что вы Максиму рот затыкаете, пусть говорит, что ему нравится!

Странно мне было слышать о демократии именно от Артура, от человека, сотворившего себя из нуля. В мире, где правила голая сила...

Родился и вырос Артур в московском большом дворе на Таганке, с детства был хил и слаб, весь двор его колотил, шпынял, обзывал «жиденком». В двенадцать лет, затравленный и озлобленный, он пришел на секцию штанги и через два года ликвидировал все последствия врожденной анемии — развил костяк и мышцы, а колотить его по-прежнему продолжали: не сверстники и не мелкая шпана, а парни постарше — дворовые атаманы, и тогда он пришел на бокс! В семнадцать лет Артур Флорентин уже был бронзовым призером страны среди юношей, став героем и гордостью всей Таганки,— самый юный мастер спорта по боксу...

Уже в Израиле, когда мы учились на курсах, Артур поехал в одну из суббот купаться на море, в Неурим, на золотые пески под Хадерой.

— Стоит там морская база юнг за высоким бетонным забором,— взволнованный, рассказывал он мне, вернувшись оттуда.— Вижу — вдруг выгребают в море мальчишки на длинной такой посудине, а с ними дядька усатый, морской волк, и курит трубку, сидит на носу и командует пацанами. Выплыли в открытое море, попрыгали в воду и стали купаться. А мне вдруг больно, обидно сделалось! Ведь я же «рыба», мое созвездие — Рыб, всю жизнь мне снятся морские пучины, водоросли, причалы, яхты, парусники... А этот бокс, говоря откровенно, ненавижу больше всего на свете, ни за что бы на бокс не пошел, если бы не эти антисемиты... И вот, представь себе, увидел еврейских юнг, еврейскую морскую базу, еврейского морского волка,— себя, короче, свою золотую мечту, свое детство несостоявшееся. И так душа моя защемила, что краешком глаза решил их увидеть,— счастливых пацанов этих, и стал пробираться к базе, по мелкой воде, по острым режущим камням,— подбираться на животе, как змей. Плыл и плакал: почему я здесь не родился? Ведь в жизни не стал бы боксером!

Да, странно, дико мне было слышать о демократии из уст Артура! Кому, на что он требовал право на демокра-

тию? Максиму Зильберу? Право на ложь, на измену самым святым для нас ценностям? Нет, не своим голосом Артур говорил, подозрительно это было... И объяснить это можно было только одним: и его, бедного, взялся точить поганый комарик!

«Ну и Петух, ну и дела!— испугался я не на шутку.— Теперь ведь за мной очередь... Вот интересно, что за беду он мне напрогнозировал, что со мною случится?»

Вскоре исчез из Иерусалима Максим Зильбер, сгинул навеки, как будто бес человека унес!

Сначала писали о нем газеты: сидит в Вене перед советским посольством и каждый день меняет плакаты у себя на груди:

«Жертва сионизма!»

«Обманутый и заблудший сын своей советской отчизны!»

«Готов искупить ошибку любой ценой!»

«Лучше в тюрьме на родине, чем у врагов на воле!»

И еще писали о нем газеты, уже напоследок: ввели Максима в посольство и напустили на него свору советских газетчиков, представителей радио, телевидения, и что происходило там — неизвестно, ибо никто из западной прессы допущен, естественно, не был, зато в Москве и в Киеве чуть ли не целый месяц печатали о Максиме статьи, крутили мерзейшие ролики на телевидении, вещали о нем по радио. И попал он, как и мечтал, снова в свой Киев... Но, увы! Не в постель к своим многочисленным любовницам и наложницам и не в объятия к внукам и детям, а во Дворец правосудия киевского, вlepили Максиму десятку «за измену родине», как и просил он, собственно, и слухи о нем прекратились.

Спустя несколько лет случилось мне разговаривать с одним бывшим земляком Максима, и я поинтересовался:

— Боксера Зильбера небось реабилитировали, вернули квартиру, работу... Небось комедия была, а не суд? Такие услуги все-таки оказал!

— Да ты что, убили в лагере, как последнюю падлу! Туда ему и дорога, предателю...

Я был понятным, когда полиция вскрывала его квартиру. Казенная кровать с матрацем, стол, стулья, газовая плита, пара запыленных чугунных гантелей — вот и все, что осталось после Максима! Гантели эти по сей день хранятся у меня, я выпросил их у полиции на память о друге.

Стояла запертой в нашем подъезде и еще одна кварти-

ра — Флорентина Артура. Этот находился в Марселе, во Франции! Бывший чемпион Москвы решил вдруг сделать карьеру на профессиональном ринге...

«Доллары, доллары, доллары! — писал он мне в письмах. — Хочу заработать тысячи, миллион... Куплю себе «кадиллак», виллу, роскошно оденусь! И вместе с красоткой блондинкой приеду однажды в Москву, во двор, где родился, буду кидать им в харю дешевые подарки из окна «кадиллака»: «Нате вам, шавки, нате, паскуды, вот я чего добился!»

— Деньги Артур заработает, если пойдет у него, пове-зет, — рассуждал я, читая эти безумные письма. — Оденет-ся, купит себе машину, виллу... Но как он в Москву въедет, к тому же с красоткой? Да, не зря говорит пословица: все враги твои не причинят тебе столько вреда, сколько ты сам себе навредишь и нагадишь!

И еще рассуждал я, как бывший ученик Джека Сидки, чемпиона мира среди профессионалов: нет, ничего у Артура не выйдет! Его организм, привыкший к бою в три любительских раунда, ни за что не перестроится на пятнадцать профессиональных! Да и ставки неизмеримо разные: вместо стипендии в сто рублей и жалких талонов на бесплатное питание — миллионы долларов и мировая слава в истории спорта...

Через год он вернулся: опираясь тяжело на тросточку, с протезом вместо ноги, с преступным, нехорошим блеском в мутных, оплывших глазах.

Случилось именно так, как я и думал: пару раз его попробовали в портовых кабаках и дансингах против средней руки профессионалов, где он неизменно проигрывал нокаутами. Потом — хуже: скатился на самое дно! Спутался с преступным миром, стал промышлять наркотиками, контрабандой, подрабатывал сутенерством, и дело на него открыл Интерпол. Скрываясь как-то от погони, попал в катастрофу: проститутка, сидевшая рядом в машине, погибла на месте, а он — в госпиталь, где пришлось ампутировать ногу...

Явившись домой, в Иерусалим, теперь калекой уже, Артур ничуть не успокоился и продолжал безумствовать: «Доллары, доллары, доллары...» — решив податься на сей раз в торговый флот, подзаработать на море, — золотой мечте детства. Приемная комиссия компании «Цим» его тут же забраковала из-за ноги, из-за преступного прошлого во Франции, и он уехал в Стамбул изучать турецкий массаж.

«Это у него пойдет, дай ему Бог удачи!— думал я.— Это мы отчасти изучали в институте, и если открыть салон массажа в Иерусалиме... Модно сейчас, да с его головой — вполне респектабельное дело!»

Он привез с собой из Стамбула растленную девку, нухлого, кучерявого мальчика, с трудом объяснявшихся по-английски, и поселил их в своей квартире. Вошел в пай с дирекцией роскошного отеля «Царь Ирод», сняв у них сауну, бассейн и спортивный зал с буфетом, но, не успев по-настоящему развернуться, влип в грандиозный скандал! Шум подняли религиозники, ибо, кроме массажа и невинных спортивных занятий, клиентам отеля в святом городе предлагались всевозможные половые услуги, включая педерастию,— дело лопнуло, и Артур разорился!

Потом он уехал в Нью-Йорк и снова надолго исчез. Пропал из квартиры и мальчик кучерявый, стамбульский, а растленная девка осталась и живет в подъезде нашем по сей день. Прошла гиюр, сменив себе имя с Фатимы на Сару, неизвестно чем занимаясь. Время от времени наезжает Артур, привозит сундуки с барахлом, видеотейпы, электронику...

В редкие эти заезды Артур приглашает меня с женой к себе.

На тахте лежит, развалившись, его жена — Флорентин Сара, бывшая проститутка Фатима, курит грациозно кальян и пьет чашечку турецкого кофе, с собачьей преданностью глядя на мужа-добытчика, а тот травит нам басенки про Нью-Йорк: дескать, живу в мировой столице, устроился в большой фирме химиком-инженером, давно сдал экзамены по языку и предметам, и диплом мой московский признали...

А Жанка моя, человек простой и бесхитростный, рубит ему правду-матку в лицо:

— Ну да, ври побольше! Все говорят, что моешь машины в Бруклине на бензоколонке...

Вот и вся история про трех боксеров, приехавших некогда в Израиль с благими надеждами и грандиозными планами, но так и не надевших ни разу перчаток,— ни себе во благо, ни во славу своей новой, желанной родины. А

судьба и случай распорядились нами иначе — жестоко и неожиданно...

Вы поняли, кажется, почему я в ешиве заделался спецом крупным по Храму, по камням, по рабству египетскому и почему мы напомним Петуху трех советников фараона?

Об этом в Агаде хорошо рассказано:

«...Размножились в Египте сыновья Яакова и весьма усилились, и взошел новый фараон, который не знал Иосифа, и сказал: вот, народ Израиля сильнее нас и многочисленнее, давайте исхитримся ослабить его либо совсем уничтожить, иначе станут они воевать против нас и одолеют нас и землю нашу.

Обратился фараон к своим мудрецам: что же с Израилем делать?

Сказал ему Валаам: каждого младенца мужского пола, который у них родится, — в реку бросайте! Не станет у них обновления, так ты их под корень и истребишь...

К Иову фараон обратился, и Иов не дал никакого ответа, — поступай, фараон, как тебе заблагорассудится!

Итро же, священник мидьянский, будущий тесть Моисея, так сказал: народ сей — избранный Богом Всевышним, не трогай его! Своя судьба у него на земле, своя звезда и великое назначение! Станешь в воде их губить — от воды и погибнешь...

Валаама фараон послушался: стали младенцев в Ниле топить! И погиб он впоследствии в водах Чермного моря, он и все войско его... Убили и Валаама в войне с Моавом за совет его фараону злодейский. Иов же за то, что не сказал ни доброго, ни худого — Сатаню наказан был: лишился детей, имущества, всю плотью страдал, но Бог вернул ему от достатка прежнего, и жил он долго еще. Итро же, поверивший в чудесное назначение Израиля, породнился с евреями, с Моисеем, отошел совершенно от язычества и, раскаявшись всей душой, уверовал во Всевышнего...»

А теперь любопытно узнать вам, как я попал в ешиву, как это все случилось, как началось?

После первой пресс-конференции, после гнусных и лживых нападок покойного Максима Зильбера на Израиль и Петуха, совесть моя была неспокойна, и привели меня ноги к Стене плача, к нашему доброму боссу и светлому ангелу — просить извинения за своих друзей. А он будто ждал меня, будто знал, что приду — именно я... Надел я на входе ермолку бумажную и вошел в закуток с

низкими сводами, весь прокопченный,— зашел в бумажной ермолке, а вышел в бархатной, подаренной мне Петухом! Отвел он меня сразу в ешиву, посадил у окна, здесь и сижу я по сей день, учу Тору, бывший волчонок Сидки, чемпион Средней Азии и Казахстана, а ныне — священник мидьянский по прозвищу Итро, с ребяташками, мне подобными,— из Аргентины, из Уругвая, из Штатов...

Платят стипендию небольшую — это Петух мне устроил! Но подрабатываю малость и сам тренерским ремеслом... Начальство в ешиве купило мне десять пар перчаток, пару мешков, груши, и тренирую я наших парней — пейсатых и бородатых — у нас в подвале. А ведь об этом именно и мечтал покойный мой друг — о пьедестале на олимпийских играх и парнях наших пейсатых, о гимне и флагах! Благословенной памяти великий Максим Зильбер...

С той минуты, как посадили меня у окна в ешиве «Диаспора», покой и благодать у меня в душе, но так уж ведется,— не может счастье у человека быть совершенным! Есть проблемы тяжелые с Жанкой, война иудейская: отдых субботний в доме, кашрут на кухне, омываться ей после месячных в «микве», будущая учеба Сонечки в школе религиозной, зажигать хозяйке свечи по праздникам... За эти вот мелочи ведется война между нами, глухая, упорная, и перевеса в этой войне покуда не видно. Замуж, говорит, выходила за одного человека, а в Израиле вдруг живу с другим, и этот другой себе хочет жену другую...

— А я меняться не собираюсь!— кричит.— Подобный пункт в программе моей духовной и генетической отсутствует в этой жизни... Оставь в покое меня, давай разведемся, ударимся задница об задницу и разбежимся!

Баба права, я понимаю! И жду... Жду чуда в семейной жизни и не теряю надежды, хожу с ней часто к Кедронской долине, где мы работали на раскопках. Гуляем ночью под стенами, где выплыл к небу заговоренный царем Соломоном каменный параллелепипед, так круто изменивший сразу три судьбы и Жанкину семейную жизнь...

Высоко над нашими головами виден на крепостной стене след земли — кургана...

— Надо копать, всю жизнь что-то копать!— начинаю я толковать жене.— Постоянно копать свою душу, непременно что-нибудь обнаружишь...

Иерусалим, 1985

Федор Ефимов

УЕЗЖАЮЩИМ

Ни в осужденье, ни с понуканьем:
воля невольному, стыд тому,
чей наконец обернулся камнем
хлеб в неуютном его дому.
Вечным скитальцам да будет лучше
там, где иная горит звезда,
да засияет им лишний лучик
над пятерней... Ну а нам куда?
В душу, в себя, к вековым веригам,
к тихому яду в сырой щели...

Не поминайте, евреи, лихом
нас, чужеземцев родной земли.

1976

* * *

Переводил еврейского поэта,
его на землю предков проводил,
душа хорошей памятью согрета,
как с ним общался, гневался и пил.
Сегодня, удаляясь в одиночку,
где подбородок лезвием скребешь,
произношу запомненную строчку:
— Что, птица Хаим, ты еще живешь?..
И отвечает зеркало на идиш:
— Как видишь!..—
И переходит сразу на иврит:
— А что, болит?..

Я шлю поэту в мысленном конверте
спокойной старости и легкой смерти.

1981

ЭКРАН И СЦЕНА

Эдуард Капитайкин

О ТЕАТРЕ ГРАНОВСКОГО¹

«...Пластическая основа и сила еврейства в том, что оно выработало и перенесло через столетия ощущение формы и движения, обладающее всеми чертами моды — непреходящей, тысячелетней... Я говорю о внутренней пластике гетто, об этой огромной художественной силе, которая переживает его разрушение и окончательно расцветет только тогда, когда гетто будет разрушено...»

Э. Мандельштам. Михозлс, 1926

ПРОЛОГ О ЕВРЕЙСКОМ ТЕАТРЕ

Я понимаю, что начинать очерк с пространной цитаты значит сразу испытывать терпение читателя. Но цитата того стоит, ибо она уникальна: первый отклик русской прессы на первый еврейский спектакль в России.

В августе 1880 года труппа Авраама Гольдфадена приехала на гастроли в Москву и показала четырнадцать спектаклей в Петровском и Солдатенковском парках. Рецензент, скрывшийся под инициалом X., написал в «Русских ведомостях»: «Были мы, например, недавно в

¹Статья написана при содействии Мемориального фонда еврейской культуры.

Немецком клубе, где шла четырехактная еврейская оперетка «Фанатик», слова и музыка — сочинение г-на Гальдфадена (так в тексте.— Э. К.). Вы, может быть, подумаете, что это оперетка из еврейской жизни и не более? В том-то и дело, что нет: это а la еврейское произведение, написанное на том же самом языке, который громче других раздается в Шклове, Житомире, Бердичеве и т. д., и разыгранное чистокровными иерусалимскими дворянами.

Как небывалый курьез, «Фанатик» собрал массу публики, среди которой преобладали, конечно, жители Зарядья с их семьями. Вопреки обычаю, это чрезвычайное собрание Шмулей, Берок, Сарр и Ревекк никоим особым, им обыкновенно свойственным, запахом воздух театра не отравило. Напротив, все они были очень элегантны, резедой и гелиотропом благоухали. Началась пьеса торжественным застольным хором, очень недурно пропетым и, пожалуй, оригинальным, затем... затем мы сразу очутились среди всевозможных гевалд, вай мир и т. д. Слушаем, и хоть бы одно слово поняли. Обратились к соседям, и нам весьма любезно со всех сторон наперебой начали переводить.

...Оканчивается пьеса благополучно: влюбленные соединяются. Как представление для народа оперетка эта не без достоинств; в ней хлестко, для простого человека весьма наглядно, осмеиваются нелепые предрассудки, дикий фанатизм изувера, только и видящего спасение в сохранении обычаев старины, не признающего ни науки, ни человеческого развития, ненавидящего все новое, свежее. На наш взгляд, в пьесе этой стоит только переменить имена: Реб Пинхеле назвать каким-нибудь Кит Китычем Полугаровым, Хайку — Аксюшей, дочерью его; Макса — Владимиром, что ли, Куне-Лемеля — Васькой Свистобрюховым, приказчиком Полугарова, — и перед нами правдивая картинка «купецкого» быта. Разыграна пьеса была очень дружно...»¹

Обратите внимание: автор точно отметил связь еврейского драматурга с А. Н. Островским. А главное, любопытна, показательна смена его психологического состояния: начав с привычных антисемитских выпадов, он на наших глазах становится внимательным зрителем, в конце концов вполне разумно оценивающим и средние литературные достоинства пьесы Гольдфадена, и очень неплохой, даже по взыскательным московским меркам, дружный ансамбль его молодой провинциальной труппы.

Какой была бы эволюция первого еврейского театра,

можно лишь гадать: ровно через два года, в 1882 году, последовал министерский запрет на еврейские спектакли в России, и Гольдфаден со многими своими питомцами уехал в Америку...

Остальные же, предъявляя паспорт якобы «немецкой труппы», устало брели из местечка в местечко, выходили на узкую еврейскую улочку и несли своему народу смех и слезы, как об этом рассказано в романе Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды».

Известный беллетрист и драматург начала века П. Гиршбейн писал: «Еврейский народ справедливо называют «народом книги». После падения Иудеи евреи на многие века совершенно ушли в книгу. Рок, оторвавший еврейский народ от жизни, не дал ему снова прирасти к ней. Народ висел вечно «на воздухе», и книга была его единственным утешением в настоящей скорби. В книге видел он выражение своим страданиям, в ней изливал он свои слезы, в ней черпал он свою стойкость в бедствиях...

...Старое еврейство не находило нужным вновь воплощать в живые пластические образы пережитое...»²

Согласно распространенным взглядам, отсутствие театра у евреев (как и иных пластических искусств — скульптуры и живописи) объясняется тем, что они стояли в стороне от эллинизма и эллинских форм духовного прогресса. Заслуживает самого пристального внимания и изучения на современном уровне полемицирующая с этими взглядами концепция известного русского драматурга, теоретика и практика театра Н. Н. Евреинова, который в книге «Азазел и Дионис. О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у семитов» (1924) доказывал зависимость греческого театра и сцены от некоторых еврейских религиозных обрядов, содержавших элемент театрализации.

Но, так или иначе, в современном своем русско-европейском виде еврейский драматический театр (на первых порах неразрывно связанный с музыкальным) действительно родился немногим более ста лет назад в румынском городе Яссы при участии Авраама Гольдфадена и его товарищей. От погибшего под царским топором детища Гольдфадена его «незаконные» немецко-еврейские труппы-преемники унаследовали, увы, не достоинства, а недостатки. Они попали под влияние деятелей «с двойной бухгалтерией», коммерсантов-антрепренеров и бездарных

постановщиков комедий с танцами и куплетами, фактически унижавшими народ — типа «Вельвель кушает компот» или «Мамес, Татес, цурес» и т. д. Впрочем, недалеко отошли и слезообильные мелодрамы Якова Гордина («Миреле Эфрос», «Сиротка Хася», «Океан» и др.).

На безотрадном фоне еврейского театра XIX века блистали — точно по Шолом-Алейхему — лишь отдельные «блуждающие звезды»: Яков Адлер, Э.-Р. Каминская. Вот что, например, писал о спектакле Варшавского еврейского просветительного театра крупнейший театральный критик России А. Р. Кугель (Номо повус): «Г-жа Каминская в заглавной роли изображала еврейского «короля Лира»... Исполнение ею роли Миреле Эфрос выдвигает ее в ряд первых актрис мира. Столько правды, чувства, искренности, благородства, художественного вкуса, что чувствуешь себя зачарованным. Говорю с убеждением: это редкий, замечательный талант, и когда он остается в сфере родного быта и ясной психологии, впечатление тонкой художественности сопровождает каждый жест, каждое слово артистки»³. А в другой статье он сравнивал Каминскую с итальянской актрисой Элеонорой Дузе⁴.

Но чаще всего еврейские зрители сталкивались с актерами иного типа. «Нынешний еврейский актер — это вчерашний приказчик,— писал Давид Закасай в журнале «Рампа и жизнь»,— безграмотный, неинтеллигентный, личность, имеющая столько представлений о сцене, сколько Пуришкевич о благовоспитанности»⁵.

В противовес такому актеру и такому «искусству» в 1908 году возник в Петербурге Художественный (явно по аналогии с МХТ) театр П. Гиршбейна, ставивший в основном пьесы собственного владельца, написанные в духе современной драмы а la Метерлинк энд Леонид Андреев. Это интеллигентское, наивное, идеалистическое театральное начинание с трудом просуществовало два года, не имея ни помещения, ни денег, ни... зрителей, предпочитавших туманной символической пьес Гиршбейна все ту же грубую оперетку.

«...Оперетки и шансонетки... своим смрадным дыханием отравляют народную массу,— констатировал в ту пору И.-Л. Перец.— ...Темно и сыро в Еврейском Доме... каждая еврейская хижина — богатейший материал для глубочайшей трагедии; а на подмостках массе преподносят бессмысленные мелодрамы, пошлые любовные сцены... ...Народ растет, растут его культурные потребности, а удовлетворения нет... Те артистические силы, которые

еще не ушли от нас, которые еще не изменили еврейской сцене, погибают, изнывают под тяжестью материальных нужд... им некогда учиться, размышлять, подмечать, воспринимать, претворять... Появляется поэт-драматург — и нет для его национальных драм ни сцены, ни артистов... Нет артистов — нет сцены — нет драм... убого, темно и сыро...»⁶

Только в 1916 году журнал «Театр и искусство» сообщил наконец об организации в Петрограде еврейского театрального общества под председательством известного адвоката, защитника Бейлиса, О. О. Грузенберга, поставившего себе целью «развитие еврейского театрального дела в России. В первую очередь решено приступить к осуществлению идеи еврейского народного театра в Петрограде»⁷.

Но планам создания нового еврейского театра удалось осуществиться лишь на волне революции, давшей евреям России гражданские права.

Беспрецедентным в мировой истории явилось тогда создание в Москве еврейского театра на иврите — «Габима», связанное с именами К. С. Станиславского и Е. Б. Вахтангова. А потом возник и еврейский театр на идише — будущий ГОСЕТ, созданный выдающимся режиссером XX столетия А. М. Грановским.

В 1926 году в статье «Абрам Гольдфаден», посвященной пятидесятилетнему юбилею первого еврейского театра в России, Грановский писал: «Особый смысл приобретает этот праздник, когда, оглянувшись назад, мы видим, в какой сравнительно короткий срок еврейский комедиант, преодолев все невероятные трудности, лежавшие на его пути, входит в новую эпоху равным среди равных»⁸.

ВЕЛИКИЕ ГОДЫ ГОСЕТА

Имя Грановского сегодня практически забыто на родине — в Москве — и почти не известно на земле его предков — в Иерусалиме.

С Россией по крайней мере все ясно. Мало того что Грановский — режиссер еврейского театра, он еще и эмигрант, «невозвращенец». С Израилем — сложнее. «Идишистская» культура здесь была не в особой чести. Это общеизвестно. Но и «свои», «идишисты», до сих пор отказывают режиссеру в признании. Несколько лет назад мне довелось прочитать, что, кроме природной фамилии,

у Грановского (Азарха) не имелось вообще ничего еврейского, что он являлся просто большевистским комиссаром на еврейской сцене.

Легенда, якобы Грановский был далек от еврейства и не разделял национальных устремлений своих учеников, была впервые создана учениками — уже после того, как учитель остался на Западе. К ней вскоре добавилась легенда вторая: о Грановском — деспоте и формалисте, который во имя осуществления своих эстетских замыслов превращал актеров в марионеток, подавляя их творческие индивидуальности...

Печальная ирония судьбы выразилась в том, что театр Грановского, вплоть до своей трагической гибели в пригнобленном 1949 году, так никогда и не оправился от потери «деспота»-руководителя и буквально до самого конца задыхался без настоящей режиссуры.

Впрочем, признаем: доля истины во второй легенде имела. Грановский отнюдь не был человеком «приятным во всех отношениях». Он мог быть холоден, равнодушен, жесток. Он действительно был властолюбив и деспотичен. «...Грановский никогда ничего не объяснял,— вспоминает очевидец,— он декретировал. В трудные минуты он закрывал глаза,— его руки с тонкими, белыми, несколько вялыми пальцами предупреждающе взлетали вверх, потом веки поднимались, губы повелительно говорили: «Делайте так-то!» — и руки, взмахнув, летели вниз, приводя по-дирижерски всю сценическую машину в действие»⁹.

Он мог, полушутя, полусерьезно, затеять такой, например, диалог с актером: «А ты зна-а-ешь, кто я тебе?» — «Знаю», — покорно отвечал тот (а это был не кто иной, как великий премьер его театра — Михоэлс). «А кто?» — «Высшее начальство». — «А знаешь, что я могу тебе приказать стоять на одной ноге?» — продолжал Грановский. «Знаю», — невозмутимо откликнулся Михоэлс. «Ну и что же?» — «Буду стоять, Алексей Михайлович!»¹⁰

И стояли, надо сказать. Без всякого принуждения, даже с радостью, с актерской полной отдачей... Зато потом все это припоминали учителю сполна. (Михоэлс, надо отметить к его чести, в этом числе не был и от Грановского не «отмежевывался». Дочь актера Наталия Вовси-Михоэлс в своей книге «Мой отец Соломон Михоэлс» (1984) приводит его письмо в редакцию газеты «Рабочий и искусство», в котором актер смело защищал оставшегося за

границей режиссера от нападок: «ГОСЕТ был создан Грановским. Благодаря ему театр приобрел свой стиль, свое лицо, свой собственный театралный язык...»)

Именно Грановский стоял у истоков профессионального еврейского театра на идише, знаменитого ГОСЕТа в Москве, что помещался на Малой Бронной. Он был воспитателем и наставником плеяды еврейских актеров, среди которых особо блистали Соломон Михоэлс и Вениамин Зускин.

Имя его в то время стояло в одном ряду с именами выдающихся режиссеров XX столетия: Мейерхольда, Вахтангова, Таирова...

Настоящие имя и фамилия Грановского — Авраам Азарх. Он родился в Москве в 1890 году. Жил с родителями в Риге. В 1910—1911 годах учился в Петербургской школе сценических искусств по режиссерскому классу А. А. Санина (Шенберга), сподвижника Станиславского, после революции — видного оперного режиссера русских сезонов в Париже и Лондоне, известного также женитьбой на прототипе чеховской «Чайки» — Лике Мизиновой.

Выпускные, экзаменационные спектакли Грановского — «Три сестры» Чехова и «Укрощение строптивой» Шекспира. Затем несколько лет в Германии, где он занимался в Мюнхенской театральной академии и одновременно успел попробовать несколько театральных профессий. Работал помощником режиссера, машинистом сцены, техником, осветителем, что очень пригодилось в будущем. Как сделать (именно «сделать»!) спектакль — это знал назубок...

Учителем Грановского в Германии был великий тамошний режиссер (еврей по национальности) Макс Рейнгардт. Молодой режиссер из России тщательно изучил его монументальные массовые действия с сотнями статистов, с грандиозными вертикальными и диагональными планами, со скульптурными и архитектурными мизансценами.

Уроки Рейнгардта не раз отзовутся в режиссуре Грановского в Еврейском театре, но особенно в первых петроградских спектаклях после возвращения из-за границы: «Царь Эдип» и «Макбет» с Ю. М. Юрьевым и М. Ф. Андреевой в главных ролях.

Грановский возвратился в Россию в первые дни после революции, и его силам сразу же нашлось применение. В эту бурную, трудную и жестокую пору, вопреки взорванному и опрокинутому быту или (кто знает?) именно бла-

годаря этому взрыву, возникла настоящая потребность в театре.

Стоит вспомнить, что Грановский в 1921 году, на арене бывшего цирка Саламонского в Москве, поставил пьесу Маяковского «Мистерия-Буфф» (на немецком языке для делегатов Конгресса Коминтерна).

По свидетельству современников, спектакль действительно походил на цирковую феерию. В нем было много эффектных сцен, остроумных трюков, красок, танцев. Одним из персонажей играл ученик Грановского Соломон Михоэлс: ему в то время было двадцать девять лет, и Учитель был его ровесником. Начинали они поздно и в буквальном смысле с нуля...

Идея создания современного еврейского театра на идише, видимо, давно жила в душе Грановского. Завоевав авторитет и известность, заручившись официальной поддержкой, он начал действовать: уже в 1919 году в Петрограде родилась еврейская школа-студия сценических искусств. В 1920 году в качестве Государственного Еврейского театра эта студия переехала в столицу. Здесь произошла встреча Грановского и его питомцев с художником Марком Шагалом, во многом перевернувшая их прежние представления о национальном еврейском искусстве.

Внешне обстоятельства этой встречи выглядели анекдотично.

...Вот Шагал оформляет первый московский спектакль Грановского — «Вечер Шолом-Алейхема». Абрам Эфрос, известный художественный критик, а в то время — один из руководителей театра, вспоминал: «Мы должны были пробиваться к спектаклю, так сказать, через «труп» Шагала. Его возмущало все, что нами делалось, чтобы театр был театром. Он плакал настоящими, горячими, какими-то детскими слезами, когда в зрительный зал с его фресками поставили ряды кресел; он говорил: «Эти поганые евреи будут заслонять мою живопись, они будут тереться о нее своими толстыми спинами и салными волосами». Грановский и я безуспешно, по праву друзей, ругали его идиотом, он продолжал всхлипывать и причитать. Он бросался на рабочих, таскавших его собственноручные декорации, и уверял, что они их нарочно царапают.

В день премьеры, перед самым выходом Михоэлса на сцену, он вцепился ему в плечо и иступленно тыкал в него кистью, как в манекен, ставил на костюме какие-то

точки и выписывал на его картузе никакими биноклями не различимых птичек и свинок, несмотря на повторные, тревожные вызовы со сцены и кроткие уговоры Михоэlsa,— и опять плакал и причитал, когда мы силком вырвали актера из его рук и вытолкнули на сцену...»¹¹

Шагал действительно делал не декорации и костюмы, а продолжал писать свои картины. Но его внутреннее творческое воздействие на Грановского и Еврейский театр оказалось серьезным, глубоким, непреходящим.

Тот же А. Эфрос в одной из статей 1920-х годов указывал на внутреннюю связь Шагала и ГОСЕТа, несмотря на «совершенную полярность художественных темпераментов экстастика Шагала и мозговика Грановского»... «Шагал... вобрал в себя искусство традиции национальной старины, модернизм сегодняшнего дня и зачатки будущего. Он протянул нити назад, вглубь к прошлому — вплотную к самым коренным, исконным, живым обликам староеврейского быта и привел их со всем живым и мертвым инвентарем, со всей долгополостью и длиннородостью и фантастикой на свои картины, как ГОСЕТ в «Колдунье» — на театральные подмостки»¹².

Именно с «Колдуньи» (1922), не хронологически, а творчески, по существу, и нужно вести точку отсчета деятельности Государственного Еврейского театра и его руководителя Грановского.

«Колдунья» — это инсценировка пьесы родоначальника еврейской сцены Авраама Гольдфадена, с незатейливым сюжетом о бедной падчерице из еврейского местечка, проданной злодейкой мачехой Бабе-Яге, сбывшей свою жертву в турецкий гарем и т. д. и т. п.

«Колдунью» в ГОСЕТе можно было бы назвать «еврейским плясом» по Гольдфадену. Текст старой, испытанной, наивной и сказочной пьесы, основанной на национальном фольклоре, стал для режиссера поводом для развертывания красочных, напоенных движением и музыкой картин опоэтизированного еврейского быта.

Темп и ритм — два бога «левой» режиссуры 1920-х годов — торжествовали в спектакле.

Художник Исаак Рабинович построил на сцене площадь в центре характерного еврейского местечка, с покривившимися сдавленными домами, полосами галерей-балконов, плоскими крышами и бесконечными лестницами. Персонажам Гольдфадена не хватало места в этом замкнутом узком пространстве. Они устремлялись вверх — на крыши, лестницы, галереи, балконы, как бы

наглядно реализуя излюбленный мотив еврейской литературы и еврейского искусства — от Шолом-Алейхема до Шагала — мотив «людей воздуха».

Танцевало буквально все — яркие пятна красных костюмов, колеблющиеся в лучах прожектора силуэты жалких домов, кривые, по-особому вывороченные ноги обитателей местечка, пальцы их рук, внутренние стороны ладоней...

Замечательно выразил глубинное существо этой бесконечной пляски, основанной на «внутренней пластике гетто», О. Э. Мандельштам в эмоциональном отклике на гастроль ГОСЕТа в Киеве, в 1926 году: «Здесь пляшущий еврей подобен водителю античного хора. Вся сила иудаизма, весь ритм отвлеченной пляшущей мысли, вся гордость пляски, единственным побуждением которой в конечном счете является сострадание к земле,— все это уходит в дрожание рук, в вибрацию мыслящих пальцев, одухотворенных, как членораздельная речь...»¹³

В «Колдунье» впервые проявили себя актеры — ученики Грановского, с их исключительной природной и развитой музыкальностью, культом жеста, богатством речевых интонаций, органично переходящих в напев и пение.

Молодо и весело начинался театр Грановского. Как их многочисленные театральные соседи, Мастер и его питомцы откровенно смеялись над прошлым, до поры до времени не находя там ничего ценного и достойного внимания. Еврейская молодежь, только что вырвавшаяся на волю из Егупцов, Касриловок и Тунеядовок, насмешливо отрицала и местечковое еврейское прошлое, и старый еврейский театр, словно на практике осуществляя брошенный Ицхаком-Лейбушем Перецем лозунг: «Еврейский театр нужно разрушить до основания, камня на камне не оставить и начать строить заново!..»

Характерен тут спектакль ГОСЕТа «Три еврейские изюминки» (1924). С явным знанием дела (так уж вышло, что театральные рецензенты тех лет в основном были евреи...) его рецензент писал об особом, непередаваемом на другие языки смысле еврейского слова «изюминка». «Даже в праздник Пасхи, когда еврейский ортодокс перетряхивает, моет, перетирает все в своем доме, уничтожая остатки допасхального, будничного, он отдыхает и пьет — изюмное (обязательно — изюмное!) вино, им подслащает свою жизнь, над ним вспоминает, с ним мечтает и строит планы...»¹⁴

Первая из «изюминок» Грановского представляла со-

бой пародийную «национальную трагедию» в исполнении некоего «Одесского еврейского театра». Одна нелепость фантастически нагромождалась на другую: богдыханша Цынце-Дрынце — «родом из Одессы»; бандиты, залегшие между одесским портом и Шанхаем; подмена женихов и, наконец, апофеоз с «вечным жидом» — Агасфером, венчающим любящие сердца под «звездой Сиона». Все «трагедийное» действо сопровождалось музыкальным попури из модной оперетки «Гейша», марша «Тоска по родине» и национальных еврейских мелодий. Во второй «изюминке» «Еврейский американский театр» разыгрывал лихую комедию «Сарра хочет негра», с обыгрыванием всевозможных положений, представляемых этой обольстительной ситуацией. Наконец, третья — «Ночь у хасидского раби» стала пародией на спектакли недавно родившегося еврейского театра на иврите, на студию «Габима».

ГОСЕТ вообще на первых порах воевал с «Габимой», объявив ее «синагогой», а себя — единственным «подлинным» еврейским театром. Таков был полемический тон того времени. Другое же время рассеяло это предубеждение питомцев Грановского против товарищей по театральному оружию: пройдет всего несколько лет, и сам Грановский встретится с «Габимой» в совместной работе. Но об этом речь впереди...

ГОСЕТ скоро пришел к внутреннему осознанию трагической экстастики вахтанговского «Гадибука» и воплотил лирику и трагедию еврейского существования во многих спектаклях. Первым из них следует назвать «Ночь на старом рынке» И.-Л. Переца (1925).

Основная тяжесть действия была перенесена Грановским на музыку и движение. От текста Переца, по свидетельству постановщика, осталось 250 строк, причем текст был разработан по принципу оркестровой партитуры, так что фраза из трех слов могла произноситься тремя актерами. Представление состояло из двух частей: первая — умирающий и вымирающий город, вторая — ожившее кладбище. Мертвецы вставали ночью из гробов, чтобы проклясть когда-то прожитую нищенскую жизнь... Спектакль строился как массовое действо: солистов не было, хотя каждая фигура была индивидуализирована. Наглядно противопоставлялись друг другу местечковая толпа и старые «скоморохи» — бадхены, которыми верховодил трагический шут в красном, Михоэлс.

В представлении участвовали оркестр и хор, в который были вкраплены чистые детские голоса,

контрастировавшие со сгущающимся мраком обстановки...

Режиссеру было важно в равной мере все — авторский текст, исполнители, музыка, декорации, свет. Из объединения всех элементов властной, точной рукой постановщика рождалась симфония спектакля. Его жанр сам Грановский определил музыкально — «мистерия-оратория», «причем оратория специфическая, так как она отличается от христианской тем, что по своему замыслу полна отрицания»¹⁵. То был реквием по еврейскому «Вчера».

«Ночь на старом рынке» оформил Роберт Фальк, в дальнейшем — постоянный сотрудник Грановского, один из выдающихся еврейских, да и мировых художников XX века. Он дал условное, в конструктивистском духе, изображение площади-призрака, населенной людьми-призраками, напоенной фантастикой страшной сказки. То была старая рыночная площадь, старая и веками своей истории, и пережитым на ней, гниющая, да почти уже и сгнившая. На ней возникал бесконечный хоровод мертвых людей и оживших мертвецов. Карнавал идей и судеб. Тени прошлого наступали на зрителей, но исчезали с первыми лучами солнца под победный, «петушиный» крик бадхена...

В том же 1925 году Грановский поставил фильм «Еврейское счастье» по мотивам рассказов Шолом-Алейхема. Его соавтором на этот раз был И. Э. Бабель, значившийся в титрах картины как скромный «автор надписей», но фактически давший ленте направление и цель.

Грановский шел здесь от этнографически воссозданного местечкового быта еще дальше — в мир фантастики и романтики. Воплощением вековой еврейской поэтики оказался в фильме Михоэлс в роли Менахема-Менделя, неудачника и мечтателя, в сердце которого жила неистребимая любовь к людям. Его тощая «донкихотская» фигура с неизменным черным котелком, черным зонтиком, черным саквояжем заставляла современников вспоминать о Чарли Чаплине.

Высоты подлинной трагедии достигли Грановский, Бабель и Михоэлс в финале кинокартины.

...Не в силах понять, почему всегда остаются непринятыми, невознагражденными его искреннее соучастие и бескорыстная радость при виде счастья других, Менахем-Мендель бредет, медленно перебирая ногами, с «траурными» зонтиком и саквояжем, безмерно жалкий, бесповоротно убитый судьбой, — и вдруг, махнув рукой, убыстря-

ет свой шаг, и вот уже бежит, все быстрее и быстрее, вдогонку за призраком «еврейского счастья», где-то снова мелькнувшим...

В этой способности беспечно махнуть рукой на все — на прошлое, на несправедливость, на несчастья, на гонения, и безоглядно броситься в неизведанное, наперекор судьбе — таился и исход, и источник жизнестойкости, «вечности» Менахема-Менделя. Таился смысл еврейского характера и существования!

Так, начав с веселой издевки над «Гадибуком», Грановский вслед за «Габимой» — вслед за Вахтанговым, Цемахом и Ханой Ровиной — пришел к театральному выражению судьбы еврейского народа, к национальной скорби и горечи, густо приправленной иронией, улыбкой понимания и сочувствия.

Логическим исходом нового мироощущения Грановского и его труппы стали спектакли «Путешествие Вениамина Третьего» (1927) и «Человек воздуха» (1928).

Здесь ГОСЕТ после метких стрел в чужой адрес и театральные парадоксы внутренне вновь сомкнулся с уже давно эмигрировавшим Шагалом. Роберт Фальк, оформлявший инсценировку повести Менделе Мойхер-Сфорима, создал полусказочную, полуреальную атмосферу спектакля. Красочный, будто сшитый из лоскутков прабабушкиного одеяла, занавес открывал (за порталами из кривых лавчонок в три этажа с мерцающими огнями окошек) портативную, разборную, зеленую, как трава, площадку. На ней время от времени появлялись то одинокое дерево, то забор местечковой улицы, то полуразрушенный мостик, то лубочный пейзаж городка, то река из куска синей ткани, то игрушечная корчма. Легкость и фантастичность оформления сказывалась и в точно угаданных костюмах: в платках торговки с корзинками, в феерических перьях и уборах приснившихся героям царей и царевен.

Приподняв этот лоскутный занавес, выходили на сцену Вениамин Третий — Михоэлс и Сендерл-Баба — Зускин. Первый — еврейский Дон-Кихот, с клинообразной головой, вырастающей из сутулых плеч, с узкой рыжеватой бороденкой, растущей только на одной половине подбородка. Второй — еврейский Иванушка-дурачок, еврейский Санчо Панса — «себе на уме», коренастый, широкоплечий, с расплескивающейся из углов рта и маленьких, прищуренных глаз улыбкой. Отсюда они начинали комическое и печальное путешествие из Тунеядовки на Землю

Обетованную, начинали бегство от жен, прозаических еврейских «Дульциней».

Жанром спектакля стала еврейская сказка, начавшаяся как комедия и закончившаяся пронзительной лирической нотой, которая сопровождала бесславное возвращение героев «на круги своя».

Другой спектакль, «Человек воздуха», стал новой вариацией на тему «Ночи на старом рынке», «Еврейского счастья» и «Вениамина Третьего». Здесь тоже уверенно солировали Михоэлс и Зускин в облике героев Шолом-Алейхема — двух «дельцов», странствующих по белу свету в поисках «счастья» и «дел», повсюду «дела» находящихся и нигде, никогда, нигде не поспевающих.

Шагаловская тема «человека воздуха» стала не только названием спектакля, но его внутренним, содержательным и формообразующим началом.

Критик и режиссер Самуил Марголин так оценил тогда постановку: «После всей беспощадной издевки и беспощадной иронии над старым еврейским бытом, над его поверьями и причудами, ГОСЕТ угадывает романтику еврейства в безропотных страданиях местечковых героев и нежность тихих душ в нищенских буднях.

...Своими спектаклями ГОСЕТ говорит еврейским массам: «Я подтруниваю над нашими общими предками. Я порой варварски обращаюсь с традициями. Но ведь я ценю вместе с вами, как лучшую радость, ваше вечное искание смысла человеческого бытия...»¹⁶

Новая интонация ГОСЕТа была уловлена Марголиным верно и тонко. Но не всем пришлась она по вкусу. Все чаще и чаще театр стали подвергать разносной критике. Ее мишенью был избран, разумеется, руководитель — Грановский, «эстет», «театральный гурман», «еврейский барчук», «заграничник» (имелись в виду его «буржуазное происхождение» и «немецкая школа»).

И вот, после поистине триумфальных гастролей ГОСЕТа на Западе режиссер решил в 1928 году не возвращаться в Советский Союз.

В 1931 году в Берлине произошла знаменательная, но, к сожалению, не имевшая последствий, встреча Грановского с «Габимой», к тому времени обосновавшейся в Тель-Авиве и выступавшей в Европе. Он поставил на сцене бывших врагов-соперников-друзей известную мелодраму немецкого драматурга Карла Гуцкова «Уриэль Акоста». Когда-то Грановский ставил ее в ГОСЕТе, но в новой труппе не стал повторять старый спектакль. Вместе с вер-

ным Р. Фальком, опираясь на живопись Рембрандта и Терборха, он создал жанровые картины еврейской жизни, еврейского быта, полные трагизма и юмора. Героиней спектакля, вопреки традиции, стал не Уриэль, а Юдифь в исполнении Ханы Ровиной.

Можно лишь гадать, что было бы, если бы Грановский связал свою дальнейшую творческую жизнь с «Габимой» и вообще с еврейским театром.

Но судьба распорядилась иначе.

ГИБЕЛЬ

Режиссер познал все трудности, моральные и (увы!) материальные тяготы эмигрантской жизни.

У Юрия Олеши есть пьеса «Список благодетелей». Мало кто знает, что сюжет ее и тема были подсказаны автору судьбами тех артистов, которые в конце 1920-х годов покинули Россию, — Грановского и Михаила Чехова. В пьесе Олеши есть эпизод, в котором директор некоего парижского театра по имени Маржерет предлагает героине — бывшей знаменитой советской актрисе Елене Гончаровой дуть задом в гамлетовскую флейту...

Сцена эта подсказана реальным фактом первых месяцев берлинской жизни величайшего русского актера нашего столетия Михаила Чехова. Он хотел играть в Берлине Гамлета и неожиданно столкнулся с вопросом: «Танцуете?» — «Зачем танцевать? — «Мы начнем с кабаре».

Грановский прошел тот же путь, только в обратном порядке — он начал с Гамлета (точнее, если уж придерживаться строгой документальности, — с постановки пьесы Мольера в «Лессинг-театре»), а уж закончил в кабаре...

С крупнейших берлинских сцен и парижских киностудий Грановский уходил все дальше и дальше на периферию западной художественной жизни, пока не исчез совсем... Он умер во Франции, в 1937 году, в неизвестности и буквально в нищете. Ему не исполнилось 47-ми лет...

Масштаб таланта Грановского настоятельно требует его возвращения из столь долгого небытия и забвения. Хотя бы на еврейской земле...

Точно сказал о нем А. Я. Таиров, основатель и руководитель знаменитого Камерного театра, с которым постоянно сравнивали ГОСЕТ: «Еврейский театр не должен быть театром о евреях... и только для евреев. Наоборот, будучи театром главным образом для евреев, он должен

вводить их в круг всего наиболее ценного в международной культуре... Вот почему я считаю, что Грановский поступил как мудрый художник, разбив границы своеобразного культурного гетто своего репертуара и выйдя на широкую дорогу общечеловеческого творчества...»¹⁷

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Русские ведомости, М., 1880, 10 августа.
- 2 Театр и искусство, 1906, № 25, с. 393—395.
- 3 Театр и искусство, 1908, № 19, с. 335.
- 4 Театр и искусство, 1908, № 17, с. 314—315.
- 5 Рампа и жизнь, 1910, № 37, с. 604.
- 6 Театр и искусство, 1911, № 15, с. 310—311.
- 7 Театр и искусство, 1916, № 16, с. 319.
- 8 Программы гос. академических театров, 1926, № 63, с. 5.
- 9 Сб. «Михоэлс». М., Искусство, 1981, с. 329.
- 10 Там же, с. 326—327.
- 11 Цит. по книге: В о в с и - М и х о э л с Н. Мой отец Соломон Михоэлс. Тель-Авив, 1984, с.32.
- 12 Театр и музыка, 1922, № 9, с. 110—111.
- 13 М а н д е л ь ш т а м О.Э. Собр. соч. в 3-х томах, т. 3. Нью-Йорк, 1969, с. 108.
- 14 Б е с к и н Э. Три еврейские изюминки.— Новый зритель, 1924, № 15-16, с. 8.
- 15 Искусство трудящимся, 1925, № 12, с. 7.
- 16 Новый зритель, 1927, № 19, с. 6.
- 17 Программы гос. академических театров, 1926, № 63, с. 12.

Абрам Эфрос

ХУДОЖНИКИ ТЕАТРА ГРАНОВСКОГО

I

Годы войны и годы революции были для русского театра эпохой кризиса. Его история за эти пятнадцать лет носит неорганический характер; иногда она парадоксальна. Вторичные элементы играли в ней большую роль, нежели основные. Это скорее история сценических аксессуаров, нежели театрального искусства. Прежде всего, это история внешнего оформления сцены; часто это всего только история декораторов.

Этому отнюдь не противоречит то, что как раз теперь русский театр получил мировое признание. В кой-каких Европах он сыграл даже преобразующую роль. Однако стоит ли утешаться тем, что там положение было еще хуже? Западная критика, успевшая оправиться от былых восторгов, сейчас мстительно твердит, что мы были только экзотическим эпизодом. Для доказательности она прибавляет, что нас сменила мода на негров. Это звучало бы уничтожающе, ежели слово «негры» мы произносили бы с тем же ударением. Но вовсе не надо пережить русскую революцию, чтобы уметь таким словам давать их настоящую значимость. Для этого достаточно только не быть героем ее величества пошлости. Мы же готовы говорить так: русское и негрское искусство были освежающим ветром для Запада.

Это не меняет ничего во внутренних процессах нашего театра. Яркость их проявлений я мог бы назвать румянцем кризиса. Вначале русский театр лихорадило декоративизмом. Роль художника была несоразмерно велика. Я не боюсь утверждать (это подсказывает мне память профессионала), что премьеры 1912—1917 годов чаще всего шумели успехом декораций, а не актеров. Потом, после

Октябрьского переворота, пришла эра футуризма. Так случилось не потому, что русский футуризм запоздал, как обычно запаздывали вторжением в Россию новинки западной культуры. На сей раз Европа была тороплива, а мы оказались очень податливы. Но в 1917 году силой одного из блистательнейших парадоксов революции, футуристы стали художественной властью. Они были куточком нового правительства, делегированным в область искусства. Впрочем, уравнилительного времяпользования здесь не оказалось. Своих пяти лет футуристы не заполнили. Неистовство их абстракций, сдвигов и разрывов уже к 1920 году вызвало реакцию. Она скоро приняла характер буйной вспышки опрошенства. Говоря по-толстовски, театр потянуло «на тюрю». Даже декорационный нигилизм теперь узнал свои часы торжества. Он только пребывал на сцене под другой фамилией,— в театральной практике это обычно! Таков «конструктивизм» Мейерхольда и его группы. Сцена была бесстыдно оголена, со всеми своими подъемниками, канатами, падугами, люками, задними стенами, рабочими. Это было достаточно цинично, чтобы стать модным и заразить театры пандемией. Она скоро прошла, но русский театр оказался истощенным. Его декорации теперь вялы и меланхоличны. Художник на сцене есть, но, в сущности, его нет. Он малоактивен и почти незаметен. В лучшем случае он имитирует самого себя. Это — служилый персонал, а не руководитель театра, как в то десятилетие, между 1910 и 1920 годами. Художник вернулся в ничтожество. Актер, ансамбль, игра снова стоят на первом плане. Я готов был бы считать это признаком здорового роста, если бы не боялся, что нынешнее равнодушие к художнику переходит в апатию. Между тем у художника есть свое законное место в сценической системе элементов. Оно не первенствующее, но и не третьестепенное. На нашей сцене сейчас нет равновесия. Опыта у нас куда как много, но и куда как мало такта. В искусстве же, кажется, нет греха хуже, чем этот. Мы не вернули себе чувства меры. Русская сцена эпохи 1925—1930 годов все еще больна дисгармонией.

II

Грановский стал создавать свой театр в разгар революции. Это естественно, так как нет поры более благоприятной и для творцов и для авантюристов. Год

1919-й был страшен. Эпоха военного коммунизма стояла в зените кризиса. Стратегический гений Ленина уже искал обхода. Революция вулканизировала всеми возможностями. Русская культура набухла и взрывалась гейзерами проектов и затей. В театре свой «Октябрь» провозгласил Мейерхольд. Вахтангов переводил на крутые рельсы Третью студию. Грановский основал Еврейский театр.

Он не мог просто ставить знаки минуса и работать методом отрицания, как это делал Мейерхольд. Точно так же сложная стратегма Вахтангова была для него недоступна. То и другое предполагало наличие высокоразвитой театральной культуры, исчерпавшей свои прямые пути. Грановский должен был строить на пустом месте. Он был сам себе предком. За его плечами было ничто. Изредка черту оседлости пересекали бродячие театральные группы еврейских незадачников, негодных ни для какого другого заработка, да в 1910-х годах печальный местечковый символист, виленский метерлинкоид Перец Гиршбейн проволочил перед озадаченным еврейским мещанством свой бесконечный нос, свою худобу и свои влюбленные, наивные и невольные пародии на драматургию европейского модернизма.

Правда, рядом с Грановским была «Габима». Она сияла благополучием. Вокруг нее были все добрые феи помощи и рекламы. Ее поддерживала изумительная амальгама из сионистов, раввината, кусков коммунистической партии и тех либеральных антисемитов, которые считали библейский язык единственным, что терпимо в еврействе. Одним из первых доказательств настоящей талантливости Грановского было то, что он прошел мимо «Габимы». Он каким-то верхним чутьем распознал паразитизм этого явления. «Габима» жила чужим умом. Она списывала себе в приход чужие заработки. На приемы русской режиссуры и на условности русской сцены она надевала чехол в виде модернизованной древнееврейской речи. Это было своего рода побочное дитя Станиславского от случайной еврейской матери. Я запомнил одну из сценок, инсценированных «Габимой». Там персонаж обращался к персонажу со словами: «Адони гастудент» — «господин студент!». Тогда же, на премьере, я подумал, что в этом воляпюке отразилась вся природа послушливого театрлика. Недаром он боялся еврейских художников. Они были молодыми, и с ними надо было рисковать. «Габима» же предпочитала либо чтобы это был просто никто,

безымянный, либо обращалась к испытанным условностям восточных декораций Якулова и даже Миганаджана. Лишь когда плеяда еврейских художников, грохоча и блестя, прошла по сцене Грановского, «Габима» потянулась к ним. Если бы я писал мемуары, я мог бы рассказать о свидании с Цемахом, убеждавшим меня повлиять на Шагала, Альтмана, Рабиновича, чтобы они пошли работать в «Габиму». Игнорировать их было уже опасно, а сами они не выказывали желаний предлагать себя. Впрочем, даже для этого шага понадобилась указка со стороны, в виде авторитета Вахтангова, пришедшего в «Габиму» ставить «Дибук».

Грановский вовсе не сразу нашел направление. Как породистый щенок, начинающий ходить, он сначала смешно потыкался в разные углы. Сейчас весело читать его патетические декларации 1919 года. Брошюрка, излагающая их, давно стала библиографической редкостью. Для Грановского она уже не опасна. В ней много существенных, написанных с большой буквы, и еще больше восклицательных знаков. В сущности, самое важное в ней — воля к бытию, самое незначительное — театральные догматы. Это подтвердили первые постановки. Грановский стоял на ногах нетвердо и нередко перебирал ими впустую. «Пролог» работал арлекинами и коломбинами. «Амнон и Фамарь» Шолома Аша перелицовывала в энный раз Библию. «Слепые» Метерлинка запаздывали на огромное десятилетие. Ежели бы это продлить в магистральную линию, то, в сущности, получился бы всего лишь усложненный вариант «Габимы». Конечно, перемена формальных элементов была значительна. Она стала основой всей дальнейшей работы Грановского. Народная еврейская речь заменила книжнический гебраизм; немецкие театральные методы деформировали русскую сценическую традицию. Однако это вовсе не решало дела. Суть была не здесь. Еврейский театр этим еще не создавался. Это были отдельные рычаги. Нужна же была архимедова точка.

III

Выбор первого декоратора был очень характерен. Грановский явно не предчувствовал, какую роль должен будет сыграть художник в осуществлении его замыслов. Больше того, он, видимо, не замечал, что происходит с худож-

никами на русской сцене. Там обостренная диалектика взаимоотношений принимала трагический оборот; она развертывалась наглядно у всех на глазах; в декорационных системах сотрясались целые исторические пласты; Грановский же ходил по меньшей мере беззаботно. «Пролог» был состряпан домашними средствами; это казалось так просто, раз для героев — Арлекина, Пьеро и Коломбины — существуют раз и навсегда присвоенные их ведомству мундиры; в соответствии с ними занавес был, конечно, разделан в шашечки — белые и черные. Для «Амнона и Фамари» позвали некоего помощника известного мастера, а для «Слепых» — просто дочь известного отца. Грановский грелся в косых лучах чужой славы. Когда же он решился подойти к великим людям вплотную, он неожиданно выбрал *Добужинского*.

Чем прельстил его этот мастер? Сам ли он нашел его, или его ему дали? Я не знаю; я думаю, что это было случайно. Я уже потому не верю Грановскому, будто бы Добужинский понимал его, что Грановский не понимал сам себя; вернее, они оба не знали, что нужно Грановскому. Искать высоких поводов не стоит; ретроспективно все причины исторических событий имеют важный вид; Стендаль и Толстой разоблачили, как пишется история. Во всяком случае, Добужинский был принят, а Грановский удовлетворен. Но это значило поручить дело, требующее молодой изобретательности и свежести приемов, рахитичному второму поколению «Мира искусства». Так, благодушно, идя в комнату, Грановский попал в другую. Он отодвинулся на десятилетие назад, к декорационным опытам 1910-х годов.

В этой пляде Добужинский вовсе не был самым интересным; да и его лучшая пора была давно позади. В 1919 году, когда Грановский вдруг предложил ему заговорить по-еврейски, он находился уже глубоко в тени. Он не знал, что с собой делать, как современники не знали, к чему его применить. Его украшали еще остатки популярности, когда-то завоеванной постановками в Московском Художественном театре. Но он был исчерпан и даже не всегда смог бы достойно повторить самого себя. Он только старался сохранить свои штампы; он делал это озабоченно и ревниво, как берегут трудно нажитое и недостаточно большое состояние. Тут сказывалась его природа эпилгона. Старики «Мира искусства», воспитавшие и оформившие его, были иными. Они были долголетнее и расточительнее.

Добужинский принес Грановскому на сцену свой старомодный эстетизм, любовь к красотам костюмерии, успокоенный ретроспективизм вещей и архитектурных форм, испытанные шаблоны эмблем и аксессуаров,— от марки театра, с гебраистически стилизованными буквами и черно-белыми контрастами плоскостей до стилизованных интерьеров и людских фигур для «Зимы» Аша. Его эскизы сохранились. Их можно видеть у Грановского и сейчас. Добужинский не слишком старался над ними. Почерк художников так же передает их, как почерк писателей. Добужинский не затруднял себя. Его рукой водила снисходительность. «Ни шумной славы, ни гонений» от этой работы он не ждал. Дело Грановского его интересовало слегка, и он слегка помогал своему «молодому другу».

Я встретился как-то с ним в зрительном зале Еврейского театра уже в Москве, уже в пору блистательного успеха Грановского. Кажется, шла «Колдунья». Он был оживлен, дарил комплиментами и изредка, как бы невзначай, ронял фразы о том, как хорошо работается на таких молодых сценах. Он явно ждал приглашения. Видимо, он даже считал, что для него, крестного отца театра, это само собой естественно. Мы сделали вид, что не поняли. Все пути к художникам его типа были заказаны. Он ушел натянутый, церемонный и злой. Он так ничего и не уразумел в том, что произошло за эти годы.

IV

Театр переехал в Москву весной 1920 года. Это стало датой его второго рождения. Действительная история Еврейского театра начинается отсюда. Горячая, неистовая, бурлящая Москва, штаб-квартира революционной страны, потенциальная столица мира, потрясаемая ежедневно, ежечасно толчками и взрывами событий, поворотами руля, перебоями механизма, заваленная сыпняком, засыпанная слухами, голодающая на пайках, топящая печи заборами и мебелью — но непрерывно вскипающая победным, историческим напряжением воли, кристаллизующей смутные движения народных масс, рассылающая «всем! всем! всем!» протесты, призывы, приказы, лозунги, гремящая ликующей медью сотен оркестров, в табельные дни своего нового календаря заливающая багрянцем красных флагов тесные толпы, дефи-

лирующие вдоль улиц, превращающая в действительность творческие химеры десятков режиссеров, сотен художников, тысяч актеров, босоножек, циркачей, дилетантов и авантюристов, щедро раздающая им деньги (пусть обесцененные), здания (пусть рушащиеся), материалы (пусть расплзающиеся),— советская Москва зажгла в Грановском решающую искру. Он стал самим собой. Архимедова точка Еврейского театра была им найдена.

Я чуть-чуть боюсь за этот термин, который мне хочется употребить для ее характеристики. Он бур от налипшей вековой грязи. Ни на каком другом языке, кроме русского, его не найдешь. Но он выражает то, что мне нужно, и я произнесу его. Это слово — «жидовство». Я готов объяснить,— метафора ли это? Одновременно и да и нет. Русская революция приучила нас ставить вопрос о социальном смысле каждого художественного явления. Она вправе требовать этого, так как в условиях общественного катаклизма нет нейтральных сил; искусство делается таким же пособником либо противником, как и все другое. Мой термин значит, что театр Грановского, точно вспыхнувший светом экран, отразил появление на арене революции разбуженных и всколыхнувшихся еврейских народных масс. Разворошенный быт местечек и городов, со всеми своими людьми и запахами, влился на сцену. В этом была сила и слабость театра. Старое было сломлено, и Грановский показывал это с огромной выразительностью; но нового еще не было найдено, а Грановский не умел его предварить и наперед показать. Его театр был пассивен. Это даже не упрек. Пусть укажут, где было иначе! Такими были и все остальные театры Советской России.

Но мое слово теряет свою метафорическую условность в плане художественно-театральном. Здесь оно буквально. Грановский совершил огромную и положительную революцию. Политический радикализм часто сочетается с эстетическим реакционерством. Власть вкусов охраняется надежней, чем власть классов. Грановский был одним из немногих, кто не только посмел, но и смог произвести переворот. То, над чем издевался, что терзал антисемитизм погромов, что конфузливо замалчивал русифицированный еврейский интеллигент, что высокомерно предлагал устранить европействующий прогрессист университетских кафедр, что оскорбляло слух, что ранило глаз,— словом (вот наконец вполне подходящий

случай для богословской цитаты!), камень, презренный строителями, лег во главу угла.

Люди должны были бы завывать от возмущения. Они не посмели, так как на дворе и в доме играла революция. Попадая к Грановскому, они только прибавляли к сакраментальной формуле обывательской оппозиционности «Какая страна, какое правительство!» еще слова: «Какая разнузданность!» Потом они шли в «Габиму» смотреть на благородного еврея, с библейской речью, патетическими жестами и экзотическим одеянием. Впрочем, иные верхи революции предпочитали то же благообразие. Негативно это выражалось в том, что к Грановскому не ходили; позитивно,— на премьерах «Габимы» московского раввина Мазе можно было видеть рядом с членом Политбюро Каменевым, и они удовлетворенно кивали друг другу головой.

V

Грановский действительно развел на сцене «жида». Он бросил зрителям формы, ритмы, звуки, краски того, что носило эту кличку. Будь это еще имитацией местечкового быта, натуралистической подделкой под облик и жизнь каждодневного еврея, даже с легкой примесью еврейского анекдота, этой традиционной потехи и добродушного и злобствующего обывателя,— куда ни шло! В конце концов, это было бы для всех приемлемо: можно было бы пожалеть: «Бедные-бедные... как хорошо, что история все-таки движется!» Но Грановский требовал от зрительного зала совсем другого. Он хотел, чтобы разведенная им гадость утверждалась как огромная, довлеющая себе ценность. Грановский углублял ее театральные и художественные черты до какой-то всеобязательности, до универсального обобщения. Он из отбросов делал золото. На одном из вечеров автопародий театра молодой Зускин превосходно изображал «ряд волшебных изменений» некоего степенного еврея, попавшего к Грановскому и сначала недоумевающего, потом багровеющего, наконец, бросающегося вон из зала с криком: «Ай, ай — какой антисемит!» В самом деле, долгие полы капотов и лапсердаков, извивы бород и волос, изгибы носов и спин носились у Грановского, если можно так выразиться, а б с о л ю т а м и по пространству сцены; распевная, картавящая, вскрикивающая на концах речь входила в слух отлившейся, закончен-

ной в самой себе системой; разметанные, спешащие, перебивающие друг друга движения и жесты бежали бисерным контрапунктом. Черты мелкой житейщины Грановский перевел в театральный прием и сценическую форму. С этого момента Еврейский театр стал быть.

Но ключ к задаче был не у режиссера, а у художников. Грановский должен был позаимствовать. Он не колебался, так как никогда не болел глупостью. Он ухватил художника за полу и не отпускал его до тех пор, пока не дошел до цели. Художник дал ему основную формулу искомым образом, первые приемы их воплощения и начальные стадии их развития. Таков оказался исторический контраст между ролью декоратора на общерусской сцене и его значением для сцены еврейской. Как раз в эти 1920-е годы, когда мастеров театральной живописи лишь снисходительно впускали в зрительный зал, в качестве традиционных гостей премьер, и по возможности вовсе не впускали на сцену, в качестве исполнителей декораций,— еврейский художник сыграл первенствующую роль в создании своего национального театра. Это утверждение никого не удивит, и я лишь походя отмечаю всем известные явления. Среди составных частей, которые складывали постройку Еврейского театра, изобразительное искусство было самым зрелым по развитости и наиболее специфическим по проявлениям. Оно не путалось в элементарных поисках своей особой художественной формы, как путался язык еврейских литераторов,— все еще больше «жаргон», нежели «идиш». В нем не было и такого количества непереработанного этнографического шлама, как в опусах еврейских композиторов, удовлетворявшихся переписыванием народных песенок и мелодий, слегка присыпая их перцем модернизма. Живопись и графика давали Грановскому готовое решение для завоевания зрительного зала. Плеяда еврейских художников работала развернуто и торжествующе. Она была насыщена индивидуальностями, богата оттенками и неоспоримо современна своей формальной выразительностью. В каждом течении европейского и русского искусства, среди каждой школы, у нее были руководящие представители.

Правда, этот диапазон был слишком широк. В нем таилась опасность. Надо было верно выбирать. История с Добужинским могла повториться. Люди и программы были со всячинкой. Грановский должен был понять, что в художественной революции, как в революции социальной, курс надо брать всегда на крайний край: равнодейст-

вующая замыслов и возможностей сложится сама. Еврейской сцене нужен был самый «жидовитый», самый современный, самый необычный, самый трудный из художников. Я назвал Грановскому имя Шагала. Всегда немного сонные глаза Грановского встрепенулись и закружились, как у совы, которой бросили мясо. На завтра Шагал был вызван. Ему была поручена работа над миниатюрами Шолом-Алейхема. Это был первый спектакль московского периода. Шагал открыл собой династию наших декораторов.

VI

Он только что вернулся из Витебска. Он был там комиссаром искусства, но пресытился властью и сложил с себя это высокое звание. Так, по крайней мере, он рассказывал. Правдой было то, что его сверг супрематист Малевич. Он отбил у него учеников и захватил художественное училище. Он обвинил Шагала в умеренности, в том, что он всего-навсего — неореалист, что он все еще возится с изображениями каких-то вещей и фигур, тогда как по-настоящему революционное искусство беспредметно. Ученики верили в революцию, и художественный модернизм был для них нестерпим. Шагал пытался произносить какие-то речи, но они были путаны и почти нечленораздельны. Малевич ответил тяжелыми, крепкими и давящими словами. Супрематизм был объявлен художественной ипостасью революции. Шагал должен был уехать (я чуть было не написал: бежать) в Москву. Он не знал, за что взяться, и проводил время в повествованиях о своем витебском комиссарстве и об интригах супрематистов. Он любил вспоминать о днях, когда в революционные празднества над училищем развевалось знамя с изображением человека на зеленой лошади и надписью: «Шагал — Витебску»; ученики его еще обожали, и поэтому покрыли все уцелевшие от революции заборы и вывески шагаловскими коровками и свинками, ногами вниз и ногами вверх; Малевич — всего лишь бесчестный интриган, тогда как он, Шагал, родился в Витебске и прекрасно знает, какое искусство Витебску и русской революции нужно.

Впрочем, он быстро утешился работой в Еврейском театре. Он не ставил нам никаких условий, но и упорно не принимал никаких указаний. Мы предались воле Божьей. Из маленького зрительного зала Чернышевского переул-

ка Шагал вообще не выходил. Все двери он запер; доступ внутрь был только для Грановского и для меня; при этом он каждый раз придирчиво и подозрительно опрашивал нас изнутри, точно часовой у порохового погреба; да еще в положенные часы, сквозь слегка приотворенную половинку двери, ему передавали пищу. Это не было увлечением работой,— это было прямой одержимостью. Он исходил живописанием, образами, формами, радостно и безгранично. Ему сразу стало тесно на нескольких аршинах нашей сцены. Он заявил, что будет одновременно с декорациями писать «еврейское панно» на большой стене зрительного зала; потом он перекочевал на малую стену, потом на простенки и, наконец, на потолок. Вся зала была ошагалена. Публика ходила столько же недоумевать над этим изумительным циклом еврейских фресок, сколько и для того, чтобы смотреть пьески Шолом-Алейхема. Она была в самом деле потрясена. Я вынужден был неоднократно выступать перед спектаклем с вступительным словом и разъяснять, что же это такое и для чего это нужно.

Я много говорил о левом искусстве и о Шагале, и мало — о театре. Так выходило само собой. Теперь можно признаться, что Шагал заставил нас купить еврейскую форму сценических образов дорогой ценой. В нем не оказалось театральной крови. Он делал все те же свои рисунки и картинки, а не эскизы декораций и костюмов. Наоборот, актеров и спектакль он превращал в категории изобразительного искусства. Он делал не декорации, а просто панно, подробно и кропотливо обрабатывая их разными фактурами, как будто зритель будет перед ними стоять на расстоянии нескольких вершков, как он стоит на выставке, и оценит, почти на ощупь, прелесть и тонкость этого распаханного Шагалом красочного поля. Он не хотел знать третьего измерения, глубины сцены, и располагал все свои декорации по параллелям, вдоль рампы, как привык размещать картины по стенам или по мольбертам. Предметы на них были нарисованы в шагаловских ракурсах, в его собственной перспективе, не считающейся ни с какой перспективой сцены. Зритель видел множество перспектив; написанные вещи контрастировали с вещами реальными; Шагал ненавидел их, как незаконных нарушителей его космоса, и яростно выкидывал со сцены; столь же яростно он закрашивал, можно сказать — залеплял краской тот минимум предметов, без которого нельзя было обойтись. Он собственноручно расписывал каждый костюм, превращая его в сложное сочета-

ние пятен, палочек, точек и усеивая мордочками, зверюгами и загогулинками. Он явно считал, что зритель — это муха, которая улетит со своего кресла, сядет к Михоэлсу на картуз реб Алтера и будет тысячью кристалликов своего мушиного глаза разглядывать, что он, Шагал, там на чудесил. Он не искал ни типов, ни образов, — он просто сводил их со своих картин.

Конечно, в этих условиях цельность впечатления у зрителя была полная. Когда раздвигался занавес, шагаловские панно на стенах и декорации с актерами на сцене лишь повторяли друг друга. Но природа этого целого была настолько нетеатральна, что сам собой возникал вопрос, зачем тушится свет в зале и почему на сцене эти шагаловские существа движутся и говорят, а не стоят неподвижно и безмолвно, как на его полотнах. В конце концов, вечер Шолом-Алейхема проходил, так сказать, в виде оживших картин Шагала. Лучшими местами были те, где Грановский проводил систему своих «точек» и актеры, от мгновения к мгновению, застывали в движении и жесте. Линия действия превращалась в совокупность точек. Нужен был великолепный сценический такт, свойственный уже проявившемуся дарованию Михоэлса, чтобы шагаловскую статику костюма и образа соединить в роли реб Алтера с развертыванием речи и действия. Спектакль строился на компромиссе и шел, переваливаясь со стороны в сторону. Густое, неодолимое шагаловское еврейство овладело сценой, но сцена была порабощена, а не привлечена к сотрудничеству.

Мы должны были пробиваться к спектаклю, так сказать, через труп Шагала. Его возмущало все, что делалось, чтобы театр был театром. Он плакал настоящими, горячими, какими-то детскими слезами, когда в зрительный зал с его фресками поставили ряды кресел; он говорил: «Эти поганые евреи будут заслонять мою живопись, они будут тереться о нее своими толстыми спинами и сальными волосами». Грановский и я безуспешно, по праву друзей, ругали его идиотом: он продолжал всхлипывать и причитать. Он бросался на рабочих, таскавших его собственноручные декорации, и уверял, что они их нарочно царапают. В день премьеры, перед самым выходом Михоэлса на сцену, он вцепился ему в плечо и иступленно тыкал в него кистью, как в манекен, ставил на костюме какие-то точки и выписывал на его картузе никакими биноклями не различимых птичек и свинок, несмотря на повторные, тревожные вызовы со сцены и кроткие уговоры Михоэл-

са,— и опять плакал и причитал, когда мы силком вырвали актера из его рук и вытолкнули на сцену.

Бедный, милый Шагал! Он, конечно, считал, что мы тираны, а он страдалец. Это засело в нем настолько крепко, что с тех пор, в течение восьми лет, он больше не прикоснулся к театру. Он так и не понял, что несомненным и непререкаемым победителем был он и что от этой его победы юному Еврейскому театру было очень трудно.

VII

В полосе исторической работы везет даже неудачнику; но такому счастливцу, как Грановский, судьба прислала сразу же на смену Шагалу другого художника. Он был настоящим; династия блестяще развертывалась. Гражданская война выбросила в Москву с юга молодого Исаака Рабиновича. Он пробрался в жесточайших трудностях, побывал в лапах белых банд, как-то уцелел, был истерзан душевно и изнеможен физически; но он привез с собой запрятанными глубоко внутри, как беженцы валюту, конденсированные запасы художественной изобретательности и энергии. У него еще не было имени; пожалуй, хуже — у него было маленькое имя. Мы знали его по рисункам и кое-каким репродукциям. Они говорили достаточно о его культурности и отчасти о его способностях. Ничего выдающегося они не обещали. Но в эту зиму 1921 года он так наглядно, жестоко и безвыходно голодал, что ему нельзя было не дать работы. Мы же могли это сделать. Ему предложено было подумать о декорациях и костюмах для «Бога мести» Шолома Аша. Грановский решил пропустить труппу сквозь эту испытанную мелодраму.

Рабинович принес превосходные эскизы. Они были своеобразны и лаконичны. В них была сдерживающая себя сила. Они заявляли о даровании много большем, нежели то, которое решало себя обнаружить. Рабинович ожидал, рос, развертывался с каждым днем работы. К премьере перед нами был уже мастер. Он вычеканился со всеми плюсами и минусами. Он уже дублировал силу упрямством и своеобразием — капризами. Мы жестоко ссорились, но не расходились. Рабиновичу еще некуда было идти, нам же было ясно, что у Шагала появился наследник, который, может быть, станет решающим художником для нашей сцены. В его даровании было четыре первостепенных качества. Прежде всего, оно было в начале роста; его можно было вволю нагружать; оно стало бы лишь развер-

тывать свои скрытые силы, не нутужась и не задыхаясь. Во-вторых, оно было действительно национальным и еврейским; мы не сбивались никуда в сторону от шагаловской подлинности, не подменяли ее фальшивками и не заменяли суррогатами. В-третьих (это было теперь наиболее важным), в противовес Шагалу, оно было органически театральным, с беспримесной театральной кровью; задачи ставились и решались методами сцены и во имя сцены. Наконец, оно было не только молодым, но новаторским и революционным; оно сразу повело за собой целый хвост подражателей, разработчиков, эпигонов; оно не тянуло Грановского назад, не задерживало его, но помогало идти в первой шеренге молодых театров революции.

На перегоне от «Бога мести» (1921) к «Колдунье» (1923) Рабинович стал из орленка орлом. «Колдунья» прогремела. Почти одновременно Московский Художественный театр огромным мегафоном прокричал *urbi et orbi* о блестящем успехе его декораций к «Лизистрате». За три года Рабинович в самом деле успел уже развить и свою европейскую линию. Его с избытком хватало не только на национальную сцену. Он не боялся работать бескорыстно, для себя; он умел сам себе давать заказы и с самим собою играть в театр. Он наготовил множество решений — и еще больше приемов. «Бог мести» заставил кое-кого призадуматься над ним. Это были люди второго плана, но все же здесь был выход в новую работу. Один из второстепенных московских театров поручил Рабиновичу «Дон Карлоса». Он разрешил его самостоятельно и остро. Правда, его выдумку оценили недостаточно; декорации встретили скорее благожелательное любопытство, нежели твердое признание. Но было ясно, что так работать может только неизрасходованное дарование, требующее доверия и простора. В эти годы мне пришлось как раз руководить декорационной частью Художественного театра, и я имел право поставить перед В.И.Немировичем-Данченко вопрос о передаче Рабиновичу «Лизистраты». Национальная и европейская линии его творчества сомкнулись в «Колдунье» и «Лизистрате» сразу, в один год, как огромный диптих.

VIII

В «Колдунье» текла смешанная кровь. У Рабиновича было больше нежели достаточно смысла и чутья, чтобы

ничего не приглаживать, не причесывать и не смягчать в том необычайном мире, который ввел на сцену Шагал. Едкость не выдыхалась. Типы, образы, вещи, выходявшие из-под рук Рабиновича, вязывались в глаз той же настойчивостью. Еврейская местечковая стихия была через край. Но теперь сценой распоряжался органический человек. Все стало обыгранным. Это были уже не переложения шагаловских полотен, не прориси его рисунков, а театр. Эскиз костюма и макет декорации оказывались всегда меньше того, чем они становились в оправе спектакля. Там только они получали настоящее значение и облик. Рисуя и выклеивая, Рабинович уже наперед рассчитывал на движение, на смену аспектов, на развертывание в пространстве и во времени. Полы, картузы, рукава, платки, волосы, бороды, очерки фигур у него вихрились и разрастались в живой связи форм и красок, возникающих из развития действия. Действие не локализовалось, не просто меняло место, но росло, ширилось, раскидывалось до тех пор, пока не захватывало всего объема сцены, вдоль и поперек, вверх и вниз. Рабинович бросил своим декорациям лозунг: «Играй кругом!» — и «Колдунья» давала ему для этого все возможности.

Грановский ставил ее как народную игру, как спектакль еврейских масок, и ее невзыскательный, наивный сюжет пробивался у него, точно нитка через елочные игрушки, от блеска к блеску, от пляса к плясу, от песни к песне. Рабинович, добрым товарищем, переводил это на свой язык: он был занят тем, чтобы расширить пространство, а не сужать его, усложнять, а не схематизировать, вызывать на использование, а не ограничивать, показывая актера и реквизит со всех сторон, а не с нескольких точек. Он ненавидел, как приступы удушья, всякие павильоны, кулисы, щиты, панно, повторяемость декорационных выгородок, симметрию костюмных выкроек; он скучал тем, что зрительная зала лежит по какую-то одну сторону рампы. Ему хотелось, чтобы все чувствовали то же, что чувствует он: сцена — не просто отгороженное игровое место, а живой микрокосм. Он работал не подобиями, а новыми реальностями; для «Колдуньи» он заново строил то, чем в мире сцены должно быть еврейство. У нас нет права называть эти его творения ни формулами предметов, ни даже их схемами. Он, так сказать, выколдовал из живых вещей их театральные эквиваленты. Такого художника сцены я больше не видел. Одни делали просто иначе, другие подделывали себя под театр. Этот же

выращивал театральные существа сразу и отстаивал их право на существование с сектантским фанатизмом и самовлюбленной обидчивостью. «Знахарь...» — не раз кидали мы ему, — «чертов знахарь!» — но мирились: оспаривать театральность его созданий было невозможно, как нельзя было оспаривать их художественной значительности и национальной подлинности. Можно было только сказать: «Не по вкусу, не нравится...» — но это было бы уже разговором иного порядка.

Систему Рабиновича можно назвать «живым конструктивизмом». Конечно, я чувствую всю зыбкость такого словосочетания, но его нечем заменить. «Конструктивный реализм»? — однако это годится для эпигонов «Колдуньи», а не для него. Моя формула отражает столько же отталкивания Рабиновича, сколько и его влечения. Установки в «Колдунье» не воспроизводили никакой действительности, но они не были и соединением чисто абстрактных форм, игрой плоскостей и объемов, которыми занимались аристократы конструктивизма на заре движения, ни, наконец, простым рабочим сочетанием станков и ступеней, какие стал потом изготавливать конструктивистский плебс для наступивших будней Мейерхольда. «Колдунья» была слажена только из лестниц и коробов, но они жили, и все жило на них, — каждая ступень, каждый выступ ждали актера и предъявляли его; эти ни на что реальное не похожие формы создавали тем не менее городок, еврейское местечко, и любое зрительное кресло это видело и чувствовало. Силой неодолимого трансформационного закона местечко приняло конструктивистский облик, как его приняли еврейские фигуры, костюмы и всякая обиходная вещь на сцене.

Влияние «Колдуньи» было направляющим для всего пятилетия. Сейчас еще, в 1928 году, после стольких еврейских пьес, оно дает себя чувствовать. Иногда мне даже кажется, что Рабинович пришел вообще слишком рано. Дать бы еще художникам Еврейского театра побарахтаться, поискать, поошибаться, понаоткрывать разных америк, — а потом, в зрелый час, все это просеять, соединить и завершить победным рабиновическим синтезом. После «Колдуньи» 1923 года взыскательный критик должен был бы, собственно, говорить лишь о регрессе; если же быть снисходительным, то о повторениях или о вариациях. Сам Рабинович в театр Грановского больше не возвращался. Этим он избавил себя от испытаний. Смог ли бы он не повторяться? Не знаю; почти не верю! Жизненные

обстоятельства помогли ему. Еврейская линия была оставлена. Он надолго ушел на русские сцены. Может быть, из благоразумия, может быть, из увлечения, он занялся европейской драматургией. С тех пор прошло пять лет. Если бы Рабинович научился не так упоенно любоваться прежними работами, возможно, что какая-нибудь новая «Колдунья» зажгла бы его новым успехом. Но научился ли, сможет ли он научиться этому, наш Нарцисс?

IX

Я мог бы перейти сразу к третьему художнику, создавшему свой этап в Еврейском театре; им был Натан Альтман. Но за пять лет через сцену Грановского прошли еще два человека, которые должны нас остановить: Фальк и Штеренберг. О них, правда, можно упомянуть скороговоркой, но упомянуть о них надо. Они не сделали сколько-нибудь решительных образцов. В Еврейском театре они были эпизодом. Их работа свелась к вариациям Шагала и Рабиновича. Они вносили свои оттенки в чужие формулы. Так случилось не от недостатка дарования. У каждого из них есть в нашей живописи свое собственное место. Тут вина Грановского, если только можно говорить о вине. Пожалуй, достаточно сказать, что его слишком охмелила радость открытия. Со своим местечковым еврейством он замедлился. Он, так сказать, его «передержал». Он сам затянул темп своей режиссерской истории. «200 000», «Товарищ из центра», «X заповедь», «137 детских домов», «Путешествие Вениамина III», «Человек воздуха» — все это только разновидности того основного, что было уже создано «Вечером Шолом-Алейхема» и «Колдуньей». Часто это даже не поправки, а топтанье на месте. Грановский это знает; но он винит еврейскую драматургию. Может быть, это в самом деле оправдание. Национального репертуара нет. Однако не стоило его создавать и таким, каким его создавал Грановский. Существовал другой выход. Следовало много раньше взяться за «Европу», — за мировую драматургию. Зачем было терять несколько лет? Во всяком случае, тут не стоило тратиться Фальком и Штеренбергом. Можно было удовлетвориться прирожденными вариаторами, художниками второго плана, все тем же честным эпигоном Степановым... (как быстро объевреили этого коренного русака! В «200 000» он закартавил чище чистокровного еврея) или спешащим

всегда за кем-нибудь Рабичевым. По Сеньке была бы и шапка. Расчетливый хозяин приберег бы Фалька и Штеренберга для задач большого масштаба. Но Грановский не любит считать. У него слишком щедрые жесты. Он обожает, например, бланки и этикетки; еще задолго до осуществления какой-нибудь своей затеи он заготавливает афиши, анонсы, листы и конверты, с надписями в два цвета и на разных языках. Это — прозаическая манифестация его поэтических склонностей. Он, в сущности, романтик. Конвертов и бланков для неосуществленных затей у него накапливается куда больше, чем для выполненных; потом, годами, на них в театре пишутся черновики распоряжений, отчетов и реклам. Поэтому же Фальк у него ушел на «Вениамина III», а Штеренберг на такого же местечкового неудачника и мечтателя — «Человека воздуха».

Больше всего мне жаль Штеренберга. Он куда органичнее связан с театром, чем живописец и станковист Фальк. У Штеренберга такой явный вкус к аранжемам из вещей, материалов, красок; его искусство так, я бы сказал, «апликационно» (не хмурьтесь, любезный художник, не хмурьтесь!), что между ним и театром легко установить совершенно правильные отношения. Основа Штеренберга — натюрморт с простой композицией и сложной фактурой. Такой обработке сцена вполне поддается. Штеренберг не обязан утрачивать своей индивидуальности и своих приемов, приходя в театр. Его диапазон там столь же узок, как в живописи; но тем разборчивее надо выбирать для него спектакль. «Человек воздуха» (1928) тут менее всего пригоден. Все в нем захватано предыдущими вариантами. Кроме того, в нем слишком много типов, слишком много сцен и слишком много мельканий. Штеренберг же скуп, медлителен. Он работает немногими формулами. В «Человеке воздуха» он явно растерялся от количества и от суеты. Свое собственное он густо перемешал с чужим и заимствованным. Он переходил от полуконструктивных установок к раскрашенным панно, от вещей — к излюбленным натюрмортам, от шагаловских типов — к картинкам мод. Я даже готов удивляться его крепости и тому, что он все же слепил спектакль воедино и что его личных долей в получившейся амальгаме оказалось больше, чем чужих. Но все-таки, все-таки... Вспоминается толстовская фраза из «Войны и мира», вложенная в уста Наполеона, говорящего Балашову, флигель-адъютанту Александра I: «А между тем как жаль... каким пре-

красным могло бы быть его царствование»... Это значит, что не только Грановский, но и сам Штеренберг мог бы быть требовательнее к тому, на что его звали и на что он шел.

Х

С Фальком дело обстоит проще. Он работал на сцене Еврейского театра дважды. Сначала Грановский привлек его для декораций «Ночи на старом рынке» (1925). Затем Фальк оформлял «Путешествие Вениамина III» (1927). Я вовсе не собираюсь утверждать, что то и другое было сделано неудачно. Фальк слишком настоящий, зрелый художник, чтобы позволить себе так, попросту, на глазах у всех, шлепнуться. То, что он дал Грановскому, было вполне выносимо и местами даже занимательно. Но это не было ни событием, ни простой находкой. Мне не верилось с самого начала, что могло быть иначе, как не верится и тому, что это может измениться впредь. Фальк и театр — две вещи несовместные. Опытность и даровитость Фалька способны создать иллюзию сценичности, но она всегда недолговечна и неглубока. Сцена — не его дело. У Фалька чистейшая кровь живописца. В современном искусстве он — один из самых беспримесных мастеров станковой картины. Его можно не любить, но нельзя оспаривать у него звания живописца. Это трудный и неласковый художник. Он требователен к себе и к зрителю. Легких эффектов, нарядности и звонкости он не любит. Его склонность к сложной нюансированной монохромности колорита и к обобщенностям форм держит на расстоянии многих. В своей живописи он почти тяжелодумен. Что же ему делать с декоративизмом и прикладничеством, обязательным на сцене? Можно утверждать, что для Фалька идти работать в театр значит почти что идти подурчиться или, если угодно, позабавиться. Это делается между делом, и это не слишком серьезно. Здесь удача возможна тем скорее, чем непритязательнее то, над чем идет работа. Собственно, так, без особой гримасы, смотрелся «Вениамин III»: Шагал тут был бы по-детски серьезен и истов, Рабинович непригоден вообще (он слишком взросл!), а Фальк заиграл в игрушки с усмешечкой, как взрослый с детьми. Он действительно разрешил «Вениамина III» в игрушечном стиле. Все стало пестро и неглубоко. Папье-маше, картонажи, цветные тряпицы сделали «Вениамина» легким и пустым. Своего у Фалька здесь не

было ничего, но чужие образы и формы он упростил, под-расцветил, подкарикатурил, чтобы зритель вместе с ним мог сказать: «Все это сущие пустяки!»

Однако этого не скажешь, когда идет такая большая, трудная вещь, как «Ночь на старом рынке». До краев полная стихией хасидизма, перегруженная ирреальностями, сталкивающая их с еврейской суетней, взрывающаяся кошмарами,— эта квинтэссенция творчества Переца требует огромного напряжения и от режиссера, и от актера, и от художника. Решения здесь могут идти только изнутри. Тут импровизация годится менее, чем где бы то ни было. Грановский, Михоэлс, вся труппа вывозили спектакль, задыхаясь. Но Фальк им не помогал. Он шел в своих декорациях ощупью. Он явно импровизировал: вышло так, но может выйти и иначе. Это было какое-то нагромождение стен, ходов, провалов, ступеней. Грановский спасал их игрой света,— чем темнее было на сцене, тем декорации были лучше, чем светлее, тем виднее была бедная раскрашенная холстина, натянутая на бруски и составленная по старинке. Вот когда становилось ясно, что на сцену пришел станковист и что это совсем не его дело. Впервые в театре Грановского думалось о том, нужен ли вообще художник сегодняшней сцене. На память приходили другие театры, их разлад с художником, их попытки обойтись без него. Словом, в Еврейском театре Фальк наводил на русские мысли. Мне думается, что это приговор тому, что он сделал.

XI

Мой этюд замыкается Альтманом. Однако Альтман вовсе не последним пришел работать к Грановскому. Наоборот, он был одним из первых художников Еврейского театра. Не только по капитальности того, что он сделал, но и по времени своей работы он был среди основных мастеров. Он связан с Шагалом и Рабиновичем, а не с Штеренбергом и Фальком. Хронологически он даже соединяет первых двух. Театр формировался вместе с ним и при его помощи. Он пришел не на готовое, а сам изобретал его. Тем не менее правильно заканчивать Альтманом характеристику художников театра Грановского. Альтман выступает в финале не потому, что он опоздал, а потому, что он начал вторую линию Еврейского театра, обозначенную пока только отдельными вехами. Будущее Грановского за ней. Его театр распадается и умрет или же передвинется

на новые колеи. Альтман так же знаменует собой этот переход в системе декораций, как «Уриэль Акоста» и спустя пять лет «Труадек» — в системе режиссуры. Альтман — это европейская линия Грановского.

Это не значит, что Альтман не делал еврейских вещей. Он слишком жаден к современности или слишком ревнив к ней, чтобы оставаться в стороне. В конце концов, если он не может оспаривать у Шагала права на первенство, то разделить с ним честь единовременности он может. Его «Еврейская графика» запоздала по сравнению с Шагалом так не намного, что мы этого почти не заметили. Выступление Альтмана было тем отчетливее, что у него было другое ударение. Со своей черно-золотой графикой, построенной на использовании синагогальных тканей, надгробных камней и старинных пергаментов, он выступил ветхозаветником, раввиноидом-гебраистом. Шагал же весь, до конца, был народником-«идишистом». Недаром Альтман стал первым еврейским художником «Габимы». Ветер революции дул слишком резко в одну сторону, чтобы «Габима» могла плыть против течения. Равнодействующая была найдена ею в «Дибук» Ан-ского, и Альтман делал для него декорации. Он снова запоздал по сравнению с Шагалом на несколько месяцев, и Колумбом еврейской декорации его не назовешь, но он дал и здесь собственный акцент этим еврейским фигурам, предметам, комнатам, площади. Его раввины были празднично торжественны, народные типы — подчеркнуто рельефны, расположения — симметричны и важны. Альтман шел явно «оттуда», «сверху» и уступал не больше, чем это было нужно. Но все же он спускался вниз, к «народу». Можно сказать, что он был цадиком от искусства, удостоившим еврейское простолюдство выходом на крыльцо.

Он не стремился сохранить эту ногу, придя к Грановскому. Альтману слишком свойственно знание меры вещей и оттенков положений. Ум всегда заменял ему такт. Он знал, что на габимовских вожжах по сцене Грановского не проедешь. Он понимал и то, что все остальное означало неминуемое попадание в следы Шагала, если не Рабиновича. Стоило ли тогда мучиться? Альтман действительно работал над еврейскими пьесами без напряжения. Нельзя сказать, что «Товарищ из центра» (1926) или «X заповедь» (1926) были сделаны кое-как, спустя рукава. Но их явно вело рядовое искусство неувлеченного художника. Затруднения Альтману они не доставили. Подобная драматургия, может быть, и не имела права требовать

большого внимания, но вольно же было Альтману брать-ся! Надо сравнить это с тем, что было сделано им для «Уриэля Акосты» и для «Труадека», чтобы увидеть, какое расстояние отделяет друг от друга обоих Альтманов.

В истории Еврейского театра за «Уриэлем» осталось положение непонятого спектакля. В самом деле, он был труден. Он не имел никакого успеха. Незачем взваливать вину на незрелость публики. Грановский дал решение настолько тяжелое, что молодая труппа (это был еще 1922 год) так же не осилила его, как не осилили зрители. Одни смотрели, другие играли, не понимая, в чем тут суть и во имя чего это делается. «Уриэль» попал в ту полосу опы-гов, когда Грановский пытался еще провести в чистом виде принцип рационализации эмоции. «Уриэль» шел на системе абстрактных жестов и абстрактной речи. Движе-ние и слова актеров были отвлеченны, алгебраичны. Сце-на дышала неживым холодом. Рационализированные су-щества обменивались на ней условными знаками и зву-ками. Пьеса была развеяна на какие-то первичные элементы. Мне хочется назвать эту постановку «кубисти-ческой». Смешно, что Грановский выбрал для этого стар-ринную, омоченную слезами поколений драму Гуцкова. Но ему было все равно, над чем производить вивисекцию, а «Уриэль» подвернулся под руку.

Единственным победителем был Альтман. Он был в своем мире. Я не уверен, не являлся ли он исходным пун-ктом всей системы спектакля. Его холодное, чеканное ма-стерство, всегда склонное к абстракциям и обобщенно-стям форм, в эти годы совсем близко подошло к кубо-фу-туристической ереси. Серия отвлеченных композиций была создана им именно тогда. Декорации «Уриэля» были их апофеозом. Для пьесы они были вовсе не обязательны. Их можно было столько же использовать для любой вы-сокой трагедии классического канона. Но их ледяное ве-ликолепие, ритм плоскостей, нарастание площадок, ступеней, арок, сочетания мерцающего серебра, белиз-ны, бездонного бархата, золотых плетений были таки-ми законченными и самодовлеющими, что спек-такль,— нет, не спектакль, а зрелище — становилось мо-нументальным, почти огромным, и даже не жалко было, что в нем проваливается Гуцков со своими страдающими героями. На немногих элементах Альтман разыграл большую «Европу».

Он вернулся к ней снова лишь спустя пять лет, потра-тив промежуток на еврейские вариации или вовсе уходя

со сцены. К Грановскому он возвратился ради «Труадека». За театром был теперь большой опыт, огромная слаженность и гибкость труппы, выросшие и дифференцированные дарования. Имя Михоэlsa умели уже твердо выговаривать не только еврейские губы. «Труадек» прошел триумфально. Жюль Ромен был отважно подан сквозь еврейскую призму. Конденсированный европеизм сегодняшнего дня был пропущен сквозь еврейские стекла так просто, так легко и независимо, как будто театру было не несколько лет от роду, а долгие, искушенные всем мировым репертуаром, десятилетия. Альтман шел во главе спектакля. Тонкий и сознательный талант Михоэlsa — Труадека должен был стараться лишь не отставать от художника. Они оказались достойными партнерами. Спектакль искрился. Альтман вывез из-за границы, после своей поездки 1922—1923 годов, такую насыщенность глаза западной костюмерией и эффектами урбанизма, что в его работе не чувствовалось даже обычной выисканности. Он лукавил, дерзил, язвил легко, точно бы с налету. Его схематизм и холод согрелся и ожил. Костюмы непринужденно переходили в свое отрицание, естественно становились негативами. Их сверхъевропеизм сам над собой издевался, послушный магии злого еврея. Еврей глядел на Европу в окно и потешался. Незаконные гримаски шаржа проступали только в одной-двух декорациях. Но зато, зато... я знаю, что у каждого из нас посеячас еще стоит перед глазами эта сцена ночного Парижа, эта альтмановская Place d'Орега со световой партитурой вспыхивающих реклам и фонарей и пляшущими толпами труадеков обоего пола. Не было ли это самой значительной из удач, принесенных декораторами нашим сценам за пятнадцать лет? Пусть назовут лучшую...

XII

«Труадек» был последним большим спектаклем театра. После него Грановский вернулся к еврейским вариациям. Почему? Что мешало ему превратить дважды начатый опыт в программу? Неуверенность в своих силах? Но этой болезнью он не страдает. Субъективная нелюбовь к еврейскому репертуару? Но Грановскому нужно делать куда большие усилия, чтобы быть евреем, чем оставаться западником. Ученичество у Рейнгардта только оформило его природные склонности и вкусы, данные воспитанием.

Или, может быть, Грановский вдруг поверил в чудо внезапного расцвета еврейской драматургии? Если бы даже он не был так трезв, как это ему свойственно, о медленности процессов культуры ему напомнили бы шишки на лбу. А затем, это не должно было бы помешать мировой драматургии войти обязательной частью в работу Еврейского театра. Он уже так зрел, что справится с классиками. Потерять себя ему уже не опасно, и картавить он будет все равно. Но разве театр может именоваться театром, если Шекспир, Мольер и Гоголь миновали его подмостки?

Грановский оттягивает минуту этих испытаний. Каждый художник зреет по собственному календарю. Колебания творчества естественны и неизбежны. Но когда они затягиваются, они грозят расслаблением. Со стороны тогда это виднее,— в особенности дружественному и беспокоряющемуся глазу. У меня есть право на окрик. Мне кажется, что Грановский слишком долго морщится «перед чаркою вина». Что, если бы ему закрыть глаза и осушить трудный бокал залпом?

Май 1928 г.

Натан Йонатан

ВРОДЕ БАЛЛАДЫ

Когда ты любишь боль
Шипов — от крови алых,
Я удалюсь в пустыню,
Выучусь страдать;
А если веришь в стих,
Лишь высеченный в скалах,—
В ущелье буду жить
И на камнях писать.

Но если там, в песках,
Застанет нас ненастье,
А лучшую из книг
Покроет черный снег,—
Скажи мне те слова,
Что лучше слез и счастья:
Он, видимо, любил
Меня — тот человек...

С иврита. Перевел Владимир ГЛОЗМАН

КНИГА И МНЕНИЕ

Дов Левин

ПРАВДА И ПОЛУПРАВДА О ЛИТОВСКОМ ЕВРЕЙСТВЕ

А т а м у к Шлойме. Идн ин Лите. Акц. общество «Литуанус», Вильнюс, 1990. Редактор еврейского издания Г.Смоляков, перевел на идиш А.Гарон.

«Платон мне друг, но истина дороже».

На протяжении многих поколений и в особенности за последние столетия еврейская община Литвы стяжала себе славу одного из важнейших культурных, религиозных и национальных центров мирового еврейства. Здесь сформировались идеологические и политические движения, существующие до сего дня. В короткий период литовской независимости — между двумя мировыми войнами — литовские евреи, число которых составляло, согласно переписи 1923 г., 153 743 человека, играли видную роль в общееврейской национальной жизни. Они обладали культурной автономией (включая самостоятельную систему образования — от детского сада до учительского семинара), охватывавшей свыше 15 тысяч учеников (70% из них обучалось на иврите!).

Около половины из 20 тысяч евреев, эмигрировавших из независимой Литвы, отправились в Эрец-Исраэль, и это не случайно. Не зря называли Литву «Эрец-Исраэль де галута» — «Страна Израиля в изгнании», а ее столицу — Вильнюс — «Ерушалаим де Лита» — «Литовским Иерусалимом». Это выражение, получившее всемирную известность, приобрело теперь обновленный политический смысл в связи с «перестройкой» в Литве. Национальное руководство нынешней Литвы, опирающееся на движение «Саюдис», весьма заинтересовано в возрожде-

нии этого понятия. Несмотря на то что число евреев в Литве мизерно — всего каких-то 8 тысяч (да и те в большинстве «сидят на чемоданах»), эта задача частично решается. И начавшей выходить в Литве еврейской газете на идише, русском и литовском дано многозначительное название «Ерушалаим де Лита». Редактирует ее Григорий (Гирш) Смоляков, а издает акционерное общество «Литуанус». Это же общество издало недавно на идише книгу Ш. Атамука «Евреи в Литве».

Сам факт выхода в свет этой книги представляет особый интерес, потому что фактически это первая книга на идише, увидевшая свет в Литве после 50-летнего перерыва. Приступая к анализу ее содержания, важно еще раз осознать значение этого перерыва, а соответственно и оценить предназначение данной книги. С болью вспоминаем мы о том, что уже почти 50 лет Литва представляет собой громадное еврейское кладбище, на котором покоится большинство евреев, живших в этой стране до второй мировой войны. Они были уничтожены нацистскими оккупантами и своими литовскими соседями. В период этого геноцида было разграблено еврейское имущество и утрачена большая часть сокровищ литовско-еврейской культуры — книги, архивы и многое другое.

После того как летом 1944 года немцы были изгнаны из Литвы и там снова установилась власть Советов, среди уцелевших литовских евреев (около 6% довоенного еврейского населения Литвы) распространилась идея «не оставаться больше в стране могил и убийц». Из нее и выросла во второй половине 40-х годов спонтанная эмиграция, в большинстве случаев — нелегальная — в Эрец-Исраэль и на Американский континент. Именно из Вильнюса в годы нацистской оккупации прозвучал первый призыв к восстанию, и именно еврейские партизаны из этого города были среди основателей движения «Бриха» — нелегальной алии из Европы в Эрец-Исраэль в конце 2-й мировой войны. Среди евреев, оставшихся в Литве, преобладали коммунистические и близкие советской литовской администрации тенденции. Часть этих людей обосновалась в партийных и государственных учреждениях. За редким исключением они мирились с официальной политикой властей — замалчивать масштабы Катастрофы литовского еврейства и роль евреев в вооруженной борьбе против нацистов и их местных прислужников. Почти без звука прошла ликвидация последних учреждений еврейской культуры — музея в Вильнюсе и школы в Каунасе.

Систематическое ущемление национальной самобытности евреев выражалось не только в таких актах, как уничтожение еврейских книг и их переработка на макулатуру, но и в забвении мест массовых убийств евреев в Литве, например, трагически знаменитых Понар и других. С немногочисленных надгробий стиралось, как правило, упоминание о национальной принадлежности погибших, и появлялись безликие «советские граждане». Дошло до того, что в Литве, которая в прошлом была мировым центром еврейского книгопечатания, не осталось не только ни одной еврейской типографии, но даже еврейского типографского шрифта! Если где-то в местной литовской или русской прессе и появлялась порой какая-то информация о евреях, то она была, как правило, фрагментарной, а то и попросту искаженной. Немногие публикации, относящиеся к еврейским проблемам, концентрировались главным образом на критике сионизма, политики государства Израиль и т.п. Партийные функционеры и государственные чиновники еврейского происхождения выпускали под своими подписями гнусные брошюры, обвиняющие правительство Израиля и Цахал в агрессии против арабов и в угрозе миру на Ближнем Востоке. В то же время было предельно ограничено поступление в Литву литературы на еврейские темы из-за рубежа.

Однако, благодаря вековой национальной и культурной традиции, и в эти годы «постсталинской оттепели» литовские евреи сохраняли свою национальную сущность в гораздо большей степени, чем евреи других районов Советского Союза. Так, например, из 24 672 евреев, проживавших в Советской Литве в 1959 году, 69% назвали своим родным языком идиш (против 20,8% в Белоруссии и 1,5% на Украине). В 1970 году этот процент в Литве сократился до 61,9% из-за того, что люди старшего поколения умирали, уезжали в Израиль, а в Литву переселялись тысячи евреев из различных областей СССР, где процент говорящих и читающих на идише постоянно сокращался и теперь приближается к нулю. Еще сложнее обстоит дело со знанием иврита, и это в том краю, который, как уже было сказано, считался некогда «Страной Израиля в изгнании»!

Тем временем в Литве выросло новое поколение евреев, практически незнакомое не только с культурным наследием своего народа, но и со всей правдой о трагедии своих отцов и дедов. Ибо как прежний, так и нынешний

режим в Литве не заинтересован в раскрытии всей правды о том, кто убивал евреев в местечках и городах в первые дни и даже накануне вступления немцев в Литву в июне 1941 года. Некоторые из убийц разгуливают на свободе и сегодня!

История еврейской общины Литвы насчитывает почти 600 лет, но данная книга написана не по ее документам, а по конкретной государственно-политической обстановке определенной эпохи. Эта версия бросается в глаза в каждой из глав книги.

В двух первых главах («Великое княжество Литовское» и «Российская империя»), занимающих больше четверти книги, излагается история евреев Литвы на протяжении пяти с лишним столетий: от привилегии, пожалованной Витаутасом Великим евреям в 1388 году, и до провозглашения независимости Литвы в 1918 году. Конечно, нелегко вместить материал о столь обширной эпохе в два печатных листа. К сожалению, автор не опирается в этих главах на архивные материалы, находящиеся в различных хранилищах Советского Союза. Насколько можно понять из содержания этих двух глав и примечаний к ним, автор не пользуется результатами исследований, проводившихся в последнее время за пределами СССР и опубликованных на иврите и английском. В основном он ссылается на вышедший в Нью-Йорке в 1951 году на идише сборник «Литва». Но и этот сравнительно устаревший источник, как видно из текста упомянутой книги, не был использован должным образом.

На с. 14 говорится о том, что евреи, пришедшие в Польшу и Литву, молились на древнем библейском языке — иврите, а в повседневной жизни разговаривали на идише. При этом не сообщается о том, что иврит был и тогда, и на протяжении сотен лет после этого также языком внутренней коммуникации личной и общественной жизни, а также торговой деятельности евреев, не говоря уже о том, что иврит был основой литературного творчества на религиозные и не только религиозные темы.

В двух названных главах упоминаются там и сям факты преследования литовских евреев. Однако в целом подчеркивается терпимость по отношению к ним со стороны большинства местных правителей, видевших в еврейском населении важный экономический фактор. Совсем не то было, по мнению автора, когда Литва попадала под власть иноземных войск или правителей с Востока или Запада. Здесь уместно подчеркнуть, что и представители нынеш-

ней литовской администрации используют аналогичный пропагандистский ход, чтобы придать иную окраску фактам массового уничтожения литовских евреев во время второй мировой войны.

В последующих двух главах, относящихся к жизни евреев в независимой Литве и Вильнюсе до 1939 года, о нападениях на евреев говорится в том же духе: «Но надо подчеркнуть, что ни широкие слои литовского населения, ни большая часть интеллигенции, ни католическая церковь не принимали участия в этой антисемитской акции» (с. 94). Тем не менее в этих главах приводятся интересные данные о жизни литовских евреев, почерпнутые из результатов переписи населения 1923 года.

Сообщая о том, что в 1928 году в Каунасском университете обучалась 1000 еврейских студентов, а в 1938-м — только 488, автор не дает никакого объяснения или хотя бы попытки объяснить этот факт. Создается впечатление, что и в данном случае очевидна тенденция приводить побольше примеров добрососедских отношений между евреями и литовцами и по возможности избегать упоминаний о дискриминации евреев. Во всяком случае, о вкладе литовских евреев в военные и политические усилия Литвы после достижения независимости в 1918 — 1919 годах говорится подробно, а о еврейских погромах, устроенных литовскими солдатами в городах Укмерге и Паневежисе, не упоминается вообще. Нет также внятной информации об участии евреев в попытках большевиков установить контроль над всей Литвой. Вместо этого приводится общая фраза: «Левые еврейские круги принимали участие в революционной деятельности» (с. 73).

Автор пытается сугубо формально охарактеризовать литовское еврейство с культурно-идеологической и политической точек зрения. По его мнению, литовское еврейство подразделялось на два течения, или лагеря: сионистов, которые стремились к распространению языка иврит и алии в Эрец-Исраэль и рассматривали проживание евреев в Литве как временное; и фолкистов, которые отстаивали позиции евреев во всех областях жизни Литвы и язык идиш. Столь упрощенное толкование игнорирует наличие других течений в литовском еврействе, в частности такого, как религиозное еврейство, которое не принадлежало ни к сионистам, ни к фолкистам, а группировалось вокруг ешиботов в Слободке, Паневежисе, Кельме, Тельшае. Часть евреев примыкала к движениям «Агудат

Израэль» и «Ахдут». Похоже, автор книги не знает, что им даже удалось провести своего представителя в литовский сейм. Чтобы убедиться в неверности «симметричной» формулы, нарисованной автором, достаточно обратиться к данным о соотношении политических сил в Национальном совете — верховном органе литовского еврейства в его лучшие времена (1922 г.). Из 40 членов Национального совета — 16 были членами «Агудат-Израэль», 4 — «Мизрахи» (движение религиозных сионистов), 7 — общими сионистами, 11 — членами «Цеирей-Цион» и только 2 — фолкистами.

Подобное же соотношение наблюдалось в еврейских школах и культурных учреждениях. В свете такой тенденциозности изложения представляется не случайным и полное отсутствие в списке деятелей еврейской культуры в Литве писателей, творивших на иврите: доктора Х.-Н. Шапиро, автора «Истории литературы на иврите»; А.-Д. Шапиро, публиковавшегося в большинстве литературных сборников в Литве; А. Глазмана, одного из редакторов литературного приложения «Паам»; Й.-Д. Камзона, поэта и этнографа; Д.-М. Липмана, автора «Истории евреев Ковно и Слободки», и др. Мы не хотим думать, что эти имена не фигурируют в книге намеренно, а полагаем, что автор просто не знал их, несмотря на то что среди них были и исследователи истории литовского еврейства... Тем же, видимо, объясняется и отсутствие упоминаний о многих сионистских молодежных движениях, партиях и учреждениях и о внутренней борьбе в сионистском лагере накануне сионистских конгрессов, проводившихся каждые два года.

Перейдем к следующей главе, посвященной 1939—1941 годам, которые названы в книге «предвоенными годами» — имеется в виду война между Германией и СССР. Подобное выражение принято в официальной советской историографии, но оно никак не соответствует содержанию данной главы и игнорирует тот факт, что в то время уже началась вторая мировая война. В этой главе рассказывается о возвращении Вильнюса Литве, то есть о событии, явившемся прямым следствием активных политических действий СССР в сентябре 1939 года. В результате тех же событий в Литву прибыло около 15 тысяч еврейских беженцев из Польши, треть из которых составляли учащиеся и преподаватели ешиботов, активисты сионистского движения, руководство Бунда, представители культурной элиты польского еврейства. Хотя прибытие

этих беженцев оказало заметное влияние на местных евреев, об этом просто не упоминается в данной книге. Вместо этого несколько страниц отводится пространством цитатам из выступления ректора Вильнюсского университета и из статьи еврейских ветеранов войны об отношениях между коренным населением Литвы и еврейским меньшинством. Как и раньше, бросается в глаза стремление автора заострить внимание читателя на единичных выступлениях прогрессивных литовских деятелей против разгула антисемитизма.

Автор справедливо подчеркивает чувство отсутствия безопасности, которое испытывали литовские евреи из-за нападков на них как в прессе, так и на улице, нападков, подогреваемых нацистами соседней Германии. Автор обращается к этим фактам, когда считает, что «абсолютно необходимо» разъяснить, почему большая часть литовских евреев приветствовала вступление Красной Армии в Литву в июне 1940 года. Эта «вина» евреев является, как известно, основным аргументом литовской эмиграции на Западе для оправдания массового истребления евреев в Литве. Видно, это и является основной причиной такого повышенного внимания автора к данному вопросу, внимания, проявляющегося в виде откровенной апологетики.

Будучи одним из ветеранов советского режима в Литве, которому удалось не только удержаться на поверхности, но и сделать карьеру при всех переменах власти, автор прекрасно разбирается в технике самокритики и разоблачения доктрин, которые прежде были его хлебом насущным. Образец такого подхода (возможно, с некоторой долей личных впечатлений) проявляется в анализе положения евреев в Советской Литве в 1940—1941 годах. После того как автор описывает ущерб, нанесенный евреям, как и другим жителям Литвы, в ходе советизации, он обращается к обкатанным партийным штампам, чтобы назвать виновников создавшейся ситуации, а именно «механически проведенную национализацию собственности и, главное, сталинскую извращенную культурную и кадровую политику, преступное беззаконие» (с. 123).

Автор демонстрирует образец критики (и самокритики!) по отношению к еврейским коммунистам и другим еврейским левым, которые активно участвовали в осуществлении различных реформ, смотрели на все происходящее в республике, в том числе и в еврейской жизни, со своих прежних, уже окончательно сформировавшихся односторонних позиций, измеряли все «согласно вульгарно

истолкованным представлениям о приоритете социального, национального, классового принципа» (с. 126). Далее автор утверждает, что большой ошибкой и еврейских, и литовских коммунистов была надежда на то, что «по мере решения социальных и экономических проблем сами собой решатся и национальные проблемы». Правда, сейчас, когда в Литве, наряду с «Саюдисом», существуют две коммунистические партии, трудно понять, к кому именно относится этот упрек.

Более конкретно другое утверждение автора (давно известное на Западе) о том, что евреи больше всего пострадали в процессе советизации. В данной главе автор приводит немало статистических данных, в частности — о числе еврейских коммунистов в Литве на 1 января 1941 года — 412 человек (16,5% от общего числа коммунистов). Эти сведения несколько отличаются от имеющихся в нашем распоряжении (479 человек и 15,2%). В целом, версия автора в данном вопросе также представляет собой ответ на обвинения литовской эмиграции в том, что евреи составляли 75% коммунистов в Литве. Если сообщения автора относительно коммунистической партии и различных областей советской администрации относительно полноценны, то его информация о том, что происходило внутри еврейского общества, помимо подборки общих фактов о закрытии школ с преподаванием на иврите и ешиботов, весьма ограничена. Можно понять, что в период советской власти в Литве (1940—1941) он вообще не знал (и хорошо, что не знал!) о наличии сионистской активности в условиях глубокого подполья, о бегстве многих членов сионистских организаций в Эрец-Исраэль, о спасении изымаемой литературы на иврите и даже о выпуске журнала «Ницоц», который продолжал выходить в Каунасском гетто в 1941—1944 годах, а после этого — в концлагере Дахау. Эти факты — тоже составная часть истории литовского еврейства!

Перед нами самая трагическая глава истории литовского еврейства — в этой поверхностной, чтобы не сказать — стерильной книге она называется: «В период войны и оккупации (1941—1944)». Как и другие люди его поколения, автор прекрасно знает об активном участии литовцев в массовом уничтожении евреев. Он приводит некоторые детали, относящиеся к этому вопросу, хоть и весьма спонтанно. Все это сопровождается декларативными и, как это ни странно, даже апологетическими комментариями. Вот одна из фраз, открывающая описание

массового убийства евреев: «Ясно как день, что никто не имеет права обвинять в этих страшных преступлениях весь литовский народ» (с. 133). Поскольку далее в книге нигде нет каких-либо намеков на подобные обвинения, создается впечатление, что автор ломится в открытую дверь. Но тот, кто следит за горьким и долгим спором между еврейскими и литовскими деятелями по этому поводу, знает, что последние предпочитают слышать о том, что литовский народ чист от коллективной вины, а не обсуждать преступления, совершенные многими из представителей их народа. А если такие обсуждения все же происходят, то сразу выдвигается контробвинение — относительно нелояльности многих евреев к литовскому государству в период советизации, в 1940—1941 годах. Сегодняшняя литовская пресса тоже не свободна от этой искусственной симметрии.

Акценты такого рода, безусловно, имели большое влияние на автора книги, иначе трудно объяснить тот факт, что посреди главы, посвященной Катастрофе литовских евреев, он нашел нужным вернуться (по меньшей мере на двух страницах) к периоду советизации, о которой уже шла речь в предыдущей главе. Его апологетика по этому вопросу бросается в глаза в следующей помпезной фразе: «Абсолютно ясно, что во имя законности и справедливости могли и должны быть осуждены те конкретные как евреи, так и литовцы и другие, которые принимали непосредственное участие в сталинских преступлениях».

Некоторые, вероятно, усмотрят в этих словах Ш. Атамукы обвинение в адрес его идейных соратников по борьбе, но советского читателя это вряд ли удивит, потому что их сегодня осуждает и советская партийная литература. Впрочем, эти штрихи представляют большой интерес для советологов и специалистов по истории компартии, чем для исследователей Катастрофы и героизма восточноевропейского еврейства, которым важно знать, какие неизвестные на Западе источники, относящиеся к данной теме, публикуются в советской историографии.

Автор книги — доктор исторических наук, для него были открыты важнейшие архивы Литвы, и мы, естественно, многого ждали от этой книги в целом и, в частности, от данной главы. Выяснилось, что, кроме нескольких деталей, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, в ней нет ничего нового, большинство фактов было опубликовано в десятках книг на иврите и на английском. В то же время отсутствуют факты, свидетельствующие о

движении сопротивления в гетто. Автор вообще не знает о существовании одной из крупнейших подпольных организаций Каунасского гетто — «Иргун-Цион», о журнале которой «Ницц» говорилось выше, он, как правило, предпочитает обобщенно-стандартный стиль советской прессы, например: «Антифашистские боевые организации, сотрудничавшие с аналогичными интернациональными организациями за пределами гетто...» (с. 148). Поэта Ш. Кочергинского автор называет членом «антифашистской организации в Вильнюсском гетто», тем самым не только затушевывая картину событий, но, в сущности, игнорируя само название Объединенной партизанской организации — «Фрайнитте Партизанер Организацие» (ФПО), прекрасно известной во всем мире и занимающей почетное место в историографии Катастрофы.

Подобные штампы, заимствованные из устаревшей коммунистической фразеологии, демонстрирует Ш. Атамук и при рассмотрении вопроса о взаимоотношениях евреев и неевреев в годы второй мировой войны. Бывший политрук литовской дивизии Советской Армии, он отмечает, что более двух тысяч еврейских бойцов пали в боях, и добавляет: «Пролитая кровь скрепила их дружбу с литовским, русским и другими народами» (с. 152).

В Израиле известно, что в активной борьбе против немцев и их пособников в Литве пали по меньшей мере 256 еврейских партизан и членов еврейского подполья. У нас нет претензий к тому, что автор даже не упомянул о них. Но мы не можем оставить без внимания сам дух и стиль, направленность его книги. Он пишет: «В этой святой борьбе погибли И. Витенберг, Х. Елин и Г. Глезер» (с. 149). Спрашивается, почему перечислены только эти имена, а где другие? Неужели их не упомянули из-за того, что они не принадлежали к коммунистической партии?

И коль скоро речь зашла об именах, то возникает еще один вопрос: почему автор счел необходимым дать подробный список трех десятков благородных литовцев, спасавших евреев, и в то же время не нашел нужным указать имена палачей, хотя бы тех, что разгуливают на свободе? Несомненно, что такого рода напоминания вряд ли популярны в Литве. Может быть, поэтому автор прибегает к всевозможным эвфемизмам типа «фашисты», «шовинисты», «реакционные силы» и т.п.

Глава о евреях в Советской Литве (1944—1990 гг.) отличается тем же стилем и той же сутью. Наряду со Сталиным в антисемитизме обвиняется и Брежнев. Вместе с тем Литва описывается как благодатный край для евреев — перечисляются евреи, занимающие важные посты, деятели искусства и литературы, однако ни единого слова не говорится об участниках подпольного сионистского движения «Бриха», переправлявших литовских евреев в Эрец-Исраэль. Последняя глава книги посвящена периоду март—июль 1990 года, когда Литва была провозглашена независимой республикой, и служит прославлению нынешних властей Литвы за их благосклонное отношение к евреям.

Книга, безусловно, писалась в расчете не только на знающих идиш, но и на тех многочисленных евреев и неевреев, которые интересуются историей литовского еврейства. Во всяком случае, так можно понять из послесловия, где автор подчеркивает, что «большинство евреев Литвы не умеет, к великому сожалению, читать ни на идише, ни на иврите» (с. 220). Кстати, похоже, что это замечание распространяется и на самого автора: среди 90 работ, на которые он ссылается, нет ни одной на иврите! Приведенных нами примеров достаточно, чтобы увидеть, насколько теряет книга из-за того, что автор не пользовался основными трудами по истории литовского еврейства, написанными на этом языке.

Вместе с тем не следует закрывать глаза на реальную нехватку в Литве профессиональных работ о евреях и еврействе. И, возможно, стоит отметить еще один важный фактор, способствовавший выходу в свет этой книги. Книга написана с ведома, а может быть, и благословения нынешних литовских властей. Автор, закаленный переменах властей и доктрин, знает, как вести себя в новой ситуации. При всем этом нельзя не признать, что он работал над книгой в условиях нехватки материала, давления конкретной политической обстановки и типографских трудностей. Автор сумел преодолеть их с упорством «истинного литвака». К великому сожалению, это не дало положительного результата: возможно, что в тамошних условиях это было изначально безнадежным предприятием.

Несмотря на то что книга содержит ряд статистических данных и некоторую фактическую информацию, приходится признать, что читатели получили искаженную, если не фальшивую, картину истории евреев Литвы.

Во многом этому способствовали предвзятые установки и тенденциозные комментарии автора, уровень и стиль которых становится достоянием прошлого даже в СССР. Невольно напрашивается мысль, что лучше бы книга в таком виде вообще не выходила!

Как земляк и ровесник автора и как человек, получивший экземпляр книги из его рук и с его автографом, я сожалею об огорчении, которое причинит ему мое мнение о его работе. Но как исследователь, тридцать с лишним лет отдавший изучению истории литовского еврейства и думающий о сохранении и передаче его культурно-исторического наследия будущим поколениям, я счел своим долгом опубликовать изложение моей оценки этой книги.

Виолетта Экштейн

ВРЕМЯ ПЛЯСКЕ И ВРЕМЯ РЫДАНИЮ

Гейзер Матвей. Соломон Михоэлс. М., Изд-во «Прометей» МГПИ им. Ленина, 1990

Слова, вынесенные в заголовок, — название одной из глав книги Матвея Гейзера «Соломон Михоэлс». Эти слова символичны, пожалуй, и для всей жизни великого режиссера — столь яркой, и для его смерти — столь таинственной и трагичной.

Книга эта «назрела» уже давно. И тем обиднее, что даже сейчас, в то время когда нам, наконец, позволили говорить вслух о том, о чем раньше лишь перешептывались, автору пришлось издавать ее за свой счет. И тиражом всего в десять тысяч. Двести страниц текста и сто фотографий — вот тот объем, который Матвею Гейзеру после долгих мытарств и хождений по различным государственным издательствам, наконец удалось выпустить в московском «Прометее».

Десять лет автор собирал и анализировал материалы, почти пять лет книга писалась. И вот наиболее интересные ее главы начали свое путешествие... нет, не по страницам журналов, а по кабинетам редакторов «Огонька», «Смены», «Юности», «Дружбы народов», «Театра»... Путешествие это длилось больше года, пока, наконец, в начале 1989 года «Литературная газета» решила напечатать статью «Графиня и король (Потоцкая и Михоэлс)». Благо в том же году было узаконено издание книг за счет средств автора, и вот, год спустя, книга увидела свет. Она доносит до читателя живой образ человека, значение которого в еврейской культуре переоценить трудно. Невозможно.

Михоэлс относится к тем людям, которые продолжают жить после смерти. Это тем более удивительно, что он не был ни писателем, чьи рукописи мы могли бы изучать, ни «киношником», ни художником, который мог бы оставить изобразительное наследие. Нет. Его искусство из ряда тех, которые сохранить сложно, практически невозможно. Ни на бумаге, ни на пленке (нельзя же считать фотографии таким наследием), ни на холсте. Театр — это нечто сиюминутное, мгновенное и живое. Ведь ни один спектакль не играется одинаково даже в сотый раз. Как дважды не войдешь в одну реку — через мгновение уже и ты другой, и река иная, — так нельзя дважды посмотреть один и тот же спектакль: слишком много составляющих в живом симбиозе сцены и зала. Тем ценнее и удивительнее «жизнь после смерти» таких людей, как Соломон Михоэлс.

Но удивительна не только личность человека, о котором рассказывает книга. Удивительно еще и то, что автор ее — математик, педагог, директор Педагогического училища — никогда не видел живого Михоэлса. Тем не менее книга написана с убедительной точностью, поистине математической. Она основывается на воспоминаниях Козловского и Завадского, Образцова и Плятта, на архивных документах, рассказах учеников, коллег и друзей. Воссоздать атмосферу эпохи помогают ссылки на газеты, журналы и дневники современников. Автор максимально точно пытается восстановить не только биографию великого режиссера и актера, но и тот исторический фон, на котором проходила его жизнь. Фон этот, подобно мозаичной картине, лепится из газетных цитат, писем, дневников, стихов, записок очевидцев, канцелярских справок и других архивных документов. Все это создает впечатление правдивой беспристрастности и, в то же время, доносит истинно живой образ легендарного человека. Словно интересное повествование умелого рассказчика читается эта книга.

Мы привыкли к тому, что книги о жизни замечательных людей пишутся профессиональными литераторами, учеными, специалистами либо людьми, которые их хорошо знали. Что же привело автора, ни к театру, ни к литературе не имеющего прямого отношения и к тому же никогда не встречавшегося со своим героем, к созданию этого произведения? В одном из интервью он ответил так: «Видит Бог, я хотел уйти от этой книги. Но жизнь вела меня к ней: я учился в украинской школе, где были дети

разных национальностей: евреи, украинцы, греки, русские. Я не знал «Песни Песней», но знал стихи Тараса Шевченко, Леси Украинки... Но вот в 1952 году, когда началось «дело врачей», одноклассники стали откровенно враждебно относиться к детям еврейской национальности. Тогда же я впервые услышал имя Михоэлса. Ребята на политинформациях говорили о матером враге нашей страны, об убийце, организаторе «банды в белых халатах» — о Михоэлсе. Мне запомнилась эта фамилия, и снова я с ней встретился лет десять спустя, увидев книгу, где она стояла на обложке. Тогда же я узнал и об Анастасии Павловне Потоцкой-Михоэлс, с которой вскоре свела меня судьба.

Слушая Анастасию Павловну, читая ее воспоминания о Михоэлсе, я думал о том, что она никогда не жила прошлым, ей хотелось сохранить для будущего все, что связано с Михоэлсом. «Память,— говорила она,— единственная возможность победить время».

Летом 1970 года А. П. неожиданно предложила мне поехать в Минск: «Может быть, вам удастся что-то узнать о его гибели, о *той ночи*». В тот же вечер я уехал в Минск и пробыл там несколько дней, но... Никто не изъявил желания со мной встретиться, даже по телефону разговаривали нехотя, осторожно. Я пытался поговорить с встречавшихся мне пожилых людей... «Зачем вам это нужно, молодой человек? Вы все равно не вернете его. Все бессмысленно...» Но мне удалось найти фотографа, снимавшего Михоэлса за день или два до смерти. «Посмотри эти снимки,— сказал он мне.— Ты видишь улыбку человека, чувствующего приближение смерти».

Еще одна встреча произошла на еврейском кладбище. «Вы хотите узнать правду? Эти бандиты убили его. Вам расскажут легенды о том, что это случилось в еврейском гетто. Нет. Его убили в центре города,— рассказал мне старик.— Много разговоров было в Минске. Ночью 11 января 1948 года после спектакля Михоэлса пригласили на фальшивые именины, но в ту ночь судьба уберегла его — он уехал в гости с актерами Минского еврейского театра. Но спасение было лишь отсрочкой. Утром 13 января по городу поползли слухи о том, что Михоэлс и его друг попали под машину. Какая автокатастрофа?! Вы же понимаете, что грузовик убивал уже убитых. В ту ночь, молодой человек, бандиты сделали то, чего не сумел сделать сам Гитлер... Они добились всех нас. Забудьте меня, но мои слова запомните на всю жизнь».

Вот тогда я понял, что от темы Михоэлса мне уже не уйти. А когда А.П. показала мне архив — тысячи документов, книг, фотографий, — которые она сберегла в тяжелые годы, я решил заняться изучением этих материалов. Начав с газетных и журнальных вырезок, я постепенно начал собирать воспоминания родственников, друзей, учеников, коллег Михоэлса, пополняя этими материалами фонд домашнего архива А. П. В 1977 году архив был упорядочен и принят на хранение в ЦГАЛИ».

Да, действительно, книга документальна. Но это не простое перечисление событий, фактов и дат. Нет. Автор заставил документы заговорить живым языком. Они говорят между собой, спорят, рассказывают и показывают одни и те же ситуации с разных точек зрения. И таким образом, из нескольких соседствующих субъективностей возникает вполне объективная и правдивая картина. Кропотливо и тщательно подобранные кусочки легко сочетаются благодаря умелому перу автора, рассказывают биографию знаменитого режиссера: путь от младшего сына в большой хасидской семье до великого артиста, убитого в расцвете творческих сил.

В предисловии к книге говорится о том, что это лишь первый вариант книги, первая попытка автора рассказать о Соломоне Михоэлсе. Надо признать, что попытка эта оказалась удачной.

Йегуда Амихай

ПРЕДЫДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ

Все предыдущие поколения внесли понемногу,
Пожертвовали, чтобы возник я в Иерусалиме —
Вдруг, как молельня, как богадельня.

И это обязывает:

Имя моих дарителей — мое имя.

Это обязывает.

Приближаюсь к возрасту, в котором умер отец.

На моем завещании — множество заплат:

Я должен подправлять и жизнь свою, и смерть—

Чтобы сбывались все пророчества,

Чтобы они не оказались ложью.

И это обязывает.

Перевалил через сорок лет. Есть

Должности, на которые меня уже

Не примут по возрасту. В Освенциме

Меня бы не отправили работать,

А сразу бы сожгли.

Это очень обязывает.

С иврита. Перевел Владимир ГЛОЗМАН

ЗВЕНЬЯ

Михаил Вайскопф

О СЮЖЕТЕ ПЯТИКНИЖИЯ

Если попытаться с предельной краткостью охарактеризовать основные тенденции изучения Торы, следует остановиться на двух традиционных направлениях, каждое из которых опирается на догматические предпосылки и вызывает к внетекстовой реальности. Первое направление — религиозно-апологетическая трактовка Писания, воспринимающая его в качестве Богоданной истины и, естественно, придающая тексту расширительное и аллегорическое значение; для этого течения характерно неизбежное достраивание, «обогащение» текста, в частности, за счет фольклорно-агадических и прочих подробностей.

Второе, научно-критическое направление, озабочено установлением подлинной «подосновы» событий, описанных в Библии. Усердно очищая повествование от того, что на техническом жаргоне именуется мифологическим пластом, традиционная научная критика стремится определить время и условия создания текста, чтобы наконец подойти к нему как к практическому пособию по изучению исторической или лингвистической ситуации, почерпнутой из различных фрагментов Писания.

Вполне правомерен, однако, третий, имманентный способ исследования Торы, апеллирующий исключительно к ней самой и решительно отвергающий как некорректные любые попытки реконструкции «подлинной картины событий». В основе его лежит убеждение в самодостаточности, замкнутости и целокупности текста Пятикнижия. Он равно безучастен как к историко-фактологической полемике с Библией, так и к ее религиозной апологетике.

Этим методом, методом структурного литературове-

дения, я и решил воспользоваться, рассматривая Пятикнижие в его сюжетной целостности.

Разумеется, я отнюдь не помышляю о том, чтобы дать однозначную трактовку «всего» Пятикнижия. Его необъятную информационную насыщенность не в состоянии раскрыть тысячи томов. Мои заметки далеки от столь фантастической задачи и представляют собой только эскиз, беглый очерк неисчерпаемой темы. При желании их можно без труда причислить к смутному и неустойчивому жанру «размышлений читателя».

И последнее замечание. Почти все существующие переводы Пятикнижия на русский язык безобразны и избыточны нелепостями — синодальный, например, при всех его стилистических достоинствах не только искажает, но зачастую и бесстыдно оглушает текст. Значительно более добросовестным представляется мне перевод, подготовленный издательством «Шамир»¹, хотя и он, к сожалению, не свободен от неточностей и крайне сомнительных интерпретаций. Я обращался непосредственно к подлиннику, критически сверяя свое понимание текста с тем, который предлагает этот перевод, а также руководствуясь раввинистическими разъяснениями, когда они казались мне убедительными.

Имена персонажей и некоторые географические названия даны в транслитерации, причем в скобках приводится традиционное русское написание слова.

Элохим я перевожу в согласии с текстом «Шамира» как Всесильный (на русский обычно переводится словом Бог); так наз. тетраграмматон я предпочитаю передавать словом Суций.

Всякий анализ сюжета в конечном счете сводится к уяснению ключевого принципа, задающего внутреннее развитие текста. Мне думается, таким главенствующим сюжетным принципом в Торе является переход от общего понятия к частному. Это правило было хорошо известно древним комментаторам Торы («Если вслед за общим (сообщением) дается описание, то оно является детализацией сказанного»), хотя они никогда не придавали ему всеобъемлющего значения. Вместе с тем древние авторы, и прежде всего Раши, иногда противопоставляли этот закон хронологическому порядку развития событий, изложенных в Писании. Отсюда знаменитое утверждение: «В Торе нет «ранее» и «позднее» — иными словами, нет хронологической упорядоченности действий,— мнение, ко-

торое, однако, представляется справедливым лишь в применении к отдельным эпизодам и которого в большинстве случаев не придерживались даже сами толкователи. Говоря об универсальном характере принципа «от общего к частному», я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, хронологическая преемственность, имеющая огромное значение в Торе, и, по сути, тождественная библейскому историзму, есть лишь одно из проявлений этого универсального закона. Точнее говоря, установка «от общего к частному» раскрывается в двух аспектах: ахронном, собственно сюжетном (очередность не самих событий, а их описания²) и фабульно-хронологическом, когда исходное положение представляет собой как бы нерасчлененный, целостный прообраз последующих событий, подробно излагаемых на протяжении дальнейшего повествования. Это особенно заметно на так наз. генеалогических рассказах, где родовое происхождение, родительское начало выступает аналогом общего, а видовые ответвления («потомство») — частного понятия. Этот тип описания, связанный с расширением числа видовых понятий, дополняется другим, сопряженным, напротив, с сужением и локализацией темы, которая, со своей стороны, становится общей основой для новых производных построений. Первому типу отвечает, скажем, завет «плодитесь и размножайтесь», второму — перенос внимания с сюжета о создании всевозможных живых существ к конкретной истории прародителей человечества — Адама и Евы (Евы), а также их старших сыновей. Потом приводится перечень отдаленных потомков первой человеческой четы, пока описание вновь не сужается, сосредоточиваясь на новом рассказе о Ноахе (Ное) и его сыновьях, так что в конце концов описание человечества как некой целостности, распадающейся на различные народы после Вавилонского столпотворения, венчается повествованием о появлении обособленного, избранного народа.

Логическая установка, определяющая строение текста, адекватна исходной теме Пятикнижия, в самом своем начале повествующего о стадильном творении мира. Иначе говоря, библейская космогония логически абсолютно безупречна, ибо полностью отвечает закону достаточного основания; она столь же безукоризненна и в философском отношении, поскольку индивидуальным формам бытия здесь хронологически предшествует создание его наиболее абстрактных, и в этом смысле как бы «идеальных» условий.

Светила не могли быть созданы до появления света как такового; отсюда ясна нелепость излюбленного аргумента атеистов, поражающихся, почему планеты и звезды сотворены были на Четвертый день, а свет — в Первый. Появление света и тьмы предшествует сотворению дня и ночи, ибо последнее есть лишь частное, производное выражение: «И назвал Всесильный свет днем, а тьму ночью». Разделению состояний сопутствует разделение времени, сотворение которого означено в первом слове Писания («В начале») — в этом состоит вторая функция дня и ночи; но поскольку суточная последовательность есть, в свою очередь, наиболее общая характеристика хронологической расчлененности, лишь за их возникновением следует, опять-таки, создание планет, призванных не только освещать мир, но и «разделять между днем и ночью» и быть знаменем «для времен».

Кстати, можно предложить объяснение того, почему растения (Третий день) предшествуют светилам (Четвертый). В стихе «И выпустила земля покров зелени, траву семяносную, по роду своему, и дерево, производящее плод, в котором семя его по роду его» скрывается первое указание на преемственность и смену поколений, т.е. на протекание биологической жизни во времени, конкретизируемом далее в периодичности движения светил (стоит напомнить и об универсальной культурной символике растений, чья жизнедеятельность, в отличие от жизнедеятельности животных, связывается не с пространством, а с временем). Даже поверхностный анализ, показывает принципиальную правоту проницательного Раши, полагавшего, что все «было сотворено уже в Первый день».

В первой главе Торы действие разворачивается по следующей схеме. Вначале неизменно дается некое обобщенное недифференцированное состояние, из которого последовательно вычленяются составные элементы. Одно и то же слово, определяющее исходную ситуацию, меняет значение, приобретая однозначное и все более узкое содержание. В первых словах книги Берешит (Бытие) изображается создание неба и земли в предельно абстрактном пространственном понимании — как верх и низ; воду здесь следует, видимо, трактовать в качестве некой аморфной «протоматерии». Во Второй день производится разделение вод (вода уже в собственном смысле) и сотворение неба, понимаемого теперь как пространство, разграничивающее верхние и нижние сферы, — то есть небо в специальном значении слова, разительно отличающемся

от того, которое было придано ему в предыдущем стихе. Тема неба сменяется темой земли: низ разделяется на воду, определяемую теперь уже в географическом аспекте (моря) и землю, взятую в тесном значении суши. Процесс продолжает развиваться по принципу дробления: земля «выпускает» из себя растения, вода «воскишела» рыбами, из земли возникают животные и Адам, а из Адама — Хава.

Текст строится на аксиоматических основаниях, и его скрытая внутренняя тавтологичность родственна тавтологичности математики. Предварительная ситуация в неявном виде содержит в себе все последующие, вытекающие из нее. Многочисленные «анахронизмы», в которых так несправедливо упрекали Библию, есть способ показа будущего в настоящем³. Достаточно лишь отказаться от навязанного психологизма и увидеть в героях Писания не только «живых людей», но и функциональные элементы, равноправные с другими, и мы поймем, что между этими «анахронизмами» и, допустим, пророческими видениями персонажей нет принципиальной разницы.

Та же тавтологичность, о которой говорилось выше, распространяется и на чисто логические операции вроде операции разделения. Так, в словах «И сказал Всесильный: да будет свет... и разделил Всесильный между светом и тьмой» содержится скрытый повтор: сотворение света, по существу, тождественно отделению его от тьмы. Сходным образом само создание неба и земли уже адекватно их разделению, приуроченному тем не менее к следующему, Второму дню.

Тавтологические построения порождают множество парадоксов. Приведу несколько примеров, почерпнутых из истории грехопадения. Начну с вопроса: в чем, собственно, заключается преступление Адама и Хавы? Парадокс состоит в том, что запрет на познание добра и зла уже заведомо предполагает их знание: нарушение запрета есть зло, подчинение ему — добро. Сверх того, сказано прямо: «В день, когда ты вкусишь от него (от дерева познания), смертью умрешь»; вряд ли приходится сомневаться в том, что смерть Адам считает злом.

Здесь уместно отметить, что известное толкование рассказа о грехопадении, предложенное Рамбамом (Маймонидом) в «Наставлении заблудшим», представляется недостаточно убедительным. Оно сводится к разграничению рационального знания и знания эмоционального, обретенного в опыте грехопадения. Я охотно уделю бы

полемике с подобной трактовкой, а равно разбору интереснейшего и сложнейшего сюжета об Адаме и Хаве несколько страниц. Замечу только, что традиционное толкование совершенно игнорирует тот факт, что понятие добра, как и зла, в цитируемой главе неразрывно объединяет в себе и этический (представление о норме), и эмоциональный аспекты («хорошо» и «плохо» в плане чувственного восприятия).— Рамбам же их искусственно расчленяет; во-вторых, очевидно, что грехопадение обусловлено предшествующим ему опытом и поведением персонажей. В данной постановке проблема упирается в философский вопрос о свободе воли, в обсуждение которого я предпочитаю не вдаваться, поскольку избегаю тут спекулятивных рассуждений, оторванных от текста. Следует все же подчеркнуть, что свобода предполагает, так сказать, материал, исходные данные, между которыми производится выбор — именно: добро и зло, объективно существующее еще до и вне зависимости от действий героев. Характерно, что первое — косвенное — упоминание о зле в Библии соотнесено с созданием жены Адама: «Не хорошо (букв. — *не добро*) быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему» (получается наоборот — «помощник» и предстает носителем зла); но, в целом, зло становится деятельным уже в тот момент, когда появляется древо познания. Таким образом, зло возникает, по крайней мере, вместе с Раем. Вообще говоря, с философской точки зрения Эден (Эдем, Рай) и без того не может считаться сферой абсолютного добра: указание на обязанность человека «возделывать и хранить его» косвенно свидетельствует о некоторой ущербности состояния, в котором пребывают и сам Сад, и его обитатели.

Все предопределено исходными условиями, и если преступление, совершенное Адамом по наущению жены, должно караться смертью, то этот мотив предваряется упоминанием о «глубоком сне», который наводит Всесильный на человека, когда создает из его плоти женщину⁴. Змей говорит Хаве: «В день, когда отведаешь от него, откроются глаза ваши». Но ведь еще до сцены вкушения плодов сказано: «И увидела женщина... что... дерево... *услада для глаз*». Изготовление опоясаний (своеобразной границы между людьми и Богом) и попытка Адама «спрятаться» от Бога непосредственно предшествуют изгнанию из Эдена; вначале человек должен был охранять Сад — теперь Сад охраняется от человека.

Столь же двусмысленным выглядит и рассказ о Каине

и Эвеле (Авеле), все сюжетные моменты которого вытекают из его предыстории. Тема убийства задается сообщением о «кожаных одеждах», изготовленных Всесильным для первой человеческой четы — т. е. о коже мертвых (убитых?) животных⁵. Эвель становится «пастухом овец», хотя в этот период, до потопа, мясная пища еще запрещена, а затем говорится о заклании первородных и тучных овец — о жертвах, приносимых Эвелем.

Без учета данного сюжетного принципа, в изобилии продуцирующего подобные «анахронизмы», вина человекоубийцы Каина была бы попросту непонятна: ведь он нарушает заповедь, оглашенную значительно позднее. Следует добавить, что вообще все последующие установления и запреты проистекают из положений, прямо или косвенно означенных в первых главах Писания, и возможно, что заповедь «не убей» — один из аспектов завета «плодитесь и размножайтесь». Первые четыре из десяти синайских заповедей лишь закрепляют и подтверждают то, что уже было сказано в разделах, повествующих о сотворении мира и об Исходе. О содержании остальных шести превосходно осведомлены то и дело нарушающие их персонажи первой книги Торы: Каин и его потомки; Хам и Реувен — «почитай отца своего»; сравни также: Ваикра (Левит) 18:7—8 и 20:11; Авимелех и фараон (седьмая и десятая заповеди); Рахель (восьмая — «не кради») и т. д. В раввинистической литературе отмечено знакомство Ноаха (Ноя) с разделением животных на чистых и нечистых, состоявшееся еще до Синайского откровения. Можно уточнить, что законы «кашрута» предвосхищены в запрете на плоды двух деревьев, произрастающих в Эдене, и в некоторых других ограничениях.

Логика анализа приводит нас к представлению о том, что в конечном счете сюжетные ходы Пятикнижия строятся по принципу обращенной триады. Синтетическое исходное положение скрывает в себе две противоположные тенденции, получающие сюжетное развитие: антитезис и тезис. Индивидуальное, следующее за общим, наделяется отрицательной оценкой или «снимается», сменяясь новым, положительно оцениваемым состоянием. С нейтрального по своему характеру описания бесформенного, неопределенного бытия в первом стихе Пятикнижия переходит к упоминанию о тьме, которая по закону контраста влечет за собой появление света. Изображение сотворения мира в начале книги Берешит, сопровождаемое позитивной оценочной характеристикой («хорошо»,

точнее — «добро»), сменяется во второй главе темой неполноты, лишенности («Никакого же кустарника полевого еще не было на земле, и... трава... не росла, ибо не посылал Суций Всесильный дождя на землю, и человека не было для возделывания земли»), преломляемой в тему зла и грехопадения. Одно и то же событие или явление, нейтральное само по себе, получает, в зависимости от контекста, полярные значения. Изначальная функция человека — возделывание земли — приобретает после грехопадения негативный смысл: «И *выслал* его Суций Всесильный из сада Эдена *возделывать* землю, из которой он взят». Заповедь «плодитесь и размножайтесь», сохраняя свое содержание, оборачивается проклятием: «*В скорби* будешь рожать детей».

Складывается череда «рамочных» ситуаций — в каждом конкретном рассказе его исходный мотив повторяется, но в контрастном, симметрическом оформлении. К примеру, в сцене изгнания Агари в пустыню повествуется, как она, чтобы не видеть смерти своего сына Ишмаэля (Измаила), села от него «на расстоянии *натягивающих* лук», — через несколько строк будет сказано: «И вырос он, и поселился в пустыне, и стал *стрелком из лука*». Ср. в истории Якова (Иакова): обманывая ослепшего отца, герой выдает себя за своего *брата* Эсава (Исава); а потом тесть — Лаван на свадебном пиру обманывает Якова, введя к нему в вечернем мраке вместо невесты Рахели ее подслеповатую сестру Лею. Само имя Яков — от «пя-та», — как известно, этимологизируется, подобно именам многих других персонажей, и сюжетно обыгрывается в Торе, благодаря его ассоциативной связи со словом «обошел», «облукавил». Герой появляется на свет, держась за ногу брата, — а спустя много лет, перед возвращением в Кнаан (Ханаан) и встречей с Эсавом, становится *хромым* после борьбы с ангелом.

Абсолютно очевидны зеркальные конструкции в сюжете о Йосефе (Иосифе) — я имею в виду хотя бы мотив одежды, используемой в качестве фиктивного доказательства. Знаменитая «разноцветная рубашка» убеждает Якова в гибели сына, — ср. далее одежду оклеветанного героя, сорванную с него женой Потифара, — и наконец, «виссонные одеяния» Йосефа-царедворца, которого братья принимают за египтянина. Мнимая кража магической чаши, принадлежащей Йосефу, перекликается с похищением его матерью Рахелью идолов Лавана. Братья приносят в дар Йосефу — египетскому вельможе — те же товары

(бальзам и т.д.), которые доставил в Египет караван измаильтян, продавших героя в рабство.

Закон «снятия» первого элемента удобно проиллюстрировать на материале многочисленных рассказов о соперничестве братьев и других парных персонажей. Как правило, старший из братьев в этих сюжетах лишается главенствующей роли — часто он изгоняется — и прерогативы «первенца» переходят к младшему. Таковы сюжеты о Каине и Эвеле (с той оговоркой, что убитый замещается его младшим братом Шетом — Сифом), Ишмаэле и Ицхаке, Эсаве и Яакове, Лее и Рахели⁶, Йосефе — сыне Рахели — и его старших братьях, Менаше и Эфраиме (Манассии и Ефреме), Переце и Зерахе (Фаресе и Заре); ср. также привилегированный статус Моше (Моисея) по отношению к Аарону⁷. То же касается и истории целых поколений и народов: погибает все «первородное» человечество — потомство Каина; спасаются лишь потомки младшего, Шета, — Ноах с сыновьями; истребляются первенцы Египтян — Израиль объявляется «первенцем Божиим».

Перераспределение приоритета обуславливается обычно компенсацией — символической заменой первенца козленком, овном и т.п., что в ритуальном плане связывается с жертвоприношением (ср.: «Всякого первенца из сынов своих выкупай» — Шмот (Исход) 34:20). Я не хочу останавливаться на столь очевидных примерах, как жертвоприношения Эвеля, события на горе Мория или ритуальное заклание ягненка, сопутствующее избавлению еврейских первенцев накануне исхода из Египта. Завуалированный мотив замены прослеживается в сюжетах, казалось бы, иного типа. Яаков, домогаясь первородства, надевает на себя *козлиные шкуры*, а позднее одаривает *стадами* обманутого соперника; в Харане он пасет стада Лавана, чтобы выкупить у него Рахель, младшую сестру Леи. Вместо Йосефа братья убивают козленка; и характерно, что выпачканная кровью животного пестрая одежда ассоциируется с пестрой шерстью козлов, которых приобрел отец Йосефа в Харане.

Отчетливое осознание универсального закона, регулирующего преемственность и взаимосвязь событий, изложенных в Торе, является существенным условием для изучения одного из фундаментальных ее сюжетов — истории взаимоотношений человечества и земли или, в конечном счете, взаимоотношений народа Израиля и дарованной ему страны. Об изначальном, кровном союзе ев-

реев с Обетованной землей, постоянно упоминаемом в Торе, писалось и говорилось бесконечно много, но не указывалось, в чем заключаются его отдаленные сюжетные предпосылки. Нужно учитывать, что понятие «земля» в Пятикнижии совмещает в себе несколько значений: в частности, это вместе и вещество, почва, и географическое пространство. Выше уже отмечалось, что, согласно Пятикнижию, человечество, как и все живое, было в буквальном смысле создано из земли (см. Берешит 1:24; 2:7) — его родины в самом прямом, этимологическом понимании слова. Естественно, что в соответствии с тем же принципом «снятия» первого элемента сюжетной последовательности за грехопадение человека расплачивается в первую очередь проклинаемая Богом земля, для возделывания которой и был сотворен человек. За проклятием следует потоп — уничтожение суши за вину ее обитателей: «И увидел Всесильный землю: и вот, растленна она, ибо извратила всякая плоть путь свой по земле. И сказал Всесильный Ноаху... вот, я истреблю их с землею». Лишь после потопа восстанавливает Бог союз с землей и ее порождениями: «Не буду больше проклинать землю за человека... И благословил Всесильный Ноаха и сыновей его, сказав им... наполняйте землю». Так исподволь подготавливается тема земли, обетованной Аврааму. Меняется этическая оценка одного и того же факта — генетической связи человека с почвой, но сама эта связь остается нерасторжимой. Вначале, как всегда, дается нейтральная информация предельно общего характера: человек создан был «из праха земного»; после грехопадения она трактуется уже в резко отрицательном плане: «Возвратишься в землю, ибо из нее ты взят, ибо *прах ты и в прах возвратишься*; и, наконец, Бог говорит Аврааму: «Всю землю, которую ты видишь, дам Я тебе и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое как *прах земной*».

В поступательное движение темы неуклонно вовлекаются все те же исходные элементы, с которых начинается ее развитие в первой главе книги Берешит, — земля и вода, свет и тьма. Обитаемый мир, человечество, Израиль периодически оказываются перед угрозой губельного возвращения в первую фазу сотворения вселенной, предшествующую разделению стихий, — когда «земля была безвидна и пуста, и тьма над ликом бездны». Опасность повторения первобытного хаоса всякий раз воплощается в очередном потопе и сопутствующем ему мраке. Всемирная катастрофа, от которой спасается Ноах, сменяется ло-

кальной — разрушением Аморы и Сдома (Гоморры и Содома), предваряемым ослеплением жителей, и уцелевший Лот с дочерьми, как Ноах с сыновьями, находит убежище на горе,— ср. с Моше, выводящим спасенных евреев к горе Синай. Чудесное избавление есть всегда актуализация процесса сотворения мира и, главным образом, Третьего дня, в который было произведено разделение воды и суши,— даже если суша оборачивается всего только корзиной младенца-Моше, ковчегом Ноаха или сжимается до размеров Святой земли.

Гибель фараонова воинства в море предрешена уже сновидениями фараона, истолкованными Иосефом, первым израильтянином, обосновавшимся в Египте (смерть приходит из воды), и в первой же «казни египетской» — претворении воды в кровь. Эпизод с потоплением колесниц — заключительный штрих на картине, изображающей постепенное погружение мира в первозданную тьму и хаос.

С другой стороны, корзина Моше, счастливо укрытая в нильском *тростнике*, предвещает чудесное шествие евреев сквозь *Тростниковое* (Чермное) море, ставшее сушей. Странствия Израиля по пустыне завершаются переходом через расступившийся перед ним Иордан.

Аналогом губительной водной стихии оказывается враждебная, чужая земля либо раскаленная пустыня, тогда как вода в последнем случае, напротив, соотносится с жизнью и спасением. Те динамические образы, в которые облекается божество или, правильнее, представляющая его сила, сближаются с обеими противоборствующими стихиями — с огнем и влагой. Ср. хотя бы символику радуги — света, пламенеющего в облаке, и последующую трансформацию того же образа, как бы разложившегося на две составные части — на огненный и облачный столпы.

Коль скоро в описании Египта отрицательная смысловая характеристика сообщается воде, а положительная — огню и производным от него понятиям жара, сухости и т. п. (ср. пасхальный ритуал: поедание жареного на огне агнца и опресноков), то в повествовании о блужданиях по Синайской пустыне все обстоит иначе и гораздо сложнее. Так, эпизод с добыванием воды из скалы симметричен превращению морской воды в сушу. Конечная цель Исхода — обретение не только святой, но и «доброй», цветущей, плодородной земли. Поэтому тема изгнания и возвращения воплощается в растительной метафорике, в

смутно очерченном образе прорастающего зерна, соотношенном с мотивом прозреваемого будущего. Центральным моментом повествования о переселении евреев в Египет является история прорицателя Йосефа — кстати, единственного из всех родоначальников, характеристика которого, данная в предсмертном монологе Якова, проникнута сугубо «ботанической» символикой. Имеет смысл напомнить, что мать Йосефа, Рахель, умирает возле Бет-Лехема (Вифлеем), букв.— «дом хлеба», т.е. амбар, рига; его первый сон — кланяющиеся снопы⁸. Сидя над «ямой без воды», в которую брошен Йосеф, братья едят хлеб. Попав в Египет, герой предрекает смерть начальнику пекарей и распознает символическое значение колосьев, привидевшихся во сне фараону, после чего становится фактическим владельцем всех хлебных запасов страны и кормильцем своих родичей. Так исполняется пророчество о кланяющихся снопах и контрастно обыгрывается эпизод с ямой и хлебом. На этом кончается биография Йосефа и начинается история рабства, которое заключается в том, что евреи строят в Египте города для запасов, так сказать, египетский бет-লেখем. А Исход совершается в месяце Авив — т.е. в месяце колосьев. И тогда пустыня, чьим прообразом оказалась «безводная яма», орошается хлебным дождем, и устанавливаются законы о *жатве* и приношениях хлебных *снопов*.

Затронутая тема включает в себя другой мотив, заслуживающий внимания. Рабство и освобождение, море и обетованный берег метафорически связаны с противопоставлением горькое — сладкое. В канун Исхода евреи едят агнца или козленка с горькими травами — покинув Египет, они попадают в Мару, где Моше, бросив дерево в горькую воду, делает ее пресной (букв.— *сладкой*), и вскоре получают сладкую манну, своим вкусом, вкусом «лепешки в меду», напоминающую о последней цели скитаний — о стране, «текущей молоком и медом». Но в Синае же народу вновь суждено было испить горькую воду, вызывающую в памяти представление о море и рабстве, ту, в которой Моше растворил прах сожженного им идола. Трансформируется мотив «обжигаемого» на огне козленка, служащего выкупом за первенцев Израиля,— выплавленный, а потом испепеленный телец приносит евреям гибель.

Впрочем, генезис образа более сложен, и его изучение помогает понять глубокое внутреннее единство различных частей Пятикнижия. Мне уже приходилось указы-

вать на отношение преемственности между эпизодом, где говорится об идолах Лавана и сходным моментом в сюжете о Йосефе и его братьях. Первый фрагмент связан с возвращением Якова в Обетованную землю, второй — с переселением его сыновей на чужбину. Остается добавить, что история с изготовлением тельца представляет собой усложненную и расширенную модификацию того же мотива, приобщенного на сей раз к теме исхода из Египта. Итак, готовясь к бегству из Харана, жена Якова похищает идолов, которых впоследствии Яков закапывает под деревом вместе с серьгами, — его потомки выплавляют идола из серег, в числе других золотых украшений выпрошенных — а попросту говоря, похищенных у соседей — еврейскими женщинами накануне бегства из Египта. В кончине Рахели раввинистические комментаторы справедливо усматривают исполнение обещания Якова: «У кого найдешь богов твоих, тому не жить»; как уже отмечалось, в пустыне служение рукотворному «богу» — тельцу карается смертью.

Это примечательное совпадение — лишь одно из многих, доказывающих типологическую однородность всех библейских рассказов об исходе. Как и любые другие сюжеты в Пятикнижии, они обусловлены изначальной логической организацией текста и подчиняются закону снятия первого элемента последовательности, задаваемой исходной ситуацией. В силу этого в каждом повествовании об исходе вычлняются две фазы: отрицательная, а затем положительная. Ни с чем возвращается ворон, первый посланец Ноаха, выпущенный им из ковчега; Аврам вначале попадает в Харан и только спустя много лет добирается до Кнаана (Ханаана); сначала фараон не отпускает евреев — потом разрешает им оставить страну; Моше разбивает первые полученные им каменные скрижали. Осуждено на изгнание и гибель старшее поколение Исхода, его «первенцы»: по возвращении Аврама из Египта Лот уходит в обреченный Сдом; во время бегства из Сдома погибает жена Лота; умирает в пути Рахель, любимая жена Якова; навсегда остается в Синае «поколение пустыни». Любители исторических параллелей, вероятно, вспомнят о том, что исчезновение десяти колен Израилевых, затерявшихся на чужбине, предшествовало исходу из Вавилонии их иудейских соплеменников, и о том, что первую, малопримечательную стадию этой репатриации следует признать несравненно менее удачной, нежели вторую, освященную именами Нехемии и Эзры. На сход-

ные размышления наводит и судьба последующих репатриаций, вплоть до сионизма. Еврейская история со свойственной ей монотонностью щедроставляет материал для подобных аналогий, и непредвзятому наблюдателю поневоле приходится обращаться к сюжетам Пятикнижия как к модели нашего национального бытия⁹.

Возвращаясь к вопросу о циклической диалектике событий, перечисленных в Пятикнижии, целесообразно подчеркнуть, что ярчайшим ее подтверждением должна считаться сама хронологическая упорядоченность, регулирующая творение мира,— чередование будней и субботы, рассматриваемой в том ее непосредственно негативном значении, в каком она дается в Торе,— как момент чистого отрицания, снятия, прекращения всякого действия: «*Не делай...никого дела*». Я не собираюсь утверждать, будто суббота лишена собственного положительного содержания, закрепленного последующей ритуальной практикой, но эта тема причастна метафизике и философии религии, а потому не вмещается в пределы данной статьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Пятикнижие Моисеево, или Тора. С русским переводом и комментарием. Под общей редакцией проф. Г.Брановера. Иерусалим, 1978.

² См., например, замечание Раши о том, что т.н. вторая версия рассказа о сотворении человека — мужчины и женщины — на деле является детализацией первой.

³ Особенно охотно толкуют, предположим, об анахроничности библейских топонимов, о том, что Ур во времена Аврама не мог считаться халдейским городом и т.п. Но никто ведь, однако, не усматривает несурезицы в, казалось бы, не менее парадоксальной географии Эдена, граничащего с землей Куш. Между тем приведенная аналогия свидетельствует, во всяком случае, о наличии единого сюжетного принципа, нуждающегося в интерпретации. «Анахронизмы» — явление того же порядка, что и обратное время, возникающее в тех эпизодах, где говорится о заключении вечного союза между Богом и человеком, союза, подразумевающего пророческое преодоление, устранение ограничений, налагаемых временем. Сюда относятся знаменитое «исполним и будем послушны» (Шмот 24:7), а также появление символической радуги накануне, а не после дождя. Короче говоря, если описывается движение времени вспять, то оно задается собственной логикой текста. Так, в словах Лота, обращенных к ангелам, рисуется обратная последовательность действий: «Ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру». Раши, впервые обнаруживший здесь некоторую несооб-

разность, предлагает иную, реалистическую и бытовую мотивировку, не замечая, что «обратный ход» отвечает общей тенденции рассказа об уничтожении нечестивого города и его жителей, чье поведение является собой предельную противоположность нормативному. Поэтому, уничтожая города, Бог именно «опрокинул» или «перевернул» их, и жена Лота погибла, оглянувшись, обернувшись назад. Для иллюстрации приема «обратного действия» стоит еще напомнить, что жена Лота стала «соляным столпом» еще до того, как на этом месте появилось Солёное (Мертвое) море, что ангелы «завернули» в гости к Лоту (мотив непрямого, ненормативного действия — см. реалистическую трактовку у Раши), что он становится спиной к двери, запертой снаружи, и что чудесное спасение из греховного города курьезно завершается кровосмесительной связью, — аналогом противоестественного греха, за который были наказаны жители Сдома.

⁴ Напрашивается другой, достаточно туманный вопрос: для чего создано древо жизни? Если первоначально Адам был сотворен бессмертным, то оно не нужно, а если смертным — в чем состоит кара?

⁵ Я предпочитаю прямое толкование этого места всевозможным мистическим и теософским домыслам.

⁶ В этом, как и в некоторых других сюжетах, где говорится о соперничестве родственников, наблюдается и обратная смена иерархического статуса — своеобразная компенсация ущерба: «Но узрел Суций, что Лея нелюбима, и отверз утробу ее». Ср., кроме того, в рассказе о Якове и Эсаве: «Но когда вознегодуеть, свергнешь иго его», — и симметрическое перераспределение иерархии в дальнейшем повествовании о потомках сыновей Якова, а также сыновей Моше и Аарона. Вообще, композиция подобных сюжетов в целом носит несколько более сложный характер. Происходит чередование «плюсов» и «минусов», и все зависит от изначального элемента последовательности. Скажем, праведнику Ноаху наследуют: старший Ефет — Иафет (его образ, в принципе, выглядит сниженным в сопоставлении с оценкой, приданной Шему (Симу), занимающему поэтому первое место в перечне), средний сын Шем («Благословен Суций, Всесильный Шема») и младший, грешник Хам. Ср. другую последовательность: отец Терах (Фарра), остающийся и умирающий в Харане, вдали от Святой земли, его сыновья — праведный Аврам, «нейтральный», но также остающийся в Харане Нахор и Аран, сын которого, как бы замещающий Арана, вместе с Аврамом уходит в Обетованную землю.

⁷ Ср. в исторической перспективе, открывающейся в других книгах Библии: пророк Шмуэль (Самуил), провозвестник еврейской государственности, — младший сын в семье Эльканы; Шауль (Саул) — потомок Биньямина, младшего из 12 патриархов; Давид — последний из восьми братьев; Шломо (Соломон) — второй сын Батшевы (Вирсавии), младшей жены Давида.

⁸ Во втором сне речь идет о «поклоняющихся» Йосефу планетах и звездах. Если принять в расчет вышеупомянутую функцию светила — быть «знаменьями для времен», — станет понятно, что помимо своего элементарного значения, расшифрованного отцом героя, сон содержит еще одно, указывающее на присущий Йосефу дар предвидения как таковой. Светила и растительность, имеющая временную коннотацию, следовательно, связываются между собой общим представлением о грядущем, открытым взору героя. Показательно, что все другие, в большинстве также растительные, вещие образы истолковываются Йосефом в первую очередь как аллегории времени.

⁹ Предопределенностью и цикличностью характеризуется в Пятикнижии не только движение в Сион, но и обратный процесс — изгнание и рассеяние. При этом в Торе устанавливается известная тождественность между ситуациями бегства, изгнания и призвания (миссии), — обстоятельство, несколько проясняющее таинственную диалектику и телеологический смысл диаспоры. Адам изгоняется из рая лишь для того, чтобы выполнить свое исконное предназначение; Авраам высылается фараоном — но высылается в Обетованную землю; Яков спасается бегством, но, выполняя желание матери, женится на чужбине и становится родоначальником еврейского народа; Иосефа изгоняют в Египет, — вместе с тем изгнание оборачивается спасением от гибели; а впоследствии Иосеф говорит братьям: «Всесильный послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле». Исход из Египта — это одновременно и изгнание, и бегство, и исполнение завета.

Илана Гомель

КОСТЬ В ГОРЛЕ

(Евреи и еврейство в западной фантастике)

Ничто так хорошо не описывает положение еврея в галуте, как научная фантастика. «Чужой в чужой земле» — название знаменитого романа Роберта Хейнлейна — это формула галутного существования. Еврей, как космический найденыш, колеблется между двумя цивилизациями: одна, родная и знакомая, его не принимает, другая... но что он знает о другой? Вся еврейская история — это своеобразная машина времени, ломающая законы нормального хроноса и зашвыривающая своих пассажиров из пыли Ассирии и Вавилона напрямик в эпицентр двадцатого века. Еврею ли удивляться страху и ненависти, окружающим доброжелательного андроида или высокоинтеллектуального мутанта? Еврею ли не знакома тема бесконечных блужданий в поисках дома, которого, быть может, никогда и не было? Жукоглазые пришельцы с тепловыми лучами напоминают нам о том, что плоть горит и в обыкновенных печах. А что до взаимоотношений фантастики и действительности, еврейский опыт подтверждает, что даже такой образец фантазии, как «Миф XX века»¹, может оказать весьма ошутимое влияние на судьбы человечества.

¹ «Миф XX века» — книга Адольфа Розенберга (1893—1946), одного из главных идеологов нацизма и ближайшего приспешника Гитлера. Написанная в 1934 году, эта книга соединяет философские претензии с псевдонаучными и просто фантастическими теориями, вроде происхождения арийской расы из Атлантиды.

При всем том еврейская НФ сравнительно редка. Фантастика по большей части развлекательная литература, а еврейская тема не из тех, что обещают легкое чтение. Но есть и более глубокие причины к тому, что евреи до последнего времени оставались на периферии нового жанра. Не принятые его основателями, они не сразу обнаружили, что перед ними — зеркало, в котором они видят себя глазами европейской культуры.

Генезис научной фантастики зависит от амбиций ее исследователя. Солидный критик берет за отправную точку писателей античности Лукиана и Аристофана и зачисляет в отцы НФ Томаса Мора, Сирано де Бержерака, Свифта и Вольтера. Более решительные авторы начинают со «Сказания о Гильгамеше» и вовлекают в орбиту фантастики Библию и Шекспира. Если критерием является игра воображения, то эти критики правы. Но они подрубают сук, на котором сидят: поскольку без воображения никакая литература невозможна, фантастика растворяется в общем литературном процессе, и ее исследователи теряют хлеб насущный.

На деле не нужна особая тонкость, чтобы почувствовать разницу между, скажем, Сэлинджером и Брэдбери. Дело не в сюжетах: есть особая атмосфера жанра, которую даже новичок опознает без труда. В ней сливаются чудесное и ужасающее. Фантастика живет на чуде, но питающий ее потайной родник — это страх.

Брайан Алдисс, известный английский фантаст и критик, считает, что НФ определяется не столько набором тем и сюжетов, сколько определенным подходом к проблеме человека во Вселенной. Этот подход родился на грани девятнадцатого века вместе с романтизмом как его нежеланный и поначалу непризнанный злоеющий близнец. «Черная тень романтизма» — так определялся даже не жанр, а мироощущение, из которого выросла НФ. Название ему — готика.

Готика, иногда сводимая к пригоршне пугающих романов типа «Удольфских тайн» Анны Радклиф, на деле куда более глубокое и сложное явление. Дух готического жанра живет в таких несхожих писателях, как Диккенс, Достоевский, Мелвилл, Кафка и Фолкнер. Есть литературоведы (Лесли Фидлер, например), серьезно утверждающие, что вся американская литература укладывается в

рамки готики¹. И если вспомнить непрерывную традицию «черной» метафизики — от Эдгара По через Готорна и Твена к Фолкнеру, — эта идея не покажется такой уж недоказуемой.

Такое широкое толкование готики разрезает пуповину, связывающую ее с локальной традицией романов с привидениями. Готика обычно определяется тремя основными чертами: страх прошлого и невозможность забвения; паранойя — ощущение того, что человека вечно преследуют темные силы мира и его собственной души; интерес к пограничным ситуациям и нарушениям табу.

Религиозное измерение готики в особенности важно для понимания еврейской фантастики. За самым заземленным местечковым евреем стоит Книга Книг. Авторы религиозной фантастики (бурно развивающегося направления в англоязычной НФ) не всегда отваживаются ступить на terra incognita иудаизма. Христианство с его внушительным пантеоном живописных демонов представляет большой простор воображению. Но многие из тех, кто не боится коснуться религиозных ран двадцатого века, вступают в диалог (конфликт, противостояние) с еврейским Богом. Новое поколение фантастов — евреев и христиан — использует Ветхий завет как отправную точку для постромантического атеизма, постпросветительского скепсиса или гностицизма, такого древнего, что он становится сверхмодерным.

Традиционная готика видит Бога и Космос как изначально двусмысленных. Бог иногда откровенно зол — мировой бог-дьявол гностиков. Но чаще непонятен и непознаваем: Бог в затмении. Готика может принять знаменитую доктрину Ницше «Бог умер», но в терминах жанра это означает, что человечество, утратившее веру, никогда не будет свободно от чувства вины. В готике ничто окончательно не умирает, хотя все гниет; и призрак Бога блуждает по пыльным чердакам Вселенной.

Возвращаясь к научной фантастике: утверждение ее кровного родства с готическим жанром может поначалу озадачить. Разве фантастика не литература будущего? Но даже поверхностный взгляд на современную НФ покажет, что 2001 год — это чистая условность. На фоне неточно воспроизведенной истины готика оживляет архетипы и

¹ Фидлер Лесли. Любовь в американском романе. Одна из самых интересных и спорных попыток соединить юнгианский психоанализ с филологией.

проигрывает заново мифы братоубийства и инцеста. На никелево-пластиково-лазерные экраны НФ проецирует те же черные тени. Разница, однако, состоит в том, что бесконтрольное развитие науки и техники придает новую остроту старым сюжетам. Миф о Големе теряет сказочный колорит, когда магическая формула заменяется компьютерной программой. А Эдипова тема греха, загрязняющего и оскверняющего самую почву Фив, становится газетной повседневностью, когда загрязнение можно измерить счетчиком Гейгера.

Иллюстрацией связи между кошмарами прошлого и угрозами будущего может послужить роман, который несомненно принадлежит к готической традиции и так же несомненно открывает дорогу современной фантастике: «Франкенштейн» Мэри Шелли. Написанный в начале девятнадцатого века, он повторяет тему великого европейского мифа — истории доктора Фауста. Но доктор Франкенштейн живет в мире, где Бог и Мефистофель больше не оспаривают человеческую душу. Небо и ад превратились в абстракции, в лучшем случае — безразличные, в худшем — несуществующие. Франкенштейн не продает душу за знание; он получает его в университете. Вопрос, однако, в другом: а есть ли у него душа? И есть ли душа у его чудовищного творения? Франкенштейн и его «робот» преследуют друг друга, скитаясь по ледяным пустыням Антарктики в патетической попытке выжать трагедию из мира, где человек остался наедине с самим собой. Немало его литературных потомков топчут звездные дороги в погоне за тем же неуловимым призраком — собственным «Я».

Робот — средневековое изобретение (гомункулус). Его еврейский эквивалент — Голем. В современной фантастике РОБОТ, ГОЛЕМ, АНДРОИД — все они отражения расколотого сознания их создателей. Называйте это «ид» и «эго», разум и эмоции — таинственный двойник романтиков облачен сегодня в искусственную плоть. Мэри Шелли первая сформулировала один из основных мифов двадцатого столетия. За ней последовали другие, как и она, говорящие на языке фантастики.

Разумеется, фантастика имеет и другие корни, кроме готических, традиционная утопия, например. Европейская утопия восходит к Томасу Мору, но и еврейская утопия имеет своих почтенных родоначальников — Теодора

Герцля или, скажем, Генри Перейра Мендеса, который в 1899 году выпустил в Нью-Йорке книгу под названием «Взгляд вперед» (ответ на утопию Беллами «Взгляд назад»), значительная часть которой посвящена будущему сионистскому государству. Но дальнейшее литературное продвижение евреев в светлое будущее было остановлено самым бесцеремонным образом.

Два писателя соединили, более или менее удачно, просветительские тенденции утопии с напряженным сюжетом готики и заложили основы современной НФ — Жюль Верн и Герберт Уэллс. Оба отрицали за евреями право на вход в технологический рай будущего.

Жюль Верн, «певец веры в человека», как назвал его один советский критик, сочувствовал страданиям патогонцев и индусов. Но в евреях он не видел угнетенной нации. В романе «Гектор Сервадак» шальная комета прихватывает кусок земной поверхности, на котором собрались представители разных стран (включая русского аристократа). Есть там и еврей — отвратительный торгаш и ростовщик, даже в минуты смертельной опасности думающий только о выгоде и ставящий палки в колеса нарождающемуся братству народов. Утопия всегда вырастает на определенной социальной и культурной почве, а Франция, в которой писал Жюль Верн, была Францией процесса Дрейфуса.

Уэллс был лучше и сложнее Верна как писатель. Но после первых блистательных романов он позволил плоскостному рационализму одержать верх над его воображением. Евреи, по его мнению, отравлены «ядом истории» — национализмом. «Эта склонность к расовому самомнению стала трагической традицией евреев и источником постоянного раздражения неевреев вокруг них». Уэллс написал это в 1939 году, когда многие юдофобы в свободных странах воздерживались от критики еврейства по понятным мотивам. Но для Уэллса идея основанной на разуме утопии превратилась в шоры, позволявшие ему не замечать явного крена современной истории в иррациональное. Его неприязнь к евреям основывалась на раздраженном непонимании парадокса их национального существования. Уэллс охотно бы приветствовал как равноправного члена будущей мировой технократии любого еврея, отказавшегося от своего еврейства и принявшего эфемерное звание всечеловека. Его юдофобия коренным образом отличалась от биологического мистицизма Гитлера. Другие авторы, менее талантливые, чем Уэллс, но

более чуткие к духу времени, сформировали новый мир фантастики, предвосхищающий идеологию нацизма или параллельный ей.

Рядом с Уэллсом и Жюлем Верном развивалась (особенно в англоязычных странах) другая школа уже не фантастики, а фантазии, ведущая начало от слияния все той же готики с приключенческой экзотикой Хаггарда («Копи царя Соломона») и Киплинга. Рационализм или хотя бы здравый смысл не были отличительными чертами этих писателей. На первый взгляд их книги имели одну-единственную цель — одарить читателей всей той романтикой, на которую поспешила жизнь. Главный герой всегда был супермужественным, суперсильным, суперудачливым. И разумеется, белым. Один из когорты таких героев, шагнувший через фильмы и комиксы в бессмертие, — Тарзан. На обезьяньем языке его имя означает «белый человек».

Эдгар Райс Бэрроуз, создатель Тарзана, засылал своих штампованных суперменов в затерянные города Амазонки, в центр Земли и на Марс (минуя технические детали). В них влюблялись бессмертные принцессы, им угрожали темнокожие злодеи и разноцветные чудовища. Проще всего отмахнуться от Бэрроуза как от примитивного расиста. Но такого рода бульварное чтиво может уловить подспудные течения своей эпохи куда более точно, чем элитарная литература. Пример — ныне прочно забытый английский писатель М.П.Шил, один из предшественников Бэрроуза. В 1890-х годах он написал рассказ под названием (прошу не падать!) «СС». Это означает Союз Спартанцев (Society of Sparta по-английски). Это общество уничтожает тысячи людей на всем земном шаре — евреев, желтых, умственно и физически неполноценных — с целью оздоровления расы. Не нужно зачислять покойного мистера Шила в ранг ясновидца. Достаточно вспомнить, что книги Чемберлена¹ и Гобино², вдохновившие Гитлера, по его собственному признанию, были к тому времени уже написаны. Но серьезные мыслители их не замечали. Литература с большой буквы занималась психологическими изысканиями, не замечая приближе-

¹ Чемберлен Хаустон Стюарт (1855—1927) — англичанин, натурализовавшийся в Германии, зять Вагнера, автор книги «Основания девятнадцатого века», в которой история объясняется борьбой между «высшей», арийской, и разнообразными «низшими» расами. Престарелый Чемберлен встретил Гитлера и дал ему свое благословение.

² Де Гобино Артур (1816—1882) — французский историк. В «Эссе о неравенстве рас» объяснял упадок цивилизации расовым смешением и вырождением.

ния эпохи, когда индивидуальную психологию на время заменит социальная патология.

Бэрроуз, Меррит, Лавкрафт и их подражатели были более чутки, быть может, ввиду собственных душевных травм. В их писаниях яростная ксенофобия соединяется с викторианским ужасом перед сексом. На сотнях страниц голубоглазой и белокурой девственнице угрожают насильем пурпурные марсиане, щупальцеобразные чудовища и прочие, физически с ней несовместимые создания. Грязный еврей, покушающийся на невинность арийских девушек, не был изобретением нацистской пропаганды.

Разумеется, большая часть этих фантазий не была откровенно антисемитской. Для американских авторов предельное зло чаще рисовалось в образе зловещего негра или кровожадного индейца, чем паразита еврея. Но стиль их языка и мышления, с параноидальным разделением на «мы» и «они», с объективизацией зла в культурно и физически непохожем, с упором на расу как носительницу моральных качеств,— все это отражало климат эпохи, в которой формировался идеологический словарь фашизма.

Одним из самых загадочных представителей англоязычной фантазии 30-х годов был Говард Филлипс Лавкрафт, умерший в сравнительной безвестности в 1937 году. Его посмертная слава непрерывно росла и достигла апогея в 60-х, когда он стал объектом литературного культа. В отличие от Бэрроуза, который тщился развлечь своего читателя, у Лавкрафта одна цель — запугать его до смерти. Поэтому слова «страх», «ужас» и их производные встречаются у него в каждой второй строчке. Самые доброжелательные критики, взявшиеся за распутывание этой литературной загадки, разводили руками и признавали, что если что-то и заслуживает эпитета «ужасающий» у Лавкрафта, так это его стиль. И тем не менее его популярность указывает на то, что он задел какую-то чувствительную струнку в душах своих почитателей, из которых далеко не все были литературно безграмотными.

Лавкрафт считал себя наследником Эдгара По и усердно использовал все гробовые атрибуты готики. Тем не менее многие его рассказы («В горах безумия», «Герберт Вест — воскреситель») построены по классическим схемам НФ. Лавкрафт — фрейдист наизнанку: его ужасы не всплывают из глубин подсознания, а выползают из под-

валов, морских глубин или пятого измерения, чтобы атаковать цивилизованное человечество. Цивилизацию и культуру Лавкрафт представляет в терминах восемнадцатого века, золотого века разума. Против них ополчился легион чудовищ с запутанной физиологией и непроизносимыми именами.

Чудовищами фантастику не удивишь. Одна из ее сильных сторон заключается в способности создавать странные, причудливые или пугающие существа, заполняя тем самым какую-то очень важную лауну в человеческом сознании. Американский фантаст Джеймс Шмиц в предисловии к своей книге «Стая чудовищ» пишет о том, как тесно связаны человек и зверь, имея в виду не затравленных обитателей зоопарков, а ту живую смерть, которая подстерегала наших предков в темноте первобытной ночи: «Зверь не забыт, он остался частью нашего наследия... И по мере того, как первоначальные чудовища нашего окружения сходили на нет, человек изобретал мифологические ужасы и новых героев, способных с ними сражаться».

Но в фантастике есть две разновидности чудовищ и соответственно две разновидности героев. Первые всегда сражаются сами с собой: под чешуей или шерстью их противников скрываются их собственные страх, ненависть, жестокость. Вампиры, расплодившиеся в двадцатом веке, олицетворяют то темное переплетение Эроса и Танатоса¹, которое живет в каждом из нас. Толкиеновский Властелин колец² — объективизация бесконтрольной жадности власти. Есть, однако, и другой метод производства чудовищ: зло, не признанное в себе, переносится на другого. Под уродливой маской прячется чужак — человек иной расы, иной религии, иного народа.

Чудовища Лавкрафта очень ясно принадлежат ко второй категории. Они ужасные, потому что другие, отвратительные, потому что непохожие. Ксенофобия автора граничит с паранойей: не только живые существа, но и архитектурные памятники описываются теми же утомитель-

¹ Эрос и Танатос — в греческой мифологии соответственно бог любви и бог смерти. Зигмунд Фрейд, основоположник психоанализа, пользовался этими терминами для обозначения двух подсознательных влечений в человеческой психике: к удовольствию и к самоуничтожению (см. «По ту сторону принципа наслаждения»).

² «Властелин колец» — эпическая фантазия английского писателя Д.Р.Р.Толкиена, написанная в 1954 году. Действие романа происходит в вымышленной Срединной Земле, и он повествует о борьбе ее обитателей со зловещим Темным Лордом.

ными эпитетами «страшный» и «чудовищный», если они не укладываются в эстетические каноны Новой Англии. Но подлинная навязчивая идея Лавкрафта — это его страх загрязнения расы, вырождения и бастардизации. Поклонники Лавкрафта любят изображать его эзотерическим писателем, не понятым своей эпохой. Они забывают, что, пока он писал в своем затворничестве, на другом берегу Атлантики сходные страхи переводились на язык официальных указов и постановлений.

Лавкрафт охотно пускается в длинные описания врагов человечества, туманные в отношении анатомических деталей, но с болезненным упором на грязь, гниль и разложение. Лексическое сходство между ним и главой германского государства, который в своих речах сравнивал евреев с тифозными бактериями и могильными червями, знаменательно. Но еще более знаменателен тот факт, что от лавкрафтовских чудовищ с зубодробительными наименованиями типа Ктулху и Юггот рождаются гибриды. Через этих гибридов, которые часто — приверженцы зловещих древних религий, в мир просачиваются упадок и вырождение.

В одном из рассказов («Призыв Ктулху») храбрый шериф арестовывает служителей тайного культа, которые выжидают своего часа, чтобы отпереть двери мира таинственным Древним. «Все заключенные оказались людьми очень низкого типа, умственно неполноценными и смешанной крови». «Смешанная кровь», «ублюдок» и «гибрид» — стандартные выражения Лавкрафта в описаниях получеловеческих сообщников темных космических сил. В рассказе «Данвичский ужас» дочь вырождающейся американской семьи рождает ребенка от какого-то невообразимого создания. Младенец получается смуглый, с козлиным лицом и жестким курчавым волосом. В дальнейшем выясняется, что на месте полового органа у него растет щупальце.

Ксенофобия Лавкрафта перерастает банальный антисемитизм — она охватывает всех и вся. Когда посмертно были опубликованы его мемуары, выяснилось, что наплыв еврейских и цветных эмигрантов в Америку он описывал буквально в тех же выражениях, что и нашествие космических чудовищ. Мания такого размаха почти величественна. Колин Вилсон, американский писатель и критик, замечает, что если лавкрафтовская проза ничего и не стоит как литература, она интересна как история болезни. Но это история болезни целого поколения — в

фантастике и в действительности. Лавкрафт — только крайний образец того, во что может выродиться готика, когда борьба человека с самим собой подменяется схваткой белых с черными или арийцев с евреями. Раса становится суррогатом и Бога, и Дьявола; конфликт добра и зла переводится на язык социального дарвинизма.

Лавкрафт писал в стороне от основного потока американской НФ 30-х и 40-х. Но чудовища расовой ненависти плодились и на страницах коммерческих журналов, пусть не с таким безумным размахом. Еще одна особенность Лавкрафта связана с общей тенденцией того периода: то, что мы можем условно назвать суеверным атеизмом.

Лавкрафт широко использует приманки сверхъестественного: дом с привидениями, колдовской ритуал, черное жертвоприношение. И все они в конце концов объяснены «материалистически» — если под материализмом понимать отрицание какой бы то ни было трансцендентной силы, стоящей над бытием и вне его. Тайнственные, непознанные, зловещие силы внутри мироздания — сколько уютно. Но все боги и демоны Лавкрафта питаются с маленькой буквы. Они «над» человеком только в том смысле, в каком человек — «над» животным. Средневековые выворачивали наизнанку: не евреи демонизируются через связь с сатаной, а сатана приравнивается к еврейству — биологически и культурно чуждому.

Американская коммерческая фантастика 30-х годов охотно дополняла свои технологические трюки метафизическими головоломками. Но ее понимание религии было предельно наивным. Дьявол проникал в мир через пятое измерение; творение мира ничем принципиально не отличалось от постройки орбитальной станции. Сверхъестественное было упразднено размыванием граней естественного. Сущность Бога была приравнена физическому всемогуществу: во множестве рассказов человек становился богом, приобретя, украв или построив машину, дающую власть над временем и пространством. Но если человек способен стать богом, почему бы не предположить, что другая разумная раса уже совершила подобный прыжок. Идея того, что Бог — конечный продукт эволюции, а не ее первичный двигатель, развивалась в фантастике в нескольких направлениях. Ее жестоко высмеял христианский фантаст С. С. Льюис в знаменитом романе «Переляндра», ее с успехом использовал Артур Кларк в не менее знаменитом «Конце детства». Бесслав-

ный конец этой идеи — в писаниях последователей Эриха фон Деннигена, доказывающих, что все боги — это заблудившиеся пришельцы.

Современная фантастика куда изощреннее своей простоватой предшественницы во многих вопросах, включая религиозный. Современного читателя не убедишь Машинной-Которая-Творит-Чудеса и не испугаешь щупальцами и фасеточными глазами. Вспышка атомного огня над Хиросимой доказала многим, что самодельный Апокалипсис — единственный божественный акт, на которое способно человечество, а Катастрофа продемонстрировала, во что может вылиться биологический демонизм. Традиции Лавкрафта и коммерческой фантастики 30-х сошли на нет. У Лавкрафта по-прежнему остается небольшая, но стойкая группа поклонников, которые, быть может, ценят его умение переводить невроты в сюжеты, не утруждая себя размышлениями о том, что эти невроты вызывает.

Но откуда взяла современная НФ свой запас теневых страхов, свое внимание к экзистенциальной ситуации человека, свой интерес к еврейству как к фокусу религиозной полемики? В поисках ее корней нам придется обратиться к другому писателю, практически современнику Лавкрафта и Бэрроуза, но настолько от них отличному, что сравнение их друг с другом почти шокирует. Но и этот писатель тоже стоял у колыбели НФ со своими собственными двусмысленными подарками. Речь идет о Франце Кафке.

Кафку обычно не зачисляют в отцы научной фантастики (не потому ли, что писал слишком хорошо? Или сюжеты слишком фантастичны?). Но многие его произведения («Превращение», «Замок», «Процесс») построены на идеях и сюжетных формулах, которые позднее стали расхожими в НФ. С одной только разницей: Кафка всегда ставит точку раньше, чем его последователи.

Английский критик пишет о двух романах Кафки: «Очевидно, они не принадлежат к НФ, но требуется только одно разоблачение... что судья — это двойник К. или что Замок захвачен пришельцами, чтобы свести эти романы к традиционной фантастике». Это — одна из причин, по которой многие критики чувствуют, что Кафка «слишком глубок» для НФ: вне всякого сомнения, самый устрашающий пришелец предпочтительнее серого тумана неизвестности, окутывающего кафкианский мир. Но часть современной фантастики даже в этом смысле сле-

дует скорее за Кафкой, чем за Уэллсом, и избегает рациональных объяснений. Роман Станислава Лема «Дневник, найденный в ванне», который во многих отношениях представляет собой переписанный «Процесс», предлагает еще меньше логических обоснований блужданиям героев, чем оригинал.

Отношение Кафки к еврейству, которое нас интересует, главным образом определялось его ощущениями клаустрофобии и бессилия перед лицом таинственного рока. Бог у Кафки очевиден своим отсутствием. Его место занимает Закон. Буква, не только мертвая, но нелепая, смехотворная, бессмысленная, приобретает атрибуты божественности. Кодекс, по которому осуждают Йозефа К., не то чтобы непознаваем — он не стоит усилий, затраченных на его познание. И все же он всемогущ. В отличие от Беккета и Ионеско, мир Кафки лишен иронии. Он иногда комичен и всегда страшен.

Еврейство для Кафки — это приговор, написанный на мертвом языке, который нельзя отменить, потому что никто не знает, чья рука поставила на нем всемогущую печать. Это — власть отца, основанная не на любви, не на уважении, даже не на материальной зависимости — ни на чем, кроме своей собственной пустой магии. Грегор Замза принимает как должное ненависть и отвращение семьи. Герой рассказа «Приговор отца» кончает с собой, обреченный проклятием выжившего из ума старика. Йозеф К. пытается бороться. Но все они гибнут одинаково, не удостоенные проблеска того божественного сияния Закона, о котором говорит страж в «Процессе».

Кафкианское толкование еврейства и зашифрованный антисемитизм Лавкрафта — оба несут на себе отпечаток приближающейся Катастрофы. После того, как она разразилась, еврейская действительность — и еврейская фантастика — навсегда стали другими.

В сороковые годы Европа не читала фантастики. Появившийся после войны «1984» Джорджа Оруэлла подводил итоги столкновения двух вариантов прекрасного нового мира, но евреи там не упоминались, за исключением апокрифической фигуры Гольдштейна — псевдонима Троцкого. Распутывать печальную загадку еврейского рока выпало на долю тех, кто от него спасся. После войны центр диаспоры (и НФ) переместился в Америку.

В конце сороковых годов так называемый «золотой век» фантастики был в полном расцвете. Американский «золотой век» обычно связывается с именем Джона В.Кэмпбелла, многолетнего редактора научно-фантастического журнала «Удивительное». Кэмпбелл, средний писатель, был гением редатуры. Он вывел фантастику из дебрей Бэрроуза и пустыни Гернсбека¹. Он требовал от своих авторов грамотности литературной (что было в те времена подлинной революцией) и научной. Целое поколение гигантов американской НФ выросло из «Удивительного»: Азимов, Хейнлайн, Пол Андерсон, Ван Вогт, Теодор Старджен. Хотя сам Кэмпбелл был яростным реакционером, надо отдать ему справедливость, политическая платформа «Удивительного» ограничивалась лишь туманным культом силы, с упором на права человека или, по крайней мере, сверхчеловека.

Одним из воспитанников Кэмпбелла был Айзек Азимов. Для непосвященных — лучший автор НФ (посвященные до сих пор спорят, кому принадлежит этот титул), он родился в СССР, под Смоленском, и в возрасте трех лет был привезен в Америку². Сын типичной еврейской семьи, из тех, что в первой четверти двадцатого века затопили материк свободы. Это поколение выходцев из штетла, осевших в Бронксе, оставило после себя несколько замечательных книг — памятников нелегкого перерождения русско-польского *zuda* в американского еврея. В их числе: «Зовите это сном» Генри Рота, «Восхождение Давида Левинского» А.М.Кагана. Будем справедливы к Азимову (он заслужил это давно) и прибавим к этому списку опубликованный в 1950 году «Камешек в небе».

Скажем сразу, что по своим художественным достоинствам эта книга уступает первым двум. Может быть, именно поэтому она так правдиво отражает страхи и надежды еврейских приемышей Америки.

Герой «Камешка в небе» Джозеф Шварц повторяет жизненный путь если не самого Азимова, то его родителей. Эмигрировавший из таинственной «заснеженной деревни» в Америку в возрасте двадцати лет, он в момент

¹ Хьюго Гернсбек, автор романа «Ральф 124с 41+» (1911). Основоположник убогого техницизма, не оживленного даже приключенческим азартом.

² Советские биографы обычно помещают место рождения Азимова под Белостоком. Но он подчеркивает в своей биографии, что родился в местечке Петровичи на территории России и, следовательно, на протяжении трех лет своей жизни был гражданином СССР.

начала действия — пожилой портной на пенсии. Вот он идет по улице, довольный собой и жизнью, декламируя про себя стихотворение Броунинга «Рабби Бен-Эзра». Неожиданный и необъяснимый провал во времени перебрасывает его на десятки тысячелетий в будущее.

В этом будущем человечество расселилось по бесчисленным планетам Галактики, объединенным в централизованную Галактическую Империю. Земля, зараженная радиацией забытых войн,— на положении парии. Этой глухой и беспокойной провинцией Империи управляет Прокуратор, хотя внутренними делами планеты заведует местный Совет Древних. Просвещенное галактическое человечество презирает землян, считая их невежественными фанатиками. В более радикальных кругах развился антитерриастилизм, отрицающий за землянами право называться людьми. Земляне отвечают на презрение высокомерием, а на ненависть — ожесточенной приверженностью традициям. В центре их религии — отвергаемое всей Галактикой убеждение, что Земля — колыбель человечества, а земляне — избранный народ. Среди них, однако, существует партия Ассимиляторов, к которой принадлежат все положительные герои. Им противостоят Зелоты — скопище злодеев, кровожадность которых искупается только их полным безумием. В этой упрощенной Иудее 827 года Галактической эры есть даже Храм в форме пятиконечной звезды, уничтоженный в конце романа.

Точку зрения автора на пути разрешения земной проблемы высказывает Галактический Прокуратор Энниус, выведенный из себя бесконечными требованиями смертной казни для нарушителей религиозных законов, которыми осаждает его Совет Древних.

«Да, я обвиняю их,— воскликнул Энниус энергично.— Пусть они забудут о своих пустых мечтаниях и борются за ассимиляцию. Они не отрицают, что они другие. Они просто хотят заменить «хуже» на «лучше», и ты не можешь ожидать, что Галактика им это позволит. Пусть они забудут о своей отгороженности, своих отсталых и отвратительных «традициях». Если они будут людьми, их примут как людей. Если они будут землянами, их примут только как таковых».

Азимов не устает снова и снова напоминать читателям, что «фанатизм никогда не односторонен, что ненависть плодит ненависть». Чтобы стать равноправными подданными Империи, земляне должны отказаться от своего наследия. Иллюстрируя победу доброй воли, сири-

усец Арвардан женится на землянке, что в терминах романа — моральный эквивалент женитьбы Кальтенбруннера на еврейке¹.

Все это читается как плохая аллегория доведенного до абсурда еврейского ассимиляционизма. Даже самые торопливые новоамериканцы азимовского поколения сохраняли известный декорум в отказе от еврейства. Давид Левинский, герой одноименного реалистического романа, быстро трансформируется из ученика *ешивы* в процветающего фабриканта, но на склоне лет с умилением вспоминает высокую духовность штетла. Персонажи Филипа Рота, озадаченные сложностями половой жизни, и те ощущают, что, несмотря на обилие *шикс*, чего-то им не хватает.

Азимов, однако, не склонен к сентиментальности. Для него земная (еврейская) традиция — абсолютное зло. И если в начале романа баланс ненависти — космониты против землян — уравновешен, к его концу чаша весов склоняется в сторону землян. Они, и только они — виновники собственных несчастий. Пользуясь избитыми клише НФ, Азимов выстраивает ситуацию, на которую вряд ли отважились бы в то время даже самые заядлые антисемиты. Его спасает то, что «Удивительное» было литературным гетто. Самые странные идеи могли быть высказаны в нем безнаказанно, при условии, что они были облечены в знакомые сюжетные одежды.

Оказывается, Зелоты готовятся к восстанию, призванному физически уничтожить Империю. Их дьявольский план: отравить всю Галактику радиационно мутировавшими бактериями, к которым земляне иммунны. Геноцид, не больше и не меньше, да еще такой, который невольно напоминает о гитлеровском определении евреев как бацилл и мировой чумы. Еврейский антисемитизм?

Все было бы понятно, если бы не Джозеф Шварц. Поразив науку будущим наличием аппендикса, он становится объектом экспериментов, в результате которых приобретает телепатические способности. Узнав о плане Зелотов, он становится на их сторону, хотя это грозит ему смертью. Арвардан, прогрессивный сириусец, недоумевает: почему Шварц чувствует себя землянином, хотя

¹ Цитата из советского фильма «Семнадцать мгновений весны», в свое время невероятно популярного благодаря джеймс-бондовскому сюжету и некоторым претензиям на политический либерализм, выразившийся, в частности, в этом проходном упоминании евреев.

он — один из расы господ? Ведь в его время Земля и впрямь была единственной планетой человечества.

«Я — из расы господ? — удивляется Шварц. — Ладно, не будем об этом распространяться. Вы не поймете».

Однако в конце концов Шварц решает поддержать Ассимиляторов. Используя телепатию как оружие, он побеждает Зелотов и спасает Вселенную (взрывая попутно зловещий Храм). Убеждает Шварца его собственный американский опыт.

Переменив национальность, Шварц остался человеком. «И если после него люди покинули разорванную и израненную Землю для надзвездных миров, стали они от этого менее землянами?» Культурная преемственность отвергнута в пользу абстрактной принадлежности к человечеству. Ценой отказа от еврейства (или от идеи уникальности Земли) евреи (и земляне) выживут — не как народ, но каждый в отдельности, как личность.

Азимов размышляет в своей автобиографии о том, что случилось бы, если бы отец не вывез его из России. Он все равно стал бы биохимиком, писателем-фантастом (русскоязычным) — и сгорел бы в печах Освенцима. «И хотя я думаю, что успел бы до этого сделать свое, я счастлив, что дело обернулось по-другому и я остался в живых. Я сильно настроен в пользу жизни».

Только это и стоит за фразами Азимова о вселенском братстве. Настроенность в пользу жизни. Иначе говоря, страх.

Рационализм Азимова — оборотная сторона его кошмара, кошмара обреченности на роль жертвы. Не он первый еврей, сублимировавший страх в ненависть. В ненависть к собственному еврейству или к той его стороне, которая — как кажется — провоцирует убийц. Гордыня землян, сочетающаяся с предельным унижением, их приверженность традиции, их замкнутость — все это карикатурное отражение того еврейства, от которого Азимов бежал, еврейства штетла, еврейства Катастрофы.

При всем при том Азимов неохотно жертвует своим наследием. Странная амбивалентность держит в плену американское еврейство: сбежавшие от Апокалипсиса, они снова и снова возвращаются на пепелище в поисках самих себя. Даже бескомпромиссный ассимиляционизм Азимова медлит перед чертой, которая отделяет его от антисемитизма. Еврейство для него раскалывается на Зелотов и Джозефа Шварца. Одни вызывают Катастрофу, другой от нее спасает. Одни запираются в гетто, другой рас-

пахивает его ворота. Но что осталось в Шварце от еврея? Имя, «Рабби Бен-Эзра», одобренная юмором житейская мудрость — бледная тень Тевье-молочника...

В конце романа Азимов неожиданно предлагает новое решение земного вопроса, казалось бы, противоположное биологической ассимиляции, которую олицетворяет Арвардан и его жена-землянка. Раскаявшийся Прокуратор предлагает вывезти всех жителей Земли с их отравленной планеты и растворить их в населении Галактики. Земляне (во главе со Шварцем) отказываются:

«Мы не хотим благотворительности. Дайте землянам шанс переделать собственную планету. Дайте им возможность отстроить заново дом своих отцов, родной мир человека!»

Изменил ли Азимов ассимиляционизму? Нет, ибо в любом случае цена равноправия — это отказ от традиций. Переберутся ли земляне в центр Галактики или останутся на своей возрожденной планете, чтобы стать «народом среди народов», — они должны перестать быть землянами. Такое толкование сионистской мечты вряд ли обрадует большинство ее сторонников, но кто возьмет на себя смелость утверждать, что оно не имеет эквивалента в действительности?

Читатель, заинтересованный еврейской тематикой, быть может, уже готовится искать «Камешек в небе» на библиотечных полках. Мой долг предупредить его — это плохая книга.

Она плоха по двум причинам. Писательские недостатки Азимова в этом раннем романе особенно очевидны: бесцветный стиль, не искупающийся сюжетной изобретательностью; плоскостные характеры; обилие клише. Но на них наложились особые ограничения жанра, в котором Азимов писал, — кэмпбелловской НФ, фантастики «золотого века».

Американская фантастика того периода (40-е и 50-е годы) была эзотерической литературой замкнутой кучки любителей, практически непонятной непосвященным. А из литературы она постепенно превращалась в разновидность игры в бисер, жонглирование заданным набором сюжетов и концепций... Призыв Кэмпбелла к научной аккуратности обернулся решением технических головоломок, а его стилистический консерватизм охранял художественную невинность НФ не хуже советского цензора.

Консерватизм был не только стилистическим. НФ, росчерком пера уничтожающая целые миры, жеманилась, как викторианская девственница, когда речь заходила о сексе. Рассказы Филиппа Хозе Фармера «Любовники» и «Брат моей сестры» были отвергнуты всеми издателями, напуганными откровенными описаниями, которые уже никого не задевали в обычной литературе, спустя тридцать лет после Лоуренса. То же самое происходило и с другими болезненными темами. Осудить расизм вообще — пожалуйста. Экстраполировать негритянскую ситуацию в США — ни в коем случае. Призывать к просвещенной толерантности — сколько угодно. Осудить антисемитизм — лучше не надо. И поэтому Азимов в романе, целиком построенном на еврейских аллюзиях и практически непонятном вне контекста еврейской истории, ни разу не упоминает слова «еврей». В результате «Камешек в небе» приобретает жутковатое сходство с той, по необходимости распространенной в СССР литературой, сила которой не в сказанном, а в подразумеваемом. Недаром Урсула Ле Гуин окрестила этот вид стыдливой самоцензуры «Сталин в душе».

В конце 50-х фантастика оказалась на распутье. Художественная пропасть между ней и обычной литературой все ширилась. Ее затворничество угрожало свести на нет ее единственное неоспоримое достоинство: свободу мысли и воображения. Все чаще фантасты гасили собственные зажигательные идеи песком стертых сюжетных формул. Но к началу 60-х новое поколение писателей и читателей переросло «золотой век». Плотины были прорваны. «Новая волна» выплеснула на страницы НФ секс, наркотики, столкновение культур, негритюд, смерть и евреев. И, конечно, Бога.

«Новая волна» в фантастике не случайно совпала с началом движения, позднее окрещенного «антикультурой». Хиппи, радикальный феминизм, движение против войны во Вьетнаме, идеология ЛСД — за всем этим стоял единый импульс. Грандиозная — и провалившаяся — попытка найти альтернативу западной, иудео-христианской, рационалистической цивилизации.

У антикультуры были идеологи, но не было вождей. Движение выдохлось, как недопитый стакан газировки: вчерашние хиппи сидят сегодня в правлениях фирм. Паломничество на Восток обернулось фарсом; йога и дзен-буддизм не открыли истины; наркотики расширяли сознание и сужали жизненное пространство до размеров

больничной палаты. Но, несмотря на свой карнавальный облик, антикультура была прежде всего религиозным движением. В период своего расцвета она нащупала ахиллесову пятю Запада.

В начале 60-х годов угроза атомной войны, экология и проблема Третьего мира обнажили, как многим казалось, самоубийственную тенденцию западного человека: его потребность действовать превысила его потребность быть. Прогресс вырвал его из общего потока бытия; мораль связала оковами запретов. Гармония и единство представлялись достояниями так называемых примитивных обществ Востока. Номо Faber в погоне за абстрактными идеалами отравлял Землю, уничтожал другие культуры и калечил самого себя. Наркотики и сексуальная революция призваны были разбить тюрьму разума и вернуть личности утерянное единство с миром и собственными бессознательными глубинами.

Виновника плачевного состояния Запада антикультура видела в иудео-христианском Боге. Жесткая мораль, раскол человека и мира, сама идея прогресса — все вытекало из Библии. Популярность Христа среди хиппи не должна вводить в заблуждение — отделенный от Ветхого завета Иисус вполне способен играть роль гуру.

Вырвавшись из своего журнального инкубатора, фантастика в мгновение ока мутировала в новый литературный жанр. По своей природе она лучше, чем обычная беллетристика, была приспособлена к разрешению религиозных и метафизических проблем антикультуры. А снятие стилистических и тематических запретов привело к сближению фантастики с социальными и политическими реалиями. НФ заговорила на языке улицы. А улица в то время говорила на языке религии.

60-е и 70-е годы были периодом расцвета религиозной фантастики. Религиозной по духу: к тому времени НФ переросла коммерческое использование живописных деталей христианской мифологии. Антикультура искала новых богов; фантастика облекала в образы и сюжеты материнский культ экологии или гностическое поклонение человеческому духу. Влияние было взаимным: «новая волна» в НФ во многом формировала процессы антикультуры. Пример тому — странная история банды Мэнсона. Чарли Мэнсон, известный как организатор зверского убийства актрисы Шарон Тэйт и ее гостей, видел в себе пророка и мессию. Источником его религиозного вдохновения послужил научно-фантастический роман Роберта

Хейнлейна «Чужой в чужой земле». Герой этой книги основывает новую религию, главная заповедь которой: «Ты — Бог». Многие ритуалы мэнсоновской «семьи», включая снятие всех сексуальных запретов и водные обряды, позаимствованы прямо со страниц романа. Неизвестно, пытался ли Мэнсон практиковать упоминавшийся в книге каннибализм, но человеческие жертвоприношения почти наверняка имели место. Разница, однако, состояла в том, что литературный герой дезинтегрировал своих противников телепатически, а Мэнсон вынужден был прибегнуть к ножу и пистолету, за что и поплатился пожизненным заключением.

Мэнсон на своем уровне и «Чужой в чужой земле» на своем — гротескные примеры доведенной до крайности традиции 60-х. Но война с иудео-христианским Богом велась и куда более изощренными путями. И как всегда, Запад, сводя счеты с христианством, предлагал расплачиваться евреям.

Отражение этой войны мы можем найти у Урсулы Ле Гуин, одной из лучших писательниц современной НФ. Ее роман «Токарный станок небес» (1974) — изысканная притча о столкновении двух экзистенциальных путей, двух культур, двух богов.

Действие романа происходит в недалеком будущем, в перенаселенной, загрязненной, полутоталитарной Америке. Страна на пороге катастрофы, вызванной ее вовлечением в войну Израиля против арабских стран. Герой книги, Джордж Орт, отправлен на принудительное психиатрическое лечение к доктору Хаберу.

Оказывается, Орту снятся сны, которые становятся реальностью. Он — единственный, кто замечает это. Окружающие воспринимают изменения в структуре действительности как существовавшие всегда. Орт, в ужасе от своей неограниченной власти, принимает наркотики, чтобы подавить сновидения. Принцип его существования — невмешательство.

Доктор Хабер, который постепенно убеждается, что Орт говорит правду, эксплуатирует его дар, гипнотизируя своего пациента и регулируя содержание его снов. Не для собственной выгоды: Хабер — альтруист и благодетель человечества. Он не согласен, как Орт, просто жить. Пассивно дрейфовать в водах мирового океана, подчиняясь неведомой карме, — это не для него. Хабер хочет изменять и совершенствовать, ломать и строить, одарять и наказывать. Но цена насильственного рая высока: когда он

приказывает спящему мозгу разрешить проблему перенаселения, в мире разражается канцерогенная чума, уносящая шесть (!) миллиардов жизней. Хабер пытается покончить с расовой враждой — и человечество приобретает единый цвет кожи — серый.

Но Хабер не может остановиться. Внутри него — пустота, которую он заполняет лихорадочной активностью. Он — человек-луковица: психологические слои за слоями, но без ядра, внутреннего центра. Орт — баланс, соединяющий тьму и свет, разрушение и созидание. Он — внутри мироздания, накрепко связанный с его бесконечными циклами. И потому пассивный.

В конце концов Хабер узурпирует дар Орра. Но его сновидение оборачивается кошмаром разрушения, апокалипсисом, который только Орт способен остановить.

И Орт и Хабер — символические, почти аллегорические фигуры. Хабер — это технологический Запад, бездумно перекраивающий покрывало Майи¹. Он олицетворяет просветительский оптимизм и научное высокомерие. Но более всего — ненавистное иудео-христианство.

«Хабер выпрямился и возвышался над Орром, который по-прежнему сидел. Он был седой, большой, широкий, с курчавой бородой, могучей грудью, нахмуренный. Ваш Бог — Бог-ревнитель...

Боги Орра были безымянными и неревнивыми. Они не требовали ни поклонения, ни послушания».

Хабер впоследствии упрекает Орра в противодействии его вселенским планам. И снова голос автора: «Ваш Бог — Бог гневных упреков. Но путь к Орру не лежал через вину».

Его провалившийся апокалипсис связывает воедино атомную и экологическую катастрофу с рожденной в Иудее идеей целенаправленной истории. Отсюда частое упоминание Израиля, само существование которого оказывается поводом для грядущей тотальной войны. Это больше, чем выражение личных политических мнений или реакция на недавнюю Войну Судного дня. Ле Гуин видит Израиль в его двойном значении: как колыбель иудео-христианства и как авангард Запада в Третьем ми-

¹ М а й я — в индуистской мифологии богиня (или принцип) мировой иллюзии. Покрывало Майи — внешняя реальность мира, которая только кажется подлинно существующей.

ре. Оба эти значения взаимосвязаны, и оба определяют роль Израиля: агент разрушения.

Джордж Орт, антагонист Хабера, неизбежно вырисовывается куда менее отчетливо. Несмотря на обилие в книге цитат из Лао Цзы, связь Орта с восточной мистикой и философией затушевана. Ле Гуин понимает, что прямое столкновение даосизма и Библии способно только ослабить ее позицию. Поэтому Орт на вопрос Хабера, изучал ли он буддизм, отвечает отрицательно. Он — отпрыск самого фантастического из всех фантастических созданий — естественного человека Руссо. Кредо Орта: мы живем в этом мире и принадлежим ему. Любая попытка нарушить естественную связь вещей, навязать космосу цель и смысл обернется катастрофой.

«Токарный станок небес» характерен в своем отношении к тому, что для простоты мы можем назвать *иудейским комплексом* в западной цивилизации. В фантастике «новой волны» примитивная расовая ненависть чрезвычайно редка. Счет евреям предьявляется на религиозно-экзистенциальных, а не расовых основаниях. Биологическая мистика — Люди против Чудовищ — была похоронена (хотя и не без попыток воскрешения!) под развалинами Третьего рейха. Более того, НФ 60-х годов сделала попытку отделить евреев — преследуемое меньшинство — от комплекса иудейской религии и морали. Результаты, как и следовало ожидать, получились гротескными.

Роман Мардж Пирси «Женщина на краю времени» — феминистическая утопия. Это — попытка социально-конструктивного использования идей антикультуры. Будущее без неравенства полов, без национальной и классовой эксплуатации, без принудительного конформизма. Пирси понимает, что такое общество должно выработать культуру и образ жизни, отличные от всего, что человечество знало до сих пор. Но ее подводит либеральное желание объединить всех и вся, сплавить букву национальной традиции с чуждым ей духом.

Обитатели ее утопии живут в небольших полудеревенских общинах. Конни, гостя из нашего времени, встречает пожилого человека, который рекомендует ей так:

«— Мы — Ашкеназы,— сказал он Конни.

— Я не знаю, что это такое.

— Мы сохраняем дух восточноевропейского еврейства. Фрейд, Маркс, Троцкий, Зингер, Алейхем,

Райх, Люксембург, Вассерман-Виттова¹ — все они были Ашкеназы!»

Еврейство видится даже не как этнос, а как набор громких имен. Конни продолжает свою экскурсию, так и не выяснив, что делает Фрейд в обществе, где детей выращивают искусственно и отдают на воспитание трем «матерям» разного пола, или какова роль Алейхема и Зингера в культуре, которая отмечает Бога как патриархальную концепцию.

Герои с еврейскими именами продолжают мелькать на страницах НФ, доказывая непредвзятость своих создателей. Но дешевая космическая опера не становится интереснее оттого, что в ней участвует Рабинович. Подлинный центр еврейской темы в фантастике продолжает оставаться в широтах Ле Гуин, в направлении религиозной полемики и религиозного поиска.

Одной из самых определяющих книг «новой волны» была антология «Опасные видения» (1967). Ее редактор, молодой писатель-еврей Харлан Эллисон попытался отразить в одном толстом томе все то, что революция 60-х принесла в НФ: секс и наркотики, слова из четырех букв (аналогичные русским из трех), запах настоящей крови, подлинное, а не ритуализированное насилие... Но цель антологии не сводится к эпатажу. Это — неофициальный манифест «новой волны», отражающий ее взгляд на человека и цивилизацию. И прежде всего, на Бога...

Сборник открывается рассказом (сам автор называет его аллегорией) Лестера Дель Рея «Вечерняя песнь». В нем Бог Ветхого завета изгоняется человеком с Земли — последнего убежища Создателя во всем космосе. Дель Рей — особый случай среди молодых авторов «Опасных видений». Он принадлежит к школе Кэмпбелла и на протяжении многих лет был сотрудником «Удивительного». Но его эксцентричное мировоззрение не всегда уживалось с бесцветным технократическим оптимизмом прославленного редактора. В 1954 году Дель Рей написал рас-

¹ Поскольку действие романа происходит в будущем, Мардж Пирси смешивает реальных исторических лиц с вымышленными. Таким образом Зигмунд Фрейд — великий австрийский психолог, Карл Маркс — основоположник марксизма, Троцкий — один из лидеров Октябрьской революции, Шолом-Алейхем — известный писатель на идише и Роза Люксембург — немецкая социал-демократка оказываются в одной компании с несуществующим Райхом и Вассерманом-Виттовой. Что до Зингера, то он с одинаковым успехом может быть и современным американо-еврейским писателем Исааком Башевисом-Зингером, и плодом авторского воображения.

сказ «Ибо я — народ-ревнитель». Рассказ был заклеен как кощунственный и с большим трудом нашел издателя. Тематически, если не стилистически, он предвещал «новую волну». Здесь более энергично, чем в скомканной «Вечерней песни», автор подводил итоги своей жутковатой философии.

В этом рассказе Бог Авраама, Исаака и Иакова разрывает завет с евреями (и, соответственно, с человечеством вообще) и заключает новый союз: с зеленокожими пришельцами. Его избранный народ вторгается на Землю, неся смерть и разрушение. Земля отдана Богом во власть созданий, которые питаются человечиною и развлекаются стрельбой по бегущим целям. Их священная миссия — уничтожение человека.

Герой рассказа — Амос Стронг, евангелический проповедник. После того как в разрушенной церкви он видит новый Ковчег завета, перед которым склоняются нелюди в левитских облачениях, он решает, что в конфликте между Богом и людьми его место со своими братьями. В конце рассказа он снова проповедует в переполненной церкви: крестовый поход против изменившего Бога.

В своем развенчании Бога Дель Рей не одинок: в тех же «Опасных видениях» еще по крайней мере трое авторов развивают аналогичные идеи (Филип Дик. «Вера наших отцов», Дамон Найт. «Восславит ли тебя прах?», Джонатан Бран. «Столкновение с деревенщиной»). Но Дель Рей уникален в своей вере в физическое всемогущество человека: верит он не в экзистенциальную ценность человеческих переживаний перед лицом враждебной Вселенной, а в непосредственную возможность навязать этой Вселенной свою волю. Парадоксальным образом просветительская вера Кэмпбелла в человека-творца оборачивается у Дель Рея основанием новой мистики. Человек — соперник Бога; его технические достижения имеют смысл лишь постольку, поскольку они оружие в борьбе с капризным всемогуществом Создателя. «Ибо я — народ-ревнитель» кончается нотой триумфальной уверенности в грядущей победе. Рассказ разделен на несколько частей, к которым даны эпиграфы из трех основных книг Священного Писания: Книги Евреев — Ветхого завета, Книги Христиан — Евангелия и не написанной еще Книги Человека. Из последней взято заглавие, ибо в ней Человек диктует побежденному Богу условия Нового завета, по которому он, Человек, — ревнитель и мститель.

Одно любопытное обстоятельство заслуживает внима-

ния. Для уже упомянутых Урсулы Ле Гуин и Филипа Дика Бог Танаха неотличим от Бога Евангелия. Дель Рей проводит отчетливую грань: бог зеленокожих орд — это Иегова, но не Христос. Миром правит Бог евреев; Христос — таинственный вестник неизвестно откуда. При этом Дель Рей ловко избегает обвинений в вульгарном антисемитизме: один из его героев хвалит Израиль, ибо построение светского государства — доказательство того, как многого могут достичь люди вопреки Богу...

Когда дело доходит до таких построений, обычные термины религиозной полемики отпадают. Это не атеизм, даже не суеверный атеизм фантастики 30-х годов. Дель Рей не сомневается в существовании силы, стоящей над миром, он только выворачивает наизнанку привычную иерархию религиозных ценностей. Его философия не рождена из «готического» духа — теневой игры сомнений и страхов. Если у нее и есть какой-то предшественник, он стоит вне литературы, и название ему — гностика.

Гностика — мистическое движение, рожденное в период крушения первой мировой цивилизации — античной. В ее основе — идея двух богов. Первый, обычно идентифицирующийся с Богом Танаха, — это хозяин мира и предписыватель морали. Он узурпировал человечество у его подлинного небесного отца, иного бога. Иной бог — вне космоса, он бездеятелен и непознаваем. От него в человеке его подлинная сущность, искра неугасимого огня, которой боится и которой завидует Иегова. Он пытается сковать эту искру законами морали и ограничить ее законами природы. Вся Вселенная — колоссальная тюрьма, в которой томится упавший извне огонек свободы. В нее изредка проникают вестники иного Бога. Иногда такой вестник — Христос, иногда — змей, соблазнивший Еву. Иногда змей и Христос отождествляются.

Нет сомнения, что вся эта мифологическая космогония кажется чуждой и далекой от современности. Но вот рассказ того же Харлана Эллисона «Птица смерти», который в 1974 году был включен в сборник «Лучшая НФ года». На поверхности — это просто коллаж основных мотивов гностики. Иегова — безумец, ломающий человечество, как игрушку, в своей беспредельной жажде власти. Змей — посланец извне, друг и покровитель обманутых, поработенных созданий. Героя рассказа зовут Натан Стак, он — человек нашего времени, который с помощью

змея избегает сетей Иеговы и пробуждается через тысячелетия для последней схватки с Богом на отравленной, разрушенной, безжизненной Земле. Но одновременно Стак символически представляет человечество вообще. Рожденный снова и снова, он проносит через столетия кровавой истории искру неугасимого огня. Его подлинное имя — Иш-Лилит. Лилит, равная, была изначально его подругой. Иегова украл ее и подменил Евой, рабыней и служанкой. Поэтому борьба Стака обречена на провал. Его окончательная победа — пиррова: безумец изгнан, но Земля смертельно больна. Единственное, что остается человеку, — последним жестом грандиозного разрушения избавить родную планету от ненужных страданий.

Рассказ Эллисона не только тематически, но и стилистически знаменует собой новый этап в развитии западной НФ. Этот этап практически незнаком читающему порусски — советская политика переводов больше жалуется художественную невинность писателей «золотого века». Словно желая подчеркнуть, в каком направлении следует отыскивать его литературные корни, Эллисон заканчивает «Птицу смерти» посвящением Марку Твену. Не сатирику и юмористу, автору «Приключений Тома Сойера», а мистическому скептику и двусмысленному атеисту, написавшему «Таинственного незнакомца» и «Приключения Гекльберри Финна». Последнюю книгу современная критика решительно выводит за пределы детского чтения и рассматривает как роман-миф, построенный на архетипе путешествия «вниз по реке», и параллель со вселенским путешествием «Моби Дика».

Не удовлетворяясь дружеским кивком единомышленнику, Эллисон утилизирует целый набор около-, вне- и внутрилитературных аллюзий. Структурную рамку рассказа составляет письменный экзамен — обыкновенный экзамен, знакомый каждому студенту западных университетов. Как и положено, он состоит из нескольких частей: ответы на вопросы, сочинение и переработка текстов, предложенных для дополнительного чтения. Эта невинная рутина обучения приобретает, однако, новый смысл, наложенная на картину апокалипсиса. Суд — это тоже экзамен, и Эллисон изображает последний, Страшный Суд. Суд Человека над Богом. Мораль ясна: Человек должен выучить урок собственного всемогущества сейчас, пока еще не поздно, пока проходной балл в Вечность не обернулся подведением итогов.

Внутри своего экзаменационного листка Эллисон кон-

струировать рассказ как мозаику, из коротких секций. Каждая из них отражает одну из бесчисленных граней западной культуры, из которой вырастает и проблематика «Птицы смерти», и ее жанр — научная фантастика. Одна из этих секций — прямая цитата из Библии, вторая — психологический мини-роман в тяжеловесной традиции современного постреализма (сцена между Стаком и его матерью), третья — искусная стилизация под Ницше. Эллисон не забывает и массовую — в отличие от элитарной — культуру: несколько секций написаны как «традиционная» приключенческая фантастика, с ее прямолинейным переводом религиозной терминологии в псевдонаучную. А история Абху вводит не только известный жанр сентиментальных рассказов о животных, но и целую новую область массовой культуры — кинематографию. Это рассказ на сюжет голливудского фильма, происходящий в Голливуде, и каждая деталь в нем подкрепляется ссылкой на тот или иной образец голливудской классики.

Все это приравнивается не просто к коллекции литературных пародий. В последней схватке с Богом на стороне Человека выстраиваются все достижения его творческого гения. Созидательной искре Стака противопоставляется безумная разрушительность поддельного Творца.

Эллисон гордится тем, что его фантастика напрямую связана с насущными проблемами современности. Воскрешение в «Птице смерти» полузабытой мифологии указывает на то, что притягательность гностики превышает статус исторического курьеза. Не нужно думать, конечно, что такое воскрешение включает буквальную веру в гностическую доктрину. Но за всеми мистическими атрибутами гностики стоит простая идея, связь которой с двадцатым столетием очевидна: смертельная вражда между человеком и Вселенной.

Исторически эта идея была причиной ненависти гностики к иудаизму. Иудаизм — это религия *Здесь и Сейчас*, религия *на'асе ве нишма*¹. Весь сложный комплекс *мицвот* регулирует отношения еврея с миром в попытке освятить повседневную жизнь, но не избежать ее. «Заповеди» гностики — это набор отмычек, с помощью которых человек может выскользнуть из вселенской тюрьмы.

Ганс Джонас, автор монографии «Гностическая религия», убедительно демонстрирует параллели между мироощущением гностики и такими современными явления-

¹ Выполним и [потом] выслушаем (*иврит*).

ми, как экзистенциализм и нигилизм. Фантастика, чуткая к идейному пульсу двадцатого века, всегда проявляла определенное недоверие к миру. У Эллисона и Дель Рея это недоверие обернулось прямым провозглашением войны.

На первый взгляд позиция Эллисона в «Птице смерти» кажется прямо противоположной позиции Урсулы Ле Гуин в «Токарном станке небес». На деле ситуация сложнее. Отношения Стака с Землей изображены как отношения матери и сына. Бог-отец — пришелец и узурпатор. Его безумные попытки переделать и усовершенствовать мир ведут к хаосу. Иегова Эллисона — это все тот же доктор Хабер. В мировоззрении и Эллисона, и Ле Гуин важную роль играет экология. Не сама наука, а то, что под ней понимали в 60-х: почти религиозная доктрина о взаимосвязи всего живого. Поэтому гностический элемент приобретает в их творчестве особую окраску. Не просто бунт человека против Вселенной, но восстание жизни против Закона. Их противник — Бог изменения и прогресса, Бог, который ставит мораль над бытием и добродетель над выживанием; который приносит смерть в мир; который «создает жизнь и пожирает ее» (Филип Дик. «Вера наших отцов»). Герои всех этих авторов находят свою точку опоры в противостоянии трансцендентному всемогуществу. Для Дель Рея надежда заключается в человеческой стойкости, для Эллисона — в изначальной свободе духа, для Дика — в человеческих отношениях, для Ле Гуин — в потайной темноте души, которая сливается с плодотворной темнотой бытия. Их объединяет одно: нежелание принять *na'ase ve niishma*, невозможность покориться Владыке Мира.

Полемика с иудео-христианством не всегда ведется в НФ исключительно на метафизическом уровне. В рассказе Майкла Муркока «Се человек», получившем в 1973 году премию Небулы, герой — психиатр, страдающий от всего набора комплексов и душевных травм галутного еврея, отправляется на машине времени в эпоху Христа, чтобы обрести веру. В Иудее I века он называется Эммануэлем и незаметно для себя начинает играть роль Иисуса (подлинный Ешу из Назарета — слюнвявый идиот). В конце концов Эммануэль погибает на кресте в мазохистских конвульсиях, а его тело крадет маг в бесплодной надежде дистиллировать из него эликсир жизни. Позиция автора ясна: он на стороне разума. Враги разума евреи: скованные страхом тысячелетий, они цепляются за пси-

хическое расстройство, именуемое верой. Отравленные, они отравляют других.

«Се человек» только на первый взгляд кажется написанным в той же традиции, что и рассказы Эллисона и Дика. Для тех полемика с иудаизмом не означает ссоры с еврейством. Для Муркока евреи на первом месте, религия на втором. Он приближается к опасной черте, которую НФ 60-х, раскаявшаяся в своем неприглядном прошлом, присягнула не переступить.

«Новая волна», помимо всего прочего, разбудила самосознание фантастики. Многие клише жанра были подвергнуты серьезной переоценке. Расизм был отвергнут; антропоцентризм переоценен. Дешевый метод фабрикации чудовищ из национальных меньшинств сошел на нет. Муркок — это практически предел антисемитизма в современной НФ, да и то замаскированный под полемику с христианством.

Среди причин, которые привели к этому изменению духа НФ, было движение за гражданские права в Америке, постепенная либерализация западного общества и осмысление опыта второй мировой войны. И конечно, Катастрофы.

Еврейская Катастрофа оказала глубочайшее, быть может, еще недостаточно оцененное влияние на европейское самосознание. Казалось, фантастика, у которой всегда был нюх на горячие точки культуры, должна была бы ухватиться за эту тему. На деле НФ, связанной с Катастрофой, практически не существует.

Это тем более знаменательно, что романы о катастрофах (с маленькой буквы) превратились почти в отдельный жанр. Его особенно любят английские фантасты, которые не устают уничтожать население своего маленького острова землетрясениями, наводнениями, нашествиями разумных растений, атомными бомбами и жаркой погодой. Живописные ужасы будущего подчеркивают относительный уют настоящего. Но воспоминание о шести миллионах обнажает скоротечность той передышки между апокалипсисами, в которой мы живем. Фантастика занимается мифотворчеством, а миф требует отдаленности — эмоциональной и временной — от своего объекта. Воображение НФ пасует перед колоссальным объемом неизжитой человеческой боли, которая стоит за словом «Освенцим». Катастрофа проникает в фантастику косвенно — в неофициальном отпоре открытому антисемитизму, в аллюзиях, намеках, воспоминаниях. Филип Дик,

например, в рассказе «Золотой человек» изображает супермена — этакую белокурую бестию с интеллектом собаки и способностью выживания, в тысячи раз превышающей человеческую. По собственному признанию автора, зародышем его идеи было воспоминание о «зданиях с надписью «душ», которые на самом деле душевыми не были». Харлан Эллисон написал мистическую миниатюру «Бульвар разбитой мечты» о вине тех, кто выжил, и о невозможности забвения. Но, в общем, фантастика с похвальным тактом избегала касаться слишком открытых ран.

Любопытно, однако, что роман, автор которого попытался создать миф о Катастрофе, написан если не в жанре НФ, то, по крайней мере, с использованием многих ее элементов. Не желая разгневать олимпийцев критики, отметим только, что «память о будущем» Лизы Эрдман в романе Д.М.Томаса «Белая гостиница» аналогична подобному же приему Артура Кларка в «Конце детства». А загадочная последняя глава «Белой гостиницы» с таким же успехом может быть объяснена в терминах «альтернативного континуума», как и в образах воскрешения из мертвых.

Возвращаясь к более или менее «чистой» НФ, увидим сразу, что у палачей Катастрофы куда более интимная связь с фантастикой, чем у ее жертв.

Мы уже отмечали параллели между идеологией нацизма и коммерческой фантастикой 30-х годов. Третий рейх в своем повседневном функционировании постоянно тянулся к идеям, законное место которых — на страницах «Удивительного» (теория вечного льда, розенберговская Атлантида и разведение суперменов как цыплят). Захваченные сумятицей войны, англоязычные фантасты 40-х не замечали этого рокового сходства и, быть может, искренне полагали, что изображениями галактических боен вносят свою лепту в дело борьбы против общего врага. Фантастика 60-х и 70-х, умудренная грустным историческим опытом, вернулась к своим корням в попытке решить проблему моральной ответственности. Так ли уж безобидно выуживание архетипов из мутных глубин коллективного подсознания? Что, если один и тот же импульс лежал в основе литературного карнавала евреев-как-чудовищ и старательного очищения Европы от недочеловеков?

Это переосмысление фантастикой ее собственных истоков отражено в романе Нормана Спинрада «Железная

мечта» (1972). Это роман, якобы написанный неким Адольфом Гитлером, который, разочаровавшись в Германии, в 1919 году перебрался в Соединенные Штаты и окончил жизнь уважаемым писателем-фантастом. Фюрер, у которого отняты все орудия претворения его железной мечты в действительность, но с которого зато сняты оковы приспособления к реальности, марает бумагу в Гринич-Виледж. Результат — книга, которая буквально повторяет все штампы героической НФ 30-х и 40-х, с некоторыми добавлениями, проистекающими из особенностей личных психозов автора. Но своей блестящей выдумкой Спинрад добивается прямого наложения этих штампов на реалии Третьего рейха и обнажает их общие корни в болезни европейской культуры. Гитлер не создал своей идеологии: он подобрал ее из антисемитских листов, газетных фельетонов, дешевых брошюр с описаниями арийских утопий — всего того мутного потока популярного чтения, к которому примыкала в своем младенчестве фантастика.

Самое грустное в книге Спинрада — это его взгляд на антисемитизм. Доктор философии Гомер Уиппль, вымышленный автор послесловия к роману, бойко разъясняет все элементы сюжета психоаналитически и (или) политически. И вдруг он натывается на странное противоречие. Герой рассматриваемого им романа Ферик Джаггер правит генетически чистым государством Хельдон. Ему противостоит зловещая империя Зинд, населенная отвратительными мутантами. Империей управляют демонические Доминаторы. Физически они почти неотличимы от настоящих людей, но обладают страшными телепатическими способностями. Они поработают человеческий дух, растлевают, интригуют, высасывают соки из здорового тела Хельдона. Их цель — мировое господство.

Растолковав несложную политическую аллегория: Хельдон — Германия и свободный мир вообще, Зинд — Советский Союз, проницательный интеллект Уиппль останавливается в недоумении перед Доминаторами.

Кто они такие? По непроверенным слухам, Гитлер в молодости был антисемитом. Быть может, Доминаторы — это евреи? Нет, невозможно. Они управляют Зиндом — читай Советским Союзом (который в мире воображения Гитлера-фантаста оккупировал большую часть Европы). А всем известно, что бешеный антисемитизм в

СССР привел — так это по роману Н. Спинрада — к уничтожению пяти миллионов евреев. Простая логика, думает Уипль, не должна была позволить даже параноидальному воображению изобразить жертв в качестве правителей своих палачей.

Простая логика, как известно, не остановила рейхсфюрера, который с легкостью совмещал в своем катехизисе веры еврейский большевизм с еврейским капитализмом. Спинрад, нашедший правдоподобные обоснования для всех элементов нацистского мифа, останавливается перед антисемитизмом. Ненависть к евреям иррациональна; она не сводима ни к подавленным гомо-эротическим фантазиям, ни к схватке политических систем. Она неотвратима, как рок: Гитлер может умереть бульварным писателем, но Катастрофа все равно произойдет.

Такое ощущение антисемитизма как вечного, почти космического явления предполагает, разумеется, соответствующую вечность еврейства, которое перестает быть религией или национальностью, а становится новой категорией бытия. Но если еврейство обречено на бесконечные скитания, преследуемое своим черным двойником, антисемитизмом, то возникает вопрос: а что с Израилем? Означает ли еврейское государство конец агасферовским скитаниям, или оно — только подготовка очередной Катастрофы? Два фантаста, оба евреи, в двух рассказах со схожими сюжетами предрекают новую Диаспору.

Уильям Тенн («И нет ли у вас рабби на Венере?») предлагает экзотическую версию конца Израиля: конфликт с Бразилией и Аргентиной. После того как евреев изгоняют из Святой земли, ее захватывают инопланетяне-веганцы, которые тем временем изобрели себе новую религию, основанную на почитании покойного Моше Даяна. Совершенно ясно, что допустить евреев на землю, освященную стопами Даяна, — кощунство. И поэтому народ Аврама, Исаака и Иакова рассеялся в межпланетном галуте, терпеливо ожидая пришествия Мессии. Но новосионистское движение на подъеме, и делегаты Первого Межпланетного Новосионистского Конгресса отправляются в Базель — куда их не пускают.

Когда Конгресс в конце концов собирается на Венере, выясняется, что в числе его делегатов — коричневые тараканообразные существа с Ригеля, которые утверждают, что они — прямые потомки еврейской общины города Нью-Джерси. А как же с их внешним видом? А это результат погромов и преследований со сто-

роны автохтонных обитателей Ригеля. Еврей должен как-то жить.

Не удивительно, что Конгресс забывает о Земле обетованной в попытках решить проблему тараканов-евреев. Страсти разгораются: раввины *Нового Меа-Шеарима*¹ лезут с кулаками на представителей *Шомрим*, идея которых о богослужении — стоять в униформах цвета хаки и петь «Техезакна». Но когда один из тараканов выходит на трибуну и говорит: «*Модэ ани лефанеха*», сердца делегатов тают. Постановление: да, коричневые подушки с щупальцами — евреи. Евреи и гои — это категории, превышающие ограничения биологии, культуры, даже религии. Это — такие же константы мироздания, как свет и тьма. Человечество может исчезнуть, но евреи останутся.

Круг замыкается: рассказ Тенна, начавшийся как анекдот, подражание Шолом-Алейхему, приходит к тем же выводам, что и горькая сатира Спинрада. Еврейская избранность равнозначна жизни в тени Катастрофы. Попытка стать «народом среди народов» обречена на провал. Если, даже потеряв человеческий облик, еврей остается евреем, иллюзия государственности ничего не заменит.

На первый взгляд рассказ Роберта Сильверберга «Дибук с Мазаль-Тов-4» кажется почти неотличимым от тенновского. И здесь еврейство переступает границы биологии и теологии. «Мы принимаем то, что мы решаем принять; тем не менее, мы остаемся евреями», — говорит герой рассказа. Его соседи по планете, зеленошерстные создания, переходят в иудаизм, убежденные чудом из штетла — изгнанием дибука. И хотя хасидский ребе, совершивший чудо, в ужасе отворачивается от своих новых учеников, толерантные кибуцники принимают их. Через несколько поколений их дети учатся в *Талмуд-Торе* у мохнатых, золотоглазых раввинов.

За приключениями кибуцников и хасидов на чужой планете тоже стоит Катастрофа — осуществившийся кошмар трех поколений сионизма. «Родина горела в пожарах; наши войска были разбиты на засады; палестинцы с длинными ножами шагали по улицам наших опустошенных городов».

И тем не менее рассказ Сильверберга по духу прямо противоположен угрюмости межпланетного гетто Тенна. Еврейство, со всей логической бессмыслицей его неистребимости, видится как повод для вселенского ликования

¹ М е а - Ш е а р и м — ультрарелигиозный квартал в Иерусалиме.

и восхваления. Евреи могут быть колоссальной шуткой Всевышнего, театром абсурда, трагической нелепостью. Но как интересно! Каким пресным, скучным, тяжеловесным было бы мироздание без неразрешимой головоломки их существования!

В другом рассказе («Шварц среди галактик») Сильверберг демонстрирует как раз, что будет, если евреи самоликвидируются по рецепту Азимова — станут «просто людьми». И не только евреи — все культуры, все племена и народы сольются в плавильном котле американизированного, технологически унифицированного образа жизни. Такой мир не страшен — он только скучен. В нем никого не убивают, — но никто и не живет.

По морям и континентам этой утопии ассимиляционизма странствует последний апостол национального — Шварц, безработный антрополог и еврей, рожденный от матери-ирландки. Его еврейство — последний бастион чуда в океане серости. Истомленный тоской по необычному, он убегает в фантазию космического корабля, населенного странными, причудливыми, удивительными существами со всех планет Галактики. Там он пытается объяснить одному из пассажиров — созданию непонятного пола, которое умирает и воскресает тысячи раз на протяжении своей жизни, — что такое еврейство. Религия? Нет, не совсем. Культура? Как бы да, но не точно. Общий язык? Ни в коем случае. Определенные психологические черты? Почти. Происхождение от еврейских предков? Терапевтически — да, но с другой стороны...

«Нет, — говорит собеседник, — это слишком сложно. Поговорим лучше о моих традициях».

Итак, даже научная фантастика не в состоянии разрешить загадку еврейства. Наша погоня за Агасфером на машине времени окончилась там же, где и началась, — в зыбком районе метаистории. Времена менялись, громахающие ракеты сменялись нуль-транспортровкой, жестяные роботы — компьютерами, а еврей оставался все тем же — вечной головоломкой, человеком без лица. Еврей, подобно Протею, оборачивался тысячами форм, воплощая то, что пугало, занимало, отталкивало или волновало фантастов каждой данной эпохи. Лишенный облика, он с ловкостью фокусника менял бесконечные, часто взаимно несовместимые маски. Еврей был врагом разума и квинт-эссенцией разрушительного рационализма; коварным

чудовищем и жертвой безымянного рока. Еврейство несло бремя вражды Запада с Богом Мира и даже призвано было отвечать за грехи своего блудного сына Ешу. Один еврейский автор делал сногшибательное открытие, что евреи — тоже люди, другой доказывал, что и нелюди могут быть евреями.

Если что-то и объединяет этот карнавалый шабаш образов, так это прочность, с которой еврей врос в коллективное подсознание Запада. Фантастика, как и ее прародительница готика, — это игра архетипов, попытка переосмыслить, рассортировать или просто эксплуатировать мифы цивилизации. И она, более чем любая другая область литературы, отражает изначальную двусмысленность еврея в глазах Запада. С одной стороны, он чужак, пришелец, вечный странник. Для сознания, которое в первой трети нашего века видело, как знакомый уютный мир рушился под напором физики Эйнштейна и психологии Фрейда, чужак равнялся врагу, чудо — чудовищу. Отсюда лавкрафтовские монстры, подкапывающиеся под основание Новой Англии. С другой стороны, еврей — полномочный представитель Бога, Его живое присутствие в истории. Если романтический Запад плохо уживается с посторонним, требовательным и мстительным Всевышним, он переносит свое раздражение на евреев. В редких случаях (как у не разобранного нами Пола Андерсона) эта укорененность евреев в истории означает спасительный якорь, необходимый противовес чересчур крылатой мечте. Но как бы то ни было, еврей всегда играет двойную роль, несет двойное бремя. Он и здесь и там, вне космоса и внутри него, почти всегда — угроза, изредка — спасение. Но всегда — фигура в бесконечной шахматной игре Запада против самого себя.

Это не значит, конечно, что еврей и в самом деле лишен своего лица. Мы уже видели первые робкие попытки НФ встретиться с евреями как они есть: не воплощение подсознательных кошмаров, не удушающая рука прошлого, не пятая колонна в войне Человека с Богом, а народ со своей собственной уникальной исторической судьбой. Но эти попытки всегда искажены — или сфокусированы — призмой метафизической избранности. Фантастика меньше, чем обычная беллетристика, поддается соблазну этнографической точности или психологического псевдоправдоподобия. Она знает, что только воображаемое — реально.

В англо-американской фантастике еврейская тема пе-

риферийна. Но она никогда не иссякает. Агасфер, один из основных архетипов романтизма, продолжает блуждать в лабиринте постромантических мечтаний и кошмаров. Фантастика — это подведение итогов двух тысячелетий западной культуры, от кельтских легенд до ядерной физики, от проповеди любви до печей Освенцима. Поэтому она не может обойтись без еврея, судьба которого неразрывно вплетена в ткань цивилизации. Фантастика на самом деле ничего не выдумывает, она только одевает плоть образов то, что было скрыто, и выговаривает то, что хоронилось в молчании. Попытки Европы понять и разрешить загадку еврейской судьбы колебались от юдофилии до Окончательного Решения (всегда с перевесом в сторону последнего). Еврей в НФ — это реализация того, что Запад думал, чувствовал или переживал по поводу евреев.

Не все фантасты — евреи, но в каждом еврее живет что-то от героя фантастики. А герой легко становится автором. Неслучайно в нашей прогулке по зонам мы встречали так много еврейских имен: от Франца Кафки до Азимова и Эллисона. После двухтысячелетия блужданий по чужим мирам еврейство начинает возвращаться к самому себе. Оно ищет себя среди отброшенных масок и навязанных ролей. И это мудрое решение. Только узнав, кто не мы, мы обнаружим, кто мы такие. Самое кривое зеркало дает точку отсчета для поисков собственного лица. Самый важный уголок фантастики — мы находим себя в чужом. Еврей для Запада — чужак, пришелец, черная тень.

А что такое Запад для еврея?

Стремление евреев вчитаться в Библию, постичь все сокровенные глубины и тайны священной книги так же неистребимо, как и сам народ. Бесчисленные комментаторы доискивались до смысла иносказаний, усматривали намеки на прошлое, пытались расшифровать пророчества. Они спорили друг с другом, обретая последователей и противников. Многие комментарии были потом канонизированы, и не одно поколение евреев изучало и продолжает изучать их наряду с библейскими текстами.

В наше время мир поразили чудеса научных открытий и достижения техники. Пытливые еврейские умы устремились в науку, к тайнам мироздания. А как же древние книги? Теперь их изучают, вооружившись современными научными методами, рассматривают Библию как исторический и литературный памятник, сравнивают лексику и стилистику отдельных ее книг и даже отрывков, ищут параллели в творчестве других народов, используют данные археологии, географии и иных областей знания.

О том, как работают современные комментаторы Библии, дает представление публикуемая ниже статья, где делается попытка расшифровать, что скрыто за двумя, казалось бы, не вполне последовательными стихами Книги пророка Самуила (Шмуэля).

Статья написана профессором Йехезкиэлем Кауфманом, автором многотомного фундаментального труда «История веры еврейского народа», и взята из посмертного сборника работ Кауфмана, подготовленного и выпущенного его учениками.

Йехезкиэль Кауфман

К РАССКАЗУ О КОЛДУНЬЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ МЕРТВЕЦОВ

«И увидела женщина Шмуэля, и громко вскрикнула; и сказала та женщина Шаулю: зачем ты обманул меня? ты — Шауль!» («Шмуэль», I, 28:12). Этот отрывок издавна смущал комментаторов и все еще вызывает разноречивые интерпретации. Вопрос, возникающий у читателя, заключается в следующем: откуда в минуту, что увидела Шмуэля, могла та женщина узнать, что вопрошающий ее — Шауль?

Мудрецы наши, да будет благословенна их память, говорят: по виду мертвого Шмуэля поняла женщина, что вопрошающий ее — Шауль, ибо обычно умершие являются головою вниз и ногами кверху, тогда как Шмуэль из почтения к царю явился в нормальном своем виде. Точно так же толкуют указанный стих Раши и Радак. По-видимому, по той же причине в переводе семидесяти толковников (Септуагинте) в стихе 14: «И сказала она: выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду» — слово «престарелый» прочтено как выпрямленный, вертикальный. Однако эта интерпретация, в сущности, является изобретением комментаторов.

Иосиф Флавий в «Древностях» пишет, будто Шмуэль открыл той женщине, что пришедший — Шауль, но никак не подтверждает этого текстом.

Поздние комментаторы по-разному пытались объяснить означенную загадку. Высказывалось мнение, что согласно религиозным воззрениям автора колдовство не имеет реальной силы, и поэтому женщина не могла вызвать умершего Шмуэля своим колдовством. А явление

Шмуэля и его пророчество о судьбе Шауля есть особое чудо, сотворенное Богом. Колдунья знала, что ее действия могут лишь заморочить и ввести в заблуждение, а когда увидела, что и вправду явился мертвец, испугалась и громко закричала. И из того, что произошло чудо, женщина догадалась, что вопрошать о мертвом пришел к ней именно царь.

Однако это объяснение не выдерживает критики. В стихе 15: «И сказал Шмуэль Шаулю: для чего ты потревожил меня, чтобы я вышел?» — прямо сказано, что Шмуэль явился по просьбе Шауля и при помощи колдовства той женщины, и во всем рассказе нет даже намека на вмешательство Бога. Тем более непонятно, как автору могло прийти в голову написать, что Бог не отвечает Шаулю ни в сновидениях, ни через толкования, ни через пророков, зато отвечает ему устами умершего Шмуэля при посредстве языческого гадания, словно бы узаконивая обряд вызывания мертвецов и утверждая достоверность такого гадания. Кроме всего прочего, это казуистическое толкование не приближает нас к ответу на изначальный вопрос: откуда она узнала? Даже если явление Шмуэля поразило привыкшую обманывать женщину, то как она поняла, что чудо совершено именно ради Шауля, истребителя знахарей и вызывателей мертвецов, а не ради Авнера, Давида или, скажем, Ахиша, царя Гата?

Другие комментаторы считают, что та женщина распознала Шауля по некоему знаку, поданному Шмуэлем Шаулю. Это толкование близко к комментарию и тоже не опирается на текст.

Большинство поздних комментаторов считают правильной версию стиха 12, которая встречается в ряде рукописей семидесяти толковников, а именно: «и увидела женщина Шауля» (вместо «Шмуэля»). Когда Шауль попросил ее вызвать Шмуэля, взгляделась она в него хорошенько и поняла, что он царь. И закричала она из страха перед Шаулем, истребителем колдунов. Все же подобная редакция текста есть не что иное, как его искажение. Вопрос Шауля: «Что ты видела?» — и ответ женщины, описывающей, как выглядит Шмуэль (стихи 13 и 14), с предельной ясностью указывают на содержание стиха 12. Из этих стихов следует, что женщина сначала увидела нечто, представшее перед нею силой ее колдовских чар, то есть еще до вопроса в стихе 13 увидела вызванного ею мертвого Шмуэля, как это и принято в традиционном тексте. Версия с заменой имени на Шауль ошибочна. По-преж-

нему остается нерешенным вопрос: какова связь между явлением Шмуэля и тем, что женщина узнала Шауля?

Кроме этого в рассматриваемых стихах кроется еще одна загадка. Вне всякого сомнения, причиной крика колдуньи был не страх перед явившимся образом. Верно, что она «видела нечто божественное, поднимающееся из земли» (стих 13), однако ее описание «муж престарелый, одетый в длинную одежду» ни в коем случае не способно повергнуть в состояние ужаса, тем более колдунью, профессионально занимающуюся вызыванием мертвых. Про образ Шмуэля не говорится даже «страшен очень», как сказано о явлении ангела женщине в книге «Судей» (13:6). Большинство комментаторов объясняют крик колдуньи страхом перед Шаулем. И сам Шауль по этому крику понял, что женщина узнала его и что увидела образ. То есть и здесь обнаруживается связь между узнаванием Шауля и видением. В чем же суть этой связи? Как по крику узнавшей его колдуньи Шауль понял, что она увидела образ?

Проникнуть в тайну рассказа мы сможем, если пристальнее изучим, что такое *вопрошение умерших*, или некромантия.

Вопрошение умерших является одной из форм интуитивного прорицания, которая близка к боговдохновенному прорицанию, или пророчеству. Вопрошение мертвых выявляет сокрытое или будущее путем понуждения душ умерших к беседе. При этом изначально предполагается, что души умерших — это нечто «божественное» (см. «Шмуэль» I, 28:13, «Исайя», 8:19), неземные существа с иным счетом времени, а потому обладающие пророческими способностями узнавать и сообщать тайное и еще не происшедшее. Причем они сообщают о будущем не языком знамений и заклинаний, а словами, обыкновенным человеческим языком, как делают это пророки. Душа умершего «пророчествует». Она изрекает то, что видит или что знает благодаря своей провидческой силе. Это особый вид пророчества — прорицание мертвецов.

О верованиях, лежащих в основе вопрошения мертвых, нам известно из ряда мифологических сказаний, где повествуется о вызывании умерших и об их речениях. Врата преисподней заперты. Но у живых есть возможность установить контакт с миром мертвецов. Божества и чародеи могут либо спустить живых в царство мертвых, либо поднять души умерших в мир живущих. По просьбе Гильгамеша и по милости бога Эа, Нэргаль делает отвер-

стие в преисподней, и дух Энкиду возносится через него, чтобы говорить с Гильгамешем и сообщить ему законы загробного царства («Эпос о Гильгамеше», таблица 12). Одиссей под руководством кудесницы Кирки (Цирцеи) вызывает души умерших из Аида. Он выкапывает яму у входа в Аид, совершает жертвоприношение мертвецам и выливает кровь жертвенных животных в яму. Духи пьют эту кровь. Пьет ее и провидец Тересий, и кровь придает ему силы поведать Одиссею будущее (Гомер, «Одиссея», гл. 11). Здесь, как и в истории с Шмуэлем, дух провидца восходит к живым и пророчествует. Сивилла учит Энея, как спуститься в загробное царство. Там он встречается своего отца Анхиса, который рассказывает ему о будущем Рима (Вергилий, «Энеида», гл. 6), вызывает дух Дария с помощью вина и песнопений, и Дарий предсказывает будущее (Эсхил, «Персы», 598 и далее). Божества также вопрошают мертвых. У египетского Тота есть книга заклинаний, силою которых он заставляет мертвых говорить. Один пробуждает спящую мертвым сном пророчицу Вельву, спрашивает мертвую голову мудреца Мимира. Голова Орфея приплыла по воде на остров Лесбос, где пророчествовала в одной из пещер.

Таким образом, древние люди верили, что можно вступать в контакт с умершими и что мертвецы или их духи способны прорицать, наделены пророческим даром.

Однако вопрошение умерших не было только мифом. Это был реально существующий институт предсказания будущего, который в несколько измененном виде имеется и в наши дни (спиритизм и т.п.). Вопрошение умерших осуществлялось при помощи средств, доступных любому человеку. Например, чтобы войти в общение с мертвецами, ночевали на могилах. В Древней Греции нередко пророчествовали умершие герои, причем обратиться к ним с вопросом мог всякий. Тем не менее вызывание мертвых из их мира было уже делом профессиональных колдунов. Библия называет их *ов* или *бааль ов*. Вопрос о том, что понимать под этими словами, остается спорным. Одни полагают, что *ов* представляет собой некий инструмент из обихода чародеев: талисман с изображениями знаков или букв, череп или некий фетиш. Есть мнение, что *ов* — это бурдюк, которым пользовались при вопрошении мертвых. Так и комментатор Тур Синай считает, что колдун сливает в бурдюк кровь жертвенного животного, вроде того, что делал Одиссей. Однако для некоторых библейских текстов подобные объяснения неудовлетвори-

тельно, особенно не вписываются рассмотренные значения в стих из книги «Левит» (20:27): «и мужчина или женщина, если окажется в них *ов* или знахарь, смерти да будут они преданы...» Здесь *ов* — вызывающий мертвых с помощью колдовства. В рассказах о вызывании умерших ни разу не упомянуто об использовании бурдюка (кстати, и Одиссей им не пользовался). Среди способов вопрошения мертвых было обращение к мертвой голове. Такое гадание встречается в талмудической литературе. Но здесь мертвая голова «говорит» сама собою, без посредника для призывания умерших. Посредником для вызывания мертвых служил *ов* — дух.

Из приведенного выше стиха («Левит», 20:27) можно заключить, что в ответе вызывателя мертвых участвует некий персональный дух, *ов*, который непременно связан с колдовством и который обитает в колдуне. Такой колдун назывался *бааль ов* — владлец *ова*. Но «персональный дух», вне сомненья, считался не единственным фактором, необходимым для этого оккультного действия. Согласно принятым в древности верованиям, ответ исходит не от «персонального духа» колдуна, а от духов самих мертвецов. В упомянутых мифологических сказаниях нет посредничества колдуна, напротив, там говорят именно души. В повествовании о Шмуэле мертвый пророк тоже сам беседует с Шаулем. Отсюда следует, что слово *ов* обозначает еще и мертвеца, который отвечает на вопросы.

Подтверждение этому находим в стихах: «и будет словно мертвец (*ов*) из земли голос его» («Исайя», 29:4), «вопросите вызывателей мертвых... у мертвых о живых» (там же, 8:19). Как трактовала «оккультная наука» того времени взаимоотношения двух указанных факторов?

Из всех свидетельств о вызывании мертвых ясно, что умерший отвечал на вопросы вслух. Явствует это и из приведенных отрывков («Шмуэль», I, 28, и «Исайя», 29:4). В реальных условиях дух мог вещать только голосом колдуна. При этом и голос колдуна, и состояние, в котором он находился, были необычными. По Иосифу Флавию и по переводу семидесяти толковников, заклинатель духов «говорил из живота своего». Вульгата в большинстве случаев переводит *ов* словом *Pytho* («Левит», 20:27: *pythonicus*). Мишна дает следующее определение: «*ов* — чревовещатель, говорящий из своей подмышки» (Сангедрин, 7:7). Древние считали, что чревовещание или говорение из-под мышки — дело духа, дибука. Полагали,

что вызыватель мертвых, *бааль ов*, обуян духом и пророчествует в экстазе. Такого колдуна уподобляли одержимому духом мертвеца и его инструменту для произнесения речи. В этом древнем оккультном действе колдун выполнял роль «медиума» вроде того, что мы встречаем в современном оккультизме. Мертвец воплощается в нем и говорит в нем. Более того, при этом колдун пребывает в состоянии особой чуткости души — в трансе. Он не только превращается в носителя души мертвеца, он еще и приобретает способность видеть сокрытое, не доступное глазу живого человека. Так, колдунья видит поднимающегося из земли Шмуэля и описывает, как он выглядит. Ее душа уже находится в сверхъестественном состоянии — в состоянии пророческого прозрения.

Сказания о вопрошении умерших сообщают нам, что гадание такого рода сопровождалось магическими церемониями: жертвоприношениями, окроплениями или помазаниями, заклинаниями и т.д. Шмуэль тоже обращается к вызывающей мертвых со словами: «Поколдуй мне через мертвого и выведи мне...» («Шмуэль», 28:8). Отсюда следует, что вызывающая мертвых занималась еще и колдовством и силою своего колдовства «вывела» Шмуэля. «Прошу тебя, поворожи мне, и выведи мне, о ком скажу тебе».

Итак, в этом оккультном действе участвовало четыре фактора: колдун-медиум, колдовство, «персональный дух», дух мертвеца. Каким образом древняя «оккультная наука» сопрягала эти четыре фактора, мы можем только догадываться. Можно представить такую картину. Магические церемонии пробуждают к активности «персональный дух». При этом пробуждении колдун-медиум переходит в сверхъестественное душевное состояние, т.е. в транс. Этот «персональный дух» обладает силой «потревожить» душу мертвеца в его обители и поднять его в мир живых. Колдуну помогают действующие на него чары. Он оказывается словно соединенным с духом мертвеца, который теперь тоже становится как бы его персональным духом. Колдун погружается в пророческое состояние, глаза его прозревают, и он видит поднимающегося мертвеца. Происходит как бы «мистическое единение» богопротивных явлений: колдуна, его «персонального духа» и духа мертвеца, в особое триединство. Силою этого единства мертвец обретает возможность говорить устами чародея и сообщать свои знания о будущем. Сам колдун становится носителем духа мертвеца. Он одержим дибуком. И тут все

это действо становится нечистым, противозаконным с точки зрения Библии.

Из сказанного заключаем, что вызывающий мертвых использует колдовство, однако он не является таким чародеем, который колдует и заклинает, а сам своим чарам не подвластен. И сокрытое он делает явным не с помощью объективного, «научного» прочтения знамений. Вызывающий мертвых — одновременно и субъект и объект своего колдовства. Появление умершего происходит при непосредственном участии его тела и души, он, как уже говорилось, становится медиумом. Он побуждает к действию свой персональный дух, он соединяется с мертвецом, он переходит в экстатическое состояние и начинает пророчествовать. Голос говорящего в нем мертвеца слышится словно «из земли» («Исайя», 29:4), он «чирикает и воркует» (там же, 8:19). Можно предположить, что это чириканье и воркованье затем соединяли в осмысленную речь подобно тому, как это делалось в Дельфах. Следовательно, гадание вызывающего мертвых было интуитивным видом пророчества.

В отрывке «Шмуэль», 28, повествуется о том, как с помощью своего колдовства женщина сумела «вывести» Шмуэля. Автор описывает магическое действие, которое видится ему реально происходящим. Действительно, этому эпизоду он предпослал сообщение о том, что Шауль истребил в своей земле знахарей и вызывателей мертвцов (там же, 28:3 и 9). Автор и сам не сомневается, что вызывание умерших — грех, за который полагается смерть. Тем не менее его точка зрения, типичная для всей Библии, заключается в следующем: колдовство и гадание — тяжкие грехи, богопротивные занятия, но в них есть подлинность, есть некая «мудрость». Они являются тайной премудростью, которая не от Бога, но они оперируют существующими сверхъестественными силами, и именно поэтому, то есть по причине их подлинности, они и есть грех и нарушение закона. Автор не описывает колдовские действия женщины, но не потому, что считает их пустыми и никчемными. Библейский рассказчик повествует лишь о том, что необходимо, и не сообщает того, что, по его мнению, должно было быть известно его поколению. В Библии мы нигде не найдем описания чародейства. Египетские жрецы своими заклинаниями совершают чудеса («Исход», 7:11 и далее), но каковы были заклинания, не сказано. В истории с Бил'амом колдовство и гадание тоже предельно реальны, но об их сути не сказано ни-

чего. Только если мы предположим, что и в рассказе о Шауле и колдунье чародейство было подлинным, мы сможем объяснить, как представлял себе автор обстоятельства, в которых та женщина узнала Шауля.

Вызывание мертвого в рассказе есть действие реальное и достоверное на всех его стадиях: Шмуэль поднимается, женщина его видит, Шмуэль говорит с Шаулем, предрекает ему поражение и смерть, пророчество сбывается. Но не только это. Едва действие началось, Шауль понял, что оно подлинно и обмана в нем нет. В тот момент, как «сработало» колдовство, как Шмуэль явился, глаза женщины прозрели, чтобы видеть мертвецов. Колдунья видит Шмуэля не зрением обычного человека, она уже в экстазе. Ее персональный дух уже вступил в контакт с умершим. Провидческое знание Шмуэля начало изливаться в ее душу силою мистического триединства, и это знание все ширится в ней. Силой колдовства «видит» она Шмуэля, и благодаря той же силе она «знает» то, что известно ему. Источник пророчества из мира мертвецов перемещается в нее, и поэтому она узнает Шауля. Это узнавание — провидческое по своей природе. То, что она видит Шмуэля, и то, что узнает Шауля, обусловлено одним и тем же: действием колдовства, состоянием транса, пророчеством. Колдовство только начало действовать. Колдунья еще не успела войти в экстаз. Она пока существует как личность особого рода. В этом состоянии она сама обращается к Шаулю и высказывает ему свой упрек. Но еще чуть-чуть — и она войдет в экстаз, и тогда в ней начнет говорить Шмуэль. Ее голос станет голосом духа, «как мертвец из земли». Из звуков «чириканья» услышит Шауль речь Шмуэля.

По тому, как разворачивается действие рассказа, мы знаем, что Шауль не видел Шмуэля и колдунья тоже не сообщила ему вначале, что видит мертвеца. Вдруг она кричит: «Зачем ты обманул меня? Ты — Шауль!» И Шауль немедленно спрашивает ее: «А что ты видела?» Мы уже говорили об этой загадке: откуда Шауль узнал, что колдунья видит образ? Теперь мы нашли ответ: автор рисует Шауля как человека, которому знакома сущность обряда вызывания мертвецов. Колдунья узнала переодетого незнакомца, что означало, что она начала проричать. Следовательно, и Шауль это понял, колдовство подействовало и она уже видит нечто. Поэтому он тут же и спросил: «Что ты видела?» Тот факт, что она узнала его и назвала по имени, послужил ему знаком, что явление Шмуэля

действительно имело место. Вероятно, видение образа считалось первым результатом действия колдовства на персональный дух колдуна. Так и для автора: факт узнавания переодетого Шауля — один из признаков того, что появление Шмуэля носит реальный, подлинный характер. Дух «пророчества» вселился в колдунью еще прежде, чем начал пророчествовать сам Шмуэль.

Параллель этой мысли находим в 3 Книге Царств, 14:1 и далее: жена Йаровама «переодевается», «притворяется» другой женщиной и приходит в Шило к Ахия, но Господь открывает ему истину, и Ахия говорит ей: «Войди, жена Йаровама...» Ахия распознает «притворство» благодаря словам Всевышнего. Колдунья узнает переодетого благодаря силе провидения, которая пришла к ней из мира мертвецов.

Ривка Мирьям

МОЕЙ ЗЕМЛЕ

Земля моя,
Зеркало Великого Бога,
Скачок небытия в пространство,
Прыжок судьбы в небытие.
Земля!
И филины взывают вожаденно
К горам,
Деревьям постаревшим смерти нет.
И затопление страстью тел тяжелых
В земле.

С иврита. Перевел Владимир ГЛОЗМАН

лестница в небо

Георгий Бен

ТАЙНИК ОТКРЫВАЕТ СВОИ СОКРОВИЩА

В 1896 году две английские туристки из Кембриджа, приехавшие в Египет, случайно купили в Каире в качестве сувениров несколько листов непонятной им древней рукописи (как они считали, на арабском языке). Вернувшись в Англию, они решили выяснить, что это за рукопись, и обратились за разъяснениями к видному кембриджскому гебраисту профессору Соломону Шехтеру, который знал также и арабский язык. К своему величайшему изумлению, профессор Шехтер обнаружил, что перед ним не что иное как прежде неизвестный оригинальный ивритский текст «Премудрость бен Сиры». Профессор Шехтер немедленно отправился в Каир и, начав свои поиски с адреса, который ему дали кембриджские туристки, кончил тем, что скупил около ста тысяч листов древнееврейских рукописей и привез их в Англию. Вместе с рукописями, вывезенными из Египта другими исследователями, находки составили огромную коллекцию, которая получила название «каирской генизы» (слово *гениза* в переводе означает «тайник»). В каирской генизе, помимо отрывков из «Екклесиаста», оказалось множество ценнейших текстов. Около сорока процентов из них составляли стихи, написанные как широко известными поэтами средневековья (такими как Ицхак ибн Хальфун или Шломо ибн Габироль), так и поэтами, прежде никому не ведомыми, например Янаем, жившим, по всей вероятности, в VI веке в Палестине; никаких биографических данных о нем не сохранилось; известно только, что он был автором «пюотов» — стихов для богослужения и молитв, да еще в одной ломбардской еврейской рукописи излагается легенда о том, что, дескать, Янай так ненавидел свое-

го ученика, даровитого поэта Элизара бен Каллира, что положил ему в башмак скорпиона, от укуса которого Элизар скончался (впрочем, сам автор рукописи высказывает сомнение в истинности этой легенды). Сейчас, когда творчество Яная извлечено из мрака забвения благодаря открытию каирской генизы, мы узнали, что Янай был первым ивритским поэтом и одним из первых поэтов всего европейского и приевропейского мира, который стал пользоваться рифмой. Известно, правда, что китайцы пользовались рифмой задолго до нашей эры; но ведь жители Европы и Ближнего Востока в начале нашей эры даже не подозревали о существовании Китая.

Помимо стихов, написанных поэтами, которых исследователи знали хотя бы по именам, были в каирской генизе и стихи анонимных поэтов, о которых мы и по сей день не знаем решительно ничего, кроме самого главного — их прекрасных творений. Изучение рукописей каирской генизы, начатое профессором Шехтером, затянулось на многие годы: последние рукописи из этого собрания были опубликованы лишь в конце 70-х годов. Так, каирская гениза дала нам возможность познакомиться со стихами выдающегося государственного деятеля и философа Шмуэля а-Нагида, который до экспедиции профессора Шехтера был почти неизвестен, а сейчас считается одним из величайших еврейских поэтов всех времен. Основная часть его поэтического наследия была впервые опубликована лишь в 1934 году. А совсем недавно, в 1978 году, были впервые напечатаны сорок прежде неизвестных стихотворений другого великого еврейского поэта — Шломо ибн Габироля, среди которых несколько его шедевров. В наши дни рукописи каирской генизы хранятся в Будапеште, Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне, Оксфорде, Манчестере, Нью-Йорке и Филадельфии, но главным их хранилищем и центром изучения остается Кембридж.

Лучшие из стихов каирской генизы — равно как и многие другие шедевры еврейской поэзии всех времен — мы находим в фундаментальной антологии «Поэзия на иврите», выпущенной недавно английским издательством «Пингвин Букс». Эта антология охватывает всю ивритскую поэзию от песни Деборы, написанной три тысячи лет назад, и до стихов, созданных израильскими поэтами, родившимися в 30-е годы XX века, Натаном Захом и Далией Рабикович. Каждое стихотворение, включенное в антологию, приводится в двух параллельных текстах — на иврите и в английском прозаическом пере-

воде. Составил и отредактировал антологию, а также перевел стихи с иврита на английский известный современный израильский поэт Чарни Карми (который, к сожалению, проявил огорчительную скромность и в последний раздел «Израильская поэзия» не включил собственных стихов). Как указывает английский критик М. Л. Розенталь, такой полной и всеобъемлющей антологии ивритской поэзии до сих пор не было опубликовано ни в Англии, ни в Израиле. Некоторые стихи, вошедшие в антологию, например из цикла «Дворцовые гимны», вообще печатаются впервые. Всего в антологию Ч. Карми включено около пятисот стихотворений, принадлежавших перу ста десяти поэтов, не считая анонимных.

Огромное значение этой антологии заключается, в частности, в том, что она демонстрирует непрерывность и преемственность ивритской поэзии, родившейся в библейские времена и продолжавшей развиваться до наших дней. Довольно широко распространено мнение, что поэзия на иврите пережила период своего расцвета в века, предшествовавшие нашей эре, затем прошла через период упадка, прекратилась вовсе и снова возродилась в мусульманской Испании и в арабских странах в X—XIII веках, потом канула в небытие и практически не существовала несколько веков, прежде чем возникнуть снова в конце прошлого века. Однако, как показывает антология Ч. Карми, на самом деле поэзия на иврите развивалась непрерывно, и во все века в тех или иных странах жили крупные поэты, писавшие на этом языке.

Антология состоит из трех больших разделов: первый раздел охватывает ивритскую поэзию от Библии до X века, второй — от XI до XVIII века и третий — от XIX века до наших дней. В первом разделе за отрывками из Библии следуют стихи Шимона бен Сира, или Иисуса сына Сирахова (II век до н.э.). В течение многих веков его книга поучений была известна лишь в греческом переводе: до тех пор, пока первые отрывки из оригинального ивритского текста не были в 1896 году куплены английскими туристками в Каире и исследованы профессором Шехтером. В течение последующих четырех лет каирская гениза позволила исследователям восстановить примерно две трети текста, а потом еще некоторые отрывки были найдены среди свитков Мертвого моря и при раскопках Масады, так что теперь в нашем распоряжении почти полный текст. В антологию включены тексты и из других рукописей Мертвого моря. Далее идут отрывки из Талмуда,

завершенного в V веке, затем так называемые «Дворцовые гимны», написанные в III—IV веках, и большая подборка анонимных стихотворений IV—VII веков. По понятной причине имена большинства поэтов той эпохи до нас не дошли: ведь тогда у поэтов не было в обычае подписывать свои стихи, как делают сейчас, и поэзия у евреев распространялась не в виде оформленных книг, снабженных титульным листом с названием книги и именем автора (как делалось тогда у римлян), и даже не в списках (как самиздат), а в буквальном смысле слова «из уст в уста». Человек, запоминая понравившееся ему стихотворение, читал его наизусть друзьям и знакомым, не заботясь — или даже не зная — об авторе; при этом он, видимо, нередко видоизменял те или иные строки по своему усмотрению: либо по забывчивости, либо желая улучшить стихотворение в соответствии с собственным вкусом. И записывалось это стихотворение — если оно когда-либо записывалось — через много лет или даже десятилетий после смерти автора. Поэтому мы никогда не можем быть уверенными, что имеем точный, неискаженный текст. А большинство стихов той эпохи, по-видимому, навсегда утрачено, если снова не произойдет чуда и не будет выкопана еще одна гениза. Более или менее упорядоченная поэзия, связанная с именами тех или иных авторов, возникла у евреев только в V—VI веке: первыми из таких небезымянных поэтов были, вероятно, упомянутые выше авторы пиютов — Янай и Элизар бен Каллир — радикальные реформаторы еврейской поэзии, оказавшие огромное влияние на еврейских поэтов последующих веков. Янай ввел в ивритскую поэзию рифму и акростих и разработал сложную строфическую форму литургического стихотворения — *керова*, доминировавшую в пиютах вплоть до IX века. А Элизар бен Каллир изменил всю структуру, стиль и лексику литургического стиха, в частности, узаконил в нем неологизмы и просторечия, за что его позднее, в XI веке, резко укоряли еврейские поэты Испании — прежде всего Моше ибн Эзра, — считавшие, что он испоганил «классический» (то есть библейский) иврит. В антологию Чарни Карми включены семь стихотворений Яная и пять — Элизара бен Каллира. Следом за ними в антологии представлены некоторые другие поэты первого тысячелетия, среди которых явно выделяются Финеас а-Коэн, живший в Тивериаде в конце VIII века, и Амитай бен Шефатия, живший в Южной Италии в конце IX века. И наконец, завершается первый раздел антологии

циклом стихов «Смерть Моисея»: эти стихи, написанные разными анонимными авторами в VIII—XI веках, были впервые объединены и выпущены в виде сборника неизвестным издателем XV века, и до сих пор они являются частью литургии праздника Симхат-Тора.

Второй раздел антологии открывается стихами еврейских поэтов XI века, живших в мусульманской Испании. Там под влиянием арабской культуры — тогда самой развитой и яркой в Европе — в еврейской культуре произошла литературная революция: поэзия приобрела светский характер. До того фактически единственным жанром еврейской поэзии были пиюты; писать на иврите светские стихи — стихи о войне, о любви, о человеческих переживаниях, о политических событиях — считалось неприличным, если не кощунственным; да никто таких стихов и не писал до появления в Кордове первого еврейского светского поэта — Менахема ибн Сарука. Ибн Сарук был, по-современному говоря, секретарем у влиятельного еврейского врача и вельможи Хисдая ибн Шапрута, служившего при дворе кордовского халифа Абд аль-Рахмана III. По причинам нам неизвестным (Карми считает, что ибн Сарук был обвинен в ереси, но другие исследователи приводят иные версии), ибн Сарук впал в немилость и оказался в тюрьме, где он написал включенную в антологию (в сокращенном виде) поэму «Я выскажу все», в которой смело обличал всесильного временщика. С этой поэмы началась светская поэзия на иврите в Испании; как пишет Ч. Карми в предисловии к своей антологии, «основными жанрами этой поэзии были панегирики, элегии на смерть покровителей, родных и друзей, самохваления, инвективы, направленные против соперников или несправедливых правителей, стилизованные славословия вину и веселью и любовные стихи, исполнявшиеся обычно речитативом под аккомпанемент музыкальных инструментов». За поэмой ибн Сарука в антологии следуют другие еврейские поэты Испании: реформатор поэтической техники Дунаш бен Лабрат, литургический поэт Йосеф бен Авитор, тонкий лирик Йцхак ибн Хальфун и многие другие, из которых, конечно, выделяется «великолепная пятерка»: Шмуэль а-Нагид, Шломо ибн Габироль, Моше ибн Эзра, Йегуда Галеви и Йегуда Альхаризи. И здесь, в антологии, где все эти поэты собраны вместе, мы особенно ощущаем всю яркость расцвета еврейской поэзии в мусульманской Испании. Взять хотя бы знаменитого поэта, философа и государственного деятеля Шмуэ-

ля а-Нагида (993—1056): в антологии Ч. Карми представлены образцы его гражданской, любовной, бытовой, философской и религиозной лирики, а также стихотворные афоризмы, по своей емкости и лаконичности напоминающие персидские рубай. Разнообразен и подбор стихов Моше ибн Эзры (1065?—1135?) — от эротических юношеских стихов, которые он сам потом считал «прискорбными заблуждениями молодости», и до медитативных и нередко трагических стихов зрелых лет. Здесь же представлены и поэты Ближнего Востока, находившиеся обычно под сильным влиянием своих испанских собратьев, — таких, как Биньямин бен Зеры из Константинополя, Йегуда Шмуэль Аббас из Алеппо, Моше Дари из Александрии и другие.

Судя по антологии Ч. Карми, еврейские поэты из мусульманского мира в эпоху раннего средневековья далеко опережали своих собратьев из христианских стран — подобно тому как и сам мусульманский мир вообще опережал тогда христианскую Европу по своему культурному развитию (первое, впрочем, по-видимому, проистекало из второго). Но и христианские страны все-таки не были для еврейской культуры бесплодной пустыней: и в них появились тогда очень сильные стихи на иврите — такие, как, например, анонимное стихотворение «Расскажу о горе своем», в котором описывается еврейский погром в Майнце, учиненный крестоносцами 27 мая 1096 года: анонимный автор берет на себя смелость косвенно обвинить самого Бога (хотя внешне его упрек обращен к ангелам), напоминая, что когда-то Бог взял на себя труд вмешаться, чтобы спасти всего лишь одного человека — Исаака, — а теперь он не захотел спасти целый город:

К Тебе воззвали ангелы Господни,
Чтоб нож от одного страдальца отвести.
Так почему, ответь, они молчат сегодня,
Когда Ты мог бы тысячи спасти?

По своему тону и настроению это стихотворение очень типично для средневековья еврейской поэзии, возникшей в Германии и Северной Франции: оно гораздо суше, мрачнее, аскетичнее и трагичнее, чем поэзия евреев мусульманских стран, в которой, наряду с нередкими нотами трагизма (особенно у Йосефа бен Авитора или Шломо ибн Габироля) постоянно звучат и гедонистические мотивы (подобно тому как они звучат в тогдашней арабской и персидской поэзии: у ибн Кузмана, Абу-ль-Ала-аль-Маари, Омара Хайяма и пр.). Так, Моше ибн Эз-

ра, автор не только стихов, но и ученых трактатов, воспекает вино, любовь, радость жизни, издевается над ханжами и святошами. Ученый раввин и видный талмудист Меир Галеви Абулафия (1170—1244) в поэме «Письмо из могилы» призывает своих друзей не тратить время на оплакивание умершего, но наслаждаться ненадолго отпущенными им жизненными радостями и трудиться ради улучшения жизни:

Теперь, когда я больше не у дел,
Что толку мой оплакивать удел?
Все ваши причитания, понятно,
Не смогут воротить меня обратно;
И, чем рыдать бесцельно, смерть кляня,
Живите дельно, радуя меня.

А поэзия евреев Германии и Северной Франции, если судить по антологии Карми, гораздо чаще проникнута трагизмом, отчаянием, смирением, религиозным мистицизмом, в ней очень редко встречаются жизнерадостные ноты, а главным ее жанром являются *селихот* (причитания). Это, впрочем, понятно: жизнь евреев в большинстве стран христианской Европы была тогда гораздо тяжелее, чем жизнь евреев среди сравнительно веротерпимых арабов, и в Европе евреи чаще подвергались преследованиям, что не могло не отразиться на их поэзии. Немецкий еврей Барух Майнский (1150—1221) одно из своих самых сильных стихотворений посвятил памяти евреев, убитых во время погрома в Блуа в 1171 году, когда крестоносцы, шедшие освобождать «гроб Господень», по пути истребили почти все еврейское население этого города. Современник жизнелюбивого толедского остроумца Йегуды Альхаризи (1170—1235?) Давид бар Мешулам из немецкого города Шпайера вспоминает о страшном еврейском погроме в Шпайере в 1096 году, во время Первого крестового похода, как о жертвоприношении евреев, наказанных за их грехи. Эфраим Регенбургский (1110—1175) посвящает свои стихи ужасам регенбургской резни 1137 года, когда тысячи евреев были загнаны в Дунай и насильно окрещены. Эфраим Боннский (1132—1200) описывает ужасы Нейсской резни 1186 года, когда были убиты все евреи этого города. И это повторяется снова и снова. Такова была жизнь евреев Центральной Европы, и такова была их поэзия.

Гораздо радостнее звучит в эту эпоху творчество еврейских поэтов Прованса и Италии. В раннее средневековье Прованс был — как экономически, так и культур-

но — под сильным влиянием соседней мусульманской Испании, и провансальцы были терпимее к иноверцам, чем жители Центральной и Северной Франции, откуда евреи массами бежали от погромов на юг. В Провансе еврейские общины процветали, в отличие от северных областей, разрешалось, например, владеть землей и заниматься сельским хозяйством, а нередко евреи удостаивались даже административных должностей. Положение провансальских евреев стало ухудшаться лишь в XIV веке, после эпидемии чумы 1348 года. Поэтому и поэзия провансальских евреев (Давид а-Коэн из Авиньона, Ицхак а-Горни из Арля) была гораздо оптимистичнее, чем поэзия евреев Германии или Северной Франции. То же самое можно сказать и о поэзии евреев Италии — страны, в которой (если не считать изгнания евреев испанцами из Сицилии в 1492 году) фактически никогда не было погромов или сколько-нибудь серьезных преследований евреев. Итальянские евреи играли видную роль в торговле, промышленности, науке и медицине, и еврейские общины — особенно во Флоренции, Мантуе, Венеции и Ферраре — жили в целом благополучно и зажиточно, а в культурном отношении они испытали сильное влияние жизнелюбивого итальянского Возрождения. Поэтому еврейская поэзия в Италии, творимая обычно людьми, в равной степени знавшими и иврит и итальянский и впитавшими в себя итальянскую светскую культуру, носила четко выраженный ренессансный характер. Как пишет Чарни Карми в предисловии к антологии, «когда, после Реконксты, еврейская поэзия была изгнана из Испании — а до того она была изгнана из Англии (1290) и из Франции (1306, 1322, 1394), — она стала оттачивать октаву в Италии и породила некоторые из самых замечательных стихов, когда-либо написанных на иврите».

Больше, чем к кому бы то ни было, это относится к хорошо представленному в антологии самому знаменитому еврейскому поэту Италии — Иммануэлю Римскому (1261—1332). В своей земной, чувственной, открыто антиклерикальной поэзии Иммануэль Римский, в духе современной ему итальянской поэзии, бросает вызов ханжеству и религиозному лицемерию. Друг великого Данте, Иммануэль Римский часто пользуется дантовскими темами и образами. Его сатирическая поэма «Ад и Рай» своим сюжетом и формой перекликается с «Божественной комедией», а в одном из своих сонетов поэт вызывающе — в пику религиозным кликушам — заявляет, что он

предпочитает ад раю, потому что в аду находятся веселые грешники, а в раю — скучные святые. В другом сонете, написанном от лица девственницы, Иммануэль Римский дерзко воспевает потерю девственности; героиня стихотворения недвусмысленно причитает:

Я ласк мужских не знала до сих пор,
Мой волос долог, грудь моя пуста,
И пропадает втуне нагота,
Которая ничей не тешит взор.

Подчеркнуто ренессансный, светский и чисто гедонистический характер носит и большинство стихов других включенных в антологию еврейских поэтов Италии: Дон Видала Бенвейисте (XV век), Моше Риетского (1388—1460), Йосефа Царфати (?—1527), Иммануэля Франсиса (1618—1710), Эфраима Лудзато (1729—1792) и других. Многие из них вносили ренессансную струю в поэзию на иврите не только собственным поэтическим творчеством, но и переводами произведений европейских писателей: так, Йосеф Царфати перевел «Селестину» Фернандо де Рохаса (это был первый в истории перевод на иврит драматического произведения), а Йегуда Арье Модена (1571—1648) перевел на иврит поэму Ариосто «Неистовый Роланд».

Не все включенные в антологию стихи равноценны, и иногда выбор стихов кажется несколько произвольным и однобоким. Так, из творчества Иммануэля Франсиса взяты лишь гедонистические, радостные, а также иронические стихи, хотя в самой же антологии — в биографической справке о Франсисе — сказано, что этот флорентийский раввин, высокопочтимый за свою ученость, писал также и трагические философские поэмы, и возвышенные религиозные гимны. Но читателю антологии Карми поэт Франсис запомнится лишь в облике эдакого декамероновского сластолюбца: как он сам признается в своем сонете, спит с любовницей Ханой, а мечтает о недоступной Ноэми — и никак не может выбрать между плотской радостью и платонической любовью.

Впрочем, само то, что в антологии много таких стихов, служит разоблачению еще одного довольно распространенного мифа — о том, что у евреев, по крайней мере от талмудических времен и до зарождения движения «Гаскала» (XVIII век), не было светской литературы, не было юмора и сатиры, не было любовной лирики — иными словами, не было Ренессанса. Так, например, Израэль

Шамид в послесловии к своему блестящему переводу рассказов Агнона пишет: «У нас не было средневековой литературы... а был огромный пробел от классической до новой ивритской словесности... Евреи в средние века, от разрушенного Второго храма и до новых времен, не писали — упаси Боже! — светских книг». Вот это заблуждение и рассеивает Ч. Карми своей антологией, доказывающей, что у нас была средневековая литература и что среди евреев, живших «от разрушения Второго храма и до новых времен», были не только авторы богословских трактатов и литургических песнопений, но и вполне земные поэты от мира сего — поэты, которые шли и путем Петрарки, и путем Пульчи, и путем Полициано, и путем Клемана Маро, и путем Ронсара.

То же самое, как доказывает антология Карми, можно сказать не только о поэтах Европы, но и многих поэтах Востока. Вот, например, еврейский поэт из Турции Калед Афендолопо (1465—1523) — автор гражданских стихов об изгнании евреев из Литвы и Киева в 1495 году; в антологии Карми мы находим также яркую любовную лирику этого поэта. А вот поэт XV века Саадия Лонго из Греции — глава салоникского кружка или, как сейчас сказали бы, литературного салона «Хахмей а-шир» («мастера поэзии») — автор сатирических и часто довольно скабрёзных стихов на иврите и на ладино. А вот родосский поэт Йегуда Зарко — член того же салоникского салона: в антологию включены отличные образцы его откровенно чувственной любовной лирики. Вот Исраэль Наяра (1555—1625), житель Цфата, автор трагической гражданской поэмы «Голод в Иерусалиме». Конечно, в антологии Карми есть и немало образцов религиозной, литургической поэзии, созданной евреями из мусульманских стран (марокканец Шимон Лаби, палестинцы Ицхак Лурия и Элизер Азикри, йеменцы Шалем Шабази и Йосеф Йедиция Карми), однако ясно, что направление их творчества было далеко не единственным и даже не основным направлением ивритской поэзии средних веков и эпохи Возрождения.

Третий раздел антологии, посвященный поэзии нового времени, открывается стихами Бялика (1873—1934), начавшего писать в самые последние годы XIX века (кстати, целых два века, XVIII и XIX, в антологии практически отсутствуют, оба они представлены лишь упомянутым выше падуанцем Эфраимом Лудзато, который явно выпадает из когорты лучших поэтов, отобранных Ч. Кар-

ми: может быть, в эти два столетия в еврейской поэзии действительно был досадный провал?). Третий раздел кажется менее интересным, чем первые два: не потому, что стихи в нем плохи — наоборот, они очень даже хороши, — а потому, что представленные в нем поэты (Бялик, Черниковский, Штейнберг, Шленский, Альтерман, Ковнер, Зах и другие) нам, как правило, в той или иной мере известны, и в этом разделе Ч. Карми не открывает нам америк, как он открывал их в первом и втором разделах, когда знакомил нас с каирской генизой, циклом «Смерть Моисея» и многими поэтами, ранее нам неизвестными. Может быть, стоило бы вообще обойтись в книге без третьего раздела? Тем более что сам Ч. Карми признается, что раздел этот весьма неполон или, грубее говоря, довольно куц, ибо «необходимость очень широкого охвата обусловила очень суровые ограничения при отборе современной поэзии, так что этот раздел позволяет читателю бросить лишь беглый взгляд на современных израильских поэтов, представленных на фоне давних и разнообразных традиций».

Разумеется, суровые зоилы могут предъявить Чарни Карми множество претензий: один читатель вознегодует, что в антологии нет того или иного любимого им поэта; другой возмутится обилием нечестивых стихов, вроде сонета Иммануэля Римского о преимуществах ада над раем; третьего покоропят скабрзность сонета Иммануэля Франсиса о Хане и Ноэми или кощунственный «Гимн почке» Эфраима Лудзато, который был по профессии врачом (и, кстати, как невозмутимо сообщает Ч. Карми, «работал по субботам»); четвертый, наоборот, пожалеет, что таких «некондиционных» стихов — слишком мало; пятый огорчится скудным, по его мнению, количеством литургических стихов; шестой еще чем-нибудь будет недоволен. И конечно, биографические справки, комментарии и вступительная статья Чарни Карми содержат множество мишеней для критических пуль и даже ядер (я, не будучи специалистом, такие мишени, наверно, проморгал). Однако, как гласит наше древнее изречение, «нам положено трудиться, но не дано завершать дела наши». Хочется надеяться, что труд, начатый Ч. Карми, будет если не завершен, то продолжен другими составителями антологий. Труд этот, несомненно, был совершенно гигантским, и плод этого труда доставляет, например мне, дилетанту, огромное удовольствие и обогащает меня многими ценными знаниями. И в завершение можно указать на еще

одно важное достоинство этой антологии — достоинство, как говорят англичане, последнее в списке, но не последнее по значению: в отличие от составителей многих других книг подобного рода Ч. Карми снабдил свою антологию интересным и серьезным предисловием, где подробно и толково изложена эволюция форм, тем, направлений и жанров ивритской поэзии от пророчицы Деборы до Далии Рабинович (приложена даже особая главка, в которой четко разъясняются особенности жанров средневековой ивритской поэзии). Весьма облегчают чтение два именных указателя — на иврите и на английском. И очень содержательна и полезна — и помогает достойно оценить многие включенные в антологию стихи — насыщенная яркими примерами статья Биньямина Грушовского «О системе стихосложения на иврите», помещенная в антологии наряду с предисловием.

И еще одно — не в укор Карми — замечание. Нам понятно, почему ивритские стихи переведены не стихами, а прозой: Карми ведь преследовал не столько художественную, сколько научную цель. Но теперь, ознакомившись с его антологией, нам хочется взять в руки другую подобную антологию, в которой эти стихи были бы переведены стихами. Не знаю, будет ли такая антология когда-нибудь издана в Англии, но будет хорошо, если ее дождутся наши правнуки в СССР. И поэтому я попробовал немного потрудиться, пусть даже мне и не дано завершить это дело, и перевести несколько стихотворений из антологии. Я буду рад, если мой скромный и, наверно, неравноценный оригиналам перевод побудит кого-нибудь другого, как сказал Тассо, «спеть об этом лучше». Само собой понятно, что эта небольшая подборка ни в коей мере не претендует на какую бы то ни было антологичность: я усадил в свою переводческую лодку лишь несколько случайно подобранных и не всегда самых крупных поэтов, тогда как многие гораздо более значительные поэты остались за бортом. Но — лиха беда начало!

Шмуэль а-Нагид (993-1056)

Афоризмы взяты из сборника а-Нагида «Сын пословиц», представляющего собою около тысячи афоризмов, многие из которых восходят к арабским, персидским и древнееврейским источникам.

Два последних стихотворения взяты из сборника «Бен

Кохелет» («Сын Екклесиаста»), в котором преобладают темы печали, бренности жизни и страха перед смертью.

ПОЭТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ

* * *

Меж плачем и плачем всю жизнь ты проводишь —
Так пристало ли тешиться праздной гульбой?
Ты плачешь, когда ты на землю приходишь,
А когда ты уходишь, то плачет другой.

* * *

Даже зная, что тебе суждено умереть,
Жизнь окончи достойно, страданья и боль одолев:
Озаряется вспышкой огарок, пред тем, как дотлеть,
И грознее, чем прежде, рычит перед гибелью лев.

* * *

Поначалу война — словно дева прекрасная:
Все мужчины пытаются с ней пошалить.
Но потом она станет мегерой опасною,
Что заставит нас слезы горючие лить.

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Сказала она: «Почему ж ты не рад,
Что стукнет сегодня тебе пятьдесят?
Но мне все едино — год, прожитый мною,
Иль давние лета Адама и Ноя.
Я в жизни ценю только нынешний день —
Но он промелькнет и исчезнет, как тень.

* * *

В разрушенной крепости древних времен
С могучей дружиной я стал на привале.
Пока беспокойный вкушали мы сон,
Под нами бывшие владетели спали.

И вот я подумал: «Исчезли куда
Те люди, что здесь обитали когда-то, —
Бойцы, полководцы, рабы, господа,
Злодеи и судьи, страдальцы и каты?»

Где моты, скупцы, правдолюбцы, лгуны,
Копители, воры, девицы, блудницы?
Где сонмища смертных, что здесь рождены
На смену их пращурам, легшим в гробницы?

Когда бы внезапно восстали они,
Они сокрушили бы нас, как лавина.
А завтра и все мы им будем сродни —
И я, и несметная наша дружина.

Моше ибн Эзра (1055?—1135?)

Это стихотворение написано в форме *мувашиах*, характерной для арабской поэзии. Видимо, такие произведения, как это, имел в виду ибн Эзра, когда в старости откасался от своих любовных стихов и назвал их «ошибкой необузданной юности».

* * *

Груди любимой лаской под луной,
Губы любимой целуй день-деньской.
Сдайся любви, презирая всех тех,
Кто возглашает, что страсть — это грех.
Все мы желаем любовных утех:
Женщин прислал нам небес властелин,
Чтобы любовью мытарить мужчин.

Жизнь нам недолгая в мире дана —
Так получи наслажденья сполна:
Пой и пляши, не чурайся вина,
А как напьешься, то, чтобы поспать,
Лучшее место — девичья кровать.

В женщине та тебе часть суждена,
Что Аарон получил от овна¹;
Губы красавицы пей — и она
Даст тебе то, что по праву — твое:
Мягкие груди и бедра ее.

Йегуда Альхаризи (1170?—1235)

Стихотворение взято из книги Альхаризи «Такхемони» («Ты умудряешь меня») — сборника так называемых *макам* (*макама* — короткая плутовская новелла, написан-

¹ Аллюзия к словам из Библии «И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона... и это будет твоя доля. И освяти грудь приношения, которая потрясаемая была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его» (Исход, 29, 26—27).

ная рифмованной прозой со вставными стихами — традиционный жанр средневековой арабской литературы). В книге Альхаризи один из персонажей, Хебер Кенит, набредает на горную деревушку, и гостеприимный поселянин обращается к Хеберу с этим простодушным приветствием.

ГОСТЕПРИИМСТВО

Всечасно мне по сердцу добрые гости,
Как по сердцу псу аппетитные кости.

Лишь гости мне переступят порог,
Они мне милее, чем сладкий пирог.

Я счастлив безмерно, гостей угощая,
Как счастливы волки, ягнят поглощая.

Для гостя в лепешку разбиться я рад,
Как в брызги разбиться готов водопад.

За гостем ухаживать люблю всегда мне,
Как люблю траве пробиваться сквозь камни.

Отрадно мне слышать гостей голоса,
Как мулу отрадно отведать овса.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ИГРА

Эти три стихотворения представляют собой итог поэтического состязания между старым поэтом и его молодым соперником. Молодой поэт задает тему и размер первыми двумя строками, а старый поэт завершает четверостишие, добавляя сравнение и неожиданный поворот темы.

* * *

Смотри, как ночная рассеялась мгла,
Лишь солнце над нами простерло крыло —
Как пальма, что кроной земли достигает,
Корнями же цепкими в небо вросла.

* * *

Слышишь — молнии хохот потряс небосклон:
Так воитель смеется, борьбой упоен, —
Или сторож ночной, что внезапно очнулся
И, хихикнув, опять погружается в сон.

Лютня нежно стонет под пальцами девы прекрасной,
 Услаждая ей сердце музыкой своей сладкогласной —
 Так ребенок рыдает, цепляясь за мать, а она
 Его песней баюкает, тешит улыбкою ясной.

Иммануэль Римский (Манозлло Джудео, 1261?—1332?)

Иммануэль бен Шломо Римский родился в Риме и прожил там почти всю жизнь, если не считать нескольких больших поездок по Италии. Иммануэль Римский изучал философию, медицину и астрономию, был дружен со многими итальянскими учеными, писателями и философами того времени, и итальянская культура и литература оказали большое влияние на его творчество: он писал на иврите и на итальянском. В своих стихах на иврите он широко пользовался формами и темами итальянской поэзии; он был первым поэтом, который начал писать сонеты на языке иврит. Его перу принадлежат также обширные комментарии к Библии. В 1328 году, незадолго до смерти, Иммануэль Римский поселился в Фермо; там он закончил большую книгу «Тетради Иммануэля» — сборник макам в манере Альхаризи: эта книга состоит из 28 макам, пересыпанных загадками, лирическими стихотворениями, эпиграммами, стихотворными монологами и посланиями. Иммануэль Римский в этой книге едко высмеивает религиозных фанатиков, ханжей, корыстолюбцев, интриганов, невежд. Другое большое произведение Иммануэля Римского — сатирическая поэма «Ад и Рай», написанная в манере «Божественной комедии» Данте, с которым Иммануэль Римский был дружен и памяти которого он посвятил сонет. «Тетради Иммануэля», напечатанные типографским способом в 1492 году, стали одной из первых книг на иврите, опубликованных после изобретения книгопечатания.

РАЙ И АД

Когда я в жизни доживу свой срок,
 Я в ад хочу, и рая мне не надо:
 Ведь вновь найду я лишь в чертогах ада
 Красоток, что слабы на передок.

Мне, ернику, какой от рая прок?
Там будут старушенций мириады
К моим услугам — тоже мне, услада!
Да я бы с ними снова сдохнуть мог!

На что мне рай? Кого я там найду?
Толпу уродин — пугал огородных,
Забывших о любви давным-давно?

Но в светоносном, радостном аду
В компании беспутниц благородных
Мне вечное блаженство суждено!

Йосеф Царфати (Джузеппе Галло, ?—1527)

Йосеф бен Шмуэль Царфати родился в Риме, по профессии был врачом, считался одним из лучших практикующих врачей Италии. Занимался также философией, математикой и лингвистикой, писал стихи и на иврите и по-итальянски (в последнем случае подписывался Джузеппе Галло); многие его стихи носят эротический характер. Он также перевел на иврит знаменитую пьесу испанского писателя Фернандо де Рохаса (1465—1541) «Селестина»: это было первое в истории драматическое произведение, переведенное на иврит. Йосеф Царфати первым ввел в ивритскую поэзию *октаву* (*ottava rima*) — характерную для итальянской поэзии восьмистрочную строфу со схемой рифм абабабсс. В конце своей жизни Йосеф Царфати несколько лет провел в Константинополе, где его заподозрили в том, что он папский шпион, арестовали и подвергли пыткам, но впоследствии он был признан невиновным, освобожден и получил разрешение вернуться в Италию, где и умер от заразной болезни около города Виковаро.

ОКТАВЫ

Ты спишь, моя любовь, а я не сплю —
И я в тоске один брожу по дому.
Ты спишь, а я луну и сад молю
Увидеть и понять мою истому.
Ты спишь, а я — я так тебя люблю,
Что облик твой мою уносит дрему,
А плоть твоя вбирает весь мой мозг,
И тает он в твоём огне, как воск.

Хоть мы в разлуке, но костям моим
Все ж ближе ты, чем плоть моя и жилы.
Хоть я свободен — иль кажусь таким,—
Но ты меня навек поработила.

Хоть бодро я шагаю, всеми зрим,
Но у меня ты отняла все силы.
Скончался я, и в том — твоя вина,
И воскресишь меня лишь ты одна.

Ужели мне тобой не овладеть?
Как мне твоей добиться благосклонности?
Я ль не сумел в стихах тебя воспеть? —
И все еще я в неопределенности.
Я жгучей страстью растопил бы медь,
Собака б снизошла к моей влюбленности —
А ты бесчувственна, как труп в гробу,
И лью в тебя молитвы, как в трубу.

Иммануэль Франсис
(Мануэлло Франческо, 1618—1710)

Иммануэль бен Давид Франсис родился в Ливорно, получил религиозное образование и был раввином сначала в Ливорно, а потом во Флоренции. В 1678 году совершил путешествие в Алжир, где написал трактат о поэтике и риторике «Сладкая речь», опубликованный лишь после его смерти. Он скоропостижно скончался во время одного из своих периодических посещений родного Ливорно. Стихи Иммануэля Франсиса, которые он писал и на иврите и по-итальянски, носят большей частью светский и сатирический, нередко фривольный характер: это любовная лирика, эпиграммы, эпитафии, юмористические диалоги, сатиры на представителей разных слоев общества (в частности, на собратьев-раввинов). Иммануэль Франсис широко пользовался в поэзии на иврите испанскими и итальянскими стихотворными формами; в частности, следуя примеру Иммануэля Римского, которого он называл «императором поэтов», Иммануэль Франсис написал много сонетов. Наиболее известное крупное произведение Франсиса — написанный совместно с его братом Иосефом сборник сатирических стихов «Изгнанная газель», направленный в основном против лжемиссии Шабтая Цви, увлекшего тогда многих итальянских евреев.

СОНЕТ

Когда воочью Хану вижу я,
Когда в мечтах Ноэми представляю,
Душой горю я, телом изнываю
И маюсь, друг от друга их тая.

О Хана, ты — любовница моя!
Ноэми, ты — любовь моя святая!
Кого из вас мне выбрать, я не знаю,
А плоть и дух мне не дают житья.

Как сталью точат лезвие стальное,
Желания друг друга разожгли:
Хочу я ту, которая со мною,

И брежу той, которая вдали.
Любовь молю: дай сердце мне второе -
Иль надвое мне сердце расколи.

ЖАЛОБА СТАРОЙ ШЛЮХИ

Бывало — стоит выглянуть в окно,
Ко мне стремглав бежали обожатели.
Но юности, увы, не суждено
Цвести вовеки, волею Создателя.
Я ласк своих не продаю давно:
Исчезли все бывлые покупатели;
И нынче, я считаю, мне везет,
Коль даром кто-нибудь меня берет.

Э П И Т А Ф И И

КАРЛИКУ

Отошел он в вечный мрак,
Но, едва он в землю лег,
Как его в один глоток
Проглотил один червяк.

ГОРБУНУ

Иль было недостаточно, судьба,
Тебе при жизни моего горба,
Что и в могиле, в довершенье бед,
Мне тяжкий камень давит на хребет?

ЖЕНЕ

Сей монумент, супруга милая,
Я ставлю над твоей могилою
Не в память о тебе, а чтобы
Ты не сумела встать из гроба.

ВСПЫЛЬЧИВОМУ ДУРАКУ

Спит под этой плитою драчливый тупица.
Ты уж лучше, прохожий, тут долго не стой,
А не то он, пожалуй, еще взбеленится
И тебя пришибет этой самой плитой.

ЧЕЛОВЕКУ С БОЛЬШИМ НОСОМ

Немедля у всех возникает вопрос:
Зачем над нагробною этой плитой
Стоит монумент высоченный такой?
Он — полый, внутри же — покойников нос.

С иерита. Перевел Георгий БЕН

Йегуда Амихай

* * *

Лишь иерусалимский камень знает, что такое боль.
Он пронизан нервными окончаниями.
Иногда Иерусалим собирается
На бунт, как на вавилонскую башню.
Но огромной дубинкою бьет его Бог-полисмен:
Оседают дома, осыпаются стены,
И расползается город, бормоча
Ворчливые молитвы, покрикивая — то из церквей,
То из синагог, то мыча из мечетей.
Все по местам своим.

С иврита. Перевел Владимир ГЛОЗМАН

О, ИЕРУСАЛИМ!..

Хагит Гиора

ВЕСЕЛЬЕ В ЕРУШАЛАИМЕ

1

Вчера стояли по сухим пригоркам и складывали желтые и розовые камни, с горсть, на белые, желтые, розовые от света плиты. Цветов нет. Цветам завянуть и сничь через десяток минут, но белая плоть осадочных пород пребывает. Вот почему на полированных прямоугольных плитах — камни-комья.

Земля чередовалась и выпирала холмами-волнами, но никуда не плыли, все оставалось: молодые высокие кладбища с рядами плит с прорезанными именами и широкие подножья, вымощенные прахом тех, кто были прежде и счастливо дошли, чтобы слиться с горячей пылью города и пылью, наносимой из пустыни.

Стояли, и звенькание колокола с соседнего монастыря теребило ухо, а мы дожидались сирены.

Звон не умолкал, ревностно и нежно забираясь в ушные раковины; земля лежала безмолвно, сама по себе, и было непонятно среди стеклянных переливов, зачем так много раздроблено костей и так много надумано приспособлений для душераздробления.

— Это от страха, — думалось, — потому что на собственном их днище душа пыталелей корчится, как под доскою, так что боятся прошептать и додумать, что вовсе не от их железа и огня, а только *сама*, если захочет, душа сама себя убивает, и только так.

Восемь. Вознесся вой гудка. Мы стояли тесно. Вокруг — белый, розовый и тысячью оттенков смуглого плыл, золотел Ерушалаим¹. Синева обтрагивала, дрожа,

выступы крыш, острия масляных листьев, втекала в трещины коры и между буграми стен.

И, синевой вобранные, стояли родители, отец и мама в платочке, и мы, людская прокладка между ними, живущими, и тем, что под разогретой плитой. Когда мама упадет, станет гладить, вжиматься и пробиваться изо всех сил в плоское гладкое, — тогда станем над нею со всех сторон, присматривая и не пуская.

Стоим на склонах, и красавец-горнист, горбонос и надменен, вскинув профиль, выводит сигнал.

На площадку выходят солдаты — еще не очертились лица, первые бороды, и очень уж тоненькие, ну, зачем же такие изящные! Одели в форму, дали мальчикам автомат и погрузили в кромешное синее.

Растворенный светом, неотличимый командир подает знак своему оркестрику. Залп. Заплакало дитя в тишине под солнцем. Но тут же стихло. Поминальная молитва.

Если спросите, как это было, — не знаю, что ответить.

«Я люблю йом ацмаут»², — вот единственные четыре слова, которые во мне. Ворочаю язык, обкатывая глотку, но там только взрыв глухонемой жестикуляции. И не проходит. Поэтому все нижеследующее — попытка взрыва объясниться.

«Вчера в нашем маленьком зловредном узконационалистическом государстве...» — начинаю письмо в Россию, т. е. пробую загнать в выписываемые знаки рыдание к Богу («возьми в Ган Эден их»³) вязкую голосовую струю. Струя рождается в неведомых лежбищах звуков, пущена вольным руслом плача и неукоснительна, как нить над пропастью. Итак, открываю в мире непрерывающееся течение в твердых скобах молитвенного стиха. Тут невозможно не схватить чьи-то руки, не затрясти... э-эй! мычать, махать... Но, братья, люди, переждемся тем, что дано, нанижем это на русский алфавит. «Я люблю йом ацмаут» — пишу русскими буквами туда, наискосок к северо-востоку. А уж что они разберут — их дело. Эцем, поясню я снова по-русски, — суть, сущность, кость.

Может, они не поймут, что «эцем» и «ацмаут» — близко. Начинаю путаться, начинаю не разбирать, что поймут, а что нет. Может, им захочется громко всхлипывать о мальчиках, причитая: бедный Израиль, он такой маленький, и так много арабов и сильноразвитых стран хотят его раздавить. И вымокнут сострадательные люди, со-

чувственная влага выступит наружу, поблескивая, призывая к излиянию встречных чувств. Но пшик. Вокруг никакой тебе нервной системы, как ни тычь. Церемония кончена, солдаты покидают площадку.

Командир трогает плечо замыкающего, слегка обнимает его: этот мальчик идет не в ногу и не смотрит по сторонам. Его темное впалое лицо вжато внутрь, взгляд не поймать. Брат его здесь, догадываюсь я, под плитами.

Командир трогает, тихонечко пробуждая, трогает так, что ахает синева, и пошла расходиться кругами, и поднялась приливом. И мы стоим по горло. Снаружи лишь старательный колокол тренькает, незакрепленный. И то, что теснило и запирало комом выдох, — размешалось, разнеслось по крови, стало всюду, и теперь я живу.

2

Идем, идем же в город свиристений и стрекотаний.

Душа помчалась легкою стопою с высот, как с пальцев Божьих.

По холмам, по стенам там и сям темнели точки-кочки — угрюмые сидельцы. Душа помчалась собирать всех воедино, обходить каждого, колотя в бубенчики, заходя в дома. Люди недоумевали и высовывались в окошки: ах, это ты, Душенька? — узнавали — но зачем же так разряжена! Шоферы подмигивали, кричали и сигналили во всю мочь. Можно было оглохнуть от поднявшегося треска.

Душа улыбалась радостно, ей нравилось многозвучие. Как много нацеплено на нее кисточек, ццицт⁴, но только разноцветных, она сама выкрасила, чтоб веселее!

Тут высмотрели ее соглядатаи, четыре друга, четыре хорошо пропеченных еврея: Нафтали, Авишай, Моше, Азарья. Подхватили и ведут дорогой покороче. Эге, как хаживали они лет тридцать назад во все концы, сирийские, саудовские; высматривали, как пройти через те земли, и каждый был горазд и с девушками отплясать, и через границы обернуться. Куцые беретки набекрень, казалось, со времен войны за освобождение⁵ не снимались, но основательно сами по себе просидели все годы на головах, пока под ними Нафтали, Авишай, Моше, Азарья покоричневели, подзажарились, прорезались морщинами и подсушились.

Они болтают с духанщиками и угощают Фаню белым вином, орешками и маслянистыми горьковатыми сладо-

стями. А в турецкой кофейне они съедают по могучему фалафелю в соках и перцах, прожигающих недра насквозь. Только Моше с грустными круглыми глазами поджидает у входа, соблюдая кошерность.

В воздухе говор и топот семей и родов, пробравшихся в Страну за эти десятилетия.

Четыре друга вертятся возле Фани. Два черных шара вращаются на усатом красном широком блюде — это Азарья делает большие глаза, рассказывая страшное и героическое. Ничего-то она, Душенька, не знает, каково воевать за молочную и медовую эту землю, ее дело сейчас удивляться и восхищаться!

Нафтали усмехался и изредка вставлял слово. Он жилист, мал, как сушеный гриб, и, как самая веселая шкварка на дружеской сковородке, — раньше всех вспрыгивает на ступени; при этом так осторожно поддерживает Фанин локоть, помогая переступить в распаленной синеве, что Фаня подумывает, не из-за нее ли он вспрыгивает так молодецки? И от этого еще приятней.

Длинный Авишай беззаботно посвистывал, сунув огромные, изъеденные соляром кулаки в карманы; голова его в жестких седоватых кудрях обращалась туда и сюда, отыскивая, чем бы развлечься. Изредка он проскальзывал взглядом по Фане, впрочем, демонстративно уступая всю программу и усилия по развлечению Азарье. Однако у Фани ощущение, что руки, спрятанные в карманах, как у опытного кукольника, все время держат невидимую нитку, протянутую к ней, и примеривают дистанцию.

Нафтали — курдский еврей, Авишай — из Ирака, Моше — персиянин, Азарья — из Северной Африки, а Фаня была из Руси, самая свеженькая.

— Ат нешама (ты дыхание), — но грудям приходится вместе с дыханием вмещать все, что ни есть в округе, и потому слишком уж вздымаются под платьем, и пропеченным евреям охота потрогать новое, беленькое, и Душа догадывалась и смущалась.

И тут появилась Мирьям, неиссякающая неопикуемая Мирьям.

Из послевоенной Польши выпихнула она десяток разысканных по монастырям и подворотням еврейских сирот, и своих детей, и себя. И стала во вратах Эрец-Израэль: что зафутболится — хватать обеими руками, и отмывать, и отскребывать, и пускать жить. Зарплату она полу-

чала за то, что распределяла жильцов по комнатам, выдавала белье и вообще управляла всеми делами в доме, приобретенном Еврейским Агентством и служившем на первых порах убежищем для людей, прибывающих в страну группами и в одиночку.

Толпа, кипящая вокруг, кишела вытасченными ею, отмытыми и пущенными жить, и все махали и кричали ей: Мирьям! Мирьям!

Ах, как захотелось Фане, чтоб старики латинист и географ гимназии, где училась Мирьям, увидели и услышали это! Мирьям рассказывала Фане, как в сорок пятом году они встретили ее на главной улице местечка в форме «Армии Трудовой» с вещмешком за плечами; они узнали докторскую дочку, бывшую розовую, рыжую барышню с кружевным воротничком и отличным французским (гувернантка была француженка). Они поразились, остановились. Они сказали: ба, Косовицкая! А почему ты жива? У нас ни одного жида не оставили, всех перебили, а как ты осталась? никак не понимали, качали головками и пошли, наконец, по улице, обсуждая недоуменно приключившееся, а Мирьям, не найдя, у кого спросить о родных или хотя бы о соседях (двери и окошки плотно закрывались при ее приближении, но знакомые углы докторских шкафов и буфетов, узнанные ею, торчали из-за отогнутых занавесок),— Мирьям в тот же день оставила городочек.

У нее полные белые руки и ноги, и такой славный спелый крепкий живот, и широкие синие штанины, и короткая стрижка, и вся она рыжая, как коверный рыжий в провинциальном цирке.

А как она ругается! Как сладостны ее разносы! А если вскинуть ее на загорбке, она брыкается: «Отпусти, сумасшедшая, у меня отваливается живот!»

Фаня кинулась к Мирьям, затрясла перед нею лоскутками и бубенчиками. Та внимательно оглядела, сказала: «Это мне соответствует», и они двинулись вместе.

Но тут Мирьям взглянула на свои стоптанные туфли и воскликнула: «Разве так можно идти к Кóтэлу?»⁷

— Сначала мы обойдем упрямых сидельцев, а по дороге что-нибудь придумаем.

— Сидельцы? Эти утрюмые страдальцы, к которым ты никак не доберешься? Но сегодня, я вижу, они сами вылезли наружу.

— Мирьям, помните, я кричала, вызывала под окном одного, а он все думал, что я сыщица иностранная! Зыркнет из окошка — и скорее в кухню за кипятком, меня по-

ливать! Все зарплаты истратил на Талмуд Бавли⁸, Талмуд Ерушалми⁹ и на замки — чтоб не выманили его...

— Так он чувствует себя безопаснее,— сказала Мирьям,— и это можно понять.

— Может, я грубо зазывала, может, надо было нежнее? Если б я полюбила его, он бы понял?

— Нет,— рассердилась Мирьям,— это не соответствует. Он сумасшедший от подвалов, в которых насиделся, а надо, чтобы мужчина был сумасшедший от тебя. Просто ни на грош терпения!— загремела она.— Незачем тогда их обходить, только зря дразнить!— но быстро утихла, заявив, что сегодня все встретятся и все уладится, только ей непременно надо приличную обувь.

Они двинулись, и Мирьям рассказывала историю о приличной обуви, имевшую место в июне шестьдесят седьмого года¹⁰, в первый день, как разминировали дорогу и расчистили кусок Стены от мусорных завалов. Все сразу пошли, и Мирьям, как все, тоже вышла из дома и пошла, куда все.

Впереди шла босая бокастая старуха с мешком и все приговаривала и припевала, и обойти ее на узкой тропе среди проволочного хлама и развалин было невозможно. Что за глупая баба, думала Мирьям, в такой день тащится с мешком. Метров за сто до Стены старуха села прямо в пыль, выпевая: «А где же мои сандалики? где мои золотые туфельки? Вот мои сандалики, вот мои золотые туфельки!» Она вытащила из мешка сверток и чистую тряпочку. Тряпочкой тщательно обтерла ноги, а из свертка вынула тонкие золотые туфельки, какие бывают у цариц или у невесты в день свадьбы. Старуха прицелила туфельки к широким темным ступням и надела. «Так, только так можно идти к Котэлю»,— пропела и поплыла далее по разминированной пыли, эдакая бочка на иголочках.

У самой Стены она развернула мешок — он оказался набит свежепечеными пирожками с мясом и луком, маковыми рулетами и нежнейшими румяными пончиками. Старуха подзывала солдат, совала им пирожки и умоляла: «Сыночек, ты устал, может, ты голоден, возьми, сыночек!»

Мирьям замолчала, глаза ее плакали.

В небо вошел треугольник крыши, желто-коричневой, цвета Мецады¹¹ — эта старая черепица так шершава; кладка стены закрыла от глаза двор — там теснилось зеленое, дом, кипарисы... Вот и все, ничего более не было в мире на данный момент. И мысли были, что стены — ро-

зовы, черепица — красна и запылена, кипарисы черно-зелены, камни же внизу полны узоров от прошлогодних зарослей.

Воздух знобит. Мир ломтями разделен на три: дом (камень, крыша, глиняное)— это раз; зеленое воинство кипарисов, черных копейщиков, остриями застило дорогу, и как же мне смотреть,— это два; а третий ломоть — небо.

На три и разложилось. Три ломтя бытия.

Так что же, Ерушалаим, что дальше. Пригвоздил — а дальше я не знаю.

3

Душа забила в барабан с бубенчиками, и сразу там и сям возникли старики-бормотуны и засновали, полные баек, притч, предзнаменований. Такие страннички придорожные, ой, откуда же они и что это выются вокруг, нежничают,— подозрительно думала Фаня,— но мой старик самый нежный!— И она громко хлопнула перед большим каменным домом. В самом дальнем высоком окошке тотчас раскрылось, и кто-то замахал обильно, как из голубятни.

— Я здесь, я здесь!— кричал старик, боясь, что его не заметят. Острые локти ходили ходуном.

Старик был праведник. Большая веселая собака лежала в глубине его комнаты под кроватью. Каждый день он выходил с нею гулять, двумя руками удерживая поводок, и говорил с нею, чтобы не забыть человеческую речь. Еще старик говорил с голубями, разгуливавшими по подоконнику.

Прогулка и покупка продуктов в лавке забирала силы утренних лучших часов. Потом полдня уходило на то, чтобы отдышаться и прийти в себя. В оставшиеся часы старик торопился думать. Что-то все время надо было додумать, и он боялся, что не успеет. Он сидел в кресле часами, не шевелясь, читал глотками Книгу и перебирал жизнь. Она вспыхивала забытыми подробностями, и старик поражался железоканной цепи случайностей, приведшей его сюда. Цепь начиналась с юности, с детства, почти с рождения. Внизу, в первом этаже, играли Шопена — девушка-пианистка готовилась к экзамену. Бессчетно повторяемая музыкальная фраза наполняла глаза старика слезами. Он вдумывался во фразу бесконечно, и тог-

да каждая молекула воздуха начинала греметь и соединяла бытие.

Фаня давно свиданничала со стариком — с тех пор, как после случайного знакомства он написал ей бурное письмо с просьбой приходить, чтобы помочь ему жить. Потому что старик страшился тайного греха: загнанный одиночеством, он не хотел больше жить и был внутри себя грешно печален.

Дважды в неделю они прогуливались вечерами, чаевничали на веранде у Мирьям, сживали на уличных скамеечках, вслушивались в течение жизни. Старик не выпускал Фанину руку и был счастлив. В округе привыкли к виду изобильной лоскутьями смешливой особы и сухонького старика под ручку. Только один блудливый мужик, отпускаявший обычно Фане пылкие шуточки, не мог успокоиться, каждый раз останавливался и тарачился долго, мучительно и безуспешно пытаясь что-то понять.

Что касается старика, то он был праведник, из таких, знаете, дурачков, которые все любят: и листочек, и травку. С их лиц не сходит блаженное сияние, тут хоть сажай на кол — все бесполезно: дурак убежден, что все добры и мир влечется ко благу; и только покачивает болванчиковой сморщенной головой, жалея вас и ваше неверие.

Каждой секунде он удивляется и благодарствует, все живехонек, бесплотный, легонький, гороховое мое чучело, откуда ты явился и чем же, ах, чем счастлив ты? Разумным людям приходится тебя учить, как по земле ходить, а не по облакам поскакивать. Но тело от старости забыло выученное, снова стало младенчески взмашистым — его заносит, как пьяненького ангела. Он сам смеется своей несуразности; а маятник внутри колотится все громче, и дети, топоча, бросаются со всех ступенек, ото всех дверей: «Дедушка! подбрось меня!.. И меня!..» — «Э-э, детки, в очередь!» — и, конфузясь немощи своей, поднатужась, раскоряча ножки в стороны, приседал и дрожащими руками возносил их над землю.

Еще он говорил с воробьями — они залетали через окно, собака хотела понюхать, воробьи паниковали и забивались в щели, под ветхий комод с книгами и письмами. Дед елозил по полу непрочными коленками, выковыривал воробьев, застрявших между переплетами, выпускал и садился у окна махать растопырками-руками, предостерегать воробьев, чтоб не залетали.

Пес волновался, лаял и кружился в суматохе. Воробьи упрямылись и, ничего не желая понимать, атаковали деда

вновь и вновь любовыми атаками. А он кричал и тщетно раскидывал неуправляемые руки.

Вот этот дед высунулся сейчас из окошка и силился изо всех сил докричать до Фани: я здесь, я здесь, я сейчас выйду!

У Фани и Мирьям, конечно, достало терпенья дожидаться, пока он вышел, ковыляя, как птица, которая не может летать, но продвигается боком, диковатыми прыжками. Они подхватились все за руки и пошли.

Нафтали, Авишай, Моше, Азарья подмигивали и махали, и Фаню томило опасение, не думают ли они, что колокольчики надеты ею по легкомыслию сердца, а не по глубокому внутреннему убеждению:

ведь это весело,
ведь это весело,
заклинаю вас, дочери Ерушалаима,
ведь это весело — так идти!

С другой стороны, хорошо, что все угрюмцы видят ее со стариком. Они поймут, что нечего бояться, что она просто Душенька! И все!

Они стали кружиться втроем, то есть старик переминался, а Фаня и Мирьям скакали вокруг, пока не попадали со смеху. А попадали они, когда улицу пересекло овечье стадо: овцы протекали под витринами, на них осовело тарацились манекены, как совграждане из коммунальных квартир. Наклон тихо изумленных голов — угол, фиксирующий идиотизм, — был точно такой, как на фотографиях районных передовиков с доски почета. Может, дизайнер, подворачивающий манекенам головы, и еврей-фотограф из потустороннего райцентра — однойцевые близнецы?

Пока Фаня и Мирьям обдумывали это, овцы струились вдоль лифчиков и мини-трусиков, трусясь обвисшими задами в роскошных макси-шерстях. И вылились за угол. Оттуда открылся зеленый холм. Овцы слились с мемориальными глыбами, уставленными среди трав, — к ним можно было прислониться и отдохнуть, как на скамейках.

Мимо промчался, колотя босыми пятками в ослиное брюхо, мальчик-погонщик в зеленой рубашке и оранжевых шароварах. У осла были влажные трогательные глаза и ресницы щеточкой на полщеки, как у кинодивы. Мальчик, крича и галопируя, пронесся в незнаемый мир. Фаня посмотрела — там были ворота и улица, каменно-тесаная, тесная.

Они прошли по улице. По сторонам и в каменных плитах мостовой возникали решетки. Фаня бежала прикинуть: за решетками были пустоты, уходящие куда-то подслеповатыми сводами. Мелькало в форточке лицо — краешком, вскользь, и Фаня вздрагивала, пронизанная суверенными мирами, вечно продолженными на замкнутых своих орбитах.

Если сесть под этим каменным забором, и опустить голову, и заснуть (забор пчелиный, теплый, он жужжит изнутри, как сот), тогда произойдет то, что и с бродячим нищим: в один неосторожный полдень он улегся под оградой (только ограду надо угадать) — и налетели джинны, и пожрали ночь и полдень; и он гнал и гнал на волшебном коне и очнулся на дворе халифом; и были власть и предназначенье, и тайны мира были завязаны, оказалось, на том мгновенье, когда он прислонится к забору. И свиток времен ждал, чтоб с жужжаньем развернуться и снова свернуться, пружиня... но некто уже был наготове: заглянул в подловленное мгновение и прочитал вещь строку...

Между тем кусты и деревья росли прямо из стен, из щелей, и все теснее становилось вокруг. Своды и потолки лепились уже над головой, в них зияли небесные колодцы, били пыльные солнечные столбы, и свисали из круглых отверстий гроздьи синих цветов и зелени. На каждом метре был поворот, проем, ступени, ниша... и вдруг все прервала магистраль с несущейся вселенской толпой, зажатой рыночными берегами цветущих юбок, шалей, бисерных занавесей и грудями всемирного — от Гонконга до Занзибара — ширпотреба.

Слева в боковом руслице мелькнул заделанный мешковиной ход — надо было подняться по сужающимся ступеням и отогнуть мешковину, но Фаню пронзил испуг, а вдруг завеса не та, и поворот не тот, и джинн унесет в не ту судьбу, она исчезнет за выбеленной стеной, целая ее жизнь... нет, некогда рисковать и задумываться. Вся дорога была чревата боковыми ходами и нишами.

Дремал араб, уйдя лицом в черный бурнус. Справа открылась сводчатая площадь, над ней стоял караванный гул, верблюжьих вздохи; тут были склады и горы плодов. И вдруг Фаня поняла, что город слеппен, как соты, он состоит из горы, то есть гора и есть город, и нет ничего отдельно; через входные лазы улиц можно забиться внутрь и продвигаться без понятия о верхе и низе перед ворохами, за которыми снуют торговцы, а за всем этим, еще более

внутри пребывает пространство, настоящее до невыносимости, голое, подобно площади, где только что раздались выстрелы и воздух разрежен так, что больно толкаться крови,— пространство должествующего состояться Храма.

4

Пока они протискивались, мелькнула шустрая женщина с русеньким обесцвеченным волосом, стянутым узлом. Фаня видела ее где-то прежде, на отрогах мира. Из странничков-бормотунов со снами и сказками в заплечном мешке? А лицо мягкое, вовсе не угрюмое, ай, как обносилась — и глаза, и кожа, пока брела по пригоркам... Господи, она *оттуда* (как не узнать!), где предыстория: геологические пласты сдвигаются, а мальчики тайные читают книжки, делают заговоры, пробуют, как написано в заграничных книжках.

Поиграли мальчики и сгнули между пластами в урановых каторгах, снег да сопки над ними. Женщина ждала-ждала и побрела, аукая, выравнивая холмики — бутры, очищала, укладывала цветы... Да не могилки там, а клетки пронумерованные, странница-странница, сколько железных подошв истоптала? По очередям, под тюремными окошечками за справкой.

Фаня и странница зацепились взглядами. Если перевести на язык слов, выйдет примерно так:

Странница: Хочешь сказку?

Фаня: Расскажи сказку.

(Сказка вяжет все, скоба за скобой. То существенные скобы, неистребимые.)

— По синим скатам челнок-стручок снует по глобусу, выделяет петли. Пряжа ложится свежая, как пашня, и выгибается холмами. Так идти, идти... голубоватая жизнь беспривязная. Во все концы уйти и пропасть... Ах, что напряла пряжа! Руки проворные, петли затейливы, душе занимательно смотреть!

...Но тут между ними въехала повозка с выжатыми цитрусовыми. Гора золотых корок и вал панически, напропалую расточаемого запаха. Ничего не стало, кроме золотой агонии. Потом врезалось шашлычное, красно-сочащееся, лопающее, щипящее — угли, дым и шашлычное же, в коричневых бороздах лицо... потом прошелестело облако из воздушных шаров — продавец был внутри, а

за ним звенящий человек, опутанный трещалками и колокольчиками. Затем продавец битых цветных стекляшек, его товар предназначался для калейдоскопных страстей, чтоб через узкие трубки впивать и менять видения.

Прошел и продавец благовоний. Он открывал сосудики зеленого стекла, они, тончайшие, выдыхали драгоценные ароматы, и люди ошалевали.

И тут в затолпленную нашу землю вонзился леший в черной бороде, со сверлами-глазками,— ворочал ими туда-сюда, шевелил бровями, ручищи хотят засучить рукава тут же в случае чего. Ухал леший, побряхтывал и по-свистывал, кудри в ноздрях колебались, а глаза... кожа дымилась под этими углями. Его бы пожалеть, зверюгу, погладить по динозаврьей шкуре — «откуда ты, неочуханный?» — но он скрежетнул зубами и взревел лагерное присловье. Я отскочила, стала тереть задымившуюся язву, побежала за мазями, а он верещал, улюлюкал вслед, исторгая нечеловеческие трески. Плечи его еще ворочались, еще он рычал на жалостный мой порыв, как раздался детский гóлос:

— Дядь, зачем эта железная вещь? Я каждый раз спотыкаюсь!

— Пускай торчит!— ответил леший,— это скоба из подвала.

— Какого подвала?

— Подрасти на два сантиметра — узнаешь.— Он прижал палец к толстым губам и забормотал: «Не скобой, так притчею, узловатых дней колена надо притчею связать, историей Иосифа и братьев. Все они встретились в конце концов, хотя Иаков все очи выплакал».

И завопил: «Славьте Господа на тимпанах!» — и ожесточенно заскреб землю, дорываясь до сущностных скоб, ну, тех самых, о которые мальчик споткнулся, но вообще-то они залегают в матерой глубине, которую невозможно рассказать, там, где все оказывается всем, и все — мною, и все ужасно единое, ну просто локтем нельзя толкнуть, чтоб где-то во вселенной не загремело.

Он и впрямь до чего-то дорылся, я увидела это в перспективе улицы, когда уходила, зажимая рукой ожог и оглядываясь поминутно. Он вытягивал из земли что-то темное, подобное гилям, в чем, очевидно, заключалась тяжесть земного шара, потому что земля с каждым его движением становилась все легче, будто он освобождал ее от собственного бремени, и последствия не замедлили сказаться: оглянувшись в конце улицы, я увиде-

ла, как подскакивало короткое тело лешего, и дети, визжа, повисали на косматых ручищах, болтали ногами в воздухе и вопили до задыханья: ведь леший не опускался тотчас, он задерживался в поднебесье!

— А как ты это делаешь, как?— и, захлебываясь, не давали ответить. Он же только ухал, разбежался для виду и повисал с ними вновь.

— Им-то небось он позволяет выпрашивать сколько угодно,— думала Фаня, всхлипывая,— я же бегу, ухвативши собственный локоть, а ведь знаю, где он научился этому — в тех ямах-мороках, где по стенам раздавленная человечина. Там его плоть сцедилась и затвердела в известковую корку так, что стало все равно — пилить ее, или резать, или дробить молотками. А ямы-мороки, то есть спецкамеры, учредили с целью выявить, когда лешая жилистая плоть размякает, протухает сама собой и каким образом белые нервные ниточки ее раскладываются на миллиметровку. И нельзя было прекратить лешего, прекратить учреждение, нельзя было остановить исследование.

— Зачем он делает больно — сейчас?!— кричала Фаня, пока Мирьям смазывала ей руку.

— Затем, что ты дура, которой все интересно,— отвечала Мирьям.

— Они сторожат свою боль, чтобы всегда была!

— Ты хочешь погладить рану,— сказал старик,— погоди.

И вот седовласое пещерное существо распевает, раскачивается, благословляет, вытягивая руки на детей и на прохожих — это козн¹², немного сумасшедший, вечно маячит перед Стеной, а в праздники протискивается среди народа и кричит: «Славьте Господа на тимпанах!» И крики его протыкают ухо, как негнущаяся проволока.

Давай подойдем. Пусть и на нас возложит коричневые пятипалые свои клешни.

«На тимпанах, на громкозвучных кимвалах славьте Его...»

Козлоногие подпрыгивают еврею, госпожа Мелхола¹³, закрой окно и не гляди. Скачут мудрецы, оседлав посохи, скачут на палочках бородатые рабы — как населен Ерушалаим!

Пойдем за мохнатым неистовцем, каббалистические его глазки усмеваются; осторожно — узко!— через подворотню он проведет нас к высокому собранью. Какова тема?— «Симха бирушалаим»¹⁴. Мудрецы выявляют сторо-

ны явления, несводимое сводят в свод, концы с началом. От их усилий стены дергаются, вот-вот своротят камни. Занавеска в предчувствии дрожит и раздувается, маленький раби-председатель ухмыляется, а все заседание сей-час — ух! — задрыгает ногами и воспарит.

А мы? А мы? — по стенам и над башнями и так непри-нужденно, помилуй Господи, и дети проделывают штуки-трюки, танцы-шманцы.

5

Тут прошествовала — о нет, не Теила¹⁵, — ноздри расчеркнуты хищновато, белый одуванчик волос взды-мается на ветру и улетает. От львиного переносья взмывают бровные гребни, внизу оставленные отяжелели веки, и тяжелы темные, плотные плоти губы. Такова ста-рая орлица.

Вся она суха, поджара. Атрофированные души вблизи нее напрягаются в предчувствии деяния: слух и нюх рож-даются вспять звериные, а воздух раскачивается, как от двери, хлопающей о косяк оставленного дома.

И вот, мальчики и девочки из лучших равнинских до-мов Европы, еврейские нетерпеливые дети, рвущие до-машнее лоно, чтоб с осколочным свистом врезаться в мир делать историю, — смотрите на это подсушенное те-ло, на одуванчик. Никому в голову не придет, что оно то самое, орлицы-героини, ведь история оседает в книгах, а мифология кончается на эшафотах и в концлагерях.

Бездомный сухой одуванчик, Расскажи, где летал?

— Вначале было — тамбуры и сквозняки, и все сотво-рить сначала!

Раскрутить ленивую жизнь, завертеть колеса нового века.

Потом мясорубки века промесили плоть друзей и не-друзгов и стареньких еврейских родителей.

Новый путь помечен кругами спин в тулупах вокруг кострищ. Свой круг каждому поколению, и юности, и зре-лости: во дворе городского дома после обысков и арестов жгли ненужный для следственных учреждений хлам — сохраненные первые школьные тетрадки детей, переписанные стихи, фотографии и проч. Дворник и со-седи присутствовали и удостоверяли письменно, что со-жжение произведено дотла.

Так, кругами отмечаемы — революционерам, потом

их детям, потом и внукам, — пробежали десятилетия, на-
капливались в век.

Недавно, пролистывая лагерную эпопею старого знакомого (сейчас все знакомые были — лагерные), она наткнулась на описание следствия (про свое следствие она никогда не рассказывала, считая эту тему дурным тоном: как человек безумеет, что удалось сохранить для себя, а что было выжато с потрохами, — это интимное). Она прочитала: «Я чувствовал себя, как мешок больных костей».

И вспомнила, что точно эти слова сказала себе в камере тридцать лет назад. «Меня нет. Есть больные кости в мешке кожи. Побренчать. Выбросить».

Вспомнила слова, но не могла вспомнить, что ими обозначено, как ощущает себя мешок больных костей, ощущение не могла вспомнить. Впрочем, и слова были сказаны гораздо раньше в Книге, казавшейся пошло зачитанной всеми, чтобы снова ее читать: «Душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих!»

Зато теперь слышно молчание и дыхание каждого из сонмищ, наполнивших этапы, лагеря и пересылки; видны их лица. Зато дано ощутить твердые косные черные комья, принадлежащие ей: каждое утро их надо разнять на пять растрескавшихся обрубков, расшевелить, пробудить в них жизнь, то есть муку, иначе нельзя вогнать это черное (мои руки?) в лагерную рукавицу. Неотвратим выход из бараков и страх перед мгновеньем, когда должна проснуться боль.

Зато в любое заказанное мгновение можно сдвинуть ленту вперед или назад и прокручивать — с запахами, лицами, репликами все в той же однажды прожитой бес-
смертной последовательности.

Сейчас руки, тонкие, смуглые, перебирают на рынке Ерушалаима мешочки и баночки с пряностями: толченый лавр, перцы, и мускаты, и корица. Она принюхивается, отворачивая сухими пальцами пробки, вдумывается в устье бутылочек. «Это для Дома, — говорит она, — надо, чтобы в Доме пахло пряностями».

Не оторваться взгляду от старческой прекрасной гордости. И Фаня вспомнила первое ошеломление при виде ее, царицы, в блеске буден диссидентского салона. Как все смеялись, были ироничны, небрежны, как знали все. (Фаня зажималась, провинциальный зверек.) Как играла речь в многослойных подтекстах, как резвилась в обширных парках культуры, заграницы, тюремно-лагерного фольк-

лора и европейских литератур. Захватывало дух от произносимых ими слов. Как они свободны, думала Фаня, свободны!

Она-то жила в постоянном ощущении, что мысли ее просвечивают сквозь лобную кость и сквозь волосы, и мимопроходящие граждане не могут оторвать глаз от редкостной занятной картины: как Фанины мысли изнутри отторгаются от них, от граждан, от всего вокруг, несмотря на взгляды, отторгаются преступно, единолично.

По квартире гулял ветер площади, на которую *выходили*, о Боже, что за ветреная была хозяйка!

Свежим звериным взглядом Фаня въедалась в посетителей: *что* они рядом с госпожой. Не слушала, но смотрела — глазам было доступней, чем ушам. И тогда ознобом по коже (казалось, это исходит от рук хозяйки, смуглых, спокойных), ознобом проходило ощущение горсти, в которую ты помещен, выдержан на свету, на весу, отмерен неторопливым взглядом со всех сторон и найден очень легким...

(Весь я исчислен, капут, не доползти назад по тени, не укрыться туда, за грань, где мог бы и остаться, перемешавшись со всеми, не возвратиться трусцою прочь к родимой щекотке бездны на краю.)

Нет, эти гости явились перед царицей, потому что на ветру, ах, и смерть красна; их не придушат в темной норе, в тайной норе не придушат.

Средь их речевых плесков — форельных! — Фанины доморощенные вопросы (загодя заготовленные на этот блестящий случай) были стилистически неуместны и тяжелы, как всякий плод натужного доморощенного думания. И все же, чувствуя себя почти как бедный неандерталец, аннулируемый пришествием хомо сапиенса, — все же она задала свои вопросы, чтоб уж поставить точки над «и». Потому как что еще оставалось делать со своим уровнем эволюции? И как иначе возвращаться к себе, в простодушные, может, но упоительные странствия по вырастающим повсюду множествам вопросов, которые она обгладывала, как коза обгладывает слишком высокий куст: становится на задние ноги, но все равно не достает до верхушки.

Но царице были интересны Фанины корявые вопросы. Укутавшись в шаль и вкусно потягивая сигаретку, она подтвердила, что ее тоже не раз мучило любопытство: как входят в газовую камеру? И вообще, если столькие через это прошли и это введено в обиход жизни, т. е. в оби-

ход умирания, то нет причины, почему в один день или вечер это не испытать вам или мне,— ясно выговорила она и взглянула на Фаню просто, близко, не во сне, не в героических мыслях, а ужасающе на самом деле... И разом сожгла все пленительные речи, и диванчик с разбросанным самиздатом, на котором обе так уютно сидели, и жужжанье голосов из коридора, и маленькие элегантные сэндвичи, приготовленные кем-то из гостей и уложенные на двухэтажный поднос на колесиках, до этого виденный Фаней только в заграничных фильмах.

Будто остались они вдвоем и через несколько минут войдут *туда*, и потому выбрали сейчас себе местечко и время *это* обсудить — уже свободные от всего, и от ужаса, поскольку уже все решено.

«Она допускает, она действительно думает, что я умру как все, так и говорит, и рассуждает что-то там дальше, а это для нее так, мимоходом», — и Фаня одеревенела, сраженная тем, что седая женщина не занята жалостью к ней, Фане, такой молодой, мне ведь жить и жить, разве на самом деле не осталось времени?

А та, не чуя внезапной прорвы между ними, все с сигареткой, все в шали, с доверенностью продолжала:

— Сначала все так думают: я бы стреляла! я бы вцепилась в горло! Но, поразмыслив, понимаешь: суета. Зачем мелочиться? Тебе предстоит нечто единственное, самое важное, последнее *твое*. Жалко времени. Надо сосредоточиться, додумать... А эти, с овчарками... неинтересно. Не думаю, что мне было бы до них... — она еще подумала, проверяя себя, — нет, шла бы как все.

(В лагерях с неистойвой гордыней желала «быть, как все», то есть «не очень старалась выжить», но ее не запытали, не сгноили, как обещались, — странно, ведь именно таких надменных, как бы не видящих охраны и пытателей, их и надо бы к ногтю, чтоб другим неповадно было; но она выжила, подхваченная в людских потоках, и стало страшно интересно: как это? — уже вынули сердце, выжгли, но открыли глаза и уши, и новый гул проник через них.)

Когда ей говорили: «Бог тебя сохранил», она пожимала плечами: отчего не нашлось Бога для других, когда тех запытывали и гноили? Отчего над ними в нужный час не случился Бог?

Нет, с самой юности она знала: небеса пусты, но надо установить справедливость.

Фаня тоже жаждала борьбы за справедливость, но тер-

залась, как она будет держаться, если за образ мыслей ее назначат к выпытыванию. Она слишком много думала об этом, как больной в страстном одиночестве думает о своей болезни, и стыдилась рассказать. Но, покраснев, спросила госпожу и об этом.

— Когда-то,— улыбнулась та,— я хотела всех провести. Следствие было в Лефортово, и никак было не изловчиться, чтоб умереть. Но в карцере — там все стены заиндевели, и я сообразила, что у меня есть ход. В детстве я болела туберкулезом, и врачи сказали: еще одно воспаление легких — и это фатально. Ну, думаю, вот вы где у меня, голубчики! Задрала кофту и прижалась спиной к стене... А-а! Черта с два! Не заболела.

Всегда так, думает Фаня, вместо конкретных указаний, как быть, получаем притчу.

Приходили гости, звонили и приносили новости потрясающие и разрывающие, а хозяйка приговаривала «так, так».

— Сколько ему дали, говорите? Семь лет? О, это совсем не страшно, он умный, молодой, поучится. Посидеть — это в жизни надо,— говорила она с ужасным спокойствием, будто тот, о ком говорили, сподобился высшей земной академии.

Но при известии о внезапной героической речи Н., записанной приглашенными иностранными корреспондентами, и о последовавших неприятностях, она запричитала, как над покойником: «Ах, зачем это ему, как глупо! Женился бы, книжку бы написал; ничего, они бы издали, а потом бы уехал, за границей бы пожил... Ах, ни к чему это, ни к чему!»— и страдала, и не могла успокоиться, будто смертная нелепая беда постигла гармоническое существование Н.

Много раз, глядя на нее, благоговей и завидуя, Фаня пыталась разгадать эту силу и спокойствие. Тогда, исследуя свой страх, приходилось спускаться на самые днища. Такие погружения всегда рискованны: наш собственный колодец оказывается без дна; во тьме, в углах копошатся злыдни, их хохот мечется от стенки к стенке в узкой бесконечности, и мы бросаемся наружу, задыхаясь, выползая из себя же из последних сил с воплем: «спаси меня, Боже, от самого себя, изыди, нечисть». И крепко зажимаем глаза и уши и заслоняемся руками.

О, тьма колодезная, моя, Фанина, всенная... и окраины тьмы,— я вас вмещаю, как мир вместил заборы и ограды и все, что за ними, все зоны, все ла-

геря,— все это наше, мое, но не дано сил, чтоб любопытствовать, чтоб, зная это, жить.

И, побросав ночные раскопки, Фаня бежала прочь.

Мир, думаю я в такие колодезные дни,— реализация всего, что в нас, и улиц, и закоулков. Нас много, нелегальные закоулки тоже реализуются. Если быть как Бог — во всей полноте самовыражения, — я получу этот самый мир, причем он будет весь понятен, как мое производное, как сумма моих собственных душевных составляющих. Вот, Кафка игрался в воображении пыточными машинами и закрытыми процессами — а мир осуществил то, чем баловалась распутная еврейская голова, завел соответствующие учреждения и там Кафкину возлюбленную придушил.

— Самоизгиление,— сказала гевэрэт¹⁶.

— До всего можно додуматься, до всего!

— Но одна вещь не придет в голову, думай хоть до смерти! Вот эта!— взмахнула гевэрэт на все вокруг.— Это не выдумать, не вообразить, это...

— Сверху прилетело и расселось на холмах!

6

Душа растворила форточку и высунулась через гнущее окошко. Высунуться можно было с трудом и только наполовину.

Душа вышла на балкончик, распахнула все — посмотреть, что ж такое делается. Все ворота были настежь, в город втекали хасиды.

Тогда и она потекла скорей по каменным лестницам на улицу.

И не было так, как в блаженные прошлые ночи, когда боязливая молекула, влюбленная и неприкаянная, блуждала и трогала камня и пробиралась между приплясывающих товариществ, томясь неизничтожимой отдельностью, они же кружились, переплетались вокруг.

Хасиды все прибывали, человеческий прибор ударял настырно. Какая глина, какие камни устоят перед этим бычьим — тысячелетями — тараном? Стена должна уж вздыбиться и вознестись.

— Какие красивые на тебе бубенчики!— сказала знакомая рабанит¹⁷. Фаня протянула ей гремющую гроздь, и та прицепила ее к кружевной косынке. Младенческая розовость разлилась по лицу рабанит до корней волос, и вся

она расплескалась смехом — не мудрым, ласковым, каким она утешала посетительниц строгого рава, а рассмеялась вся до слез безоглядным живым смехом, какой был дан ей от рождения. Так она засмеялась!

Когда-то нежная рабанит, полная рвения, натягивала на голорукую новоприбывшую Фаню блузку с пышными рукавами¹⁸, расхваливала кружева на блузке и избегала Фаниного лица, ставшего багровым. Господь, благословен он, не дал блузке сойтись на груди, но с тех пор Фаня не заходила к ласковой женщине.

— Какие кисточки у тебя! — сказала рабанит в восхищении и шевельнула тряпичные заросли и возлюбленные побрякушки, нацепленные Фаней, по-прежнему голоруккой, вокруг пояса.

— Правда, правда? — и Фанина душа задрожала и затрезвонила всеми фибрами, как серебряные маслины Ерушалаима.

Но кто-то тянул и тянул руку. Это был Гид'он.

— Фаня, скорей! — и снова тянул изо всей силы.

— Да-да, скорей, — и она повлеклась за его смуглыми локтями, окатывая мимо идущих юбкой и бахромой. «Простите, я влекома; ладонь выскальзывает, мне надо, очень важно. Меня зовут!»

И все вокруг тоже устремлялись куда-то.

Мы проходили городом, и город цеплялся, забивая легкие, залепляя глазное яблоко. Все было клейкое — и воздух, и выкрики торговцев, и налетало пестрой паутиной, пеленало и пеленало, превращая нас в куколку бабочки. Мы тащились, волоча налетающий груз, и отдыха не было.

«На твоих стенах, град Давида!¹⁹ — вскрикнул Гид'он, — смотри, на стенах!» — Он онемел. Он не знал, как это называется: по гребню стены бегали взапуски, распушив крылья, какие-то странные существа, прекрасные!

Я хочу тоже!

Мы входим в город свиристений, щебетаний и стрекотаний. Люди с трещалками и молоточками не пропускают ни носа твоего, ни копчика, ни лба, ни пупа. Идешь и верещишь, свистишь, пиликаешь на все лады, вся улица на тебе разыгрывается.

Продавец ковров, осторожный персиянин, колдует в глубине лавки, где стынут у стен батареи свернутых ковров. И вот он выкатил их из мерцающей тьмы и раскатал от края и до края через всю улицу, залпом из всех

орудий, как если бы разом вскрыли тысячу и одну сокровищницу.

Душа расселась и стала разбирать сокровища.

Душа напаялила все кисточки и все бубенчики и стала невообразимой, как ветошь, возвышенная за спиной старьевщика: вот она громоздится, блистая и трепеща, вот задрожала в нетерпении и понеслась, размахивая тряпичами, как флагами суверенного государства.

Дети кувыркались и делали кульбиты по коврам персиянина. Улица вилась, пороги темнели, как устья в пещеры Алладина, оттуда устремлялись люди. Что случилось? Поднялись разом, не сговариваясь. Срок нашей радости пришел.

В уличном светлом проеме, как в нише, стояло кресло. В нем сидел, нога на ногу, ожидая, бледный смеющийся человек со слабой бородкой и сияющим лбом. Белые в крапинках руки были вскинуты за голову, и носок ботинка задран высоко, по-американски. Он смеялся тихим заразительным смехом, тонкие рыжие пейсы и завитки вокруг вытянутого лба колыхались. Раби не был стар, но кабинетная жизнь и болезнь выбелили его кожу и подсушили тело. Весь он был в эдакой необременительной слабости и неважности тела. На нем был синий балахон и балахонистые коричневые брюки. Он был беззаботен и легок.

— Погоди, мне надо сказать,— пробормотала Фаня и двинулась к раби-хиппи.— Какая радость,— сказала она,— какая симха в нашем городе. Вы знаете!— сейчас совсем хорошо.— Она переминалась, ожидая: ведь догадался же он обо всем и знает — что-то надо делать со мной и этим всем, с нашей радостью.

Раби кивнул, приняв к сведению все, что она хотела сказать, но сам не сказал ни слова и продолжал смеяться и ожидать. Гид'он дергал за руку: «Ну же, идем!» И они побежали.

Приходилось высоко задирать юбки и расшитые нити пояса. Гид'он маневрировал, как ящерица. Они протискивались в ущельях между строительными лесами, бочками с известью, через террасы с затейливой мебелью, площадки с ковриками и подушками — и то были внутренности квартиры, через прихожие, оказывавшиеся тупичками, через петляющие коридоры с подвешенными связками перца и чеснока — они оказывались проулками. То

было длинное путаное путешествие, покуда под ногами не оказалась улица с белой глиной между камнями, и вся она шла под открытым небом, человеческая пропасть, полная торговцев и мальчишек.

Тут Фаня застряла у мелочной лавки, нестерпимо пестрой. Внутри стояла женщина; тускло желтел бледный шелковый ее тюрбан.

— Ну, что ты ищешь?— заныл Гид'он.

— Не ищу. Но это уже было, понимаешь?— и запах, и старик сидел у стены, и шарики цветного стекла, привязанные за веревочки, уже были, и пахло так однажды, такой горький сильный цветок. Да что ж это? погоди, стоим на углу, поиграем в «замри». Кабы воздух заколдовать, чтоб не дрожал, или ослепнуть, чтоб только пальцами шевелить, шевелить и нашарить.

Женщина в желтом тюрбане нагнулась над прилавком, выискивая вдумчиво. Ветер ворвался и развил тюрбан, заиграл шелком, захлопал по стенам, смахивая разные разности. Цапки закачались, попадали со звоном. Ой, сейчас все как грохнется! Но ветер прижал ткань поверху, над полками и над шкафом, облепив поделки. Женщина напряглась, стала на цыпочки, замерла, чтобы не своротить ничего. Под чайно-розовой бледностью выпирали формы, топырилась глина. Ох, если женщина вздрогнет, все как бухнется, как разлетится все в прах! Древний хозяин взбирается, кряхтя, на табурет, затем на стойку, со стойки на шкаф и устраивается там поудобнее, чтоб аккуратнейше — впрочем, не злоупотребляя терпением дамы — по очереди приподнять и высвободить шелк от каждой глиняной игрушки. Он отцепляет ткань от тысячи вещей — о, как медленно!— и Душа не смеет двинуться в дверях, и женщина ждет на цыпочках, вытянувшись, чтобы не рвануть...

Рядом вглубь уходили прежние слои, взрытые археологами. На мостовой, вымощенной молельщиками Второго Храма, можно было попрыгать в классики. А залежь Первого Храма это еще вглубь. Но и там со свежевзрытых боков уже предприимчиво приготавливались лавки, и земля была выстлана досками.

Уже не зрением, но всем существом Фаня ощущала, какой это слоеный медовый ее пирог. Вот почему она обхаживает и там и сям, и втягивает ноздрями, и пробует губами, вот почему все задевает, задевает — шмелиные эти прикасания. Толклось тут без перерыва от сотворения, и вот прикосновение стало бархатным, шмелиным.

Сухие камни жарки, и белая штукатурка шуршит о локоть.

Они карабкались по первобытным ступенькам, ведомым Гид'ону, и Фане мерещились за полукружьями низких ниш гораздо более прежние жители, тяжелые юбки и обнаженные груди. Груды были так полны и тяжелы, что Фаня приостанавливалась — придержать боль. Ей казалось, что если пройти под сводами и проверить в нишах, можно нашарить женскую глину — многогрудые фигурки, покорно ждущие во тьме дома. Она ни за что не хотела уходить от этих ниш, но Гид'он тянул ее. «Постой», — говорила Фаня, отворачивая лицо к стенам и втягивая запахи. Что-то никак не могло додуматься в голове, а только обтрагивало со всех сторон, и это было узнавание. Как будто лица, обращенные ко мне из ласковых домашних преисподен. Я это знаю, знаю, но откуда? Может, я — ханаанская фигурка из глины, спрятанная в доме, и вот — ожила, все оживает в конце концов, если долго просят, если касаются, берут близко и дышат на глину.

А Гид'он раздувал ноздри, и сумятица слоев была ему не помеха.

7

Мимо прошествовала гевэрэт с авоськой из разноцветных ниток, полной пакетиков ближневосточных пряностей.

— Я искала вас, — окликает Фаня.

— Что искать, если знаете, что я все равно здесь!

Ну конечно, первым делом она стыдит меня, чтоб не пожирала так ее глазами. Какое поразительное лицо, она же вылитая североафриканская еврейка, эта пустынная, крупная и вместе с тем изящная красота. А смуглота? — вот откуда: отсюда, отсюда. То-то я все поражалась там — откуда в ней такая смуглота? Никогда не надоест глядеть на эти ноздри на отлете...: и вся эта определенная выраженная сила, какой-то взмах, именно взмах в лице... ага, это из-за львиной переносицы и бровей... нет, еще гордость ее бесовская, ах, хороша... Почему я все кружу вокруг нее и не могу успокоиться? А-а, вот где она, дома — среди этих домов, в лавке пряностей...

— Все равно, я искала вас!

— Ладно, ладно, — гевэрэт прихватывает Фанину руку, — что за леший мужик, мне кажется, я припоминаю...



Древний план Иерусалима.

Общий вид на Храмовую гору.



Праздничное шествие.



В Старом городе.



Стена Плача.



Возвращение.



Трубящий в Шофар.



Вдоль стены Старого города.

Витражи М. Шагала.

ну, конечно... ах, такой же дикий!— воскликнула она с одобрением.— Не образовался... пойдём!

— Я боюсь, он бешеный!

— Нет,— сказала гевэрэт,— просто он ощущает все время «мешок костей», *это* не оставило его.

Она двинулась прямо на маленького черного коэна.

— Я принесла тебе баночку с бальзамом, старый хрыч. Я же помню: тебя надо натирать и смазывать между позвонками, иначе ты скрежещешь и не стыдишься общественного диссонанса, ах ты!! Пойдешь к старику Нафтали, банщику, он распарит тебя и смажет, я давно знала, что есть для тебя лекарство.

— Почему я здесь?— с силой и мучением спросила гевэрэт.— За что? Это бы родителям... им снилось, они молились. У них всегда была мезуза²⁰.

(Когда уходишь делать мировую справедливость, дверь отчего дома отшвыриваешь на косяк, отмеченный еврейским послушанием. Местечко постыдно взметнулось вслед перышками вспоротых перин. Но оно не сгнуло сразу, как в ее памяти, а умирало, как потом выяснилось, постепенно, так, как можно было увидеть (потом, потом) на фотографии времен второго рейха: там, в окружении отличных арийских профилей, солдат поддерживал на острие ножа еврейский подбородок, требуя от него должной высоты. Еврей был синеватый, с проваленными глазницам, вырванными пейсами. Казалось, тление проступило на плоти, уже не стонущей, но клонящейся скорее из мира, поскорее — вниз, кончить, поскорее. Но легионер хотел поиграться, он двигал челюсть в улыбке и поворачивал рукоятку ножа туда-сюда, и голова в земляных пятнах вращалась, как на оси, и клонила, «адонай, лама азавтани?»²¹. Кости размягчились, уж не спрашивай — азавтани, кончено.)

И вот тебя, идущую по городу (о нем *оставленные* молились, а для тебя, отбросившей все, он — *оказался*), тебя окликают оставленным там же, за дверным косяком, Израилевым именем, забытым, умершим, над которым уж несколько археологических слоев.

— Ле-ле-ле... Ро-ха-ле...

Посреди жара и синевы, где все так ясно, ни облаков, ни теней.

— Это меня? Откуда имя... Господи, в этом городе — меня зовут?

— Ах, не Рохале ли ты, что по такой-то улице, внучка раби, как же, я помню бабушку, и тетю, и всю семью... — грузная женщина приникает напряженным ласковым взглядом и готова бесконечные задавать вопросы.

— Так ваше настоящее имя Рахель? — остолбеневаает Фаня.

Но спутница нема, лицо в расслабленной невиданной какой-то последней улыбке: не мысль вздрогнула (мысль еще не успела принять), но плоть; брeнная плоть неуничтоженная была оттуда, где было однажды двенадцать лет, а как не вздрогнуть от продолжающегося существованья мира? О многослойная земля, где все остается жить и прорастает друг через друга. Другие буквы ничейных, взятых из воздуха, имен в паспортах и международных билетах, но это игрушечное «ле-ле», оброненное перышко с парящего в небытии местечка, — ты получаешь его в конце, как выстрел.

— Потому что мы — Израиль, — сказал раби. — Боролся с Господом и устоял. — Очень мягко, тихо, как подходят к спящему, сказал он, но сердце бешено забилося и отпрянуло в испуге.

...так что тянуть, скорей решить про Бога и людей. А-а, все волочу безумную свою голову, кабы разбить да бросить, как бы исхитриться да заплутать в тебе, Ерушалаим, чтоб уж не выйти, чтобы понес, не отпуская, по медовым руслам своим, коричневым, тягучим.

...ах, как много потрачено на комментарии и как мало жили!

как лупит всю вещь жизни, сшибает с ног, можно сгребать всюду сколько хочешь — навалено по стенам и по крышам, по мостовым и подоконникам, под небом — специально для тебя, для забиранья ворохами.

...прилепиться к стареньким синагогам, где на симхат-тора²² обмакивают кабэне в сжигающую красную и зеленую гущу, о перченное солнце нашей трапезы! Кабэне, истекший желтым маслом, ноздреватый под кирпичной корочкой хлеб плeбса и князей. Десятки рук тянутся и макают. И раздают орешки. Лохматый коэн обходит всех, разливая вино и пляша. А женщины выходят из-за перегородки, напихивая комнату цветными шальями, дойными грудями, животами. Гранатовые зернышки вспыхивают на зеленом блюде, как тысячегранные соты. Тебя опутывают канителью, запутывают со всеми, и дети облазывают плечи и коленки, завертываются в юбки.

...приткнуться к старым маленьким синагогам Бака и

Тальпиота²³, подслеповатым, жарким, где старики высушены, а у юношей безмерный зрачок в голубом белке.

...задрипанные цветастые синагоги, неистовые на свадьбах и на брит-мила²⁴, с всегдашним темным стариком в углу, упоенным Богом. Вот здесь и настигало это чувство зависти и находки (удачливо добрались до шатров!), и Дома, приплясывающего Дома Иакова (прилепился сбоку, неуклюжий отпрыск!) — уф, очутиться в куче свойственников, и пусть бурлят всюю: «чего стоишь, не входишь?», и чтоб подпихивали: ну же, входи! А заупрямишься — «ну, ладно, стой, где нравится».

8

И вот лужайка зелеными краями свешивается с холма на город. Седобородый леший боками и плечами месит воздух, взбрыкивая, и скачет, как бык: как радоваться, как плясать — первобытная грамматика, доглиняный период, и женственные бока ваз в себя такого не впечатали.

Старик приземист, сумрачно-горящ. Бьется в небе, а мы смотрим.

Притоптывая, входят хасиды в черных сюртуках, воздевают руки, поникая и расходясь; перестройки па, как в птичьих брачных танцах; увесисто и ладно — чехарда могучих катапультирующих масс, красных поблескивающих лиц, и вот мерною баллистой раскручивается «хора»²⁵, сейчас разнесет окрестность.

В эпицентре вкалывал маленький обширнобородый леший.

Четыре друга — Авишай, Нафтали, Моше, Азарья — кружились юлами. Фанин старик размахивал локтями, а Мирьям воинственно-серьезно, с неистребимым напоминанием о нашем с вами ковровом рыжем, оттаптывала новые каблуки. Гевэрэт подрагивала плечами, под веками у нее начинало полыхать.

Кое-где еще редели спины пришельцев и созерцателей, но уж взметались и звякали подвески и побрякушки. Горящеглазый леший коэн все раскачивался, ударяя плечами и грудью воздух, глаза его накалились так, что некто подумал: когда же он не выдержит? Но взвился юноша в молоденькой щегольской шляпе, светлом костюме и слепящей сорочке. Белые нити взлетали за крыльями пиджака. Узким движением, будто вывинчиваясь, взвил он белый просторный платок и, подкинутый невидимым

пламенем, остался на высоте — с неизменным лицом, потупив ресницы, ни единым взглядом не открывшись толпящимся.

Коэн исчез так же непонятно, как возник юноша.

Платок, натянутый в бледных пальцах, покачивался строжайшей рамой навстречу огню, бьющему из-под ног. Юноша отворачивал голову, и фетр молоденькой шляпы гнулся, как рог. Стоял в раме бычком закрученный фетр и белый профиль под твердым полем, а оленье тело содрогалось, подобранное над весенней пропастью.

Вот он коснулся сорочки на груди и отогнул большой палец, и тотчас в идишних подскоках означилась самоабвенная козлоногость местечка; означился князь, живой сосуд. Так плескались пророки на высотах.

Так он вытесывает под диктовку начисто, не вольничая (это Ты, Господи, сотворишь буквы радости о Тебе), вскидывает копытца перед народом и ударяет вверх.

Тогда понятна стала строчка: «скакал Давид перед лицом Господа».

И когда исчез,— так же неуловимо, как и возник,— вскинулись подбородки, волосья отлетели; не глядя, но всей кожей слушая друг друга, ай-ай, нация плясала и пришельцы; и все телесные части подкидываемы были к небесам все неудержнее. Возможно, где-то продолжала быть земля, и вещи, скажем, комок о четырех ножках продолжал зиждиться, и где-то продолжали убивать и предавать, ведь это был еще не Мессия, а только веселье в Ерушалаиме, но нация плясала, неозабоченная, вскидывая ноги, сцепляясь и виясь по закоулкам и проходным дворам, через квартиры и лестничные переходы, заплетаясь узорами и кружась все под тот же мотив.

Ты даешь нам свой праздник и единение.

И ангел, которого призываем в ночах, кусая подушки, ангел одиноких, овевающий лбы, когда не осталось уже и ожиданья,— о, тот ангел, что терпеливо стережет нас на мертвых поворотах и отирает пот с чела и клонит ухо к вою — плачь, человек, плачь, моя отрада!— тот ангел, что во снах берет, врачуя, за руку,— тот ангел не летал, его мы больше не встречали, не стало ему промысла.

Не осталось ни священных обязанностей, ни прогресса, чтоб куда-то развиваться, ничего. Только душа неистовствовала до самых холмов и дальше, захлебываясь и припадая к краям долин.

— Раби,— сказала я,— какие вокруг яблоки, малиновые, золотые, и все кидают; голубица плещется в ручье,

слышишь? карий зрачок ворочается в голубом белке, а перышки шершавят мир и задевают сердце. Но ты скажи мне, раби, а то я буду биться лбом о сухие наши камни — как нам быть? Мне необходим тринадцатый догмат Рамбама²⁶.

Потому что кладовые памяти полны. Как благотворно сгинуть, но ведь Ты старьевщик, хранитель кладовых, Ты не стираешь имен, не разрываешь пряжу. Узловатых дней колена надо памятью связать. А хасиды вертят призмой мира, и выходит, что Господь смеется вместе с нами, и все хранится, перетекает днищами и, возвращаясь, помнит прежние русла.

— А женщины плодоносят двойнями,— сказала безупречная рабанит,— легли двое, а встали четверо!

— Послушай, посмотри: Ерушалаим. Разве не слышишь: *все мы тут, разве не слышишь?* Ухо оглохло, голубица плещет, не разобрать...

— Что, что я должна услышать?

Вкуси благословенье, жженье, животворенье меда, все жала разом. Снуют стрекозы, и кровь гудит. Вершина полдня разверзается смьчком по сердцу, так что не оставит, кажется, сейчас и жить. Говорят, Господь смеется вместе с нами.

— Скажи слова какие-нибудь.

Странница провела рукой, и у меня заныло темя: так прекрасна, кругла была рука, о, пусть бы так и дальше...

— Расскажи сказку!

Все гладила меня по голове, наклонясь, все гладила.

— Просишь сказку?

— Расскажи...— бормочу я.

Она потянулась и достала из грудных недр моих багровый кулачок, он трепыхался, косил окровавленно в сторону и дергал веком, как ужаснувшийся ощущенью человеческой ладони воробей. Странница побаюкала и спрятала за пазуху. Она положила одну руку вот так, на голову мне, другую себе за пазуху, и заплела сказку — не видать было, где начало. Сине, но ты скажи еще.

— Мы живем. Трава сухая. Воздух шумит, как пчелы. Все мы здесь.

— Всем хорошо, как нам с тобой?

— Как нам с тобой.

— И все понимают, теперь уже *все понимают!*

Не то дымок, не то свеча замаячила, и странница под-

няла голову. Воздух дрожал все сильнее, будто в него била струя. Горло красавицы лилось, в полдневной выси пела и истекала горлица, ручей журчал, и небо содрогалось, разорванное реактивным двигателем.

Женщина встала, вытягиваемая за горизонт, как за поездом, ушедшим на всю жизнь.

Но отовсюду напирал и оглушал Ерушалаим; и уже не превозмочь было этот вал. Серый кокон прошаркнул по моей коже — упала старушечья ее шаль. Открылся прекрасный слив плеча и локтя, и все разом сдвинулось в ней навстречу. Но что творилось с ее лицом, Ехизкиэль!²⁷ — разглаживалось, наливалось краской, и волос блестел, как паутина в бабье лето.

Между тем двигатели затухали, и кто-то приближался, переступая с ковра-самолета на трап в Лоде. Из нумерованных ям небытия возвращался он, легкий, несогбенный — и вовсе не как во снах, где вызывали без конца на опознание, и на длинных деревянных скамьях лежали черные комья, между скамей ходили родственники, а в кусках еще теплилась боль, и надо было догадаться, где Он, чтоб гладить и целовать и передать ему троганием: вот видишь, я узнала, значит, ты есть, и мы друг друга знаем. А если она не угадает, то боль узнает про себя, что она только черный ком спекшийся, и тогда все, что еще оставалось от Него живого, в этот миг перестанет, станет — ком.

Но сейчас он ступал по трапу, такой прекрасный. Вздых или вскрик, вышелевленный губами, но во всех концах услышали и отвернулись — ведь то были любящие, они обнимались среди нас, вещных существ с дыханием и гамом, о, как бы не помешать... И всему существу, и травинкам, перехватило дыхание, чтобы отныне им вся земля была — Ерушалаим.

Всехняя душа умащивалась и пристраивалась, пока обволокла все стены, все выступы и ниши; все вмятины и все щербинки на лестницах и мостовых. Душа оседала, и теперь каждый мог бродить в золотом ее половодье, закинув сети, бесцельно.

Люди среднего возраста полетывали, как кенгуру, без разбега и без смущения. Фонтанчики смеха били из горл, как из бутылок; воздух цокал, булькал, окрестность лопалась, вулканическая, — ее распирало.

— А что это — Ерушалаим?

Это когда без краев тесно, шершавые куски толкутся в медовых этажах. Или: взять в руку красную глину, желтый камень и знать, как разменяемся мы — станем камнем и глиной; все вещи останутся в Доме, навсегда. Мы остаемся вместе, не уходим никуда, тепло как, тесно как смыкаемся мы кожей, Ерушалаим.

Это когда языком раздавливаешь сот. Нежданно-негаданно, когда лесным ручьем бежал — вчера, позавчера и год, всю жизнь бежал, не зная, и било по лицу, и липли мошки, и вдруг живая драгоценность, не дающаяся никому, и полной мерой тебе дано — припасть, вкусить и новый начать отсчет времен. Когда надавливаешь языком и терпишь жженье тысячи иголок, терпишь и слушаешь.

Пчелы нажужжали город в медовых сотах, он стекает, закладывает уши шорохами, теснит. Скорее плесните мне на сердце, чтобы продлилась жизнь, и подкрепите меня яблоками.

Йишакени миншикот пи-у²⁸. Да, впивайся, губами и зубами, под языком сочится, затопляет, — потому что ласка твоя лучше вина.

Уже началось жемчужное потускнение, та единственная краска, данная Всевышним Ерушалаиму, от которой душа начинает кружить и тосковать, вытягивая себя во все, что вокруг, чтобы приникнуть. И вот, не вынеся единственности, душа разомкнулась во все концы, и потеряла границы, и сомкнулась с землей и небом там, где небо касается холмов, и стала кочевий шалаш с откинутыми пологами. Бубенчики навешаны всюду и трезвонят, как серебряная листва под ветром. Завесы развеваются, и в проемах гуляют сквозняки, сквозит мироздание.

Тут некто серафимовидный взъерепенил разом все перышки, малиновые и голубые, провел перистым краем по губам — тсс, нет мочи растянуть сердце и полный ветер весь принять. Не охватит душа радости. И потому не переполняй, терпи, как терпит семя прозябанье, пока не станет поколенья, что примет все.

И уже не будем одинокими. И пойдем среди детей, пишалок, свиристелок, запахов корицы, укропа, среди гранатовых яблок (за крепкой их стенкой нетерпеливые толкутся зерна).

Мы будем очень любить друг друга, и чтоб душа выдержала, Бог прикроет нас ладонью и опустит на землю ночь. Но рассказать это нельзя, потому что, если соты разламывать, мед растекается между пригоршнями, и надо говорить не словами, но письменами листвы, земли,

человеческим троганием, запахами, развеваньем складок — этими знаками напишется рассказ о веселье в Ерушалаиме, плывущем к рассвету, чтоб и рассвет пробовал на нем свои краски.

1979—1980

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сноска для русского читателя, не израильянина: Ерушалаим — так на иврите звучит имя «Иерусалим», в котором наше ухо различает эхо ивритских значений «еруша» — наследие, «шалом» — мир, «шамAIM» — небо, «шалем» — цельный, совершенный. (Здесь и далее примечания автора.)

² День независимости, следует сразу за «Днем памяти» (погибших в войнах за независимость Израиля), то есть, согласно израильскому календарю, празднования начинаются вечером, после захода солнца «Дня памяти».

³ Ган Эден — райский сад.

⁴ Белые нити, которые носят на поясе религиозные евреи.

⁵ Война 1948 г., начавшаяся на другой день после провозглашения государства Израиль.

⁶ Страна Израиль.

⁷ Кóтэль — так называют Западную стену Храма (Стена Плача) в отличие от всех прочих стен, для которых — общеупотребительное слово «кир» (стена).

⁸ Вавилонский Талмуд, то есть созданный в вавилонском изгнании.

⁹ Иерусалимский Талмуд, то есть созданный не в рассеянии, а на святой земле.

¹⁰ То есть после Шестидневной войны.

¹¹ Крепость в Иудейской пустыне над Соленым («Мертвым») морем, на горе, где две тысячи лет назад, выдержав длительную осаду римских легионов, еврейские повстанцы совершили коллективное самоубийство.

¹² Священнослужитель; из рода священнослужителей.

¹³ Царская дочь (на иврите имя ее звучит: Михаль), жена Давида, увидя, как муж ее «скачет» перед ковчегом Завета на улицах Иерусалима во время праздничного шествия, сочла это унижением царского достоинства.

¹⁴ «Веселье в Ерушалаиме» (ивр.).

¹⁵ Благочестивая героиня одноименного рассказа Агнона, «теила» на иврите — слава, хвала, возвышенное славословие.

¹⁶ Госпожа, сударыня (ивр.).

¹⁷ Жена раввина, рава (ивр.).

¹⁸ У ортодоксальных евреев, выходцев из Восточной Европы, женщина оставляет открытыми только лицо и кисти рук.

¹⁹ Строчка из пророков, ставшая одной из любимых народных песен «Веселитесь в Иерусалиме, радуйтесь ему».

20 Пергаментный листок с отрывками из Библии, вложенный в футляр, который прикрепляется к косяку двери.

21 Господи, почему оставил меня? (*ивр.*)

22 Праздник окончания ежегодного чтения Пятикнижия, дословно: «веселье Торы», то есть «закона».

23 Районы Иерусалима.

24 Обряд обрезания младенца.

25 Круговой танец.

26 О воскресении мертвых, убитых и замученных.

27 Автор пророчества о костях, которые оденутся плотью и встанут — живыми людьми.

28 Первая строчка «Песни Песней».

Йегуда Амихай

* * *

Иерусалим — это порт на берегу Вечности.
Храмовая гора — огромный увеселительный корабль.
Из люков его Западной стены выглядывают святые,
Веселятся, отчаливают. Хасиды на берегу —
Машут им вслед. Кричат ура. А он —
Всегда прибывает, всегда отплывает. Ограды, пристани,
Полисмены, флажки, высокие мачты церквей
И мечетей и трубы синагог, шлюпки славословий,
Волны гор. Рог протрубил: еще один корабль отбыл.
Матросы Судного дня в белой форме
Шастают вверх и вниз по вантам проверенных молитв.

И этот торг, и городские ворота, и золотые купола:
Иерусалим — Венеция Господа Бога.

С иврита. Перевел Владимир ГЛОЗМАН

Даниэль Фрадкин

СЫН РАВВИНА

Путь Йосефа Таля из Берлина в Иерусалим

К восьмидесятилетию композитора

Для человека, знакомого с музыкой Йосефа Таля, лишенной, казалось бы, каких-либо признаков еврейского или средиземноморского фольклора, да и вообще каких бы то ни было еврейских признаков, такой заголовок покажется притянутым за уши. Но так озаглавлена автобиографическая книга крупнейшего израильского композитора Йосефа Таля. Так он сам себя характеризует, и нам не остается ничего другого, как попытаться понять причину этого.

Поводом для написания данной статьи послужило исполнение Иерусалимским оркестром Второй симфонии Таля по случаю открытия сезона 1989/90 года. Мне не впервые приходилось играть сочинения этого мастера, но на сей раз репетиции велись настолько тщательно, что позволили выйти за рамки общепринятого, увы, стиля исполнения современной музыки, а именно «сведения концов с концами». Йосеф Таль записывает свой текст очень сложным, запутанным образом, так что оркестранты чертыхаются то и дело. Он мог бы и облегчить нам работу, записать это гораздо проще, но... В конце концов симфония была выучена, смею сказать, хорошо сыграна, очень тепло встречена публикой и критикой, а меня заставила задуматься над явлением музыкальной культуры, имя которому Йосеф Таль.

Потом он сам сказал мне, что записывает свою музы-

ку таким сложным образом специально, чтобы оркестранты не проходили мимо деталей. Ведь важен результат, а результат таков, что восьмидесятилетний Таль добился, наверно, всего, о чем может мечтать современный композитор: признания, почестей, многочисленных международных и израильских премий, и сделал это самым трудным образом — всегда плывя против течения, идя своим собственным путем, не облегчая жизни ни себе, ни исполнителям, ни слушателям.

Его музыка захватывает исполнителя не сразу, а постепенно, по мере ее изучения. Чем больше ее играешь, тем больше в ней видишь и тем увлекательнее она становится. Его музыку нельзя играть «грубым помолом» — сначала нужно тщательно проработать все детали, все маленькие компактные мотивы, точно вымерить ритмы, и тогда калейдоскоп деталей складывается в цельную картину, внезапно приобретающую большой эмоциональный смысл. Многие обвиняют Талья в рационализме, но я думаю, что это поверхностное суждение. Йосеф Таль — истинный сын своего отца-раввина, ученейшего человека, — сочетает в своей музыке рационализм и эмоциональное начало иудаизма.

Таль — веселый, остроумный, деликатный, доброжелательный и оптимистичный, всю жизнь шел своим независимым путем, и ничто ему не давалось легко. Он сполна заплатил по счету, который судьба предъявляет еврею: погиб в Освенциме отец, чудом спаслась, претерпев все муки узницы нацистского концлагеря, сестра, погиб в Шестидневной войне старший сын Реувен.

Его квартира в иерусалимском районе Тальпиот выходит окнами на холмы Иудейской пустыни и на новый район — Восточный Тальпиот. Салон его квартиры — настоящий тропический сад... Видно, что хозяин квартиры уроженец Берлина, воспитанник немецкой композиторской школы, европеец до мозга костей, чувствует себя здесь, среди иудейских холмов, дома.

Во время долгих бесед мы говорили, конечно, преимущественно о музыке, но не только о ней. Талья интересуется философией, политика, литература, Кафка и Вагнер, раби Нахман из Браслава и компьютеры. Он считает, что общество в XX веке переживает кризис, связанный с общим падением среднего культурного уровня, и сейчас напоминает бурлящий котел, из которого в XXI веке, может

быть, выйдет что-нибудь путное. В музыке и вообще в культуре этот процесс произошел гораздо раньше, и сейчас мы все еще пытаемся переварить высокие достижения культуры начала XX века. Но публика в массе своей как не понимала Бетховена в свое время, так и сейчас не понимает его. Публика очень любит слушать Бетховена, мелодии знакомы, они легко ложатся на ухо, и таким образом нетрудно представить себе, что ты понимаешь, о чем идет речь. Однако это лишь иллюзия: понимать сочинение — это значит понимать, как оно устроено изнутри, какие закономерности приводят к той или иной структуре. Каждый музыкальный стиль подвластен собственным законам; находясь в рамках этих закономерностей, ты соответственно воспринимаешь и можешь понять те неожиданные повороты, которые случаются, скажем, у Бетховена.

Мы говорили с Талем и об использовании современными композиторами неоклассической техники. Он считает, что это в известной мере уступка публике. Куски тональной музыки являются наживкой, которую публика должна проглотить, и она ее проглатывает. Таль несколько снисходительно относится к подобным приемам и уж во всяком случае себе их не позволяет. Композитор, по его мнению, не может избежать влияния окружающей среды и пользуется тем, что он слышит и видит вокруг себя, как материалом для строительства своей музыки, но он не может себе позволить находиться под влиянием преходящих вкусов: от них он должен быть полностью независим и диктовать их публике, если это ему удастся. Если же нет, то что ж, подождем признания еще пятьдесят — сто лет. Популярность поп- и рок-музыки он с сожалением отмечает как падение культурного уровня масс и видит во вновь растущей популярности джаза — искусства несравненно более развитого интеллектуально — обнадеживающий признак.

Мы затронули тему фольклора, и, разумеется, разговор немедленно зашел о Бартоке. Йосеф Таль показывает, как Барток, в противовес бытующему мнению, не использовал фольклор для того, чтобы на его основе писать музыку, но придавал своим оригинальным, абсолютно современным музыкальным мыслям, сериальным по существу, форму, схожую с венгерским фольклором, и таким образом делал свою музыку доходчивой. Точно так

же Бетховен, взяв всем известную формулу аккомпанемента народных песен и танцев, сделал из нее мотив Пятой симфонии. Композитор берет кирпичики для строительства своего музыкального здания повсюду, они вокруг него, из них он строит. Бетховен ничего нового не изобретал, а установил новые взаимоотношения между звуками.

Всякое искусство, по мнению Йосефа Таля, должно оперировать своими собственными средствами, не прибегая к заимствованию из других жанров, поэтому он несколько скептически относится к «программной» музыке. А как же опера, как же с вокальной музыкой? О, с этим все в порядке. Таль уделил этим жанрам весьма серьезное внимание (оперы «Саул в Эйн-Доре», «Башня», «Искушение», кантаты и многое другое). Каждый из этих жанров развивается по своим законам, и такое синтетическое искусство, как опера, бесспорно, не только имеет право на существование, но дало едва ли не самую значительную продукцию в музыкальной истории. Попытки же звуками описывать что-либо — это уже не «метафизика», а в устах Таля метафизика и есть высший, истинный смысл музыки.

Йосеф Таль, пользуясь абсолютно новым и оригинальным музыкальным языком, тем не менее прочно опирается на традиции; проблема в том, что «средний» слушатель не дает себе труда проследить развитие музыкального языка, которое шло от классики, через романтику Брамса и атонализм Шенберга, сериальную музыку Веберна и дальше путем непрерывного, хотя и не прямолинейного развития, и нуждается в истинном интеллектуальном усилии, чтобы проследить этот путь. Но на самом деле всегда существовали те же элементы музыкальной формы, и «новые правила игры» заключаются лишь в новом соотношении между уже существующими элементами.

Важнейшим ключом для понимания музыки Таля послужит латинское слово *Imago*. Вот что он сам об этом пишет: «Я часто, сознательно и не вполне сознательно, спрашивал себя, для кого я пишу и почему сочинение музыки мне необходимо — из чисто эгоистических побуждений или же потому, что я должен нечто сообщить, вступить в диалог с неизвестным собеседником. Является ли сочинение музыки лишь передачей в музыкальной форме

собственных переживаний, или же от смешения их с переживаниями слушателя создается новая концепция? Этот вопрос имеет для меня в процессе сочинения музыки решающее значение. Мою музыку для камерного оркестра я назвал *Imago*. Она написана для фестиваля Брамса в Вашингтоне. Я решил написать *Homage a' Brahms*, но такой программный исходный пункт мог стать опасным и выродиться в общее место, поэтому я стал искать и нашел разговор с Брамсом в середине композиции, процитировав мотив из его кларнетового трио, развил его и продолжил в стиле моего собственного сочинения. В естествознании *Imago* означает последнюю окончательную форму метаморфозы насекомого, иначе говоря, это есть преобразование прошлого в настоящее, и обе эти формы образуют неразрывное единство, *Imago*. Встает вопрос, является ли «метаморфоза» правильным понятием для обозначения этого процесса, ведь будущие превращения уже содержатся в его зародыше. С течением времени они все появляются на свет».

Таль, необыкновенно приятный собеседник и остроумный человек, обладает помимо композиторского еще и литературным даром. Его долгий жизненный путь описан им самим с немалой долей иронии в автобиографической книге.

«Мой отец был раввином в городке Пинна,— пишет Таль.— Он был человеком совершенно поглощенным своей работой и своими мыслями. И хотя он строго придерживался ортодоксальных религиозных законов, его благочестие основывалось на вере в Бога, на любви к Богу, а не на страхе перед Богом. Любовь к людям была естественным следствием этого мировосприятия, и потому отец стал директором сиротского дома в берлинском районе Шарлоттенбурга. Позже он преподавал еврейскую философию в берлинской Высшей школе иудаизма, где преподавали также Мартин Бубер и Лео Бек. Интересно, что среди учеников отца был и молодой человек, задававший своему преподавателю необычные вопросы. Однажды он пришел домой к Грюнталям вместе со своей подругой, с которой собирался ехать в Палестину. Но вскоре он умер, не успев осуществить своего намерения. Звали его Франц Кафка».

Как и многие большие музыканты, Таль, тогда еще Йозеф Грюнталь, с детства явно предпочитал музыку и

театр школьным занятиям. Когда директор школы уходил на пенсию, в конце торжественной церемонии он сказал каждому из учеников несколько напутственных слов. Йозеф Грюнталь услышал от него: «Жаль тебя, молодой человек!», на что тот смиренно ответил: «Так точно, господин директор».

Отца Талья, ученого раввина и преподавателя философии, не слишком радовала перспектива профессиональных занятий музыкой его сына, однако он был человеком либеральных взглядов и не препятствовал ему. Его первая учительница музыки была ученицей знаменитого Эдвина Фишера. Тогда же Таль начал сочинять. Учительница была очень хороша собой, и этот факт несомненно был отражен в фортепианных сонатах тринадцатилетнего ученика — «Розы» и «Буря». Содержание их в объяснении не нуждается. Интересно, что в это же время Йозеф не ограничивается учебным фортепианным репертуаром, а тратит все свои деньги на приобретение фортепианных переложений симфоний. Таким образом он очень рано познакомился с важнейшими сочинениями и научился бегло читать «с листа». С математикой было хуже. Таль пишет, что частный преподаватель, самостоятельно обязавшийся научить его за две недели всей этой премудрости, умер от огорчения, не добившись обещанного результата.

Для уроженца Берлина, одного из крупнейших европейских музыкальных центров, было совершенно естественно слушать музыку в концертных залах, причем в отличном исполнении. Однако Таль пишет, что в детстве на него произвел огромное впечатление также превосходный синагогальный хор на улице Песталоцци, куда Таль ходил молиться вместе с отцом. В то время в Берлине жили многочисленные «восточные евреи» — так там называли выходцев из Польши и других стран Восточной Европы, у которых были свои синагоги и где Таль слышал мелодии, резко отличавшиеся от привычного мендельсоновского стиля. «Каждый молится своему Богу на свой лад, нараспев, поверяя Ему свои чувства, взывая к Нему, раскачиваясь каждый в своем ритме — кто быстро, кто медленно. Никто не слышал и не видел, что происходит вокруг него. И когда каждый из ста человек ведет с Богом свой взволнованный, идущий из глубины души страстный разговор, то западное ухо воспринимает это как хаос. И вместе с тем эти звуки обладали магнетической силой.

Надо было только отдаться им, и тогда ты чувствовал себя вознесенным на высочайшие высоты божественного Олимпа. Это была стихийная сила, законы ее невозможно было понять разумом — музыка от сотворения мира». Может быть, с этого противоречия между немецкой дисциплиной и еврейским эмоциональным индивидуализмом начался путь Йосефа Талья.

Тем временем он продолжал свое музыкальное образование и помимо фортепиано выучился играть на гобое, кларнете, на ударных инструментах, а главное — на арфе (что весьма редко для мужчины). Не нужно объяснять, как важно для композитора детальное знакомство с различными инструментами. На арфе он играл настолько хорошо, что впоследствии сумел стать арфистом созданного Губерманом Палестинского филармонического оркестра. В конце двадцатых годов Таль продолжает учиться на фортепиано и посещает семинар преподавателей фортепиано, где знакомится с Паулем Хиндемитом. (Параллельно он учится.) Неплохой заработок приносила ему работа тапером в кино. Любопытно, что в это же время Дмитрий Шостакович, уже всемирно известный молодой композитор, зарабатывал себе на жизнь тем же способом.

Подруга Йосефа Талья Роза была танцовщицей, ученицей известного хореографа Эльзы Гиндлер. Таль часто присутствовал на занятиях и вечерах, его интересовали современные танцы, диалог между музыкой и танцем.

Итак, можно сказать, что к началу тридцатых годов Таль получил не только солидную музыкальную базу, но и благодаря владению разными инструментами и разнообразности музыкального образования — и базу для сочинения музыки.

В 1933 году, после прихода нацистов к власти, ему предложили стать инспектором еврейских школ. Зааль, его учитель арфы, горячо рекомендовал ему принять это предложение, так как, конечно, «это нацистское безумие скоро должно закончиться». Но Таль решил уехать в Эрец Исраэль. «Зачем? — спросил его Зааль. — Учить музыке дикие племена? Там же нет ничего, кроме песков, камней и верблюдов!» Однако Йосеф Таль был лучше информирован и более оптимистичен. Для того чтобы получить сертификат на въезд в Палестину, он приобрел профессию фотографа — в качестве пианиста он бы сертификат

не получил; фотография же какое-то время давала ему средства к существованию.

Палестина тех лет требовала от вновь прибывшего смелости, предприимчивости, готовности сделать неожиданный поворот, оптимизма и уверенного осознания своего еврейства, некоего пионерского духа. Можно сказать, что Таль — благодаря своему Itago и воспитанию, полученному дома,— был к этому полностью готов. 15 марта 1934 года он с женой и маленьким сыном уехал в Эрец-Исраэль. Началась новая жизнь, полная приключений и перемен...

Таль попал в кибуц Бет-Альфа. Ему предложили давать концерты для кибуцников и находившихся неподалеку хозяйств. В стране было много талантов, совершенно неожиданных. Талю поручили записывать песни, сочиненные пастухом Матитьягу Вайнером, тоже живущим в Бет-Альфе. Он записал много песен, ставших потом популярными в стране. Не зная нот, Матитьягу каждый раз изменял мелодию, даже сам композитор не мог предвидеть, какой окажется окончательная версия; поющие приспособляли эти мелодии к своим возможностям, и таким образом в результате возникала настоящая народная песня. Подлинный фольклор, считает Таль, находится в постоянном процессе становления.

Таль знакомится с множеством людей и обнаруживает глубокий интерес к музыке у таких разных людей, как детский врач Елена Каган в Иерусалиме, Иегуда Шарет, брат первого израильского министра иностранных дел Моше Шарета, или кибуцник Мати, знаменитый своей недюжинной физической силой, который был скрипачом-любителем, специально изучившим философию музыки.

Скрипачка Женни Шмерцлер приехала в Эрец-Исраэль в двадцатые годы. Она устраивала в своем доме концерты, на которые собирались и в которых участвовали многие иерусалимские меломаны. Женни Шмерцлер и Йосеф Таль образовали дуэт и переиграли практически всю классическую и романтическую скрипичную литературу. С помощью своих берлинских знакомых Талю удалось приобрести хорошую арфу системы Эрара. Это была единственная арфа в Эрец-Исраэль.

В это время руководство филармонического оркестра вело переговоры с арфисткой Кларой Сарваш, но она дол-

жна была еще целый год оставаться в Будапеште. Таль хотел работать в оркестре, но для этого нужно было пройти прослушивание у самого Губермана. Вот как Таль описывает этот эпизод: «Губерман встретил меня в кальянах, в его номере царил страшный беспорядок. Я знал, что он косит, но вблизи это было чудовищно, потому что никогда нельзя было определить, куда он смотрит, когда разговаривает. Скучную литературу для арфы не знал, конечно, никто, кроме арфистов, поэтому я мог спокойно импровизировать. Губерман нашел это кошмарным, но техника моей игры вполне его устроила». В составе филармонического оркестра Йосеф Таль сыграл немало концертов, в частности незабываемый концерт в Каире, где Бронислав Губерман в последний раз выступил солистом.

Концертмейстер филармонического оркестра Гаузер был озабочен тем, чтобы обеспечить заработок приехавшим по сертификатам студентам, якобы музыкантам, которые на самом деле музыкантами не были. Он задумал создать театр марионеток и сделать молодых людей кукловодами. У него был план — написать для этого театра оперу «Иона и кит». Сочинить либретто он предложил жившему тогда в Хайфе Арнольду Цвейгу, а музыку — Талю. Либретто оказалось виртуозно разработанной пьесой, рассчитанной на долгий вечер. «Если бы я написал полную оперную партитуру для оркестра и голосов — Гаузер хотел занять там своих музыкантов, — опера марионеток оказалась бы объемом с «Парсифаль» (безумно длинная опера Вагнера), — вспоминал впоследствии Таль. — Я сочинил вежливое письмо Цвейгу, мои предложения по сокращению, — на что получил весьма недовольный ответ: как это я могу позволить себе предлагать сокращения самому Арнольду Цвейгу!»

В 1939 году организуется Палестинская секция Международного общества современной музыки, в правление которой входит Таль. Программа первого концерта включала следующие сочинения: сонату для скрипки соло Генцмера, сюиту для струнных Хиндемита и увертюру оперы для театра марионеток Таля (тогда еще Грюнталя).

Преодолевая большие финансовые трудности, Таль организовал концертную поездку студенческого оркестра по кибуцам. Несмотря на явное недовольство оркестрантов, он включил в программу сюиту Хиндемита. Перед последним концертом, желая сделать оркестрантам при-

ятное, Таль объявил, что Хиндемита они играть не будут, и тут услышал, как один из оркестрантов говорит другому: «Не понимаю этого Грюнталя, как раз на последнем концерте он хочет снять самое интересное произведение программы!» В результате Хиндемит был сыгран не только с успехом, но и с удовольствием.

С подобной проблемой композиторы сталкиваются на протяжении по крайней мере последнего столетия. Их язык и способ музыкального мышления настолько опережают привычные вкусы, что требуется слишком много времени, чтобы преодолеть инерцию. Судьба многих самых знаменитых сочинений музыкальной истории складывалась по-разному. Рядом с триумфом «Реквиема» Верди — провал «Кармен» Бизе. Бах при жизни пользовался славой лишь как органист. «Просветленная ночь» Шенберга принесла молодому композитору известность, а премьера «Весны Священной» Стравинского вылилась в скандал. Время сделало свой выбор и воздало кесарю кесарево, а Богу Богово. Множество удачливых при жизни композиторов забыты напрочь, а подлинные шедевры заняли подобающие им места, несмотря на то что авторы об этом не успели узнать.

Подлинный творец идет своим путем, диктуемым внутренней необходимостью. Он не может считаться ни со вкусами публики, ни с критиками, ни с, Боже упаси, подавляющим большинством исполнителей, потому что в тот момент, когда композитор, писатель, художник опирается на «мускамот», он не может создать ничего нового, он по большому счету творчески бесплоден. «Мускамот» — трудно переводимое с иврита слово, означающее общепринятое мнение, то, что приемлемо для всех, то, с чем все согласны. Йосеф Таль резко разграничивает понятия «мускамот» и «традиция». В каком-то смысле в своем творчестве — даже в электронных сочинениях — он опирается, и весьма прочно, на традиции еврейской музыки, но вот «мускамот» — это не для него. Наверно, поэтому большинство сочинений Таля получили признание с заметным опозданием.

Творец всегда идет впереди своего времени. Кто понял сразу новые «правила игры», тот может оценить новую музыку, вовсе не обязательно ее понимая. Чтобы усвоить новый язык, новый способ выражения, слушателю необходимо серьезное интеллектуальное и, если хотите, эмо-

циональное напряжение. Слушатель, склонный воспринимать новое искусство с позиций «мускамот», заранее обречен на непонимание. Поэтому многим подлинным композиторам лишь к концу жизни удается получить признание широкой публики. Но может быть, не следует быть столь пессимистичным — такой бескомпромиссный композитор, как Таль, признание все же получил.

Когда-то я рассказал своему учителю Альберту Маркову, что гениальный фальсификатор Михаил Гольдштейн объявил цикл концертов с исполнением четырнадцати сонат Бетховена для скрипки и фортепиано, из них четыре, разумеется, только что найдены. Марков посмеялся и сказал, что ему тоже не составит никакого труда написать еще два концерта Паганини. Проблема в том, чтобы быть первым, бином Ньютона нужно открыть не только в физике, но и в музыке, после этого его знают все школьники. Таль всю жизнь был первым.

Но вернемся в сороковые годы. Вторая мировая война была в разгаре, и до Эрец-Исраэль не доходило никакой информации о музыкальной жизни в Европе. Свое сочинение для двух фортепиано и ударных, исполненное им вместе с пианисткой Елизаветой Каплан, Таль написал, не зная о существовании сонаты Бартока для аналогичного состава инструментов.

Алия тридцатых годов из Германии привела в Эрец-Исраэль высокообразованных немецких евреев, в большинстве своем не помышлявших о сионизме. Об их еврейских церемонных привычках ходило много анекдотов, но эти бывшие профессора и журналисты, с достоинством сменившие прежние занятия на профессии каменщиков и пастухов, не отказались от своих интеллектуальных интересов. Один из них, Герберт Роттер, член кибуца Ягур, сдружился с Талем на почве глубокого интереса к музыке и связях музыки и математики, общности музыкальных и математических абстракций.

Война прибавила Талю еще одну профессию — пожарного, а умение фотографировать чрезвычайно пригодилось ему для пересъемки труднодоступных партитур современной музыки.

В своей книге он вспоминает известное всем эмигрантам кафе Зихеля, где всегда можно было получить в долг кофе с булочкой. Однажды к нему за столик под села странного вида пожилая женщина. Она не произнесла ни

слова, и смущенный Таль расплатился и ушел. На следующий день повторилась та же картина: в совершенно пустом кафе эта дама снова села за его столик и опять молча внимательно смотрела на него. Зихель сказал ему, что это была знаменитая поэтесса Эльза Ласкер-Шюлер. Больше она не приходила, и они так и не познакомились. После ее смерти Таль написал кантату «Эльза».

Кончилась вторая мировая война. Йосеф Таль упорно разыскивает следы своей семьи, оставшейся в Европе. Наконец из Голландии от чудом уцелевшей в Освенциме сестры приходит письмо, из которого Таль узнает о гибели отца. Свое горе он выразил в фортепианных вариациях на тему, взятую из «Картинок с выставки» Мусоргского — «Смерть на мертвом языке».

Не впервые Таль прибегает к жанру вариаций, столь тщательно разработанному излюбленному жанру барокко и классики. Метаморфозы мотива предоставляют безграничные возможности для композитора, заставляя его в то же время придерживаться железной дисциплины. Недаром жанр вариаций занял столь важное место в музыке Шенберга и его последователей. Таль пишет, что сочинение вариаций принесло ему настоящую композиторскую свободу. Тема служит зерном, из которого по воле автора могут прорасти самые различные и неожиданные растения, но генетическая связь с темой не должна теряться. В своем интересе к вариациям Йосеф Таль идет в русле традиций немецкой композиторской школы, хотя, конечно, и в других странах писали вариации. Балет же, который являлся, по существу, прерогативой русской и французской музыки, интересовал Талья давно, еще с времени его первого брака с танцовщицей Розы. В сочинениях для балета Таль уходит от традиций немецкой школы и идет своим путем. Знакомство с танцовщицей Деборой Бертонов приводит его к сочинению музыки для фортепиано, ударных и чтеца к ее танцевальной композиции «Исход сынов Израиля из Египта».

Когда было создано государство Израиль, Таль сочинил музыку к еще одной композиции Деборы Бертонов — «Паломник в Иерусалим», темой которой было строительство страны.

Конечно, обращение Талья к танцу можно назвать в какой-то мере случайным, вызванным его знакомством с танцовщицей Розы, а потом женитьбой на ней, но трудно

предположить, что внешний повод может обеспечить устойчивый интерес композитора к жанру, органически ему чуждому. Первое, что может прийти в голову,— влияние Стравинского. Бесспорно, в музыкальном языке Таля это влияние чувствуется, да иначе и быть не может, потому что без Стравинского весь музыкальный XX век выглядел бы совершенно иным. Мне думается все же, что причины следует искать в сознательном или бессознательном стремлении художников всех жанров в Эрец-Исраэль вернуться к древним еврейским истокам. Так же, как архаичный язык поэзии Йонатана Ратоша, обращение Таля к танцу может быть понято как своеобразный мост между библейским и современным Израилем. Хореографическая интерпретация библейских текстов и сюжетов, видимо, хоть и опосредствованное, но «лобовое» решение в том же направлении. Я думаю, что в этом отношении влияние «Весны Священной» с ее варварским модернистским архаизмом не миновало Таля.

Время шло, и Таль продолжал свою педагогическую деятельность. В первые послевоенные годы музыкальная Академия в Иерусалиме, благодаря хорошему составу педагогов и студентов, стала крупным центром музыкального воспитания. Таль, входивший в состав руководства Академии, чувствовал ответственность за начальное музыкальное образование и поэтому написал учебник «Элементарная теория музыки», так как имеющиеся в Израиле старые европейские учебники явно устарели. В 1947 году он знакомится с Бернардино Молилари, в то время постоянным дирижером Филармонического оркестра, который заказывает ему оркестровое сочинение для следующего сезона. На основе музыки к танцевальной композиции Деборы Бертонов Таль пишет симфоническую поэму «Эксокус» для оркестра и соло баритона.

В своей книге Йосеф Таль с юмором описывает репетиции, связанные с репетициями к первому исполнению «Эксокуса». Один эпизод заслуживает здесь упоминания: когда Молилари тщательнейшим образом репетировал «Эксокус», заставляя струнников проигрывать трудные места индивидуально, Таль был очень удивлен и робко заметил дирижеру, что все-таки Филармонический оркестр — не школьный, на что получил следующий ответ: «Мой дорогой, если я плохо дирижирую Бетховеном, публика говорит: что за плохой оркестр и что за плохой ди-

рижер, но если я плохо дирижирую сочинением неизвестного композитора, публика говорит: что за отвратительное сочинение». Боже, побольше бы таких дирижеров!

Только что провозглашенное еврейское государство создавало не только свой новый общественный строй, армию, промышленность, но и самобытную, чисто израильскую культуру. Но если общество нуждается в некоем определенном устройстве, то искусству директивы чужды. Отцы государства в своем искреннем рвении отрешиться от галута, сотворить новый тип еврея на земле предков, наивно полагали, что израильская музыка должна обладать совершенно четкими стилистическими параметрами. От нее требовалось не быть похожей на западноевропейскую и обладать языком, включающим в себя элементы всех этнических общин Израиля. Таль считал это — и справедливо — попыткой с негодными средствами. По его мнению, лишь через несколько поколений может выработаться некий общий музыкальный язык.

Время подтвердило его правоту, и сегодняшняя израильская музыка очень далека от царившего тогда «средиземноморского стиля». Но в тот период многие увлекались этой идеей. Решающую роль сыграл здесь Пауль Бен-Хаим, так же, как и Таль, уроженец Германии и ученик Хиндемита. Попытка Бен-Хаима эстетически «перевоспитать» галутного европейского еврея путем использования восточной, в частности йеменской, мелодики в жестких западноевропейских формах была интересной и благодаря его большому таланту в известной степени плодотворной. Таль видел жизнеспособность этой концепции, основанной на полном отказе от традиции западноевропейской гармонии. Тем не менее он всерьез заинтересовался восточным еврейским фольклором и, найдя в «Цезариусе» Идельсона, капитальном труде, собравшем множество образцов древнееврейского фольклора, несколько мотивов, наиболее развитых и интересных, написал на их основе ряд сочинений, в том числе Первую симфонию и Второй фортепианный концерт. И здесь Таль пользовался вариационной техникой, которой уделил столь пристальное внимание.

Его сочинения постоянно вызвали противоречивую критику. Одни считали, что его музыка могла бы быть написана в Лондоне или Нью-Йорке и не имеет ничего

общего с Израилем, другие же патетически восклицали, что это и есть израильская музыка.

В 1950 году симфоническая поэма Таля «Экзодус» была впервые исполнена в Лондоне. Огромный успех этого концерта открыл ему дорогу в Европу. К этому же времени относится начало дружбы Таль с Франком Плеггом, разностороннейшим музыкантом, превосходным пианистом, дирижером, клавесинистом и композитором. Тогда же была написана кантата «Мать радуется» для оркестра, хора и фортепиано. Первое исполнение состоялось в Дворце Нации в Иерусалиме в 1952 году под управлением Гейнца Фройденталья. Фройденталь стал активным пропагандистом музыки Таль, позже он дирижировал в числе прочих сочинений Первой симфонией, Третьим фортепианным концертом и двумя короткими операми — «Саул в Эйн-Доре» и «Амон и Тамар».

В 1952 году поступило первое из многих заманчивых предложений: Таль приглашают профессором фортепиано в Йоханнесбург. Богатейшая Южная Африка могла предоставить композитору условия, которые в Израиле ему не снились, но Таль отказался, впрочем, как и от многих других последовавших позже предложений из-за границы. Тогда же Йосеф Грюнталь поменял свою фамилию, желая отказаться от галутного наследия, как, например, Давид Грин, ставший Давидом Бен-Гурионом, или Пауль Франкенбургер — Паулем Бен-Хаимом. Вряд ли индивидуалист Таль поменял бы фамилию, следуя моде; причина была куда прозаичнее: ни в одной стране, кроме Германии, не могли правильно произнести его фамилию.

Таль приглашают в Иерусалимский университет читать специальный курс для немусыкантов. Его лекция о Вагнере вызывает особый интерес, причем преимущественно у ортодоксальных специалистов по Каббале. Вообще связь между Вагнером и Каббалой, как это кажется, не столь гротескная, по выражению самого Таль. Таль уделяет этой теме много времени в беседах с крупнейшим исследователем Каббалы Гершомом Шоломом.

В том же, 1952 году Таль приглашен на фестиваль Международного общества современной музыки в Зальцбург. Там исполнялась его скрипичная соната.

Во многом благодаря усилиям Таль международные связи Израиля успешно развиваются, и в 1954 году очередной фестиваль Международного общества современ-

ной музыки состоялся в Хайфе, где концерт Талья для альтя играл превосходный альтист Гидеон Рер, а дирижировал Фройденталь. За этот концерт Таль получил премию Международного музыкального общества.

Уже во время своих прежних поездок за границу Таль собирал материал о состоянии электронной музыки, однако необходимые для этого знания нельзя было приобрести в течение коротких наездов. Он узнал, что членство Израиля в ЮНЕСКО дает возможность получить средства для длительного пребывания в Европе. Но надо было убедить израильский Комитет в том, что электронная музыка представляет для страны национальный интерес.

Это оказалось делом весьма трудным. Помощь пришла неожиданно и с другой стороны: Таль познакомился с Рехой Фрейер, инициатором и организатором молодежной алии в Израиль. С тех пор, по выражению Талья, она стала планетой на его небосклоне. Кстати, по инициативе Рехи Фрейер и с ее финансовой поддержкой был впоследствии организован интереснейший иерусалимский фестиваль «Тестимониум». Он проводился до самой смерти Фрейер и посвящался библейским темам в современной музыке.

Ожидая решения ЮНЕСКО, Таль по заказу камерного оркестра Рамат-Гана написал короткую получасовую оперу «Саул в Эйн-Доре» — диалог стареющего царя с пророком Самуилом, который предвещает конец его царства. Библейский сюжет в качестве оперного либретто был рискованным шагом, актом светской профанации в глазах некоторых иудаистов. Но случилось нечто противоположное: это была еврейская музыка без цитат из традиционной литургии, израильская музыка без национальных символов и, кроме того, написанная атональным языком. Сегодня это сочинение стало классикой и изучается во всех музыкальных учебных заведениях Израиля. Оперой «Саул в Эйн-Доре» заинтересовались в Лондоне, и она была исполнена на Би-би-си.

В конце концов Таль получил полугодовую стипендию ЮНЕСКО для изучения электронной музыки.

На радиостанции «Коль Исраэль» были только осцилляторы и магнитофоны. Там заинтересовались его электронной композицией, хоть и проявили скептицизм. Чтобы облегчить публике восприятие, Таль вводит человеческий голос. Руководство радио устроило концерт в иеруса-

лимском зале ИМКА. С тех пор электронная музыка вошла в израильскую концертную жизнь.

Возникает вопрос: нужна ли вообще электронная музыка да и что, собственно, это такое? Современные достижения радиоэлектроники позволяют добиться звуковых эффектов, недоступных обычным музыкальным инструментам. Звук сам по себе становится субстанцией, и перед композитором открываются практически неисчерпаемые возможности работы с различными тембрами. Электронное произведение записывается самим композитором на магнитофонную ленту, которая одновременно является его единственной и одноразовой интерпретацией. В этом сила электронной музыки, поскольку композитор воплощает свои намерения самым идеальным образом, не пользуясь услугами посредника-исполнителя. Но в этом же ее слабость, поскольку каждое исполнение электронного сочинения становится копией предыдущего и лишается таким образом свежести новой живой интерпретации. В этом отношении можно было бы уподобить обычную музыку театру, а электронную — кино; каждая имеет, бесспорно, право на существование. И Таль, сам не только композитор, но и исполнитель, сделает впоследствии ряд попыток объединить электронные тембры с исполнительством. Его Четвертый фортепианный концерт, например, написан для солиста-пианиста и магнитофонной ленты с записью электронной музыки. Не только Таль, но и многие современные композиторы сочетают живое исполнение на конвенциональных инструментах, таких, как скрипка, фортепиано и так далее, с заранее записанной электронной музыкой.

Увлечение Талья электронной музыкой было встречено в штыки, его называли «сумасшедшим композитором». Солидные музыканты не желали признавать, что электронный синтезатор, в конце концов, — такой же музыкальный инструмент. Люди в XX веке панически боятся техники, думая, что она лишит их творческих возможностей. Но так можно прийти к абсурдному заключению, что рояль с его механизмом ограниченнее скрипки.

Итак, в 1962 году Таль делает «механический» рояль инструментом для солиста, а оркестр заменяет электронным синтезатором и для этого состава пишет свой Четвертый фортепианный концерт. Премьера состоялась в тельавивском зале Израильского филармонического ор-

кестра. Были музыканты, которые сочли появление электронного инструмента на главной концертной эстраде страны кощунством, были и такие, кто воспринял этот факт с большим интересом. Реакция публики и прессы была далеко не однозначной и в основном резко отрицательной. Впрочем, не впервые именно злобная критика вызывает интерес публики. Примеры — скрипичный концерт Чайковского с позорно знаменитой рецензией Ганслина или «Весна Священная» Стравинского, но в общей перспективе можно заметить, что зачастую самодовольное невежество критики превосходит некомпетентность публики. Четвертый фортепианный концерт постепенно приобрел популярность, а электронная музыка Талья все чаще становится основой для хореографических композиций. Так, Дебора Бертонов выбрала ее для исполнения на конгрессе хореографов в 1956 году, состоявшемся в голландском городе Брекелен (еврейские выходцы из которого основали район Нью-Йорка Бруклин).

Электронная музыка стала знакомым публике понятием, приобрела сомнительную известность. Таль вспоминает, как однажды он ехал в автобусе из Тель-Авива в Иерусалим и сидел прямо позади шофера, который все время слушал радио. На подъемах шум мотора заглушал радиозвуки, и шофер все время увеличивал громкость. Наконец совместный шум мотора и радио стал нестерпимым, и Таль сказал водителю, что можно слушать музыку, но не шум. Шофер посмотрел на него язвительно и заметил: «Именно вы со своей электронной музыкой говорите мне это?!»

Так и продолжалось все время — слава и признание соседствовали с уничтожающей критикой, уподоблявшей музыку Талья миксеру, кофемолке, стиральной машине и прочим предметам бытовой электроники.

В 1971 году в Гамбурге была поставлена новая опера Йосефа Талья «Асмодей». Она была написана по заказу Рольфа Либермана, известного швейцарского композитора и театрального деятеля, возглавлявшего в то время Гамбургский оперный театр. Знаменательно, что оперу Талю заказал не просто превосходный музыкант, умеющий оценить современную музыку, но и крупнейший в мире театральный продюсер, приведший к расцвету одну за другой оперу Женева, «Гранд Опера» в Париже и Гамбургскую оперу. Либретто к опере Талья написал иеруса-

лимский поэт Иехуда Яари. Талмудическая легенда об Асмодее, развратившем хороший народ, была прямым намеком на недавние события немецкой истории. Опера была задумана и начата еще до Шестидневной войны, принесшей Талю большое личное горе — погиб его старший сын Реувен.

Незадолго до Шестидневной войны, во время работы над партитурой оперы, Таль получил глубоко взволновавший его заказ — написать сочинение, посвященное памяти жены Вильяма Стейнберга, одного из крупнейших дирижеров XX века. Так появился двойной концерт для скрипки и виолончели с камерным оркестром, исполненный впервые Пинхасом Цукерманом и Узи Визелем под управлением Гарри Бертини. Бертини дирижировал и премьерой оперы «Асмодей». Этому дирижеру многим обязан не только Таль, но и другие израильские композиторы, такие, как Мордехай Сетер, Марк Копитман, Ами Маайани. Позже опера Талья была поставлена в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Последняя глава книги «Сын раввина» названа «Этапы». «Этапы» в жизни человека,— начинает эту главу Таль,— не остановки, они — наблюдательные пункты в духовном ландшафте, пройденном за десятилетия, в течение которых пережитое и опыт кристаллизуются в выводы».

Одним из таких этапов стала его опера «Масада», написанная для израильского фестиваля 1973 года, к двадцатилетию провозглашения государства. Идея оперы сосредоточена в ее последней сцене: после поражения и массового самоубийства защитников крепости римский полководец видит несколько уцелевших детей, играющих на скале,— они олицетворяют будущее народа. Римлянин, побежденный победитель, подавленный уходит со сцены. Так Таль перебрасывает мост от прошлого к будущему.

За свою долгую жизнь Йосеф Таль создал немало произведений. Целый ряд его сочинений были этапными для израильской музыки. Одно из них стало поводом для написания этой статьи — Вторая симфония, с которой мы начали рассказ о Тале. История исполнения этой симфонии, приведшая к признанию Йосефа Талья, является своего рода моделью всего его творческого пути. Таль написал ее в 1963 году, участвуя вместе с девятью другими композиторами в конкурсе сочинений для гастролей Из-

раильского филармонического оркестра. Чрезвычайно концентрированная, компактная музыка, полная драматизма, оркестрового блеска (великолепное соло литавр) и чистой, тонкой лирики (соло флейты), была встречена оркестрантами в штыки. Она, бесспорно, трудна для разучивания и заставляет оркестрантов и дирижера проявить максимум терпения и добросовестности, что, увы, далеко не всегда имеет место. Кроме того, как известно, романтика XIX века «ложится на уши» комфортнее. Короче говоря, симфония на упомянутом конкурсе заняла последнее, десятое, место, а один из знаменитейших дирижеров, сидевший в жюри, поинтересовался, почему, собственно, Таль назвал свое произведение симфонией, ведь в ней нет привычных, присущих этому жанру, форм. Вопрос, на который композитор не счел нужным ответить за его сегодня уже очевидной праздностью. Симфония была записана Иерусалимским оркестром под управлением Шаломом Ронли-Риклиса, и эта запись передавалась по сети станций Европейского объединения радиовещания. Зубин Мета, ставший главным дирижером Израильского филармонического оркестра, разыскал эту партитуру, пришел от нее в восторг, и с тех пор симфония с колоссальным успехом исполняется во всем мире.

Йосеф Таль не только удостоился мировой славы, но и заслужил обычно запаздывающее официальное признание. В 1983 году ему наравне с двумя крупнейшими музыкантами XX века, Оливье Мессианом и Владимиром Горовицем, была присуждена премия Вольфа — израильский эквивалент Нобелевской премии.

Йосеф Таль победил на своем бескомпромиссном пути, и мне хочется закончить словами Деборы Бертонов из письма к нему: «Иметь талант — значит обладать мужеством. А бытие есть деяние».

Бат-Шева Шериф

* * *

Ночью Восток ниспошлет нам Благо:
Оно будет жалить нас в головы,
А мы его — в сердце.
Ночью Восток ниспошлет нам Благо:
Оно укутает нас радостью, сведет с ума болью.
Ночью Восток ниспошлет нам Благо:
Ночные песни, все ночи, все песни, весь Восток.
И с этой вот ночи
Откроется
Благо.

С иврита. Перевел Владимир ГЛОЗМАН

Взгляд

Александр Казарновский

КАДИШ ПО КУЛЬТУРЕ?

В еврейском молитвеннике с параллельными текстами на иврите и на русском в переводе Авнера Блоштейна, изданном в Вильне в 1814 г., на последней странице приводится *кадиш* — поминальная молитва по умершим родителям — в русской транскрипции и со следующим адресом: «для сирот, не знающих читать по-еврейски». Покойный Авнер Блоштейн не догадывался, должно быть, как по-новому зазвучат эти слова спустя более чем полвека. Наше сиротство — болезнь, и болезнь неизлечимая. Максимум, что мы можем сделать, — это хоть немного подлатать свою душу и детям прививку сделать.

Мы загнаны или сами себя загнали в духовный тупик, из которого в рамках той культурной системы, что явлена нам как данность, выхода попросту нет.

Мы открываем книгу, на которой выросли, в сотый раз плачем, читая: «...и долго потом, среди самых веселых минут представлялся ему низенький чиновник с лысиною на лбу с своими проникающими словами: «оставьте меня, зачем вы меня обижаете» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «я брат твой...»

Мы плачем, а в глубинах подсознания шевелится, не может не шевелиться наш вопрос автору: «А я — брат твой?»

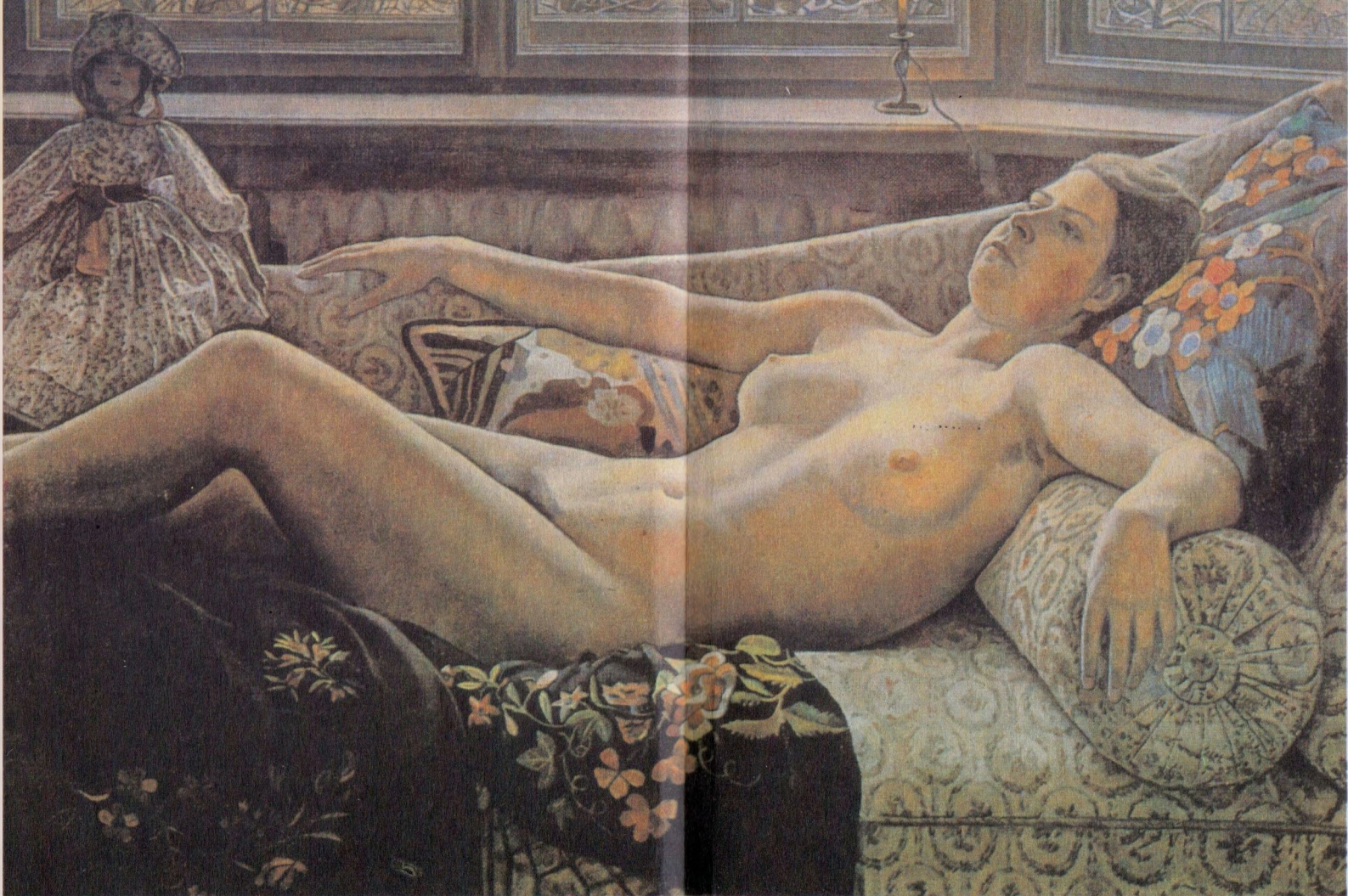
И в ответ выплывают другие слова: «Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже запалзывали под юбки своих жидовок. Но козаки везде их находили.

«Ясновельможные паны!» — кричал один высокий и длинный, как палка, жид, высунувший из кучи своих то-

К СТАТЬЕ С. ДУДАКОВА «О КОПЕЛОВИЧЕ»



В саду Тюильри. 1957 г.



Обнаженная. 1939 г.



Рассвет. 1977 г.

варищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом (курсив мой. — А.К.). «Ясновельможные паны! Слово только дайте сказать».

«Ну пусть скажут!» — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого. (Обвиняются «жиды» в том, что в других местах их собратья угнетают православных. — Примеч. А.К.)

«Ясные паны!.. те совсем не наши! те совсем не жиды... Мы с запорожцами как братья родные...»

«Как? Чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы: — Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове, всех потопить, поганцев!»

Эти слова были сигналом, жидов расхватили по рукам и начали швырять в волны, жалобный крик раздался со всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались в воздухе».

Простите за длинную цитату, но, во-первых, важен не только сам ответ на вопрос, но и тон, каким этот ответ произнесен, а во-вторых, нам с вами, людям русской культуры, перечитывать Гоголя всегда наслаждение, так ведь?

Но как же быть с этой занозой в душе, одной из многих ей подобных?

Ведь родная культура — не меню. Из нее не выбирают, на ней взрослеют. Видно, в этом все и дело.

Вот для поляков, скажем, таких проблем нет. Они с удовольствием читают Достоевского, и плевать им на то, что он издевался над поляками в «Братьях Карамазовых».

И в израильских театрах Достоевского ставят — что с того, что у него в тех же «Братьях Карамазовых» жид христианскому младенцу пальцы рубит?

С соседом можно поссориться и помириться, и забыть, и простить. А вот ежели ты к тому, кого за отца родного считаешь, ручки тянешь, а он тебе в ответ — по рылу — тут что делать?

Ну ладно, сглотнем обиду. Да и не все отцы наши духовные — антисемиты: вон у Лермонтова в «Испанцах» евреи какие красивые да благородные, не то что низменные коварные христиане.

Жаль только, на евреев лермонтовские Гарольды Шмулевичи похожи не больше, чем гоголевские слизняки, «прячущиеся под юбками у своих жидовок». Потому

что байроническая тяга к евреям у Лермонтова и веселое омерзение у Гоголя — от одного корня. А корень этот — бесконечная чуждость. Решительно для всех создателей нашей культуры, а следовательно, и нашего с вами образа мыслей еврей — это черный ящик. Романтичного Лермонтова он может притягивать своей загадочностью, Пушкина вдохновлять непредсказуемостью своих поступков на создание жуткого Соломона. Гоголя непохожесть евреев на «нормальных» людей может натолкнуть на сомнение в том, что еврей вообще человек, и тогда читатель вместе с ним, автором, сожалеет о его убийстве не больше, чем о случайно раздавленном червяке.

Но в любом случае это существо странное, дикое и чаще всего — враждебное. И наши дети, взрастая на русской культуре, впитывают, можно сказать, с молоком матери такое отношение к... да фактически к самим себе.

При этом, если русский, воспитанный на родной культуре, может со временем под влиянием жизненного опыта, информации и т.д. отсеять всю эту чушь — разговоров об антисемитизме у нас куда больше, чем действительного антисемитизма, — то психика выросшего на той же культуре еврея искалечена неотвратимо.

А с другой стороны — что же делать? Разве есть у нас своя конкурентоспособная литература — ну та же «Шинель» хотя бы?.. У большинства российских евреев тут заминка. Не то чтобы совсем нет. Есть, конечно, Шолом-Алейхем...

Представьте себе, что из всех государственных, общественных и личных библиотек какой-нибудь союзной республики напрочь исчезли все произведения русских писателей — не осталось ни Пушкина, ни Пастернака с Мандельштамом, ни Толстого, ни Достоевского; единственный, кто чудом уцелел, затерявшись между томами великого Шекспира и великого Берды Кербабая, — это Гаршин. Единственный — посередь пустого поля...

Нет, представить такое трудно. Еще и потому, что русские — как бы мало их ни оставалось (равно как и китайцы, французы, готтентоты или чукчи), никогда бы не позволили такое с собой сотворить. Мы не только позволили. Мы были в первых рядах. С тех пор много крови утекло, но знамя — в надежных руках. Владимир Бегун не одинок в своих откровениях о том, что у евреев культуры нет и быть не может. В «Комсомолке» П. Горелов, стряпая

погромную статью о Бродском, привел в качестве разительного примера некомпетентности Нобелевского комитета факт присуждения премий Ш. Агнону и Й. Башевичу-Зингеру (Это ж надо! Жидам — премию!). В следующих же номерах газеты русские интеллигенты возмутились этой гнусностью. А евреи — сглотнули. Они — шире. Вообще, любопытное понятие сложилось у нас о широте и узости. Кратко его можно выразить вот как: читать Пушкина, Ключевского, Чехова — это широта, а читать Бен-Галеви, Греца и Переца — узость.

А все-таки, может, так оно и есть?

Может, кощунство — сравнивать Великую Русскую Литературу и... эту, как ее?

Сравнивать, наверно, нелепо: литература — не чемпионат по футболу. Задумаемся просто, не в истоках ли «этой-как-ее» клоочет прямая речь Всевышнего, обращенная к выпестованному Им народу, от которого мы так стремимся отклеиться.

Ну, а материалисты, коих такие «байки» не волнуют, могут путем несложных вычислений обнаружить, что «эта-как-ее» насчитывает тысячелетия супротив нескольких столетий Великой, и если не смотреть на евреев как на безнадежно тупую нацию...

А если не смотреть на евреев как на безнадежно тупую нацию, то дело за малым — надо только открыть эти бескрайние материки, которые ждут нас, которые так нужны нам и которым так нужны мы. И тогда вспышкой боли сверкнет перед нами судьба Бонци-молчальника, этого еврейского Акакия Акакиевича, у создателя которого не придется уже спрашивать: «А я — брат твой?» — и поплывут перед нами шагаловские краски Маламуда, зыбкие призраки Башевича-Зингера, заблещут россыпями яхонтов Ибн-Габириоль и Ибн-Эзра... И во весь горизонт откроется бездонный океан, давший исток всей человеческой культуре — наша Великая Тора.

И только тогда мы сможем, не комплексуя, но с истинным уважением относиться к любой чужой культуре — русской, английской, французской, — не смущаясь ни чеховской шлюхой из «Тины», ни тургеневским «жидом», ни Шейлоком, ни диккенсовским Фейгиным, ни франсовским Мозаидом.

Нам нет необходимости быть пасынками чужой культуры. Мы не сироты.

Гершон Шакед

ЭХО ЕВРЕЙСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Еврейские издания на английском языке впервые появились в Соединенных Штатах в середине XIX века. С тех пор в Америке выходило и продолжает выходить огромное количество еврейских периодических изданий. Самые популярные из них — «Commentary» и «Midstream» — пользуются гораздо большим спросом, чем американские газеты на иврите «А-доар» и «Бицарон», не выдерживающие конкуренции даже с газетами на идише. Впрочем, и на идише уцелела одна-единственная газета — нью-йоркская «Форверс» (основана в 1897 г.). Когда-то ее тираж составлял 200 тысяч экземпляров, но к 1970 году снизился до 44 тысяч. Вместе с другими идишистскими изданиями она постепенно выходит из газетно-журнального обихода. Каждое траурное объявление, опубликованное в газете на идише, по сути дела, изгешцает о смерти одного из ее подписчиков.

Двойная культурная самоидентификация — это вовсе не теоретическая абстракция, придуманная литературоведами, а эмпирическое явление, жизненная достоверность которого не подлежит сомнению. Эта самоидентификация опирается на созданные ею учреждения, располагает своими авторами и значительной читательской аудиторией.

Теоретическую сторону вопроса начали разрабатывать в Германии. В 1922 году Густав Кроянкер выпустил сборник статей, посвященных творчеству немецких писателей-евреев — Верфеля, Кафки, Ахаронштейна, Вассермана, Вайнингера, Бубера, Лескер-Шиллера, Альтерберга,

Арнольда Цвейга, Шницлера и др. Впоследствии эта тема обрела популярность и в Америке. Были писатели, отвергавшие тезис о двойном самоопределении, другие предпочитали реагировать в саркастическом и критиканском тоне. Число исследователей и литературных критиков, так или иначе затрагивающих эту проблему, не поддается учету. Достаточно привести хотя бы такие имена, как Роберт Альтер, Лесли Фидлер и Макс Шульц. Но самым интересным автором представляется мне, пожалуй, Синтия Осик.

В лекции, прочитанной в 1970 году в институте им. Вейцмана, она сделала патетическую попытку разрешить проблему универсализма, выдвинутую Джорджем Стайнером. Синтия Осик приводит разнообразные аргументы, доказывающие правомерность ее самоидентификации в качестве американской еврейки — представительницы процветающей культурной общины. На деле ее доказательства лишь знакомят нас с запутанной и сложной проблемой национального самосознания еврейской общины США. Значительная часть ее аргументов лишена убедительности, но само стремление как-то обосновать свой национальный статус служит ярким доказательством психологической раздвоенности. В конце концов она выдвигает новый подход: американское еврейство — это, мол, новое Явне¹, призванное создать великую еврейскую культуру в диаспоре, наподобие той, что была создана творцами Вавилонского Талмуда или поэтами еврейского золотого века в Испании. Она утверждает: «Неевреев, несомненно, поразит то обстоятельство, что американская еврейка, внучка иммигрантов, хотя и считает эту страну своей родиной, пребывает в некоторой растерянности. В культурном отношении она полностью акклиматизировалась, но при этом ощущает себя находящейся на периферии».

Синтия Осик отвергает концепцию Стайнера, отождествляющего еврейство с беспочвенным универсализмом. Ее все еще мучает страх, что нынешнее положение вещей в Соединенных Штатах не вечно (впрочем, ей, видимо, остается еще немало времени для размышлений до первого американского погрома). Кроме того, она полагает,

¹ В I в. н.э., когда Храм был разрушен, духовный центр еврейства переместился в Явне.

что эстетика еврейского (или околоеврейского) романа отличается от эстетики значительной части романов американских. Новое течение в романистике, на ее взгляд,— это эстетическое идолопоклонство, бегство от действительности и человеческих нужд. Новая, модернистская, литература сродни «наркотической литературе нового христианства», тогда как еврейству свойственно углубляться «в самую гущу реальной человеческой жизни». Более того, только те еврейские писатели диаспоры, которые сохранили верность своему еврейству, останутся в памяти еврейских читателей как писатели национальные. Другие писатели, претендовавшие на универсализм, вскоре будут забыты.

Ее вывод заключается в том, что американское еврейство обязано создать свою собственную культуру и свой язык (английский для евреев нечто вроде нового идиша), создать новое Явне «со своим новым Талмудом» — а именно художественной литературой. В заключение она говорит: «Вместо того, чтобы оставаться завистливыми обезьянами, мы должны стать хозяевами своей собственной цивилизации».

Вся эта риторика представляется мне сомнительной. В частности, мне представляется весьма странным утверждение, будто еврейская литература уходит в самую гущу человеческой жизни, в отличие от литературы нееврейской. Получается к тому же, что «в еврейство» может угодить все что угодно, лишь бы оно соответствовало этому требованию; и если нееврей, согласно этой схеме, сподобится стать «евреем» по своему духовному облику, то, с другой стороны, еврей-эстет может быть отлучен от литературной синагоги. Во всяком случае, можно добавить, что проект «нового Явне» относится скорее к области грез, чем к «реальной жизни», столь близкой сердцу писательницы. По сути дела, она пытается превратить расплывчатое «ощущение» в новую теорию, ущербность — в источник превосходства, ситуацию, не поддающуюся определению, — в терминологически очерченную формулу. Значительная часть писателей, действовавших в рамках двух культур, прежде всего немецко-еврейской и американо-еврейской литератур, сталкивалась в своих сочинениях с той же проблематикой, а в итоге проблема национальной самоидентификации оказалась едва ли не коренной проблемой их творчества.

Проблема самоидентификации, занимающая еврея, перешедшего в новую культурную среду, хорошо знакома и авторам, пишущим на иврите или идише. Так, в романе Ицхака Башевиса-Зингера «Волшебник из Люблина» выходец из местечка попадает в чужую культурную среду, а затем, разбитый и разочарованный, возвращается на свою духовную и географическую родину. Литература на иврите изобилует подобной тематикой. Если в период от Смоленскина до Менделе Мойхер-Сфорима она уделяет главное внимание проблеме, так сказать, внешнего самоопределения, то Бялик, Бердичевский, Беркович, Бренер и др. занимаются в первую очередь внутренней духовной самоидентификацией. Психологическая раздвоенность занимает героев ивритской литературы больше, нежели заботы о повседневном существовании. Убегая от еврейской культуры, авторы и персонажи зачастую в ней же и находят прибежище. И все же писатели, выбравшие иврит (а зачастую и идиш), тем самым в конечном счете уже самоопределились. Они могут бороться со своей культурой, обличать и ненавидеть ее, но борьба эта ведется в ее лоне. Более того, именно борьба с культурой служит целям ее созидания. Писатель расширяет и углубляет культуру, эмоционально обогащая ее своей любовью, ревностью и ненавистью.

Иначе обстоит дело с теми, кто предпочел творить на любом из нееврейских языков. Отчетливой рациональности выбора подспудно противостоит теневая сторона сознания, заслоняемая «рациональной» языковой тканью повествования. Как протекает эта борьба? Какие изменения она претерпевает, когда писателя-еврея враждебная среда выталкивает, как в нацистской Германии, в другое, плюралистическое общество, с готовностью вбирающее его в себя?

Позволю себе начать разбор с творчества писателя, жившего в переходную эпоху и отразившего в своих произведениях ее двойственность. Я имею в виду Людвиг Люисона, родившегося в Берлине в 1882 году и спустя восемь лет переселившегося с родителями в Соединенные Штаты. В Америке он почти полностью ассимилировался, но впоследствии стал еврейским националистом, а в 20-е годы — убежденным сионистом. Он скончался в 1955 году. Роман «Остров внутри» («The Island Within»), впервые опубликованный в 1928 году, — это своеобразное

руководство по национальному самосознанию. В романе описаны взаимоотношения, сложившиеся между ассимилированным евреем, Артуром, и его женой нееврейской, представляющей мир, внутренне чуждый герою. В конечном итоге Артур возвращается к своим еврейским корням. Думается, эта книга, написанная по-английски в Соединенных Штатах евреем, выходцем из Германии, чрезвычайно симптоматична и для немецко-еврейской и американо-еврейской литературы. Центральная тема подобных сочинений, если попытаться определить ее в негативном плане,— противостояние еврея, воображающего себя стопроцентным немцем или американцем, враждебной внешней среде. Единственный приемлемый выход в создавшейся ситуации — превратить ущербность в состояние духовного превосходства, осознать себя полноценным евреем.

Попытка иного решения вопроса приводит к неизбежной тягостной альтернативе: некоторые немецкие писатели-евреи приняли антисемитскую аргументацию. Они уверовали в то, что еврейство в самом деле — чужеродное тело в общественном организме, существующее не в силу справедливости, а лишь по милосердию окружающего населения. Зачастую они разделяли предубеждения и предрассудки среды в отношении евреев.

Я не хотел бы входить в проблемы генезиса, обусловившего это явление. Порой мы имеем дело с явной патологией, как, например, в случае с Отто Вейнингером. В своей книге «Пол и характер» Вейнингер не только приписывает евреям все те пороки, которые им инкриминировали антисемиты, но и вырабатывает при этом вариант еврейского антисемитизма, антисемитизма внутреннего, идентифицируясь тем самым с гонителями извне. В произведениях некоторых других писателей изображается стереотипный конфликт между героем и притягательным, но отвергающим его нееврейским окружением, конфликт, часто переводимый в эротическую сферу.

В творчестве ряда писателей проблема самоопределения претерпела существенную трансформацию. В их сочинениях обнаруживается склонность к использованию еврейской (восточноевропейской) семиотики — тенденция, присущая не только идишистской литературе. Красочным примером здесь может послужить достаточно тривиальный роман Макса Брода (друга и душеприказ-

чика Франца Кафки) «Реувени, князь иудейский», вышедший в 1925 году. В книге излагается история пражского еврея Давида Лемеля. При поддержке другого, ассимилированного, еврея Гершеля, он восстает против отца, а потом влюбляется в нееврейку Моникку. Вместе с ней убегает из дома. Брошенный Мониккой, он возвращается в лоно еврейства и становится лжемессией, принимая имя Давида Реувени. По его мнению, евреи должны стать таким же народом, как все, и вновь обрести родину, национализм должен прийти на смену ассимиляции. Дальше развивается конфликт между мессианским национализмом героя и еврейским народом, отвергающим идею освобождения. Словом, это сионистский роман, обличающий народ, неспособный воспринять и реализовать идею харизматического вождя. Любопытно, что в первой части романа акцентируется эротическая привлекательность внешнего мира, оправдывающая готовность еврея расстаться с семьей и иудейской религией. Как раз упомянутая схема выглядит вполне характерной для немецко-еврейской литературы, однако существенное отличие книги Брода от большинства немецко-еврейских сочинений в его отчетливой сионистской направленности.

В целом этому течению свойственно откровенно упрощенное отношение к проблеме: двойственность самоидентификации сменяется разочарованием и попыткой выработать новое национальное самосознание. Такой подход характерен также для произведений Шницлера «Профессор Бернхарди» (1912) и «Путь к свободе» (1908). «Профессор Бернхарди» — это пьеса, герой которой — еврей, выступающий против нетерпимости, предрассудков и варварского антисемитизма. «Путь к свободе» — роман об ассимилированном еврее, Генрихе, пытающемся решить для себя проблему национальной самоидентификации. Другой персонаж, Леон Голанский, чьим прототипом был, несомненно, Теодор Герцль, предпочитает сионистское решение еврейского вопроса. Для всех вышеперечисленных сочинений (к ним можно отнести также роман Вассермана «Еврей Цирендорфа») характерна поверхностно-идеологическая установка, лишенная глубокого проникновения в сущность ситуации.

Значительно больший интерес представляют произведения, в которых данная проблема не рассматривается прямо, а присутствует завуалированно, на подсознатель-

ном уровне. Примечательно, что у некоторых из этих авторов налицо существенное различие между их откровенными высказываниями, содержащимися в дневниках или письмах, и гораздо более осторожными суждениями в литературных произведениях.

Впечатляющим примером здесь могут послужить литературные судьбы трех очень разных писателей. Пожалуй, единственное, что их объединяет, — это немецкий язык и общая озабоченность своим еврейством. Начнем с Йозефа Рота, известного австрийского литератора. Рот родился в 1894 году в Галиции и скончался в 1939 году в Париже. Другой писатель — пражанин Франц Кафка (1883—1924). И наконец, старейший среди них — Якоб Вассерман (1873—1934).

Биография Рота, написанная Давидом Бронсом, — сама по себе увлекательный роман, посвященный теме национального самоопределения героя. В 20-е годы он стал убежденным монархистом, горячим сторонником Габсбургов. Он верил, что многонациональная Австро-Венгерская империя была идеальным сообществом народов, плюралистическим раем, в том числе и для евреев, избавленных в ней от преследований. Он выдумал собственную Габсбургскую империю, отличающуюся неслыханной веротерпимостью. Разумеется, измышленная им картина оставалась субъективной утопией, никак не соотносившейся с действительностью. Он неустанно воспевал ее универсальный плюрализм, как в книгах типа «Статуя кайзера» (1935), так и в своей публицистике. Его привлекал образ еврея — вечного странника: «В своих тысячелетних страданиях евреи вкусили одно-единственное утешение — у них не было родины. Если когда-нибудь будет написана достоверная история «человечества», ей придется учесть, что евреи, именно потому что они были лишены родины, сохранили здравомыслие в то время, как весь мир помешан на патриотизме. Нет у них, у евреев, «родины», но в каждой стране, где они живут и платят налоги, им приказывают быть патриотами и умирать смертью храбрых. При этом их неустанно обвиняют в нежелании умирать по своей доброй воле. В подобной ситуации сионизм — это единственный выход для евреев. Если уж быть патриотами, то хотя бы патриотами своей собственной страны» («Статуя кайзера»).

Отсюда не вытекает, будто Рот был сионистом. Напро-

тив, как явствует из его письма Цвейгу, написанного в 1935 году, он, возможно, был первым, кто сравнил сионизм с фашизмом. На его взгляд, любой узкий национализм заводит в тупик. Только космополитизм, «свободный, как птица», от любых национальных обязательств, заслуживает права на существование. Короче говоря, Рот на много лет опередил Джорджа Стайнера. Но в отличие от Стайнера Рот пытался придать идишу статус международного языка, приличествующего габсбургскому универсализму. Та же тема не оставляла Рота в покое и на протяжении всей его собственно литературной деятельности. На деле он изображал скорее удручающее положение тех, кто сподобился жить в универсалистской империи Габсбургов. Характерным примером этого служит новелла «Побег в никуда» (1927). Герой новеллы Тунда, полуеврей, участвует в первой мировой войне и попадает в русский плен. Выходец из буржуазной венской семьи, он попадает в советскую Россию, где влюбляется в комиссаршу, затем перебирается в послевоенную Германию, а оттуда — в псевдокосмополитический Париж. Во всех странах и в любых ситуациях — от идеологической до эротической — герой-отщепенец чувствует себя в родной среде и в то же время остается изгоем. Его удел — бесконечно возобновляющиеся скитания. Новелла заканчивается следующими словами:

«Это было 27 августа 1926 года, в четыре часа дня. Магазины были переполнены, женщины толпились в универмагах и манекенщицы — в модных лавках, бездельники болтали в кондитерских, а на заводах скрипели маховики. Нищие вычесывали вшей на берегу Сены, влюбленные целовались в Булонском лесу, а в парках дети катались на каруселях. В это время мой 32-летний друг Тунда, сиявший здоровьем и свежестью, молодой, сильный и талантливый человек, стоял на площади в центре мировой столицы, не зная, что делать. Он остался без профессии и без любви, без страсти, надежды и стремлений, у него не осталось даже эгоизма. Во всем мире не было более лишнего человека».

Это яркое описание тупиковой ситуации доказывает, что человек не может существовать в мире абстракций, без времени, пространства и личностного самоопределения. Литературное произведение раскрывает перед нами то, о чем не решается сказать сердце автора. Выясняется,

что человек вынужден расплачиваться за рационалистические абстракции, за жизнь без тени. Попытка сбежать от самоидентификации, от гражданства, заводит его в тупик.

Кафка придал этой проблеме метафизическое и метапсихологическое звучание. Не случайно, что его герои, наделенные именами столь созвучными имени автора (вроде Йозефа К.), лишены однозначной национальной характеристики. Это своего рода надчеловеки, вынесенные за скобки времени и пространства. Буквы, ставшие людьми, и люди, ставшие буквами, — вот чистейшее выражение универалистской абстракции. Пожалуй, только его роман «Америка» населен реальными людьми — точнее, типичными обитателями Австро-Венгерской империи. В остальных случаях перед нами граждане несуществующей страны, обитатели вакуума, очищенного от каких-либо географических и исторических примет.

Вышеописанная авторская позиция разительно контрастирует с тем живейшим интересом к еврейству, который Кафка выказывал в своем дневнике и личных письмах. Их изучение показывает, что всю свою жизнь он напряженно размышлял над своим еврейством. Кафка штудировал еврейскую историю (по Грецу) и идишистскую литературу, любил еврейский театр, собирал сведения об обычаях и стиле жизни евреев Восточной Европы, увлекался хасидским фольклором. В его литературном творчестве все эти темы получили лишь крайне опосредствованное выражение.

В письме Максу Броду Кафка заявил: «Покинуть еврейство — с молчаливого согласия отцов (больше всего раздражает именно это согласие) — хотело большинство начавших писать по-немецки; но их задние лапы все еще увязали в наследственном еврействе, а передние не нашли себе новой опоры. Соответственно отчаяние и стало источником их вдохновения».

Творчество самого Кафки представляется наиболее величественной и показательной иллюстрацией к этому утверждению. Его мир еще абстрактнее, чем мир Рота. Его героев постигает кара за неведомые грехи, но их сознание принимает приговор («Процесс»). Герои Кафки извергнуты обществом, ибо лишены отчетливой самоидентификации («Замок»). Они скорее постояльцы,

квартиранты, а не хозяева в своем доме. Персонажей Кафки определяют не внешние, а внутренние реалии. И поскольку беспочвенный еврей, вечный чужак, неизменно преследуется, он становится аналогом «всечеловека», в современном, — экзистенциалистском понимании слова. Внешние беды — только метафора внутренних, душевных травм, и еврейская судьба расширяется до общечеловеческой.

И последний пример — творчество Якоба Вассермана. Самая еврейская из его книг — «Евреи Цирендорфа», опубликованная в 1897 году, — это роман о воспитании, столь напоминающий ивритские романы периода Гаскалы (Просвещения), или роман Макса Брода «Реувени, князь иудейский». Значительно интереснее, однако, другой роман Вассермана — «Дело Маурициуса» (1928), внешне, казалось бы, не соприкасающийся с еврейской тематикой. Подобно Роту и Кафке, Вассерман предпочитал обсуждать проблему самоидентификации не в художественных, а, так сказать, в документальных произведениях, в своей публицистике. Восточноевропейского, набожного и консервативного еврея он открыто предпочитал его ассимилированному западному собрату (в чем, кстати, сходилась с Ротом).

И не удивительно, что эти три ассимилированных еврея, тяготившихся двойственностью своего национального статуса, уважали евреев, не маскирующих, а, напротив, подчеркивающих свое еврейство. Впрочем, их позиция представляла собой, скорее, исключение — в целом буржуазное еврейство Германии усердно отрекалось от своих бедных восточноевропейских родственников. Так или иначе, в письме к Мартину Буберу Вассерман говорит: «Этот еврей, которого я называю восточным, — понимается, только символ; я бы мог назвать его просто евреем, или законным наследником своих предков, уверенным в себе, в своем мире и вообще в человеке. Он не может утратить себя, поскольку сознание благородства своего происхождения привязывает его к прошлому, а это значит, что он берет на себя огромную ответственность перед будущим...»

Наиболее интересна в этом плане книга Якоба Вассермана «Путь немца и еврея» — несколько топорный монолог влюбленного, разочаровавшегося в предмете своей любви. Эта книга говорит о внутреннем поражении и изо-

билует фразами такого типа: «Напрасно вы будете умирать и жить ради них (немцев. — Г. Ш.), вам скажут: вы еврей». Подобно герою Рота, Вассерман обнаруживает себя стоящим на распутье. Известно, что незадолго до смерти Вассерман собирался написать роман на еврейскую тему — роман об Агасфере, Вечном Жиде, вечном страннике. В какой-то мере этой же теме посвящен его роман — «Дело Маурициуса». Его герой как бы подводит итог своим многолетним странствованиям: «Я сын еврейских родителей, представителей второго поколения тех, кто получил гражданские права. Мой отец все еще не постиг того, что фальшивое равноправие было не более чем филантропической затеей. Люди, вроде моего отца, человека в общем превосходного, пребывают в социальном и религиозном вакууме. Они расстались со старой верой и отвергли новую, я имею в виду христианство; порой они руководствовались справедливыми, порой несправедливыми соображениями. Еврей хочет оставаться евреем. Но что это такое — еврей? Никто не может объяснить это. Мой отец гордился эмансипацией, этой хитрой выдумкой, предназначенной для того, чтобы лишить угнетенных права на жалобы». Герой кончает тем, что переселяется к дочери в Восточную Европу, в мир хасидизма. Это единственное доступное ему решение еврейского вопроса.

В творчестве Кафки мы также не найдем сколько-нибудь оптимистического решения проблемы. Иначе обстояло дело в его личной жизни. Он постоянно стремился установить действенную связь с еврейской средой. Кафка изучал иврит, тянулся к сионистам, собирался посетить Эрец-Исраэль.

И все же, за вычетом просионистских взглядов Кафки, в целом немецко-еврейская литература была бегством от еврейства, бегством, отягощенным еврейским наследием. Двойственность самосознания оборачивалась трагедией для ее героев.

В этом смысле нет особой разницы между немецко-еврейской и ранней американско-еврейской литературой. Следует подчеркнуть, однако, что последняя в гораздо большей степени гордилась своей внутренней двойственностью. Даниэль Вальден, выпустивший антологию под названием «Быть евреем», разделяет ее на три раздела: 1) иммиграция; 2) американские евреи; 3) американские евреи и американцы еврейского происхождения.

Среди произведений, относимых им к первому разделу, выделяется роман Генри Рота «Назови это сном» (1934). В этой книге восточноевропейское местечко воспроизведено в условиях американской действительности. По ряду своих стилистических, семиотических и тематических особенностей «Назови это сном» напоминает идишитские и ивритские романы, созданные в Восточной Европе. Он в большей мере сходен с «американской» частью шолом-алейхемовского «Мальчика Мотла», нежели с собственно американскими и американо-еврейскими сочинениями. Это рассказ об эмиграции, поданный с точки зрения семилетнего мальчика Давида Шерла. Семья переживает кризис, вызванный ошеломляющим переселением в Нью-Йорк, и под давлением обстоятельств, в том числе и психологических, духовно распадается. Этот распад воспринимается как кара за грех, совершенный на прежней родине. Мать героя когда-то влюбилась там в нееврея, была им обманута и теперь, терзаемая жгучим ощущением вины, покорно терпит издевательства отца, сын чувствует себя отверженным...

Крушение веры в отца, конфликт старшего и младшего поколений — все это устойчивые темы литературы на иврите (Бердичевский, Бренер, Беркович) и на идише (Башевис-Зингер и др.), на сей раз перекочевавшие, как видим, в Соединенные Штаты. «Назови это сном» — это идишитское или ивритское произведение, написанное по-английски, причем английский в книге как бы подражает идишу.

Без особого преувеличения можно сказать, что книга Генри Рота оказала огромное влияние на последующую еврейскую литературу в США, возродившуюся с новой силой в 1967 году, когда появился роман Хаима Потока «Избранник». Здесь тоже изображено американское местечко. В книге Потока изображены коллизии, хорошо знакомые израильскому, и вообще еврейскому читателю: борьба между хасидами и сионистами. Противоборствуют два героя: Дани Сандерс, сын хасидского цадика, и Ревен Мальтерс, сын сиониста и приверженец внерелигиозных культурных ценностей. Ни тот, ни другой не сомневаются в своем еврействе, но вопрос здесь не в двойственности самоидентификации, а в необходимости однозначно выбрать для себя образ жизни, отвечающий нынешнему состоянию еврейства.

Это не значит, что для американских евреев нет проблемы национально-культурной самоидентификации — она волнует их не меньше, чем наших предков-европейцев. Либеральную, плюралистическую Америку трудно сопоставить и с авторитарной Германией, и с Восточной Европой, но тем не менее сходство налицо. Зачастую сталкиваешься и с сюрпризами: так в американско-еврейской литературе внезапно возродился образ параноика, спасающегося бегством от самого себя, образ, порой получающий явно пародийное наполнение.

Такой пародией представляется новелла Б. Фридмана «Штерн» (1967). Ее герой, вернее антигерой, рассматривает свое еврейство как напасть и внутренне идентифицируется с отрицательным образом еврея, выработанным антисемитскими стереотипами. К примеру, попадая в ВВС, герой приписывает то обстоятельство, что не стал летчиком, своему еврейскому происхождению, «словно летное дело осталось привилегией белокурых гоев». По мнению Штерна, еврейский типаж негативно противостоит положительному американскому, к которому, кстати говоря, примыкает для него и израильский. Герой спасается от антисемитизма бегством, как это делали когда-то его литературные собратья в Европе... Здесь можно усмотреть несомненную преемственность еврейской литературной традиции.

Примечательно и то, что стереотипный образ восточноевропейского еврея вновь оживает в американской литературе последних десятилетий — на этот раз в облике бруклинского хасида (например, повесть Филиппа Рота «Элия-ревнитель»). Такой герой при всех своих недостатках обладает несомненным преимуществом перед своими предельно американизированными современниками: его национальная самоидентификация полностью однозначна и бесспорна.

Страстной идишистской ностальгией веет и от сочинений вышеупомянутой Синтии Осик. В некоторых ее рассказах выведены поэты, пишущие на идише. Скованные рамками этого столь поэтического и в то же время агонизирующего языка, они зарабатывают на жизнь тем, что их сочинения переводятся на английский язык. Возможно, прототипом одного из персонажей послужил Башевис-Зингер. Но здесь и в помине нет какого-либо сар-

казма: с точки зрения Синтии Осик, культура, создаваемая на обреченном языке, нежизнеспособна; на смену языку местечка должен прийти язык большого города, что вполне соответствует вышеупомянутому призыву писательницы создать «новый идиш». Идиш или иврит перестали быть решающим фактором в деле национальной самоидентификации... Вся эта тематика — свидетельство горячего желания Синтии Осик легитимизировать двойственность еврейского самосознания и самовыражения. Как ни странно, получается, что Осик, бурно выступающая против стайнеровского универсализма, в своем собственном литературном творчестве борется и против «локального колорита», порождаемого остатками идишистской культуры, против замыкания в стенах гетто.

Тем не менее приверженность национальному прошлому, сохраняющая устойчивость среди иммигрантов из Восточной Европы, обладает большей нравственной привлекательностью, чем назойливые призывы раствориться в американо-еврейской среде. Ассимиляция, разумеется, не снимает вопроса о двойном самоопределении, а только навязывает человеку критерии, принесенные извне.

В романе Бернарда Маламуда «The Fixer» (1966) повествуется о «кровавом навете». Это исторический, вернее, псевдоисторический роман, в основу которого положено дело Бейлиса. Сейчас, спустя много лет после второй мировой войны и Катастрофы, обвинение евреев в ритуальном употреблении христианской крови представляется не более чем генеральной репетицией геноцида. Такая именно точка зрения представлена в романе Маламуда. Но она тесно переплетается с пессимистическим фатализмом: человеку приходится приспособливаться к стереотипному образу, и идентифицировать себя по готовому шаблону вне зависимости от того, хочет он этого или нет. Герой романа Яков Бок — типичный фаталист. «Что значит быть евреем? Что это за вечное проклятие? Евреям надоела их история, надоела их судьба и кровавые наветы...»

Роковая необходимость самоидентификации, — частая тема в произведениях Маламуда. Так, герой рассказа «Мой черный цвет, мой цвет любимый» вспоминает о словах матери, отвергнутой ее чернокожим любовником: «Я помнил о ней, о ее жизни, и о том, чему она пыталась меня учить. Натан, говорила она, если ты когда-

нибудь забудешь, что ты еврей, придет гой и напомнит тебе об этом».

В рассказе «Последний из могокан» человек богемного мира, Фельдман, тщетно пытается сбежать от Зискинда, «завязтого» еврея, который выведен в образе нищего и пробуждает в сердце героя страх и раскаяние. Оба героя связаны друг с другом, как сиамские близнецы. В рассказе «Немецкий беженец» и в аллегорической новелле «Еврейская птица» евреи изображены как люди с раздвоенным сознанием. Сверхличностные силы неуклонно подчиняют их себе. Подобно своим еврейским коллегам в Германии, американско-еврейские писатели также не могут при всем своем желании избавиться от теневого сознания, от своего «альтер эго».

Во многом сходные проблемы рассматриваются в романе Сола Беллоу «Жертва» (1947). Здесь также изображен своего рода кровавый навет. Его жертва, еврей Левинталь, по существу, берет на себя ответственность за увольнение своего друга и за смерть своего племянника, хотя ни в том, ни в другом совершенно не виновен. Метафизическое представление о преследовании за неведомый грех перенесено здесь в социальную сферу, что придает ей реальную пугающую осязаемость. В высшей степени примечательно, что плюралистическое общество Америки, в культурно-социальной жизни которого евреи заняли центральное место, всем своим поведением вынуждает героя занять указанную им позицию. Друг и антагонист Левинталь, Олби, обрушивается на него с антисемитскими обвинениями пронацистского толка: «Еврей отравляет культуру (оказывается, еврейский писатель позволяет себе писать об Эмерсоне), это отродье Калибана...» (Напомним, что речь идет о звероподобном Калибане — герое шекспировской «Бури».)

Антисемитизм, изображаемый беллетристами, строится по немецкой модели и потому существенно расходится с его нынешними реальными проявлениями в Соединенных Штатах. Несмотря на то что многие модели (герои, сюжеты, темы) немецко-еврейской литературы все еще встречаются и в американском варианте, изображение двойственности еврейского самосознания изменилось. В романе «Я сам и другие» Филипп Рот заметил, что сегодня американским евреям все труднее определить себя, отталкиваясь от ожиданий окружающей среды, по-

сколько стереотипные представления о евреях исчезают. Неприлично изображать жертву в обществе, где никто не заставляет тебя быть ею.

Трое самых крупных еврейских писателей, Сол Беллоу, Бернард Маламуд и Филипп Рот, пытались отразить проблему непреследуемого меньшинства, одержимого, однако, проблемой самоидентификации. Таковы романы «Помощник» Маламуда (1957), «Герцог» Беллоу (1964) и его же «Планета мистера Семлера» (1969) и, разумеется, «Синдром Портного» Филиппа Рота (1968).

На похоронах Мориса Бубера (герой Маламуда) раввин спрашивает: кто же это такой еврей и в чем Бубер был евреем? Не слишком удовлетворяющий ответ рава гласит, что еврей — это просто хороший человек. По мнению Маламуда, еврей — это каждый, кто не принимает духовные ценности американской буржуазии, как еврейской, так и нееврейской, и не придерживается законов социал-дарвинизма. Еврей — это обаятельный «неудачник», возмещающий в мире духовных ценностей упущенное им в сей юдоли. Социальное поражение Маламуд превратил в духовную победу. Историческую травлю преследуемого меньшинства он спроецировал на экономику... Морис Бубер остался хорошим евреем, поскольку отверг американский образ жизни. И наоборот, экономический успех влечет за собой духовную ассимиляцию.

Сол Беллоу обошел стороной отношения между евреями и неевреями. В романе «Герцог» он рисует внутриеврейскую систему отношений. Американские евреи делятся у него на неудачников — тех, кто творит духовные ценности, и победителей — тех, кто этими ценностями торгует. Семья в романе дана как последний оплот еврейства в борьбе за существование. Увы, в современном обществе личность оторвана от семьи, от своих корней и страдает психологической раздвоенностью.

Филипп Рот пытается определить еврейскую сущность негативно, с помощью внешнего давления. Его персонажи, как и персонажи немецко-еврейских писателей, недовольны своим еврейством, но все же в романе «Синдром Портного» герой наслаждается своей мучительной раздвоенностью. Роман не предлагает никакого решения, он только показывает самое начало целительного процесса. Эта книга — апология ненормальности, нечто вроде шолом-алейхемовского «мне хорошо, я сирота». Встретив

психологически цельную девушку-израильтянку, герой теряется и пасует.

Положительная оценка двойного статуса угадывается уже в «Помощнике» Бернарда Маламуда, где даже гой предпочитает этих вечных мучеников, евреев, всем прочим. Евреи остаются верными своей раздвоенности, поскольку она по душе им, им нравится быть гонимыми, но в роли собственного преследователя выступают они сами.

Еврейско-немецкие писатели воспринимали свое положение как наказание свыше. Американско-еврейские писатели подчеркивают амбивалентное отношение героев к свободно выбранному ими национальному статусу. Именно в силу своей отторженности еврей стал образцовым литературным героем, вечным «лишним человеком». Американско-еврейская литература придала теме сугубо локальную трактовку, но, как и в Германии 20-х годов, еврей по-прежнему принимает на себя функцию универсального, абстрактного человека. Культура европейского еврейства была разрушена Катастрофой. Общество, создавшее еврейско-немецких писателей, стерто с лица земли, а еврейская литература в самой Европе не возродилась в прежних масштабах. Наследников еврейской литературы следует искать за океаном. Двойственное самосознание изменилось, сменив диаспору: изменились и читатели, и писатели, но проблема еврейского самосознания по-прежнему тревожит и тех, и других.

С иврита. Сокращенный перевод Михаила ВАЙСКОПФА

Натан Йонатан

КУСТЫ РАКИТНИКА БЕЛЕЛИ

Кусты раkitника белели вдоль дороги.
В тумане Тель-Авив, Иерусалим — далек.
Может, кто-то и не доживет до весны, не дотянет.
Кровь приходит, уходит кровь —
А земля пребывает вовеки.
Вчера была застрелена красавица фотограф,
Полюбившая золото дюн, благородную поступь
Пеликана из заповедника в Мааган-Михаэль.
Вот она облака разгоняет, рассыпает
Череду телеграфных столбов
По дороге к небесному пиру,
Холодящему так, в этой заводи сонной.
Нет, не это имел я в виду; черновик этот я затевал
Еще в начале зимы. При первых ростках холодов.
И приморская зелень раkitника волнами шла
Под прибрежным ветром. Уж такое нелегкое время,
Что хотел я оставить после себя
Краткую повесть любви к раkitнику, говорящую о
Потребности в стихописанье.
Думал, что красота защитит
Нас и детей — от огня, ото льда,
Что нежный блеск цветов вдоль дороги,
И эта единственная земля,
И раkitник в песках, и эта жуткая красота —
Думал я...

С иврита. Перевел Владимир ГЛОЗМАН

ИТРИЖА К ПОРТРЕТУ

Савелий Дудаков

О КОПЕЛОВИЧЕ

I

В мае 1985 года художнику Александру Давидовичу Копеловичу исполнилось 70 лет. Судьба его и необычна, и в то же время ординарна для интеллигента XX столетия.

А. Д. Копелович родился в 1915 году в Петрограде в семье известного русского врача М. А. Хавина. В начале мировой войны его отец служил начальником русского военного госпиталя в Варшаве. После занятия Варшавы немцами доктор Хавин попросил послать его на эпидемию холеры в Туркестан, где умер в конце 1916 года, как выражались тогда, «смертью врача-героя», заразившись от пациентов. В доме Копеловича бережно хранится старая фотография: доктор в форме русского офицера в окружении медицинского персонала Варшавского военного госпиталя...

Александра усыновил отчим, Давид Наумович Копелович, который и дал ему свою фамилию. Гражданскую войну Саша Копелович провел в Москве, а в 1925 году их семье удалось эмигрировать в Латвию. Отчим издавал в Риге русскую газету, а в 1939 году, накануне второй мировой войны, семья Копеловичей выскользнула из рук и немцев, и русских, переехала в подмандатную тогда Палестину. С тех пор А. Д. Копелович живет в Иерусалиме.

Как проявляется художественный талант ребенка? Несомненно, на развитие художественного вкуса Александра Давидовича оказал влияние отчим, собиратель картин русских художников. В годы гражданской войны и нэпа в

России, а впоследствии — в Риге, Давид Копелович составил прекрасную коллекцию, которую сумел вывезти — не без приключений! — в Палестину. Груз с картинами в начале войны застрял в Триесте и — о, чудо! — уцелел, несмотря на союзные бомбардировки и реквизиции военного времени. Существует семейное предание, будто один из дядей Копеловича, офицер британской армии, в мае 1945 года проник на «студебеккере» в Триест, занятый югославскими партизанами, и в одном из пакгаузов нашел запломбированный груз из Риги. Дяде удалось перевезти картины в Неаполь, а оттуда их морем отправили в Палестину.

На семейной коллекции картин стоит, пожалуй, остановиться подробнее. Жемчужиной собрания является портрет «смолянки» Д. Г. Левицкого (1735—1822). Как известно, серия «смолянок» была создана Левицким по заказу Екатерины II в 1773—1777 годах. Картина, принадлежавшая Копеловичу, числилась в каталоге одной из выставок, устроенных С. П. Дягилевым. Установить, какая именно из «смолянок» изображена на картине, сложно. Но ее прекрасные глаза, как и двести лет назад, светятся добротой и чистотой сквозь двухвековую патину. Другое известное полотно в коллекции — «Пикник» Б. М. Кустодиева, написанный в 1920 году уже смертельно больным художником: он изобразил свою семью на лесной прогулке.

Мать Александра Давидовича, Полина Осиповна, была необыкновенно красивой женщиной. Ее облик увековечил Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957), и этот портрет тоже сохранился в семейной коллекции. Кроме того, Добужинский в собрании Копеловича представлен прекрасной декорацией к пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне». Время написания декорации относится, вероятно, к 1909 году — именно тогда в Художественном театре К. С. Станиславский ставил пьесу Тургенева. Правда, художник неоднократно возвращался к темам, навеянным пьесой, и в 1912 и 1919 годах по мотивам «Месяца в деревне» написал еще несколько картин. И коли уж разговор зашел о театре, то в домашнем музее художника есть «беспредельно веселое» панно Сергея Юрьевича Судейкина (1881—1946). Что еще упомянуть? Есть работы Василия Дмитриевича Поленова (1844—1927), Станислава Валериановича Жуковского (1873—1944),

Константина Алексеевича Коровина (1861—1939), Алексея Степановича Степанова (1858—1923). Но «бог и царь» в доме Копеловича — Сергей Арсеньевич Виноградов (1869—1938), именуемый тут УЧИТЕЛЕМ. Именно ему Александр Давидович обязан развитием своего художественного дарования. Несколько великолепных работ академика живописи Виноградова украшают дом ученика, среди них большое полотно «Ледоход на Двине» (1927). Александр Давидович Копелович был любимым и лучшим учеником этого мастера. (Советский художественный критик Наталья Ивановна Станкевич в монографии «Виноградов», Л., «Искусство», 1970 г., неоднократно цитирует письма А.Д.Копеловича. Естественно, Н.Станкевич не упоминает место жительства адресата.) Бережно хранит в семейном архиве Копелович и письма своего учителя к Полине Осиповне: в них предсказано блестящее художественное будущее ее сына.

Как-то во время переписи населения к И. Г. Эренбургу пришла счетчица и стала заполнять опросный лист. На вопрос: «Образование?» — Эренбург ответил: «Незаконченное среднее». Девушка обиделась: «Вы надо мной смеетесь. Я читала ваши книги». Но это было правдой: будущего писателя в юности исключили из гимназии. Нечто подобное может сказать о своем образовании и Копелович: незаконченное среднее — но вряд ли кто усомнится в его эрудиции. Достаточно напомнить о свободном владении пятью европейскими языками: французским, английским, немецким и, конечно же, русским и латышским, приплюсуйте сюда еще два азиатских — иврит и арабский. Благодаря великому «богу—случаю» Александр Давидович стал незаурядным химиком, владельцем крупнейшей фабрики красок на Ближнем Востоке, автором многих патентов для производства промышленных красок (кстати, сбывающим их в такой «химической» стране, как Германия). Александр Давидович в прямом смысле слова овладел *тайной краски*, я думаю, что это и помогло Копеловичу преодолеть вечную «ахиллесову пяту» русской живописи — недостаток колорита.

Войдя в жизнь художника, краски сослужили ему еще одну и очень существенную службу: освободили от денежных затруднений, от изнуряющей борьбы за кусок хлеба. Великий Генрих Шлиман полжизни потратил на приобретение «миллиона», а вторую половину — на открытие

развалин Трои. Копелович кроит дни по-другому: с 6 утра до 11 он, по его собственному замечанию, — «акула капитализма», но с одиннадцати время принадлежит живописи. В дождь и снег (последний, хоть и редко, бывает в Иерусалиме), чаще в знойный хамсин художник устраивается в своей мастерской напротив Дамасских ворот и рисует. Краска, отняв у него утренние часы, одновременно освободила мастера от рыночной зависимости, от продажи картин, от влияния критики и моды. Благодаря краске, художник Александр Копелович стал действительно *свободным художником!*

Как сам мастер определяет свое место в живописи? «Я принадлежу к школе русского импрессионизма». Уже упоминалось, что Александр Копелович прошел хорошую школу у академика Виноградова: с середины 20-х годов рижская студия Н. П. Богданова-Бельского перешла в ведение Виноградова, который перенес на латышскую землю свой почти пятнадцатилетний опыт преподавания в Строгановском училище. Там и учился Копелович. Есть такое понятие «изолят». Роль «изолята» и сыграла между двумя войнами Латвия, избавив Копеловича от многих соблазнов — и соблазна социалистического реализма, и соблазна всевозможных западных «измов», наводнивших в то время Париж и догитлеровский Берлин. Учитель, Виноградов, в прошлом председатель Союза русских художников, был, по собственному признанию, «консерватором», — но в высоком значении этого слова. «Консервация» — для него это означало сохранение традиций русской живописной школы конца XIX — начала XX века. Копелович неизменно подчеркивает, что Виноградов обучал своих учеников «ремеслу», «профессионализму». И этот профессионализм, как опять же любит цитировать Копелович, «моя любовь, мое богатство, мое святое ремесло» (Каролина Павлова). «Изолят» Латвии был относительным, и Александр Давидович бывал в те годы в Париже, бывал неоднократно. «Но ведь и Париж разный», — говорит он. Почти десять лет занимался он в школе Виноградова, и каждое лето, а зачастую и зимой, выезжали они в латгальскую деревушку на природу. Верность натуре сохранил Копелович навсегда. Как художник, воспитанный на традициях русской школы, он во главу угла ставит ч т о, а не к а к. Во всяком случае, именно так говорит о своих принципах сам мастер. Но, по

моей оценке, его определение неточно. Просто для Копеловича, свободно владеющего ремеслом, как бы уже не существует проблемы «как», для него профессиональное мастерство — основа, он свободно владеет натурой, досконально изучил анатомию и перспективу, и бессодержательная, абстрактная живопись выводит его из равновесия.

Рассматривая однажды рисунок одного израильского художника под названием «Акт», он иронически заметил: «Акт не может состояться по причине анатомических ошибок в рисунке».

Обычно Копелович не пишет теоретических работ, но если к нему обращаются за тем или иным отзывом, отвечает всегда лапидарно, точно и нередко со скрытым ехидством, правда, никогда не переходящим границ старомодной «светскости». К сожалению, в Иерусалиме почти нет художников «старого закала», и свое одиночество Копелович ощущает постоянно.

Это не мешает ему с радостью откликаться на призывы о помощи: помог он, например, художникам из России Семену Розенштейну и Эдуарду Левину. Но, честно говоря, общение Копеловича с новыми эмигрантами не всегда представляет идиллию — бывает, контакт кончается недоразумением, связанным со столкновением российского человека с человеком советским.

Копелович никогда не ставил перед собой в живописи сложных философских задач. Но посмотрите на «Портрет жены», выполненный в 1942 году. Немцы на Волге, немцы у границ Египта — черно-белый холодный пол, одинокая женщина в кресле-качалке качается спиной к зрителю. Холод и тревогу ощущает зритель, и этого эффекта художник достигает, не прибегая к сильнодействующим средствам — фигура женщины как бы теряется в квадратах пола, заставляя нас чувствовать неуверенность человечества в завтрашнем дне. И совсем другой портрет жены мастера, Реи Михайловны, навеянный в другую эпоху чтением прекрасного стихотворения Н. А. Заболоцкого «Жена» («Откинув со лба шевелюру...»). Одухотворенное и усталое лицо много повидавшей женщины, — и я ощущаю, как велико женское всепрощение...

До Копеловича многие художники рисовали Иерусалим, среди них были признанные русские мастера: Василий Дмитриевич Поленов (его этюд хранится в коллек-

ции Копеловича), Иван Яковлевич Билибин, Леонид Осипович Пастернак, Василий Васильевич Верещагин. Но, говорю от всей души и искренно, никто из них не смог приблизиться к душе нашего города! Никто — кроме Копеловича. Может быть, я излишне категоричен, но именно поэтому хочу развить эту мысль подробнее. Трижды побывал на Святой земле В. Д. Поленов (1881, 1882, 1899). В принципе, он — один из создателей русской пленэрной живописи, его яркие световые и цветовые контрасты были новаторскими для своего времени (например, «Олива в Гефсиманском саду», 1882 год).

Другой мастер, В. В. Верещагин, отправился в путешествие по Палестине, чтобы собрать материалы для картины «Распятие на кресте у римлян» (самое начало 1884 года), почти одновременно с Поленовым, и большинство этюдов его палестинского цикла носили чисто этнографический характер, хотя картина «Гробница королей в Иерусалиме» (Русский музей) отличалась по темпераменту от обычной сухости этого художника: на полотне передано движение воздуха, игра солнечного света в контрасте с холодными тонами. Но, повторяю, все же в первую очередь Верещагин — этнограф¹.

Иван Яковлевич Билибин прожил пять лет на Ближнем Востоке (1920—1925 гг.), именно здесь он впервые обратился к городскому пейзажу. Художник рисовал не современный город, а тихие улочки, восточная застройка которых оставалась неизменной столетиями. Рисовал он обычно с высоты птичьего полета, что позволяло развернуть панораму домов с глухими стенами, плоскими крышами и узкими переходами («В старом Иерусалиме», 1924). Написал он и пейзажи, запечатлевшие библейские памятники нашей страны: таковы его этюды в Галилее, Тивериаде и особенно два этюда у Силоамского источника («Деревня Силоэ вечером», «Деревня Силоэ утром», 1924).

¹ Здесь уместно привести выдержку из венской газеты, которая звучит современно: «Верещагин — славянин; он русский до мозга костей. О чем думают, что чувствуют, чего хотят в обширной империи, то отражается... в его произведениях... Его кисть ведет в Индию впереди русских штыков... Что и Палестина включена в будущие русские планы, тому служит свидетельством картина «Русский госпиталь в Иерусалиме»... Побывав на священной земле, художник подчинил своему искусству эту землю и ее людей». Цитирую по монографии А. К. Лебедева «В. В. Верещагин» (М., «Искусство»; 1972, с. 341).

В начале 1924 года в составе художественной экспедиции побывал у нас и Леонид Осипович Пастернак. По его словам, как только он сошел на берег, его уже не покидал художественный подъем.

«Насупротив меня тянулась фиолетово-розовая цепь гор с едва видной вышкой Гермона. Боже мой!— вырвалось из груди моей.— Да ведь это же Поленов!.. Поленовым было также и темно-фиолетовое Средиземное море... Поленовым — все пейзажи, поразившие меня по дороге в Тивериаду. Поленовым — разнообразные мотивы Генисаретского озера, весь этот берег, вот этот камень пятнистый — с картины «Мечтатель». Вся эта гармония красок, взволновавшая меня, все кругом — ведь это поленовская палитра! Да, только побывав в местах, запечатленных его кистью, можно понять и оценить его огромный живописный талант, только здесь можно понять, как глубоко он зачерпнул и исчерпал до конца палестинский пейзаж» (Пастернак Л. О. Записи разных лет. М., Советский художник, 1975, с. 92—93). Палестинские этюды самого Пастернака отличаются верностью натуре и импрессионистской заостренностью. Таков, например, этюд «Палестина. Жара и ослик», где художнику удалось передать хамсинное марево, в котором расплылись очертания гробницы и всадника.

Итак, у Копеловича были талантливые предшественники в его «родной» школе — школе русской живописи, но мастер пошел дальше их, он действительно приблизился к душе города. У него громадное преимущество перед ними: он уже абориген страны, и она открыла художнику свои тайны. Я люблю все работы Копеловича иерусалимского цикла, а Святой город он рисует полвека (на одной из последних выставок Копелович продемонстрировал картину «Уходящая Палестина», работа над которой была начата сорок лет тому назад!).

Как рассказать читателю о картинах, которые он еще не видел? Попытаюсь сравнить их с чем-то ему знакомым. Например, работы Копеловича сродни Павлу Кузнецову (1878—1968), чьи туркестанские полотна заинтересовали Копеловича в конце 70-х годов. И не этот ли интерес, кстати, вызвал желание вернуться и закончить картину «Уходящая Палестина»? Есть нечто родственное у живописи Копеловича и с картиной Питера Ластмана «Возвращение Авраама в Ханаан» (того самого

Ластмана, который был единственным учителем Рембрандта).

Среди полотен Копеловича нельзя забыть этюды, фиксирующие цветение палестинского миндаля: зарождение белых цветов, изменение цветовых гамм, нисходящих до почти лилового цвета. Никому, кроме него, не удалось отобразить чуть ли не ежедневные изменения красок иерусалимского пейзажа, и более того, изменения их в разное время дня — от первых лучей солнца и до заката. Вот серия этюдов, сделанных у Масличной горы, когда сквозь цветущий миндаль просматривается луковичный купол церкви Марии Магдалины...

Иерусалимское небо, изображенное на полотнах Александра Давидовича, выглядит необычным. «Вечно-голубое» — вот расхожий эпитет для неба над библейским городом. Но, увы, у Копеловича небо серое: так он ощущал в пейзаже дыхание находящейся рядом Иудейской пустыни. А знакомое читателям вечноголубое небо Палестины с картины Александра Иванова «Явление Мессии» — это небо Италии, равно как и ивановский миндаль, тоже итальянского происхождения (на Святой земле Иванов, увы, не побывал, хотя в скобках заметим, что знал он древнееврейский язык, часто посещал римские синагоги и выбирал там типажи для своей колоссальной картины, и евреи иногда принимали его за соплеменника).

...Субъективно мне иерусалимское небо Копеловича кажется чем-то сродни серому петербургскому небу, и в его изображении иерусалимских стен нет-нет да вдруг проглянет знакомый с детства силуэт Петропавловской крепости...

Любопытно, что французы считают Копеловича французским художником, и среди пятидесяти лучших художников Франции нашлось место для Александра Давидовича, когда устраивали в 1980 году международную выставку в Осаке (Япония). И именно Копелович получил там награду за этюд. Почему парижане считают русско-израильского еврея Копеловича своим художником? Как испанца Пикассо, как Шагала? Но, в отличие от тех, Копелович живет в Израиле, хотя несколько раз в году посещает Париж и рисует на Монмартре и в Монпарнасе, в Латинском квартале и в Булонском лесу и т. д.

Сам Копелович считает, что он продолжает ту линию русской живописи, которую начал Крамской, продолжил

его ученик Поленов, потом ученик Поленова Виноградов, а теперь продолжает ученик Виноградова — иерусалимский мастер.

Возвращаясь с работы, задерганный и усталый, я устраиваюсь поудобней в кресле и начинаю вновь и вновь вглядываться в знакомые картины мастера. Тепло и покой излучают эти холсты. Душевное равновесие возвращается ко мне... Я начинаю чувствовать, что это такое — врачевательная сила искусства.

II

14 июня в Москве открылась персональная выставка иерусалимского художника Александра Давидовича Копеловича, на которой должен был присутствовать сам мастер...

Совсем недавно в кругу семьи, многочисленных друзей и поклонников его таланта он отметил 75-летие. Он ждал столь дорогой для него возможности вернуться в Россию со своими картинами, но внезапно скончался у недописанного полотна в мастерской напротив Дамаских ворот.

Художник долго выбирал место для своего ателье. Поначалу он работал неподалеку от Яффских ворот в старой — турецкого времени — гостинице, где когда-то, как не без гордости сообщал Копелович, останавливался Иван Алексеевич Бунин (многие страницы «Весны в Иудее» художник цитировал наизусть, как и стихотворение Бунина «Гробница Рахили»; этому образу — гробнице Рахили — повезло дважды: в работах Л. О. Пастернака и в строках Бунина).

Но спустя годы Александр Давидович нашел свое настоящее место: в старом турецком доме напротив Дамаских ворот. Это дивное место, где с высоты третьего этажа открывается необыкновенная панорама Старого города: возвышающийся над Храмовой горой, где некогда стоял храм Соломона, золотой купол Соборной церкви Воскресения Господа, рядом с которой как бы предчувствуешь Голгофу и Гроб Господень. Слева, на вершине Масличной горы, самая высокая колокольня Святой земли — колокольня русского православного храма Вознесения. Ну и самое главное: чудной красоты Да-

масские ворота, реставрированные благодаря неутомимой деятельности нынешнего городского «головой» Тедди Колека.

Через эти ворота льется необычайно красочный людской поток. Арабские толпы в цветных одеяниях спешат в мечеть, на рынок и по домам, и просто ради любопытства в узкие улочки. Набожные евреи в огромных лисьих шапках, в шелковых халатах стремятся к Стене Плача; христианские паломники, только что прошедшие от ворот Св. Стефана по Виа Долороса (Крестному пути) к Гробу Господню; туристы из более чем ста двадцати стран; наконец, израильтяне, приехавшие в Иерусалим приобщиться к своим святыням,— весь этот пестрый, яркий, бесконечно разнообразный мир нашел отражение в творчестве художника.

Рисовать в Старом городе было в последние годы иной раз опасно для жизни. На том этаже, где было ателье, не раз раздавались выстрелы и случались убийства, но ничто не останавливало Александра Давидовича — ни мольбы жены и детей, ни настоятельные просьбы друзей — он был неумолим. Да и вправду, кто хоть раз побывал в его ателье, должен был понять, что с «Горней высоты» его могла снять лишь смерть — так оно и произошло.

Александр Давидович был воистину «свободным художником». Это старое русское выражение с наибольшей полнотой определяет его творчество: он в буквальном смысле слова не зависел от политиканствующих невежд, рыночного спроса или даже моды. Его выставки с успехом проходили в довоенной Риге, в лучших галереях Парижа; он выставлялся в Салонах, где получал почетные дипломы; в Тель-Авиве, в Старом Яффо и, конечно же, в Иерусалиме. Вместе с пятьюдесятью лучшими работами художников Франции его произведения совершили кругосветное путешествие от Нью-Йорка до Токио, где были высоко отмечены критиками. В 1988 году от Международной ассоциации искусств в Нью-Йорке (International Art Competition) Копелович получил диплом, которого удостоились до нынешнего времени лишь несколько десятков художников.

Александр Копелович мечтал о выставке в России. Накануне произошло непоправимое...

Григорий Казовский, Елена Кантор

МАЛЬЧИК МОТЛ ГЕРША ИНГЕРА

Творчество Герша Ингера по-настоящему известно пока лишь в узком кругу специалистов и коллекционеров еврейского искусства, по единодушному мнению которых Ингер — один из самых значительных еврейских художников старшего поколения. Работа «в стол», отсутствие официального признания — обычный удел еврейского художника. Ингер же как раз принадлежит к той редкой категории еврейских художников, национальная природа творчества которых «бросается» в глаза, не вызывает никакого сомнения. Вероятно, именно в этом — одна из главных причин непонимания Ингера официальной художественной прессой, не имевшей к тому же средств для описания подобных явлений.

Сегодня историки искусства обращаются к Ингеру, как к наследнику и хранителю традиций, свидетелю первоисточков столь интересующих нас ныне национальных художественных идей. Герш Ингер, вероятно, один из последних еврейских художников старшего поколения, видевший и помнящий величайшую эпоху рождения нового искусства в России. В 1926 году, шестнадцатилетним юношей, Ингер приехал в Киев и поступил в Еврейскую художественно-промышленную школу, которую возглавлял Марк Эпштейн — график, скульптор и театральный художник, член художественной секции Культур-Лиги¹. Сама школа выросла из художественной студии этой организации, и в середине 20-х годов здесь еще не был утрачен пафос формального поиска в сочетании с художест-

К СТАТЬЕ Г. КАЗОВСКОГО И Е. КАНТОР
«МАЛЬЧИК МОТЛ» ГЕРША ИНГЕРА



Г. Ингер. 1930-е гг.

Без названия. 1927 г.



Из цикла «Еврейская народная песня». 1972 г.

Улочка в Умани. 1928 г.



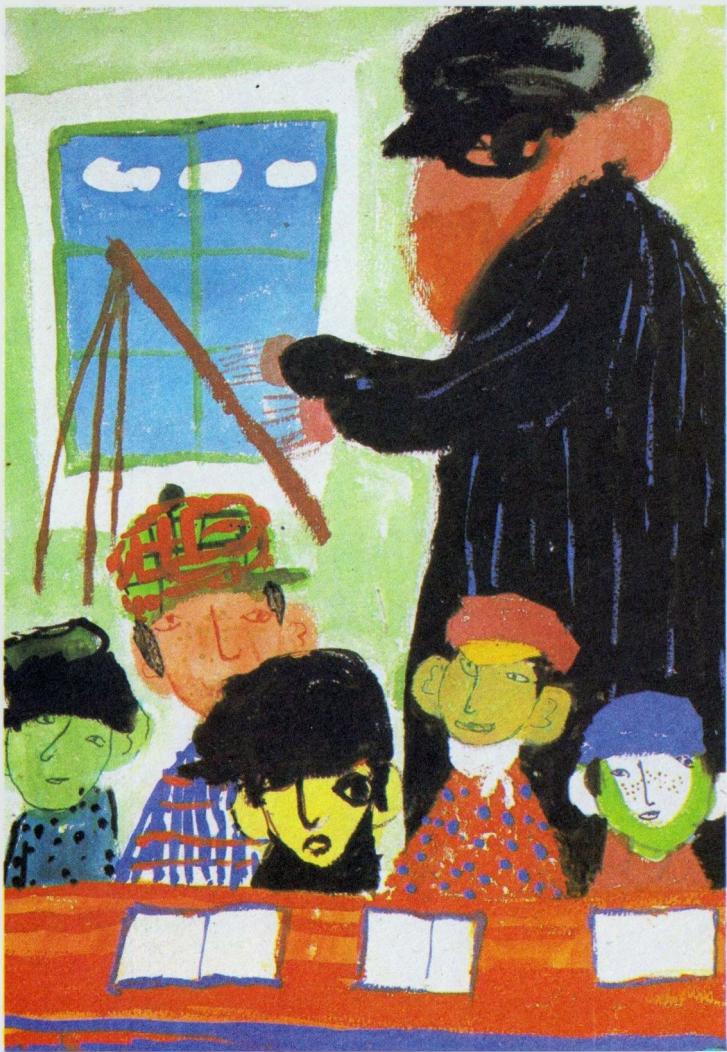
В старом местечке.



Ан.

Из цикла «Еврейская народная песня». 1972 г.

Улица. 1930 г.



В хедере. Из цикла «Мое детство». 1977 г.



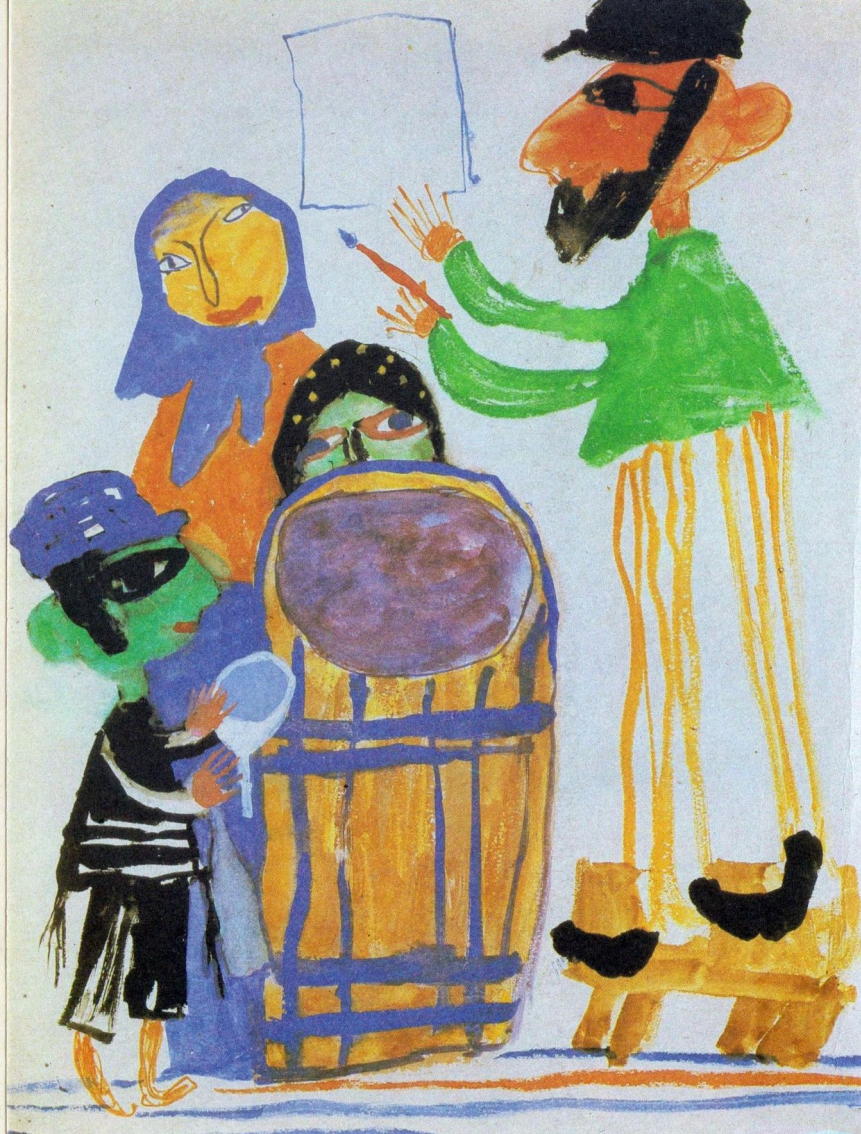
Портной. Из цикла «Мое детство». 1977 г.

Фронтиспис к роману Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды».
1972 г.



Продают шкаф. Из цикла «Мальчик Мотл». 1972 г.

Иллюстрация к роману М. Сервантеса «Дон Кихот». 1984 г.



Я и мой брат делаем чернила. Из цикла «Мальчик Мотл».
1974—1977 г.

венной программой разработки еврейского национального стиля².

Художественная секция Культур-Лиги вобрала в себя тех еврейских художников и скульпторов, которые, по их словам, «воспринимают направление еврейского искусства как свой собственный путь, чувствуют, что их собственные творческие способности тесно связаны с национальным творчеством»³. Членами художественной секции в Киеве стали Иосиф Чайков, Иссахар-Бер Рыбак, Лазарь Лисицкий, Борис Аронсон, Александр Тышлер, Марк Эпштейн, Ниссон Шифрин и некоторые другие художники еврейского авангарда, а в Москве — Марк Шагал, Натан Альтман, Давид Штеренберг, Роберт Фальк и Соломон Никритин⁴. В этой среде само художественное творчество мыслилось как форма выражения национальной сущности, а его содержание определялось поисками формальных основ еврейского национального стиля и стремлением к созданию нового «еврейского искусства».

Именно в этой атмосфере происходит становление начинающего художника из еврейского местечка. Ингер любит повторять слова, которые говорил своим ученикам Марк Эпштейн: «Не важно, что нарисовано, важно, чтобы было видно, что это нарисовал еврей!», и этому завету он старался следовать с самого начала своей творческой биографии. Большинство ранних работ Ингера, к несчастью, безвозвратно утрачено, но то, что сохранилось, вполне соответствует формальным принципам киевского еврейского авангарда. Таков, в частности, эскиз иллюстрации к «Кляче» Ш. Абрамовича (1927 г., собр. Г. Казовского и Е. Кантор), в котором элементы кубизма оказываются средством, способным подчеркнуть и усилить специфику еврейского «жеста», своеобразие выразительного облика еврейского местечка. Ранние работы Ингера свидетельствуют о поразительной для его возраста художественной зрелости, самостоятельности творческого видения и стремительности преодоления стадии ученичества. Недаром на выставке памяти Шолом-Алейхема, организованной студентами Еврейской художественно-промышленной школы в Киеве в 1926 году, «Менахем Мендл» Ингера был удостоен первой премии. Если два лучших рисунка Ингера того периода — «Улочка в Умани» (1928) и «В старом местечке» (1930, оба — собственность художника) — хотя и заставляют по способу выражения персона-

жей вспомнить стилистику литографий Рыбака из его альбома «Штеттл», но композиционное решение и сам характер графики в этих листах — совершенно «ингеровские».

На рубеже 20—30-х годов Ингер пробует свои силы в самых разных направлениях, обретает собственную манеру, экспериментируя в различных стилях. Его мастерство позволяет ему быстро осваивать новшества авангарда. Диапазон его формальных исканий достаточно широк — от конструктивизма («Улица», 1930, собр. Н. Казовского и Е. Кантор) до экспрессионизма. Такая широта у кого-нибудь другого, возможно, обернулась бы эклектикой, но Ингер обнаруживает одному ему понятную связь между столь противоположными по своей природе способами художественного мышления — конструктивной четкостью и ясностью и напряженно-страстной экспрессией. У Ингера эта связь претворяется в глубоко органичный синтез, столь характерный для некоторых его поздних работ. Органичность этого парадоксального синтеза у Ингера не случайна — сочетание рационального и эмоционального для него естественно и понятно. В детстве он мечтал стать музыкантом — учился по классу скрипки, и только после тяжелого тифа, в результате которого стал терять слух, он расстался с мечтой о карьере профессионального скрипача. Волею обстоятельств Ингер реализовал свое второе дарование — стал художником, но не утратил любовь к музыке и музицированию, и это его призвание постоянно оказывает сильнейшее воздействие на его художественное творчество. Не случайно, что первые экспрессионистские опыты Ингера посвящены музыке и его любимым композиторам — Паганини и Бетховену, а «музыкальные» циклы на ту же тему 50—60-х годов также выполнены в экспрессивной манере.

С середины 30-х годов до конца 40-х, многие годы, трагические для еврейской культуры и для советского искусства, Ингер работал в основном по издательским заказам — что было для него и давящей зависимостью, и единственным шансом выжить. Но за этим «фасадом» скрывалась напряженная творческая работа, эти годы не проходили для него впустую, и, когда пришло время, из-под рук уже пожилого художника стал выходить поток великолепной, виртуозной графики, в своей свободе превосходящей то, что могло дать сформированное интел-

лектуальным сопротивлением и изломанное горькой иронией «послеоттепельное» поколение. Герш Ингер, переживший почти все этапы истории советского искусства, однако, никак не вмещается в образ «патриарха», чей удел — только свидетельствовать и наставлять, что характерно для тех, кто за годы «соцреалистического» давления утратил «нить» своего творческого развития. Этот восьмидесятилетний человек, чья речь неискоренимо уснащена выражениями на смеси еще совсем недавно забытых в России еврейских «наречий», цитатами из Торы и Талмуда, Переца и Бялика, в последние двадцать лет переживает едва ли не самый плодотворный период своего творчества. Развитие графики Ингера в эти двадцать лет поражает своей интенсивностью, он оттачивает свое мастерство, пробует разные манеры.

При всем разнообразии манер для Ингера характерно внутреннее единство тем, выражающее его уникальное для своего времени мировоззрение: романтизм — в полном смысле слова, воспринятый сквозь призму еврейского народничества, завещанного Ингеру его учителями, романтизм бескомпромиссный, принадлежащий другому «веку» и в таком виде, быть может, уже и не существующий. В этом убеждает, в частности, один из лучших графических циклов Ингера 70-х годов «Еврейские народные песни». Само обращение к этой теме навеяно романтической утопией, верой в то, что «душа народа» живет в его песнях и сказках. Этой утопией (чрезвычайно устойчивой до определенного времени в еврейском культурном сознании) вдохновлялись и первые собиратели еврейского фольклора в России, прямо указывавшие на опыт Гердера и Йеллинека как образец⁵. Ингер следует этой же традиции: он не иллюстрирует песни, а создает ряд образов, которые символизируют определенные проявления и состояния «еврейской души». Особая «музыкальность», присущая этому циклу, достигается с помощью четкого ритма мастерского рисунка, организующего эмоциональный порыв, при этом Ингер, подобно музыканту, добивается виртуозности «исполнения» темы-композиции, и поэтому каждый лист цикла существует во множестве вариантов.

Знаменательно, что одним из «ключей», в котором выполнены другие большие циклы работ Ингера, стала манера детского рисунка. В этой манере выполнены, напри-

мер, иллюстрации к «Дон-Кихоту» Сервантеса. Верящий в «чистые души» художник и в Рыцаре Печального Образа находит не только природную, естественную чистоту ребенка, но, отождествляя себя со своим персонажем, обнаруживает в нем черты еврейского национального характера: отрешенность от грубой приземленности и обращенность к идеальному, к духовному.

В манере детского рисунка выполнены также и иллюстрации к «Мальчику Мотлу» Шолом-Алейхема. Здесь не хочется говорить ни об искусственной стилизации, ни о том, что художником двигало стремление сделать мир литературного текста более доступным пониманию ребенка, — так пользуются этим приемом в иллюстрациях к детской книге. Дело как будто в другом: кажется, что образ свободы художественного выражения, заключенный в детском рисунке, соответствовал самоощущению художника, наконец обретшего возможность творить и излить весь накопленный годами эмоциональный опыт, играя преодолеть замкнутость и скованность прошлых лет.

Сравниться с ребенком в художественной свободе, уже обладая законченным мастерством, — задача, над которой бились многие мастера XX века (самый известный из них — Матисс), и в ряде листов Ингера эта задача, безусловно, блистательно решена. В его творчестве — это не случайная причуда, а продолжение традиций еврейского авангарда, с которым связана его юность. Художественная программа Культур-Лиги включала в себя изучение примитива и детского рисунка (в частности, проект «синтетического» музея еврейского искусства предусматривал специальные «разделы» детского рисунка и лубка). Включение в свой графический стиль приемов детского рисунка характерно в начале 20-х годов для Рыбака и, отчасти, для Лисицкого.

Однако у них в то время это были именно приемы, придававшие черно-белой или цветной ксилографии и литографии особую примитивную выразительность. У Ингера же, начиная с 60-х годов, детский рисунок (который он продолжает изучать на протяжении всей своей жизни) возникает и переживается как таковой, во всей полноте его мировосприятия, со всей его красочной и композиционной непосредственностью. Продолжая мыслить в русле еврейской художественной программы, художник как бы невольно погружается в свое еврейское

прошлое — прошлое местечек, уже не существующей, стертой с лица земли цивилизации, и обнаруживает самого себя в нем — ребенком. Точка зрения Мотла на мир и его собственная совпали, и он рассказал нам в своих рисунках эту книгу как бы вновь от первого лица. Недаром серия иллюстраций к «Мальчику Мотлу» почти сливается у него с другим графическим циклом, озаглавленным «Мое детство». Сам Ингер родился и рос в Умани, где тогда все еще оставалось таким, как это описал Шолом-Алейхем, — такая же улица, такие же родственники и соседи, говорившие на том же языке, на котором написана книга. (Можно добавить, что некоторые реальные обстоятельства детства самого Ингера почти буквально совпадают с историей героя повести.)

Наступил момент, когда память об этом мире, унесенном Катастрофой, казалось, почти стерлась — и знаменательно, что именно тогда Ингер позволяет себе смелость преодолеть традицию иллюстрирования еврейской классики с помощью штрихового рисунка, как и сам он делал раньше, литографии и ксилографии и выйти к яркому, выразительному цветовому мазку. Ностальгия по давно ушедшему породила желание возродить его таким, каким оно было для тех, кто жил в нем, — живым, ярким и настоящим. Однако Ингер не стал создавать искусственно жизнеподобных «картин»: детская «пиктографическая» манера позволила ему построить свои иллюстрации как особого рода рассказы-воспоминания, где фрагменты действия, несомненно реально увиденные детали свободно перекликаются между собой через белое поле листа.

Перечисленные выше графические техники в свое время не без основания связывались с представлением о «еврейском стиле» в искусстве. Однако можно с уверенностью сказать, что Ингер в своих иллюстрациях не отказался (да и не мог отказаться) от специфически национальных средств выражения. Сама избранная им позиция ребенка, взирающего на «большой мир», способствовала созданию атмосферы фантастичности и гротеска, и возникающие здесь спонтанные совпадения с приемами Шагала, разумеется, не случайны (например, листа «Продают шкаф», 1975 г., собств. художника, со знаменитым эскизом «Война дворцам»); эта же позиция является предпосылкой того иронического эффекта, который столь напоминает интонацию самой прозы Шолом-Алейхема.

Более тонкий аспект этой проблемы заключен в том, как мыслится и воплощается графический «рассказ». Ребенок — alter ego художника — выбирает для своего рисунка отдельные «крупные» в его восприятии фигуры и эпизоды — художник придает этим мотивам отточенную форму, обладающую своего рода идеографической символичностью, которая свойственна еврейскому способу мыслить изображение начиная от надгробных рельефов вплоть до искусства крупных его представителей начала XX века.

Как бы то ни было, рисунки Ингера заставляют задуматься о многом. Забавные сценки, удивительно точно раскрывающие перед нами мир Шолом-Алейхема — чего же проще? Но надо помнить, что это — не внешняя удача, а плод глубокого внутреннего соответствия. Выросший в одном из центров хасидизма, художник в себе самом еще несет народный еврейский дух почти детской радости бытия, которым пронизана книга о Мотле. Он же — последний осколок еврейской художественной интеллигенции, которая, выполняя заветы деятелей национальной культуры начала века, посвятила себя тому, чтобы народная культура нашла свое выражение в профессиональном творчестве.

Необходимо со всей внимательностью взглянуться в работы Ингера, постараться увидеть заключенное в них духовное наследство. Шолом-Алейхема уже нет. Есть Ингер.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Культур-Лига — одна из самых значительных идишистских институций, призванная консолидировать всех национально мыслящих деятелей еврейской культуры, была учреждена, по-видимому, в конце 1917 года, по инициативе Нахмана Майзеля (1887—1970), чья деятельность положила начало многим еврейским культурным организациям в России и за ее пределами. Довольно быстро Культур-Лига начинает занимать одно из лидирующих мест в сфере национально-культурного строительства благодаря четкости культурной программы, конкретности практической деятельности, обращенной к живой еврейской цивилизации. Как следует из декларации 1919 года, «Культур-Лига опирается на три столпа: 1) еврейское народное образование; 2) литературу на идиш; 3) еврейское искусство. Сделать наши массы мыслящими. Сделать наших мыслителей еврейскими. В этом — цель Культур-Лиги» (Ди грунтойфгабн фун дер Култур-Лигэ. 1918—1919). Только на территории Украины сотрудники Культур-Лиги организовали множество еврейских детских садов и сиротских домов, вечерние народные университеты, около десяти драматических кружков. По про-

грамме Культур-Лиги работали библиотеки и читальни, профессиональные театральные коллективы и музыкальные объединения (см.: Дер фрайтог, Берлин, 1919, 1 августа, № 2). В 1921 году после победы большевиков на Украине Центральный комитет Культур-Лиги во главе с Майзелем переехал в Варшаву, а структуры Культур-Лиги в советской России перешли под руководство Еврейской секции Наркомпроса и в 1932 году были распущены в связи с ликвидацией Евсекции.

² См.: Марголин С. Еврейский ВХУТЕМАС. — Прожектор, 1926, 19[89], с. 30.

³ См.: Культур-Лигэ замлунг, 1919, ноябрь, с. 36.

⁴ См.: Шторм, 1922, № 3, с. 82.

⁵ См.: Еврейские народные песни в России. Собраны и изданы под редакцией и с введением С. М. Гинзбурга и П. С. Марека. СПб., 1901. с. III.

Хаим Гури

ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ СЧЕТ

И снова, как всегда в Израильской стране,
пылают камни,
А земля не укрывает их.
И вновь ко мне из бездны бедствия
взывают братья.

Безухий пес ворчит на чужака;
Собачья братия ему охотно вторит.

И снова, как всегда в Израильской стране,
опасны камни в изголовье:
Многим из тех, кто дремлет, снится лестница.

Луна теперь крупнее. Затекает
Шальное пение и прочий лунатизм.
А заговорщики все дремлют при дороге.

И снова, как всегда в Израильской стране,
Все еще заперты Ворота Милосердия;
Плиты могил под тенью городской стены.

И горы истекают соком под осенним солнцем,
И холмы — поплавились,
И мед из них течет.

И снова, как всегда в Израильской стране,
Глаза торчат из медной пятерни (на счастье!),
Края камней обуглены. А вдалеке — пожары.
Перед зарей лежит туман в долине.
Сезон арбузов — море беспокойно.

И снова, как всегда в Израильской стране,
Истерзаны дороги пилигримами,
И Бог себя здесь чувствует как дома.
И все еще кричат из бездны братья.

И мощь огня,
И мощь ночная;
И легче уж иголке не пройти...
И вдоль горы — перо слетает...

И снова, как всегда в Израильской стране,
Все помнят камни,
А земля не укрывает их.
И судословие дырявит горы.

С иврита. Перевел Владимир ГЛОЗМАН.

Трибуна

Владимир Френкель

В ПОИСКАХ МЕНЬШЕГО ЗЛА

Любой народ, живущий в истории, в определенной ситуации делает исторический выбор. Последствия этого выбора часто непредсказуемы; любой выбор приносит народу и добро, и зло, ибо в исторической реальности одно неотделимо от другого. Бывает и так, что выбор — как в национальной, так и в частной жизни — делается между злом и злом, ибо неоткуда взяться добру, и остается лишь решить, какое зло сегодня опаснее, а с каким еще можно как-то мириться. Последний выбор чаще всего недоброволен, то есть лучше бы его и не было, но обстоятельства вынуждают сказать да или нет — может быть сегодня, сказать так, а завтра иначе.

Но горе народу, который всегда должен выбирать между злом и злом, всегда лишен свободного выбора, всегда принуждается к чему-то силой обстоятельств. Горе народу, лишенному возможности исторической инициативы. Какое бы чувство «гордости» этот народ ни испытывал, на самом деле в истории он всегда останется народом, ищущим сильных покровителей, всегда в нем будет присутствовать сознание, что его судьба зависит от «кого-то», но только не от него самого.

Историческая судьба евреев в галуте сложилась именно так. Как бы духовно ни отделяли себя евреи от окружающих народов, но жили они среди них и должны были как-то выражать свое отношение к национальным и политическим устремлениям этих народов, и всегда — независимо от собственной, евреев, позиции — на них лежало подозрение в «измене».

Особенно в тех областях, где исторически сталкивались интересы и устремления нескольких народов, евреи были вынуждены чуть ли не беспрерывно менять ориентацию, словно партнеры в танце, но вовсе не по своей инициативе, а именно выбирая меньшее зло. Окружающие евреев народы тоже не отличались политическим постоянством, но руководствовались при этом собственными интересами, а не только внешними обстоятельствами. В конце средних веков и начале Нового времени большая часть европейского еврейства жила именно в районе такого клубка национальных противоречий: Польша, Прибалтика, Украина. Причем это была наиболее «национальная» часть еврейского народа, хранившая веру, национальные традиции, еврейское самосознание. Но, как мы увидим, и этой самой национальной части еврейства никогда не удавалось сделать собственного, национального выбора в исторической круговерти: оставался лишь выбор между злом и злом, выбор, навязанный обстоятельствами, и любой такой выбор оказывался национальным тупиком.

В статье С. Дудакова «Война 1812 года и ритуальные процессы» («Ковчег», № 1) на основании богатого фактического материала показано, что в начале девятнадцатого века, во время наполеоновского похода в Россию, евреи недавно присоединенных западных областей Российской империи (бывшей Речи Посполитой) сохраняли верность России, в отличие от изменников-поляков, стремившихся перебежать к Наполеону. Полагаю, что в общем картина, нарисованная автором, соответствует исторической действительности (за исключением некоторых частных случаев, о которых ниже). Но отсутствие исторической перспективы делает эту картину все же не совсем верной.

Да, поляки симпатизировали Наполеону, но он обещал восстановить независимость Польши. В чем же обвинять поляков? А если вообразить, как выглядели в глазах поляков новоявленные русские патриоты — евреи? Они только усиливали польский антисемитизм, если его вообще можно было усилить.

На самом деле еврейско-польские отношения куда более сложны. Евреи появились в Польше после крестовых походов и разгрома еврейских общин в германских землях. Польское королевство охотно принимало евреев, конечно исходя из своих интересов: Польше, стране дворян-

ской и крестьянской по преимуществу, нужен был «средний класс», торговцы и ремесленники. Но евреи в Польше веками жили замкнуто, даже более изолированно, чем в Западной Европе. Поэтому в Польше евреи сохранили немецкий диалект — идиш, хотя обычно они меняли разговорный язык, приходя в другую страну. Евреи не имели никаких гражданских прав, даже урезанных, считались «людьми короля» и составляли как бы особое «сословие евреев». В Польше евреи как нигде почувствовали, что враг их врагов вовсе не обязательно их друг, а иногда и не меньший враг. Во время хмельничины, страшных казацких погромов, поляки страдали не меньше евреев. Но это не помешало полякам предать евреев Умани, вместе с ними оборонявших город, как только казаки обещали сохранить полякам жизнь. Правда, поляков все же не пощадили тогда, и в дальнейшем при совместной защите городов подобная история уже не повторялась. Но только крайняя опасность заставила оба народа как-то обратить внимание друг на друга и соединить свои действия. А во время второй мировой войны и этого не произошло: большая часть польских партизан, боровшихся с немцами, была настроена крайне антисемитски; случалось, и сами убивали евреев.

Откуда же было взяться польскому патриотизму у евреев? И тем не менее он был, и в исторической перспективе Дудаков не прав, приписывая евреям Польши сплошь прорусскую ориентацию. После второго раздела Польши вспыхнуло в 1794 году знаменитое восстание Костюшко, и евреи участвовали в этом восстании. Был даже еврейский кавалерийский отряд под командованием полковника Берека Иоселевича, ставшего национальным героем и Польши, и еврейского народа. И тот же Берек Иоселевич, и сын его — Иосиф Беркович позже сражались в войсках Наполеона и участвовали в его русском походе.

В конце XVIII века, в последние годы существования Польши, Сейм несколько раз обсуждал еврейский вопрос. Вовсе не все польские аристократы были антисемитами, и были проекты уравнивания евреев в гражданских правах с поляками, но были и противоположные — вплоть до предложения сделать евреев крепостными! Сейм так ничего и не решил тогда, а Польша была разделена.

Да, правда и то, что польские евреи могли быть на-

строены и прорусски. Ведь только в Российской империи они перестали быть особым сословием, приобрели права обычных подданных, вплоть до права участвовать в самоуправлении и состоять в общих сословиях и цехах. Присоединение Польши к России имело для евреев и то значение, что вместо погромов и резни в вечно волнующейся Речи Посполитой евреи стали жить относительно спокойно. Правда, записанные в основном в сословие мещан, евреи не сразу поняли, что обычное для России приписывание мещан к определенному «месту» — обернется чертой оседлости.

Вряд ли стоит идеализировать этот вынужденный и скоротечный еврейско-русский «роман». Российская империя, в отличие от Речи Посполитой, почти совсем не имела дела с евреями, но это значило лишь то, что российский антисемитизм носил отстраненный, «теоретический» характер, почти уже вовсе не зависевший не только от конкретного поведения и положения евреев, но даже от их присутствия. Это был, так сказать, предрассудок по преимуществу.

Уже в результате инспекторской поездки Державина по западным окраинам России было «установлено», что евреи в Западном крае приносят экономический вред и от них надо защищать местное население. Эта концепция на столетия определила главное противоречие российской политики в отношении евреев: одновременно стремление и сделать евреев людьми «как все», абсорбировать в русском обществе, и как-то «ограничить» их, защититься от «нашествия» чего-то чужого и опасного.

Но и без того понятно и объяснимо, что после войны 1812 года русские власти, несмотря на прорусскую позицию евреев, предпочитали договариваться с польскими магнатами, даже и за счет еврейского равноправия. Естественно, что с политической точки зрения, русской власти было куда важнее привлечь на свою сторону владельцев польских аристократов.

Неудивительно и вовсе не уникально определенное тяготение польских евреев к России. Народ в изгнании, народ в рассеянии, народ, лишенный возможности защищаться сам, естественно, тяготеет к некоей господствующей силе, нации, хотя бы для того, чтобы обрести уверенность и защиту. Никакого «родства душ» здесь нет. Это тяготение в конце концов неизбежно заходит далеко,

вплоть до культурной ассимиляции и ассимиляции вообще. Так, в Чехии евреи были проводниками немецкого влияния, в Словакии и в Карпатах — венгерского, на Украине — польского. А сейчас почти на всей территории СССР евреи в основном русифицированы и, соответственно, в глазах нерусских народов, выглядят агентами русификации. Причем с переменной господствующей культуры менялась и позиция еврея, о чем писал еще Жаботинский, справедливо высмеивая обреченность евреев менять культурную ориентацию: из «немцев» становиться «чехами» и «поляками» и т. д.

Конечно, это не увеличивает «любви» к евреям малых, «негосподствующих» народов, напротив, этим народам всегда удобней вымещать свой гнев именно на евреях, хотя истинный объект гнева — господствующий народ.

Но даже если говорить только о политической ориентации, то результат любого выбора все-таки всегда печален — для евреев. В польских восстаниях 1830, 1848, 1863 годов участвовали и евреи, но все равно возрождение польского государства не предвещало польским евреям ничего хорошего, и равноправие им не было обещано даже на словах.

После первой мировой войны возрожденная Польша, как и другие новые государства Восточной Европы, вынуждена была, подчиняясь решению Лиги Наций, гарантировать равноправие национальным меньшинствам, в том числе и евреям, но на деле почти везде, кроме, может быть, Чехословакии, равноправие осталось на бумаге.

А в России еврейского равноправия и формально не было, вплоть до Февральской революции.

Когда я говорю об «ориентации» евреев — государственной, национальной, политической,— то менее всего имею в виду единую ориентацию всех евреев не то что страны, но даже любого города или места. Должно быть, и во время войны 1812 года были пропольские евреи, не только прорусские, и разумеется, что евреи — участники польского восстания 1794 года — стали на сторону Наполеона. В дальнейшем картина еще более усложняется и дифференцируется. Уже не только из-за внешних обстоятельств, но повинувшись внутренним устремлениям и убеждениям, евреи примыкают к великодержавникам и сепаратистам, к патриотам и космополитам, к консерваторам и социалистам. Но суть не меняется: все еврейские «при-

тяжения» неизбежно напоминают какой-то танец с беспрерывной переменой партнеров. В каждом единичном случае выбор «партнера» может быть искренен и обоснован, но пока евреи все же сознают себя как некое национальное целое, относительно этого целого весь калейдоскоп еврейских «притяжений» означает одно — историческую несамостоятельность. Ибо хочет еврей или нет, но всегда остается в его душе и жизни какое-то пространство, имеющее отношение только к нему, к еврею, а не к внешним «притяжениям». Но именно это «пространство» остается исторически не заполненным, не имеющим отношения к внешнему миру.

Даже тогда, когда еврей определяет себя как «еврея», даже при сохранении и приоритете национального еврейского самосознания и еврейской культуры, даже при национальном «нейтралитете» — исторического *дела* для галутного еврейства все равно не находится, ибо не может быть исторической инициативы у народа, целиком зависящего от чужих.

Да что нейтралитет, разве он когда-либо что-то менял в судьбе евреев? Евреи Западной Украины в гражданскую войну не раз объявляли о нейтралитете в столкновении польского и украинского национальных движений, но это им не помогло: все равно евреев убивали и те, и другие.

Тут действует не только еврейское «притяжение», но и нееврейское «отталкивание», которое присутствует почти всегда и различается только по силе.

Например, Прибалтика была, казалось бы, не настолько заражена антисемитизмом, как другие западные окраины России. Погромов здесь в царское время во всяком случае не было. Ничего дурного не случалось с евреями и во время независимости прибалтийских стран: у евреев была фактическая культурная автономия, развивалось сионистское движение. Но в начале немецкого вторжения в 1941 году прибалты, еще до прихода немцев, вдруг начали так яростно уничтожать евреев, что разом перекрыли все «рекорды» царского времени. Возможно, немцам и провоцировать погромы не пришлось. В чем дело? Говорят, в том, что компартии прибалтийских стран процентов на 80 состояли из евреев и что только евреи приветствовали в 40-м году советские танки. Это и так, и не так. Ведь компартии эти были мизерными, малочисленными, значит, подавляющее большинство евре-

ев никакого отношения к ним не имело, да и Советскую власть в Прибалтике эти компартии не устанавливали по слабосильности. Приветствовали советские войска только евреи? Возможно, ведь латышам, литовцам, эстонцам приветствовать русских было вроде бы незачем. А евреи — что ж, в поисках безопасности от надвигавшейся нацистской угрозы (все тот же танец!). Но и тех было едва ли большинство, ведь основная масса коренных рижских, например, евреев — это были промышленники, торговцы, интеллигенция, да еще, как правило, немецкоязычные, им ли было приветствовать чуждую власть? Большинство из них и в 41-м году остались в Риге, уверенные, что им ничего не может грозить ни от латышей, ни от немцев, ведь столько лет мирно жили рядом. А среди высланных в Сибирь 14 июня 41-го года были и евреи, не только латыши.

Но, очевидно, достаточно было просто повода, искры, чтобы вспыхнула цепная реакция патологической ненависти.

Однако было бы неверно делать отсюда какие-либо выводы. Именно выводов тут сделать невозможно, ибо и в «отталкивании» — тот же танец с меняющимися партнерами. Нет сомнений, что сейчас (только сейчас!) прибалтийские национальные движения не сопровождаются ни патологическим антисемитизмом, ни вообще патологией. Не то чтобы евреев так уж полюбили в Прибалтике, но нет той заикленности на «еврейском вопросе», что есть в России, евреи не объявляются виновниками решительно всего.

В России же сейчас дошло до патологии, до того, что позиция евреев (от национальной до ассимиляторской) не имеет абсолютно никакого значения, и даже само присутствие евреев не имеет значения для антисемитов: исчезни евреи из России, антисемитизм несколько не уменьшится, просто начнут искать «тайных» евреев (уже и сейчас ищут).

Поэтому стоит ли умиляться верности евреев в какое-то время какой-либо стране, движению, идеологии? Все равно это кончалось плохо, как и любая попытка выбрать из двух зол меньшее, ибо к чужому — пока он чужой — любое государство или движение в конце концов обернется в лучшем случае неприязнью, в худшем — ненавистью.

К тому же эти непрерывные галутные танцы развили в евреях не лучшие черты. Взять хотя бы ужасающее еврейское умение принимать желаемое за действительное: вот, дескать, эта пристань верная, на этого партнера можно положиться; но любая надежда на «большого брата» всегда кончалась крахом. (Здесь, в Израиле, это свойство трансформировалось в «прогрессивном» заискивании уже перед «меньшим» двоюродным братом.) Или не менее ужасающая еврейская суетливость, поиск «покровителей» (как лиц, так и государств), странная уверенность, что еврейские проблемы зависят от кого угодно, только не от самих евреев, или что евреи должны решать любые проблемы, кроме своих собственных.

Все это печально, но смешно надеяться избыть эту печаль тем, чтобы обрести национальное лицо в галуте, как надеются сейчас многие. Ведь и «национальный» еврей в галуте все равно исторически несамостоятелен. Смысл и революционная сущность еврейской государственности в том и состоят, что Израиль вернул евреев в историю, сделал еврейский народ вновь ответственным за собственную судьбу.

Арье Сиван

ПРЕДЛОЖЕНЬЕ ТУРИСТУ

В твоей стране нет пыли на листе.
Есть цветы, омытые дождем
В течение года. Нету запаха
Горького и сухого,
Запаха истины.

Если хочешь вдохнуть его, я предлагаю:
Приезжай к нам, окуни лицо в фиговый лист,
На котором скопилась пыль
В течение долгого лета.

Верно, фиговый лист шершав, как наждак.
Так он удерживает ту немногую влагу,
Которую удастся извлечь из глубин,
Чтобы вырастить плоды:
Мелкую, сладкую ложь,
Отвлечь внимание мира, чтобы он не мешал
Собирать эту горькую пыль.

Эту пыль, которая раньше была
Птицей, человеком, великим царством
Или брожением в пустыне;
Но теперь, и уже навсегда,
Ей не придется
Притворяться чем-то иным.

С иврита. Перевел Владимир ГЛОЗМАН

Юрий Грачевский

ВТОРОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ

(Краткая историческая справка)

I

Русская революция 1917 года отвергла государственный антисемитизм.

Уже Февраль упразднил черту оседлости и процентную норму в учебных заведениях. Евреи уравнивались во всех гражданских правах, включая право на офицерский чин в регулярной армии.

Октябрь закрепил и продолжил эти завоевания. Он учредил еврейские школы, газеты, издательства. Разрешил создание театров (причем играющих не только на идише — языке изгнания, но и на древнееврейском языке).

Вся общеполитическая пресса с первых же дней после прихода большевиков к власти начала вести последовательную, настойчивую, а главное — заинтересованную борьбу с антисемитизмом.

И боролись не одними мерами убеждения — был принят закон, карающий наиболее злостные проявления юдофобства в уголовном порядке. Причем закон этот применялся — антисемитов наказывали примерно. Никто не имел права умалить честь или унижить достоинство вчерашнего «жида».

Одним словом, евреи получили от Советской власти те же правовые гарантии и ту же общественную защиту, что и остальные национальные меньшинства, населявшие пределы бывшей царской империи.

Правда, евреям не дали в то время территориальную автономию. Но в этом была и своя дальновидность. Вряд ли требовалось учреждение такой автономной республики или области. Ибо рассеивание после получения свободы передвижения по стране оказалось весьма широким. Так что всякое искусственное селение представителей этой разобщенной национальности явило бы собой акт антидемократический и контрреволюционный — по сути своей вариант упраздненной черты оседлости.

И не случайно, что Советская власть долго не решалась на этот опрометчивый шаг. (Биробиджан был основан в 1928 году, но так и не приобрел притягательной силы.)

И это понятно. Ведь в любом уголке страны, безо всякого ущемления национального чувства, еврею была предоставлена арена для стопроцентного выявления своих способностей на основе ассимиляции. Чем тотчас и воспользовалась отринутая и презираемая доселе масса обездоленных изгнанников. Наконец-то у них появилась своя родина: Советский Союз — родина угнетенных всего мира, где им воистину открылись все пути.

И сложилось так, что в государственных и партийных органах коммунистической власти, в ВЧК и милиции, на дипломатической службе, в науке, в литературе, в народном образовании и медицине, — словом, на всех аванпостах самоформирующегося общества евреи заняли чуть ли не преобладающее место.

Исторически это вполне объяснимо. Веками испытывая на себе двойной пресс давления — классовый и расовый, — евреи особенно рьяно и беззаветно отдавали себя подпольной революционной борьбе с самодержавием. Немало погибло их в числе казненных и замученных бомбистов «Народной воли». Их имена останутся среди вождей эсеровского движения. И в рядах создателей российской социал-демократии они шли впереди. И особенно в ядре большевистских активистов, взявших власть в Октябре, образовалась мощная еврейская прослойка, — как в верхах, так и в низовых ячейках.

(Достаточно назвать хотя бы такие опорные имена из ленинской гвардии, как Урицкий, Володарский, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Свердлов, Землячка, Литвинов, Ярославский, Пятницкий, Лозовский и многие, многие другие.)

Это — первое обстоятельство.

Теперь второе. О тех, кто влился и возвысился чуть позднее.

Правительство пролетарской диктатуры жестко придерживалось классового принципа в подборе и расстановке работников на ответственных постах. И прежде всего опасались прикосновения к государственному рулю представителей свергнутой революцией, господствовавшей российской касты: поместного дворянства, чиновничества, офицерства, духовенства и их отпрысков.

Еврей же, в силу своего происхождения, не мог быть заподозрен в принадлежности к этим «заядлым врагам революции». И бюрократический автоматизм новой власти срабатывал безошибочно: еврей — значит, свой, значит, вне подозрений.

Так, благодаря почти беспрепятственному выдвижению и продвижению лиц этой категории, не без оснований зарождалось пугало «жидо-большевизма». Коим в иные времена — под предлогом избавления от «еврейского засилья» — стала пользоваться не только внешняя, но и внутренняя контрреволюция в лице сталинской узурпаторской когорты.

Но это — много лет спустя. А в двадцатых — тридцатых годах происходил неукоснительный процесс *преодоления* шовинистических предрассудков, веками гнездившихся в душах и в сознании миллионов людей.

И самое удивительное, что особенно темные и неразвитые слои населения — простые рабочие и крестьяне, далекие от кормила власти и от искуса приобщения к ней, — высвобождались из ослепляющих тенет черносоленно-погромного воспитания наиболее легко и безболезненно. Куда труднее поддавались некоторые слои мещанства: те, кто сознательно прятал до поры свои заблуждения и предубеждения, стремясь проникнуть в ряды правящей партии. (А антисемитам туда дороги не было!)

Но так или иначе выправление расовых и национальных вывихов свершалось со сказочной быстротой. Что и порождало обнадеживающую перспективу.

Впрочем, и те, кто не освобождался от предрассудков столь быстро, все же не решались высказывать свои взгляды открыто. Всякое такое выступление считалось не только предосудительным, но и опасным: оно незамедлительно оборачивалось против того, кто себе это позволил.

Так что ненависть к евреям, впитанную этими людьми с молоком матери, до поры до времени приходилось скрывать и прятать, как дурную болезнь.

II

Так обстояло дело со зрелыми людьми.

А подрастающее поколение советских граждан, родившихся накануне революции или вскоре за ней, уже с пеленок пестовалось в истинно интернациональном духе.

Вся партийно-комсомольская пропаганда (комсомол, как водится, был особенно яростным застрельщиком и проводником партийной линии!), вся художественная литература и искусство изо дня в день вбивали в головы: все нации равны, все без исключения!

Читателям, зрителям и слушателям лекций и радиопередач настойчиво прививалась уверенность во всеобщем расовом равноправии. В том числе (а возможно, и в первую очередь) мысль о полноправии и неприкосновенности евреев.

Назову хотя бы писания М. Горького о таланте еврейского народа и о том, сколько великих умов дали евреи человечеству. Уместно вспомнить и о таких произведениях нееврейских писателей, как драма расстрелянного Ивана Микитенко «Светите, звезды!», атаковавшая юдофобство в современной автору среде «красного студенчества».

Характерна для этой эпохи и комедия Ильи Рубинштейна «Взаимная любовь», поведавшая с доброй улыбкой о том, как подружились и породнились еврейская и украинская семьи. (Разноплеменные браки становились столь ординарным явлением, что юноши и девушки частенько шли в загс, не выясняя, кто «по национальности» он или она.)

Образ еврея-комиссара, личности героической, фанатично преданной святому делу освобождения трудящихся, — начиная с Левинсона, героя фадеевского «Разгрома», с Когана из «Думы про Опанаса» Багрицкого, — проведен буквально через все творения изначального периода советской литературы.

И потом, в «реконструктивный период», фигура еврея-руководителя стройки или завода, еврея-партвожака гла-

венствовала в поэзии и прозе, в театральном и киноискусстве.

И это не воспринималось никем как невольное преувеличение или намеренное приукрашивание действительности. Не вызывало ни у кого сомнения или недоверия,— потому что так оно и было на самом деле. Жизнь в этом смысле располагала удивительными примерами преодоления векового всечеловеческого мракобесия в условиях строительства нового социалистического мироустройства.

Это и был великий процесс *первого преодоления*, который победоносно длился до 1937 года. Да и сам период «тридцать седьмого года» не носил какой бы то ни было специфической антиеврейской направленности. Безоглядный террор косил всех без разбора.

Хотя, возможно, что в процентном отношении — да и в абсолютных цифрах — число репрессированных среди евреев чуть ли не превзошло все категории.

Поскольку большевистские кадры уничтожались поголовно, то от евреев-руководителей избавились почти непроизвольно: только лишь по той причине, что их было очень много в числе тех, кого убирали «под метелку».

Но и столь жесткая чистка не вызвала ни у кого ни настороженности, ни подозрений в чисто национальном преследовании. Вся контрреволюционная сущность этого периода была по горестной иронии судьбы воистину интернациональной. И те из евреев, кто оставался на свободе, чувствовали себя в эти годы такими же равноправными (и такими же неполноправными!), как и все остальные граждане.

III

Поворотным пунктом в возрождении российского государственного антисемитизма стал не 1937, а 1939 год — год открытого смыкания сталинского деспотического режима,— укрепившегося в стране после разгрома большевизма,— с фашистским гитлеровским режимом.

Развернутое юдофобское знамя германский национал-социализм поднял в час своего зарождения. И когда Гитлер водрузил это знамя над рейхстагом, то фашистская Германия была объявлена в СССР врагом № 1. И

долго рассматривалась как наиболее вероятный противник в будущей войне. Так что немецкий воинствующий антисемитизм разоблачался и осуждался со всей неприимиримостью.

Но стоило Сталину заключить с Гитлером военный пакт, и разоблачения этого рода прекратились словно по команде. Будто всем печатным органам разом дано было указание поостыть в смысле внутреннего юдофильства.

Тема трагической судьбы еврейства до революции и его нынешнего расцвета, тема русско-еврейской смычки, тема охраны евреев от посягательств на их честь и достоинство со стороны несознательных элементов — все эти мотивы оказались приглушенными, а вскоре и вовсе приумолкли. Равно как стали исчезать со страниц газет и журналов и выветриваться из памяти еврейские фамилии печатающихся авторов. (Правда, самим авторам пока ничто не грозило — на первых порах важно было лишь замаскировать их под «неевреев».)

Началась полоса внедрения псевдонимов. И хотя ощущение неполноценности еврея, его второсортности по сравнению с остальными народами исподволь уже прививалось, еще никого не преследовали за принадлежность к еврейской нации.

Проникновение вышеназванной тематики в русскую культуру было приостановлено. Но культура национальная все еще сохранялась: преуспевал знаменитый ГОСЕТ в Москве, по-прежнему пользовались популярностью играющие на идиш театры в Биробиджане и на территории бывшей черты оседлости. Издавались книги, газеты и журналы; функционировали школы.

Важно также, что не ощущалось в таком сохранении никакой преднамеренности или нарочитости, — чтобы доказать кому-то: не подумайте, мы не превращаемся в антисемитов! Нет, разрешенность еврейской культуры оставалась частью советского образа жизни вплоть до самой войны.

И после нападения Гитлера на СССР весь этот сбереженный арсенал чрезвычайно пригодился. Снова пропаганда вернулась к осуждению антисемитизма — теперь уже в адрес немецко-фашистских захватчиков. Описание и гневное осуждение актов массового вандализма зажигало ненавистью сердца бойцов — красноармейцев. И попутно вызывало дополнительный прилив симпатии к со-

ветской армии-освободительнице со стороны непорабощенных народов Европы и Америки.

И в качестве средства связи со странами-союзницами по антигитлеровской коалиции был учрежден так называемый «Еврейский антифашистский комитет». Ему вменялось в обязанность установление контактов с политическими деятелями, бизнесменами и лидерами науки и культуры этих стран — евреями по происхождению.

Наряду со «Славянским комитетом» это была первая разрешенная в пооктябрьский период внеклассовая общественная организация, строящая свою деятельность на чисто национальной основе.

Таким образом исподволь (с позиций якобы крайней военной необходимости) сверху начали внушать мысль о возможности использования пресловутой «всееврейской взаимопомощи и взаимовыручки» в мировом масштабе. (Поездка Михоэлса в США с целью сбора средств у евреев-толстосумов для нужд Красной Армии и другие вылазки этого рода.)

То есть, по сути дела, сталинское руководство само подсказало существовавшей в ту пору национально-еврейской верхушке возврат к идее «мирового еврейства».

Тем временем процесс *второго преодоления*, то есть преодоления интернациональной закваски славных революционных лет, шел своим чередом. Но теперь для его дальнейшего исторического развития появилась уже и реальная политическая база как внутри страны, так и за ее пределами.

IV

Когда по окончании второй мировой войны во всех странах оживилось стремление к общееврейскому сплочению как к самозащите от поголовного физического истребления, советские евреи сначала оставались в стороне от этого движения. У них хватало и своих, внутренних проблем.

Уже весьма наглядно давали знать о себе установки на русификацию партийного и государственного «личного состава». Начались ограничения в приеме на работу и при поступлении в высшие учебные заведения.

Сталинский тост «за великий русский народ!» в доста-

точной мере прояснил намерения «вождя народов». Тем более что все чаще просачивались сведения о прямых высказываниях идеологических и административных руководителей насчет обновления всех сфер общественной жизни с помощью притока «русских» кадров и еще более решительного отстранения остатков кадров «еврейских».

Высказывания и указания такого свойства казались сперва кощунственными и недозволенными с точки зрения основополагающих марксистско-ленинских заповедей. И не все работники на местах легко и живо реагировали на них — не сразу принимали к сведению, а бывало, что и отказывались верить в их реальность. Но высказывания эти все чаще подтверждались реальными установками сверху и приобретали постепенно негласную силу директив.

Неприкрыто же и гласно антисемитизм в нашей стране впервые проявил себя в период «космополитской» — так нарекли ее в просторечии — кампании, начатой в январе 1949 года.

Но этому противоестественному разгулу выпущенных на волю тайных страстей предшествовали весьма важные события международного характера.

Советское правительство безоговорочно поддержало проект создания еврейского государства на территории Палестины. И данное обстоятельство ввело в заблуждение множество евреев, живущих в СССР. Люди Страны Советов привыкли: все, что исходит от руководства — разумно, справедливо и подлежит всенародному одобрению. Если вновь созданное государство Израиль поддержано нашим правительством — стало быть, это «наше» государство!

В какой-то мере, видимо, был дезориентирован и «Еврейский антифашистский комитет». Тем более что на его долю выпала миссия завязывания всяческих связей с прогрессивными силами Израиля. Причем почему-то Комитету вовсе не вменялось в обязанность одновременное разоблачение буржуазной и националистической сущности реакционных сил, взявших власть в этой стране. Об этом как будто забыли.

Важнее было иное. Коли зарубежные связи завязаны, то, по господствовавшей тогда логике, есть и достаточные основания для подозрения. Во всяком случае, появился хотя бы фиктивный повод для закрытия ставшей подо-

зрительной организации и ареста большинства ее членов. Глава же Комитета, народный артист СССР Соломон Михоэлс был зверски убит.

Акция эта, готовившаяся долго и тайно, многим непосвященным показалась ошеломляюще неожиданной. Она-то и послужила сигналом к тому, чтобы представить всех евреев, проживающих на территории Советского Союза, новой «пятой колонной», новоявленной «агентурой мирового империализма».

Но для убедительности такого обвинения требовалась определенная стратегическая подготовка. И опыт сколачивания всякого рода вымышленных «агентур», приобретенный в тридцатых годах, подсказал тактические ходы — нужно представить дело так, будто существует некая полуподпольная вражеская организация буржуазно-националистического толка. А для этого есть нужда в том, чтобы создать видимость сплоченного сообщества лиц, которые должны быть хоть как-то связаны между собой. Кто же они?

И выбор пал на... театральных критиков. По-видимому, «еврейское засилье» в этой среде показалось кому-то наглядно-соблазнительным.

О существовании данной «подрывной организации» сами ее члены, равно как и все читающее население страны, узнали из пресловутой статьи, опубликованной в «Правде» и перепечатанной чуть ли не всеми газетами: «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» (январь 1949 года).

Вот тут-то и выстрелило впервые слово *космополит*, преподнесенное не в почетном, как у Маркса и Энгельса, а в оскорбительном толковании. И для убедительности был добавлен к нему еще и доморощенный эпитет *безродный*.

И чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что термин «космополит безродный» должен служить синонимом самого отъявленного черносотенного ругательства (некто взамен «жида пархатого»), подкреплялся он назойливым перечислением множества еврейских фамилий. Пусть глаз и ухо учатся улавливать и различать! Юзовский, Гурвич, Альтман, Борщаговский, Варшавский, Субоцкий, Бровман и др.

Если же существовал благоприобретенный псевдоним, таковой беззастенчиво раскрывали. Выглядело это как

срывание масок: Холодов (Меерович), Яковлев (Хольцман) и т. п.

Газетные полосы на манер учебников алгебры запестрели скобками. Но в политической математике раскрытие скобок еще не означает прямого хода к решению задачи. Пока что в глазах неискушенного читателя нужно было лишь создать впечатление какого-то противозакония в самом факте существования псевдонима. (Нечто вроде краденых фамилий у уголовников-рецидивистов.)

В общем, компрометируй любой ценой и любыми средствами!

В то же время театральность — коли уж выбраны театральные критики — требует не только неожиданных эффектов, но и сценарной точности. И изощренная фантазия авторов и режиссеров этой зловещей инсценировки (которая оказалась всего лишь генеральной репетицией — сам спектакль разыгрался позднее, и занавес не опущен по сию пору!) сочеталась с трезвым расчетом.

Так родился сплав искусства фальсификации с арифметикой перечисления и приплюсовки все новых лиц, обвиненных в «космополитизме».

И, дабы не быть пойманными за руку и уличенными в неприкрытом шовинизме и великодержавии, расчетливые сочинители и постановщики этой трагикомедии неизменно вкрапливали в столбцы еврейских фамилий одну-две нееврейские. Поэтому в группу «критиков-антипатриотов» ради своего рода нормы приличия были введены Малюгин и Бояджиев. А в «банду врачей-убийц» (январь 1953 года) зачислены профессора медицины Виноградов, Егоров и Преображенский. Так называемое «дело врачей» венчало всю пятилетнюю кампанию, начавшуюся арестом «Еврейского антифашистского комитета». Ему, этому беззастенчиво сфальсифицированному делу, была, по всей вероятности, отведена решающая роль в сценарии готового вот-вот разыграться поголовного избиения «еврейской пятой колонны». И не случайно, что в этот момент «космополитизм», к которому сознание масс успело уже притерпеться, слегка был отодвинут в сторонку. А на поверхность выплыл куда менее замаскированный жупел *сионизма*.

Обвинение убежденных коммунистов в сионизме, — разумеется, не было более кощунственным, чем подобные же обвинения в связях с «немецко-японской раз-

ведкой» и прочие общеизвестные вымыслы и поклепы. Но по сути своей новая форма узаконенной клеветы куда более наглядно говорила о фашистском перерождении ее сеятелей, ибо носила уже не только контрреволюционный, но и махрово расистский характер.

Многолетняя безнаказанность развязывала самые низменные страсти.

V

Смерть Сталина пригасила на время националистический накал страстей. А широковещательная реабилитация «врачей-убийц» создала условия для хотя бы приблизительного восстановления советских норм жизни и права.

Но и такой возможностью никто не воспользовался.

Политику этого краткого периода можно назвать *стыдливо извиняющейся*. Именно в то время были возобновлены дипломатические отношения с государством Израиль, провокационно прерванные, как только созрели сталинские расистско-империалистические замыслы. Похоже, что от них решили отказаться. И общее смягчение обстановки тотчас сказалось и на судьбе евреев.

Бранные клички «космополит» и «сионист» почти исчезли из повседневного обихода. Заметно приутих и кадровый произвол: гражданину с паспортной пометкой «еврей» чуть легче стало поступить на службу, а его сыну или дочери — в институт.

И хотя партийная, комсомольская, советская верхушка, органы госбезопасности и министерства иностранных дел, а также ряд специализированных учебных заведений элитного порядка по-прежнему бдительно оберегались от иудейского проникновения, все же можно считать, что в просвете между 1953—1956 годами процесс *второго преодоления* заметно притормозился.

Возникла негласная версия «перегибов», имевших место и по этой линии. Но в официальный перечень «нарушения социалистической законности» и «попрания ленинских норм» ни одна из антисемитских затей поздне-сталинского правления включена не была. И ни на XX, ни на XXII очистительных съездах тема антисемитизма и насущно необходимой борьбы с ним никем не затрагивалась.

И столь упорное молчание не только разочаровывало,

но и настораживало. Тем более что по всем линиям, кроме этой, совершались благотворные перемены: свежий ветер, выдувающий затхлую атмосферу «культы личности», бодрил сердца и вселял надежды. И лишь в этом вопросе — стоп, красный свет!

Настораживающей показалась и правительственная позиция, занятая в дни очередной арабо-израильской войны летом 1956 года (поименованной в нашей прессе как «англо-франко-израильская агрессия»). Вынесение слова «израильская» на последнее место означало, с одной стороны, что сталинская несправедливость полностью-де повторена не будет. А с другой — служило осторожным признанием: с точки зрения внешней политики в этом смысле ничто не изменилось!

Внутренняя же обстановка оставалась совершенно непроясненной. Преобладало ощущение невскрытого нарыва, когда вместо того, чтобы залечить гнойную язву, ее загоняют глубоко внутрь.

Литература и искусства, служащие своего рода барометром на внутривнутриполитической кухне погоды, также отказывались поворачивать на «ясно», заняв туманную позицию умалчивания.

Еврейская тема как таковая оказалась под запретом. Попытки отдельных писателей (к примеру, как Василия Гроссмана) затронуть проблему антисемитизма с точки зрения писателя-коммуниста не только не получили одобрения, но и подверглись нападкам. Редакции и издательства такие рукописи возвращали без объяснения причин. А рукопись Гроссмана в конце концов была изъята.

Вообще благие намерения осветить и эту донельзя затемненную область хотя бы неярким светом постановления «О ликвидации культа личности и его последствий» не возымели успеха. И впечатление складывалось такое, что хотя культ постепенно ликвидируется, но последствия именно на этом участке остаются неприкосновенными.

Еврейские имена так и не появлялись в числе героев произведений тех лет. Последней публикацией, где действовал партийный руководитель с неблагозвучной фамилией Залкинд, был роман В.Ажаева «Далеко от Москвы», написанный человеком от Москвы в ту пору и впрямь далеким. И, будучи в отрыве от общества лет эдак восемь, автор не ведал, что его нормативный для тридцатых годов герой уже по сути перестает быть реальной фигурой.

Но роману этому повезло. Изданный и одобренный сразу после войны, до начала открытых проявлений юдо-

фобства, он как бы подвел итоговую черту под списком положительных персонажей «из евреев».

Характерно, что совсем в ином обличье была вновь поставлена упоминавшаяся уже комедия И.Рубинштейна «Взаимная любовь». Сговорчивый автор вывернул ее содержание наизнанку: семью евреев-колхозников он заменил русской семьей. Таким образом, теперь получилась пьеса не о еврейско-украинской, а о русско-украинской дружбе.

Такого рода замен и перелицовок свершалось в то время немало. И подобные метаморфозы ни у кого не вызывали ни возмущения, ни даже удивления. Сознание успело привыкнуть к любым беззастенчивым подтасовкам. Людям, воспитанным на грубых исторических и политических фальсификациях, область художественного вымысла не могла показаться менее для этого приспособленной.

Да и сами авторы такого сорта не гнушались ничем — ведь тех, кто спокойно отказывался от своего имени и от собственного взгляда на жизнь, вряд ли могли останавливать такие пустяки, как замена имен своих любимых героев.

VI

Весь этот период — с 1953 по 1967 год — отличается зыбкостью и неопределенностью намерений, а также непоследовательностью поведения, характерными для постсталинского руководства.

Провозглашенный поход против «еврейского национализма» был вроде бы приостановлен. Но и автономические тенденции не поощрялись. Не были возобновлены, несмотря на упорные ходатайства и настойчивые просьбы, ни еврейские газеты, ни школы, ни театры. И попытки возбудить разговор о реабилитации еврейской национальной культуры не встречали одобрения — более того, пресекались, как злонамеренные.

Точно так же не одобрялась и тяга большинства евреев к ассимиляции. Никому не дозволилось бы наречь себя по собственному желанию и добровольному выбору русским, украинцем, белорусом, литовцем или молдаванином...

Как желтая повязка на рукаве или опознавательная

дискриминационная мета «юде», строжайше соблюдалось паспортное наименование: «еврей». И анкетный заслон ставился на каждом шагу. А неверные сведения по пресловутому «пятому пункту» рассматривались в качестве злостного нарушения закона. (Но на вопрос: какого именно закона? — вам никто не потрудился бы ответить.)

А чтобы исключить возможность нарушений неведомо кем учрежденных правил, в ряде секторов замкнутого государственного круга внедрялись особенно изощренные анкеты, где надлежит признаваться не только в собственной ущербной наципринадлежности, но и напоминать о подмоченном национальном происхождении обоих родителей — по отдельности.

Таким способом расовую полноценность начали выверять уже до третьего колена. А чистопородность стала цениться куда выше, чем незапятнанное социальное происхождение. Теперь признание в том, например, что ты «из дворян», так же помогало открывать все двери, как в начале революции «из евреев». По тому же методу исключения: если дворянин, то уж наверняка не еврей. (Если еврей, то уж обязательно не дворянин!)

Короче говоря, «еврейский вопрос», с которым некогда было напрочь покончено, возродился снова. На той самой дореволюционной основе и с помощью опыта того самого заклятого врага — фашизма. Ведь, по словам Карла Маркса, враг заражает своей идеологией.

Питаемый этими двумя источниками — идеологией гитлеровского национал-социализма и практикой «Союза русского народа», — наш антисемитизм принял и сохранял без видимых изменений свою застывшую форму. Ту самую, которая возобладала в стране к моменту наивысшего накала сталинско-бериевских страстей. (Словно и не имело места их охлаждение в апреле 1953 года.)

Да, сколь ни парадоксально, но этот противоестественный узел так и не удалось развязать. Потому что все до единого представители еврейской национальности в СССР не получили общегражданских прав: ни тех, кто ощущает себя истинно евреем, ни прочных ассимилянтов не уравнивали в правах с коренными нациями.

Но в то же время и у евреев обнаружилось свое преимущество хоть перед кем-то: они не подверглись узаконенному геноциду наподобие крымских татар или немцев Поволжья.

Выражаясь старомодным юридическим языком, вся нация была «оставлена под подозрением» — не более того.

А годы шли. Болезнь не лечили. И в таких антисанитарных условиях росло и воспитывалось целое поколение детей, приученных с детства к тому, что ограничения, созданные для евреев, — естественны и неизбежны.

И, как всякое рутинное правило, как норма повседневного быта, такое положение стало с обеих сторон восприниматься на правах обязательной закономерности.

А прочный жизненный уклад порождает свои нормы бытия и свои традиции.

Еврейских детей, вспомнив николаевские порядки, родители стали приучать к прежним способам борьбы за существование. Их отныне снова убеждают, что для продвижения по жизни необходимо быть образованнее остальных, находчивее остальных, предприимчивее остальных, изворотливее остальных.

Русским же детям напрягаться нет нужды, поскольку они уже в силу автоматической принадлежности к избранной расе имеют «в своем отечестве» все преимущественные права и привилегии.

Опасные правила — и для тех, и для других.

Словом, фактор рождения и принцип крови стали определяющими в лепке характера растущего поколения. И понятие «советский характер» не только на словах, а и на деле подменяется понятием — «национальный характер».

Да, работа в этом направлении проведена огромная. Понадобились целые десятилетия, чтобы вернуться к тому, от чего отрешились некогда с помощью одного революционного рывка.

И самое парадоксальное, что та власть, которая была еще совсем не популярной в своей стране, куда меньше опасалась невыгодных для нее обвинений в «объевреивании» и народного недовольства в связи с этим, чем власть, укрепившаяся, казалось бы, навсегда.

VII

Понимание приходит обычно раньше, чем объяснение. И легальное оправдание этому длительному подспудному процессу долго не было найдено. До тех пор, пока в июне 1967 года не разразилась на Ближнем Востоке

позорная для престижа советского оружия шестидневная война.

Битва эта, навязанная Израилю агрессивными арабскими странами, завершилась непредвиденной победой крохотного народа, окруженного стомиллионной громадой жаждущих его гибели государств.

Она-то, роковая эта победа, и вызвала немыслимый доселе взрыв государственного антисемитизма в СССР. И, как ответную реакцию, непредвиденный всплеск еврейского национализма. А среди некоторых неустойчивых слоев и вспышку закоснелого иудаизма.

Возврат к «вере отцов», неосознанное религиозное оживление обрели за последние четверть века всеобщий охват. До войны 1941—1945 гг. все религии — христианские, мусульманская, иудейская — отвергались в равной мере. И никакого неравенства в этом преследовании ни одна из них не испытывала. Антирелигиозная пропаганда не имела какого бы то ни было избирательного направления: всякая религия отчуждалась как таковая.

Во время же и по окончании второй мировой войны русская православная церковь получила покровительство государства. А впоследствии, когда явно обнажились противоизраильские настроения и завязалась дружба с исламскими арабскими режимами, то и мусульманская религия избавилась от преследований (начатых еще в эпоху схватки с басмачеством) и тоже оказалась в преимущественном положении.

Гонения же против иудаизма все усиливались на этом фоне. Еврейскую веру прочно связали с сионизмом. И всякий верующий еврей стал неукоснительно рассматриваться не только как идейно отсталая личность, но и как яркий противник коммунизма. И даже более того — как враг существующего общественного порядка.

А вслед за верующими под разряд «сионистов» стали подпадать и стопроцентные атеисты, рагующие за возрождение национальной культуры и национального духа — причем не более чем в тех же самых поощряемых ныне формах, каковыми дозволено пользоваться всем остальным народам страны.

Развернулся ловко спровоцированный, не ведающий ни удержу, ни останову массовый «антисионистский» подход. Брошюры, статьи, карикатуры, теле- и радиопередачи... Как будто изо всех зол и опасностей самая ре-

альная и самая главная опасность, подстерегающая строителей нового мира,— это никому доселе не ведомый, а сейчас такой вездесущий и такой коварный «мировой сионизм».

Но известно, что всякое зло должно быть для наглядности персонифицировано.

Кто же они — сионисты, которых можно было бы увидеть воочию?

Да конечно же те, кто изъявил желание жить в заклеенном Израиле. И наибольшим преследованиям стали подвергаться лица, подающие прошения о выезде из СССР. А желающих появилось больше, чем прежде, и число их растет.

Оно и понятно. Стали множиться опасения среди евреев-обывателей: что же будет дальше? Что ждет нас? И как сложится наша дальнейшая судьба и судьба наших детей?

И действительно, страшно становится, если создалась такая обстановка, при которой само слово *еврей* звучит как бранное.

Когда жениться на еврейке или выходить замуж за еврея становится невыгодным и опасным — ущерб карьере, вред будущему потомству.

Когда даже приверженность к национальной кухне пахивает крамолой.

Когда Абраму или Хаиму приходится стыдиться собственного имени, видоизменять отчество и при первой же возможности улучшать фамилии детей. Потому что одно лишь произнесение вслух фамилий Рабинович, Шапиро, Гуревич, Кац звучит как нечто постыдное и недозволенное.

Опасения нарастали еще и в связи с тем, что у властей появилось—таки наконец кажущееся убедительным объяснение собственным ограничительным действиям.

И этих действий уже не стыдятся и не опасаются быть в них уличенными. Ведь целесообразность их теперь и малому ребенку объяснима! Утвердились сверхдоступные, расхожие формулы: «Зачем учить *их*, если *они* все равно уедут?» Или: «Брать на службу потенциальных перебежчиков, доверять им секреты производства, чтобы потом эти секреты достались нашим злейшим врагам? Нет уж, увольте!»

И увольняют...

И особое усердие в деле прививки убеждений такого сорта проявляет комсомольско-молодежная пропаганда, органы ЦК ВЛКСМ. Да-да, как это ни прискорбно, но самой злостной непримиримостью по отношению к еврейской нации как таковой (без хотя бы сглаживающего деления на «своих» и «чужих») отличается организация, призванная воспитывать молодежь в коммунистическом духе — Центральный Комитет комсомола, именующий себя при этом «Ленинским».

Стало быть, политика рассчитана на дальний прицел?

Вывод напрашивается сам собой...

И отныне всерьез и надолго даже в умах тех, кто до сих пор колебался, сомневался или недоумевал: «А есть ли смысл в ограничениях по национальному признаку и не приносят ли они больше вреда, чем пользы?» — даже в их неокостеневшем сознании оформилось убеждение в прямой выгоде антисемитской политики.

А коли оправдание найдено, то колеблющихся и сомневающихся становится все меньше и меньше.

VIII

Таким образом, второе преодоление развивается сейчас весьма успешно.

Что же преодолено?

Прежде всего, покончено с основными постулатами марксистского интернационализма.

Классическое положение о безоговорочном равенстве всех наций вытесняется либо расплывчато-эсеровским понятием «народ» вообще, либо либерально-кадетскими рассуждениями о «народах-братьях», где наряду с младшими братьями неизбежно должен наличествовать и «старший брат»: *великий русский народ*.

Таким образом, великодержавие исподволь восстановлено на новой основе — под политически малограмотными лозунгами «семьи народов». И разумеется, как во всякой патриархально-старорежимной семье, господствует закон неравноправного братства — примат старшинства. Когда раболепие перед «старшим» сочетается с презрительным отношением к «младшим». Из-за чего подспудно утверждается взаимная неприязнь, перерастающая в ненависть друг к другу.

Начатое при Сталине копание в чертах изобретенного им «национального характера» снова привлекло к внедрению в умы молодежи древнего как мир представления о «хороших» и «плохих» нациях. Ведь известно, что в национальном вопросе чье-то возвеличивание возможно лишь за счет чьего-то уничижения, а то и уничтожения.

Преследование целых «провинившихся» народов, равно как и провозглашение какого-либо избранного народа «избавителем», «спасителем» или «освободителем» — то есть опять же возведение целой нации в ранг абсолютной добродетели, — укрепило национальную подозрительность, недоверие и разобщенность. А также вернуло все без исключения народы, населяющие огромную многоплеменную страну, к националистической ограниченности досоветского периода.

И конечно же, в первую очередь возвратилось к этому бедственному самоограничению множество представителей еврейской нации — как наиболее преследуемой и потому наиболее уязвимой, зараженной комплексом неполноценности, от коего до мании величия всего один шаг.

Действие породило противодействие. Наконец-то (к радости уже упомянутых авторов и режиссеров!) начались подлинные националистические проявления и даже выступления среди тех, кто окончательно разуверился в принципах пролетарского интернационализма. Или же — как люди молодые по возрасту и как молодые жители СССР из западных республик и областей, присоединенных уже в смутную пору безвременья, — вовсе не успел быть приобщенным к этим святым принципам.

Им — увы! — неведома истина, что спасительный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не может быть заменен призывом к воссоединению евреев всех стран. И что пятиконечная звезда никогда не станет шестиконечной!

Но, к несчастью своему, они успели удостовериться в обратном: что само слово *интернационализм*, предусматривающее совместные, объединенные действия, толкуется сейчас в одностороннем порядке: ты — будь интернационалистом, а мне самому, призывающему тебя к этому, быть им вовсе не обязательно. Интернационализм в моем понимании — это ведь объединение со мной, если не сказать больше — *подчинение мне...*

Так и это завоевание революции используется в империалистических вне страны и в великодержавных — внутри нее — интересах.

И сколь трудно, а подчас и невыносимо оставаться подлинным интернационалистом — не по приказу, а по убеждениям, — если весь уклад общества, в котором ты живешь, сверху донизу пропитан либо великорусским шовинистическим ядом, либо узконационалистическим противоядием.

И вправду, как сохранять верность тому интернационализму, при котором евреям в их собственной стране не дают ассимилироваться — и в то же время подавляют всякое проявление их же национального чувства? Если их интересы ущемляют в Советском Союзе — и в то же время не выпускают за его пределы? Если их не берут на работу по специальности — и тут же обвиняют в тунеядстве?

Не случайно, что западная и израильская пропаганда охотно играет на национальных чувствах: сетует на вытравливание еврейской культуры и религии, но помалкивает о лишении евреев права на ассимилирование — то есть на единственно справедливую форму равноправия.

И в этом смысле внутренний пропагандистский прицел ничем, по сути, не отличается от зарубежного.

Борясь лишь с еврейским национализмом (упорно отождествляя его при этом с сионизмом и ведя параллель далее — к черносотенно-фашистскому пугалу «мирового еврейства»), все средства массовой партийной пропаганды и агитации направляются на то, чтобы разжигать национальное чувство даже у тех «евреев поневоле», которые абсолютно не были ему подвержены.

Таково чувство, растущее из протеста против дискриминации. Чувство самозащиты. Чувство внутринациональной солидарности, отмеревшее в свое время, упраздненное за ненадобностью и, казалось бы, дотла сторовшее в огне пролетарской революции, принесшей освобождение всем угнетенным нациям. А ныне вновь воскресшее — будто восстало из пепла.

Как тут не вспомнить бессмертное признание Юлиана Тувима:

«Да, я — еврей. Еврей по крови. Но не по той крови, которая течет в жилах. А по той, которая течет из жил...»

IX

Вот такая к нашему времени сложилась обстановка.

Я постарался осветить ее по возможности объективно: ничего не скрывая, не разжигая и не затушевывая.

Проблема созрела, угрожающе разрослась, но разрешения ее не видно.

В чем оно?

На это пока невозможно ответить.

И не предскажешь, чем все это кончится:

новым Бабьим яром? Всеобщим выдворением советских евреев за пределы их родной страны? Или *третьим преодолением?*

Остается надеяться на последнее!

Январь — февраль 1974 г.

НАД КЕМ СМЕЕМСЯ?

Игорь Губерман

ГАРИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

**ГОСПОДЬ ЛИХУЮ ШУТКУ УЧИНИЛ,
КОГДА СЮЖЕТ ЕВРЕЯ СОЧИНИЛ**

Везде, где есть цивилизация
и свет звезды планету греет,
есть обязательная нация
для роли тамошних евреев.

Перспективная идея!
Новый образ иудея:
поголовного агрессора
от портного до профессора.
Им не золото кумир,
а борьба с борьбой за мир;
как один — головорезы,
и в штанах у них обрезы.

Верю я: Христос придет!
Вижу в этот миг Россию;
слышу, как шумит народ:
«Бей жидов, спасай Мессию!»

Свет партии согрел нам батареи
теплом обогревательной воды;
а многие отдельные евреи
все время недовольны, как жидаы.

Раскрылась правда в ходе дней,
туман легенд развеяв;
евреям жить всего трудней
среди других евреев.

Случайно ли во множестве столетий
и зареве бесчисленных костров
еврей — участник всех на белом свете
чужих национальных катастроф?

Любая философия согласна,
что в мире от евреев нет спасения,
науке только все еще неясно,
как делают они землетрясения.

Изверившись в блаженном общем рае,
но прежние мечтания любя,
еврей эмигрируют в Израиль,
чтоб русскими почувствовать себя.

Вечно, и нисколько не старея,
всюду, и в любое время года...
длится, где сойдутся два еврея,
спор о судьбах русского народа.

Усердные брови насупив,
еврей, озаряемый улицей,
извечно хлопочет о супе,
в котором становится курицей.

Во всех углах и метрополиях
затворник судеб мировых,
еврей, живя в чужих историях,
невольню вляпывался в них.

Всегда еврей легко везде заметен,
еврею слышно сразу от порога,
евреев очень мало на планете,
но каждого еврея — очень много.

Под грудой книг и словарей,
грызя премудрости гранит,
вдруг забываешь, что еврей;
но в дверь действительность звонит.

КАК СОЛОМОН О РОЗЕ

Никто, на зависть прочим нациям,
берущим силой и железом,
не склонен к тонким операциям
как тот, кто тщательно обрезан.

Отца родного не жалея,
когда дошло до словопрения,
в любом вопросе два еврея
имеют три несхожих мнения.

Везде одинаков Господень посев,
и врут нам о разнице наций;
все люди — евреи, и просто не все
нашли пока смелость признаться.

Стало скучно в нашем крае,
не с кем лясы поточить,
все уехали в Израиль
ностальгией сплин лечить.

Фортуна с евреем крута,
поскольку в еврея вместилась
и русской души широта,
и задницы русской терпимость.

Растит и мудрецов и палачей,
не менее различен, чем разбросан,
народ ростовщиков и скрипачей,
закуренная Богом папираса.

Сомненья мне душу изранили
и печень до почек проели:
как славно жилось бы в Израиле,
когда б не жара и евреи.

Век за веком роскошными бреднями
обставляли погибель еврея;
а века были так себе, средние,
дальше стало гораздо новее.

Такой уже ты дряхлый и больной,
трясешься, как разбитая телега, —
на что ты копишь деньги, старый Ной?
На глупости. На доски для ковчега.

Пусть время, как поезд с обрыва,
летит к неминуемым бедам,
но вечером счастлива Рива,
что Сема доволен обедом.

Влюбилась Сарра в комиссара,
схлестнулись гены в чреве сонном,
трех сыновей родила Сарра,
все — продавцы в коммиссионном.

Если надо — язык суахили,
сложный звуком и словом обильный,
чисто выучат внуки Рахили
и фольклор сочинят суахильный.

Пока мыслителей тревожит,
меня волнует и смешит,
что без России жить не может
на белом свете русский жид.

Весенний воробей
в любви апофеозе
поет среди ветвей,
как Соломон о Розе.

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

85219/4

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ И ПРОЗА

Владимир Соколов. Памяти Давида Ланге, врача и друга. Стихи.....	5
Амос Оз. Поздняя любовь. Повесть. <i>С иврита. Перевела Светлана Шенбрун</i>	9
Вадим Гройсман. «Высокость — как единый проездной...», «Переезды — древнюю мороку...», «И документы все, и поцелуи все...», «Что ж, о грядущей жизни не радея...» Стихи.....	61
Симур Фригуд. Бабушка и индусский монах. Повесть. <i>С иврита. Перевел О.Баршай</i>	64
Натан Зах. «Еще я сказал не все...», «Видя белую птицу в черной ночи...» Стихи. <i>С иврита. Перевел Геннадий Беззубов</i>	82
Леонид Ваксман. «Дорога, скажем, в Рим...» Стихи.....	83
Людмила Улицкая. Счастливые. Рассказ.....	85
Рахель Абельская. «Чьи разговоры шипят в преисподней...» Стихи.	90
Эдуард Шульман. Родные и близкие. Повесть.....	91
Рыгор Бородулин. «Последние поэты еврейские...», Рыгор Березкин. Стихи <i>Авторизованный перевод с белорусского Наума Кислика</i>	129
Реувен Бен-Цви. Из исторических новелл. Случай с Шамуэлем Ибн-Нагдилой, Симха Коген.....	131
Владимир Ферлегер. На еврейском кладбище, Хавел-хавалим, Одесса, старый двор. Стихи.....	146
Абрам Карпинович. На виленских задворках. Не для Вильны, Элинька Дылда <i>С идиша. Перевел Иосиф Глозман</i>	148
Наум Кислик. Личное дело. Стихи.....	169
Эли Люксембург. Итро — волчонок Сидки. Рассказ.....	171
Федор Ефимов. Уезжающим, «Переводил еврейского поэта...» Стихи.....	203

ЭКРАН И СЦЕНА

Эдуард Капитайкин. О театре Грановского.....	204
Абрам Эфрос. Художники театра Грановского	220
Натан Йонатан. Вроде баллады. Стихи. <i>С иврита. Перевел Владимир Глозман</i>	244

КНИГИ И МНЕНИЯ

Дов Левин. Правда и полуправда о литовском еврействе.....	245
Виолетта Экштейн. Время пляске и время рыданию.....	257
Йегуда Амихай. Предыдущие поколения. Стихи. <i>С иврита. Перевел Владимир Глозман</i>	261

ЗВЕНЬЯ

Михаил Вайскопф. О сюжете Пятикнижия.....	262
Илана Гомель. Кость в горле.....	278
Йехезкиэль Кауфман. К рассказу о колдунье, вызывающей мертвецов	315
Ривка Мирьям. Моей земле. Стихи. <i>С иврита. Перевел Владимир Глозман</i>	324

ЛЕСТНИЦА В НЕБО

Георгий Бен. Тайник открывает свои сокровища.....	325
Йегуда Амихай. «Лишь иерусалимский камень знает, что такое боль...» Стихи. <i>С иврита. Перевел Владимир Глозман</i>	345

О, ИЕРУСАЛИМ!..

Хагит Гиора. Веселье в Ерушалаиме. Эссе	346
Йегуда Амихай. «Иерусалим — это порт на берегу Вечности...» Стихи. <i>С иврита. Перевел Владимир Глозман</i>	348

ПРОФИЛИ

Даниэль Фрадкин. Сын раввина	379
Бат-Шева Шериф. «Ночью Восток ниспошлет нам Благо...» Стихи. <i>С иврита. Перевел Владимир Глозман</i>	399

ВЗГЛЯД

Александр Казарновский. Кадиш по культуре?	400
Гершон Шакед. Эхо еврейского самосознания. <i>С иврита. Сокращенный перевод Михаила Вайскопфа</i>	404
Натан Йонатан. Кусты раkitника белели. Стихи. <i>С иврита. Перевел Владимир Глозман</i>	421

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Савелий Дудаков. О Копеловиче	422
Григорий Казовский, Елена Кантор. Мальчик Мотл Герша Ингера	432
Хаим Гури. Предъявленный счет. Стихи. <i>С иврита. Перевел Владимир Глозман</i>	440

ТРИБУНА

Владимир Френкель. В поисках меньшего зла	442
Арье Сиван. Предложение туристу. Стихи. <i>С иврита. Перевел Владимир Глозман</i>	450

ИЗ АРХИВА

Юрий Грачевский. Второе преодоление	451
---	-----

НАД КЕМ СМЕЕМСЯ?

Игорь Губерман. Гарики на каждый день	472
---	-----

К 56 Ковчег: Альманах еврейской культуры. Выпуск второй.— М.: Худож. лит., 1991.— 478 с.

ISBN 5-280-02440-6

Второй выпуск альманаха, как и увидевший свет в 1990 г. первый выпуск, содержит произведения поэтов, прозаиков, критиков, публицистов, рассказывающие о современной жизни евреев Израиля, Советского Союза, других стран, об истории, культурных и религиозных традициях еврейства.

К 4703020600-448
028(01)-91

КБ-43-97-1991

ББК 84.5И
7077

КОВЧЕГ

Альманах еврейской литературы

Выпуск 2

Редакторы В. Скороденко, А. Старков

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры Г. Асланянц, О. Иванова

ИБ № 7077

Сдано в набор 18.09.91. Подписано к печати 28.10.91. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2 + альб. = 25,83. Усл. кр.-отт. 29,19. Уч.-изд. л. 26,03 + альб. = 27,24. Тираж 50 000 экз.

Изд. № IX-4378. Заказ № 2663. Цена 10 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано на ПЭВМ в ордена «Знак Почета» издательстве «Юридическая литература».
121069, Москва; Г-69, ул. Качалова, д. 14

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Тверском полиграфическом комбинате Министерства печати и массовой информации РСФСР
Тверь, пр. Ленина, 5.

OCR Давид Титиевский, май 2021 г., Хайфа

10 p.



Альманах